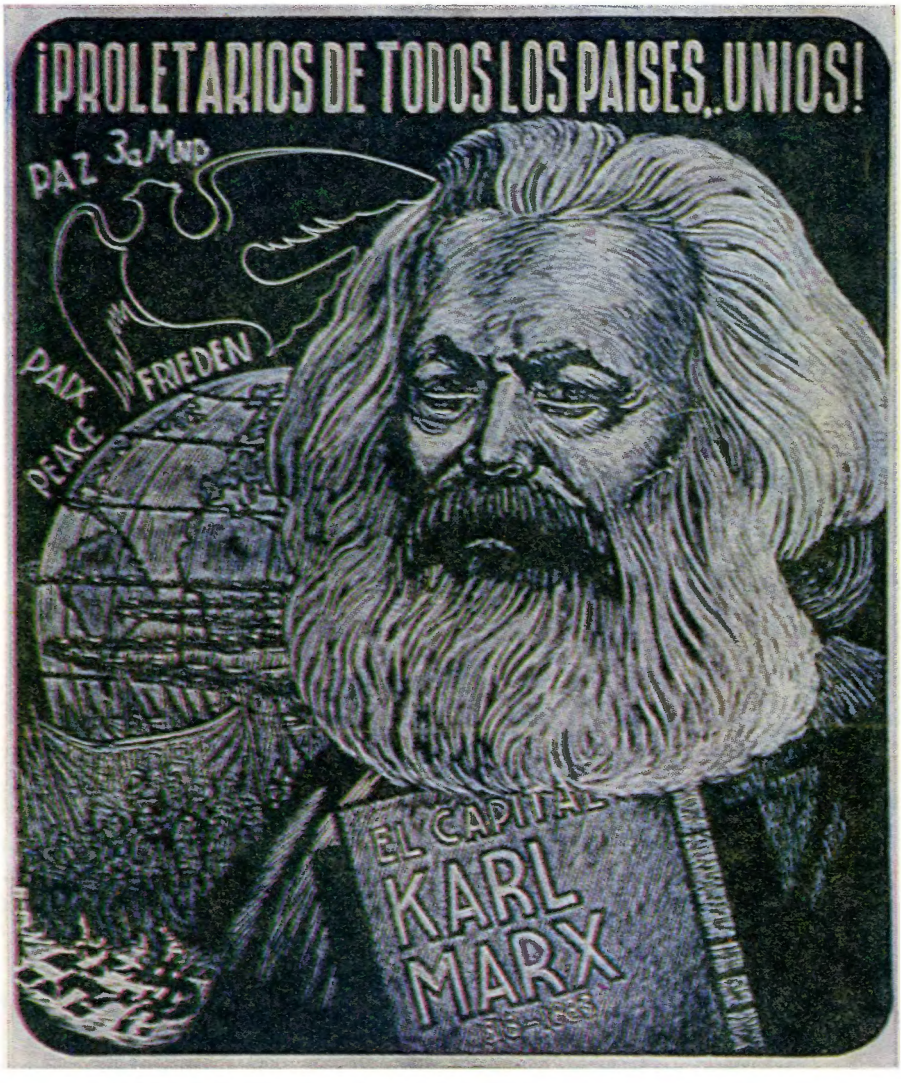
ISSN 0130 – 6545

10. 1983

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Р. СОХА (Польша)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

10 октябрь 1983

Содержание

М. ШОЛОХОВ — К писателям мира 3

АНХЕЛЬ АУХЬЕР — Стихи *(Перевод с испанского Людмилы Щипахиной)* 4

СИМО ОЯНЕН — На небо — с гарантией *(Перевод с финского Ю. Воронина. Послесловие Г. Гулиа)* 7

ГЕНРИК ВОРЦЕЛЬ — Рассказы *(Перевод с польского К. Старосельской)* 112

ГЮНТЕР ГРАСС — Стихи *(Вступление Андрея Вознесенского. Перевод с немецкого Андрея Вознесенского и Б. Хлебникова)* 135

Рассказы французских писателей

(По страницам журнала «Эроп»)

Ж. М. Г. ЛЕКЛЕЗИО, КЛЕМАН ЛЕПИДИС, АЛЕН НАДО, ПЬЕР БУРЖАД, НЕЛЛИ СТЕФАН, РОБЕР АНДРЕ *(Переводы с французского В. Жуковой, Марии Зониной, А. Сумбатяна, Льва Токарева, Е. Осеневой)* 142

Критика

Е. СТЕПАНЯН, К. СТЕПАНЯН — Робинзонады одинокого сознания 169

Сопоставляя точки зрения

ДЬЕРДЬ ШЕБЕШТЬЕН — Австрийская литература и ее связи с литературами дунайского региона *(Перевод с немецкого С. Рожновского)* 176

Д. ЗАТОНСКИЙ — Заметки на полях статьи Дьердя Шебештьена 181

Литературные портреты

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ — Мигель Отеро Сильва: певец в борьбе 186

Публицистика

СОЛЛИ ЗУКЕРМАН — Ядерные проблемы: реальность и иллюзии *(Перевод с английского О. Юрьева)* 195

ЮРИЙ ЯРЦЕВ — Проповеди и отповеди 200

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Франция в сердце *(Из неопубликованных и забытых статей и выступлений. Публикация и комментарии В. Попова и Б. Фрезинского)* 209

Антирубрика

АРТУР КОНАН ДОЙЛ — Задира из Броукас-Корта *(Перевод с английского Ростислава Рыбкина)* 223

НЬЮМАН ЛЕВИ — Волшебник крестный *(Перевод с английского Евгении Шварц)* 228

Среди книг

Издано в СССР

Владислав Пронин — Обстоятельства времени ◆ А. Николаевская — «Хочу я веровать добру» 231

Издано за рубежом

Н. Федоренко — Тропы неизведанного ◆ Юрий Борев — Актуальные проблемы теории литературы ◆ Иоаким Т. Бэр — Тоска по дому ◆ Н. Анастасьев — В поисках цельности 235

Из месяца в месяц 244

Авторы этого номера 254

На 1-й и 4-й страницах обложки — А. КИНТЕРОС (Мексика) «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», ЯН СТЕНВИНКЕЛЬ (Швеция) «Море».

С «Иностранная литература», 1983.

К писателям мира

Друзья и коллеги, писатели Земли, я обращаюсь к вам в чрезвычайно ответственное для человечества время...

Около 30 лет назад, когда стремление людей к миру, казалось, повсеместно стало побеждать разрушительный дух «холодной войны», со страниц журнала «Иностранная литература» я уже обращался к мировому братству писателей с призывом повести откровенный и живой творческий диалог между литераторами Востока и Запада, людьми разных взглядов и убеждений.

Такое обращение было продиктовано тогда стремлением и желанием объединить усилия тех, кто силой художественного слова способен влиять на человеческие умы и сердца.

Сейчас же не о литературе наша речь. Речь о самом существовании рода человеческого и колыбели его — Земли, о том, быть ли завтрашнему дню, видеть ли на небе солнце нашим детям и внукам.

Противники мира отказываются внять голосу разума, подбрасывают все новое и новое топливо в ядерный костер, готовый полыхнуть вселенским пламенем истребительной войны и испепелить все живое на планете. Что может, казалось бы, противопоставить этому писатель, все оружие которого — перо и бумага?

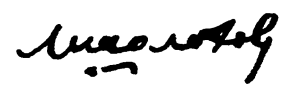
Смею напомнить, что этот же вопрос ставил за несколько лет до первой мировой войны чувствовавший ее грозное приближение Лев Толстой. Восьмидесятилетний писатель, согласившись участвовать в Стокгольмском конгрессе мира 1909 года, отмечал, что в руках тех, кому выгодна война,— миллиарды денег и миллионы войск. В руках же писателя — противника войны — лишь одно, но могущественнейшее в мире средство — истина. И этого достаточно, чтобы сказать: борьба небезнадежна, более того, она принесет успех, если все миролюбивые люди, в том числе владеющие могуществом слова, обратят на это главное дело все силы своего ума, совести и таланта.

Я призываю литераторов мира, писателей современности, моих друзей и коллег, возвысить голос против продолжающегося безумия безостановочного ядерного вооружения.

Хочу надеяться, что призыв этот будет услышан.

Как один из редакторов «Иностранной литературы», я предлагаю для обмена мнениями по этому вопросу, неотложному и затмевающему все другие, страницы нашего журнала.

ЗАЩИТИМ ЖИЗНЬ, ПОКА НЕ ПОЗДНО!



Станица Вешенская
10 августа 1983 года

М. ШОЛОХОВ

АНХЕЛЬ АУХЬЕР

Перевод с испанского ЛЮДМИЛЫ ЩИПАХИНОЙ

Жажда во время дождя

Ее утолить нетрудно —
достаточно вытянуть руки,
собрать в пригоршни капли,
смочить ими губы и горло.
Но пусть лучше капли стекают,
жажду корней утоляя,
чтоб зерна смочились влагой,
чтоб воздух прохладой дышал.
Пусть лучше вода стекает
по крышам и по деревьям,
поет веселые песни,
привольно в травах шумит.
А жажда моя потерпит.
Сначала пусть поле напьется.

Гагарин

Твой взгляд на шар земной судьбой отмечен,
о смелый покоритель высоты!
Легки скафандра четкие черты,
корабль крылат, и путь твой бесконечен.

О голубая светлая земля,
летящая по космосу седому!
Как вызов распорядку вековому
тот рукотворный контур корабля.

И возникает негасимый свет,
звезды пурпурной мироносный след,
и день грядущий, вспыхнувший над всеми.

Прекрасен уготованный судьбой
тот дивный свет, что ты зажег собой,
чтоб победить и смерть, и страх, и время!

Тамайо[1]

Вот пик Туркино — символ веры нашей,
и вызов облакам, ветрам привольным...
И крылья революции не он ли
помог взметнуть, как и твое бесстрашье?

[1] Арнальдо Тамайо Мендес — кубинский космонавт. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Все с высоты значительно и чисто.
Пространство и движенье — в вихре грозном.
Святой порыв — на той дороге звездной
торить тропу сквозь небосвод лучистый.

А с алою звездою, как с заветом,
вошел ты в эру космоса навечно.
И, словно Куба, переполнен светом.

Тот свет добра и ярок, и неистов,
триумфом мира и наук отмечен
и подвигом бессмертным коммунистов!

Ереван

Розовый Ереван,
Ереван — цвета розы,
в чистоте воздуха
под синей высью
розовый камень домов.
И все — в особом свеченье,
которое возникает
над куполами фонтанов,
неутомимых струй.

Ереван
будто роза на воде,
а дальше — бордюр
причудливой зелени,
за которой видны
каменные волны
древних гор,
увенчанные снежной пеной,
переходящей в облака.

В отдалении,
и все же в единстве
с городом,
одинокий,
притягивающий взгляд,
ослепительный Арарат,
запрятанный
в свои пенистые снега.

Ереван —
вода и розы.
Прозрачный воздух
струится по улицам,
перемешивая
удивительные краски
на волшебной палитре Сарьяна.

На озере Севан

На озере Севан,
подобном маленькому морю,
на поднебесной высоте

один поэт
произнес
что-то вроде тоста:
— Да здравствует Куба,
земля, окруженная водой!
Да здравствует Севан,
вода, окруженная землей!

Между землей и землей,
между водой и водой,
между Кубой
и между Севаном
расстояния нет!

Фламбойян.[1] *Тема с вариациями*

На ветвях, сплетенных в кружева,
пламенем охвачена листва.
Это древо — изумрудный кубок
под слепящим напряженьем света
с красной пеной, бьющей через край.
Листья, опаленные любовью,
истомленно истекают кровью.
Их зажег веселый месяц май,
он на каждой ветке распростер
необъятный огненный костер.
Пламени багровые броски
средь листвы — как сочные мазки.
Фламбойян! Прекрасный фламбойян!
Я твоим пылающим пожаром
вдохновлен, возвышен, осиян.
И вскипает кровь во мне недаром:
красный клич мой, возглас — фламбойян!

■

[1] Дерево, цветущее ярко-красными цветами.

СИМО ОЯНЕН

На небо~с гарантией

ЗАБАВНАЯ САТИРА В ЭПИЗОДАХ И СЦЕНАХ

Перевод с финского Ю. ВОРОНИНА

Глава первая

На дворе идет снег.— Юсо Тинус, 55 лет, вес 255 килограммов, собирается в дорогу.— Туулия Тинус готовится к расставанию.— Юсо вспоминает недавнюю странную вечернюю передачу по телевизору.— Юсо дает полный газ.

— Ой, Юсо, у тебя такой утомленный и нездоровый вид...

Пухлая ручка Туулии умело орудует платяной щеткой, счищая перхоть с пальто Юсо Тинуса. Три-четыре быстрых взмаха, и рука останавливается. Заботливым взглядом Туулия придирчиво осматривает мужа со всех сторон.

На дворе идет снег. Вьюга кружит между рядами серо-коричневых коттеджей. Снег скапливается около машин на автостоянках, на пустынных унылых тротуарах, на крышах домов, на ветках деревьев, которые начинают жить своей самостоятельной заснеженной жизнью.

— Юсик, золотко мое. Смотрю я на тебя, и кажется мне, будто тебе не хочется жить. Ты выглядишь старше лет на двадцать. Ты должен пойти к врачу. Чего доброго, еще умрешь!

Пушистый снег кружится за окном. Юсо вздыхает, затискивает образцы и рекламные проспекты в портфель и защелкивает замок. Туулия, словно собака, следит за каждым его движением. Юсо подходит к окну гостиной и глядит на балкон, заметенный снегом. Под окном виднеется пластмассовая корзинка с пустыми бутылками из-под пива. Кажется, совсем недавно они сидели на балконе и пили кофе. Юсо помнит, что ему приходила в голову мысль: а не следит ли кто-нибудь за ними. Скорее всего СУОПО [1], рассмеялась Туулия. Снег идет беспрерывно. Снег угнетает Юсо.

— Бедненький Юсо,— слышится за его спиной.

Впереди опять дорога. На полях календаря делового человека точно расписано, где и когда надлежит быть. Сотни километров прямой как стрела дороги. Заправочные станции, дорожные указатели, церкви, кладбища, выбоины, болота. Час за часом однообразная, все притупляющая езда, когда постоянно надо держать себя в руках. Перед мысленным взором возникают места, где довелось побывать. Лица людей, которые случилось увидеть. Ситуации, улыбки, оттенки голосов и бесконечные разговоры, разговоры. Нужно уметь владеть собой и своими мыслями.

— Юсо, не забудь саквояж с образцами.

— Он уже в машине.

— Послушай, золотко, возьми с собой фруктов. Хотя бы апельсинов и яблок. Они освежают во время езды. Положить?

— Не нужно. Оставь. Все равно не съем. Я загляну к Лахтинену в Пялькане. Там можно отдохнуть, да и поесть.

© Arvi A. Koristo, 1978.

[1] Финская политическая полиция. *(Здесь и далее прим. перев.)*

— У Лахтинена? Ты же говорил мне, что он умер?

— То был другой Лахтинен. А этот Лахтинен жив.

— А, вот как. Это не тот, у которого мы гостили летом шестьдесят восьмого года? Меня еще угораздило там попасть в крапиву.

— Да.

— Я так и подумала. Поезжай осторожно, Юсо. На дороге страшный гололед. И, пожалуйста, сообщай номера телефонов, где ты будешь останавливаться, не забудь. Ты же знаешь, тебе будут звонить из конторы. Заодно расскажешь, что нового.

— Я позвоню. Не беспокойся.

— Ой, Юсик. Ты такой бледный!

— А что, могу и умереть, вот так, сразу.

— Брось ты болтать ерунду.

— Смерть — естественный процесс.

— Перестань.

Лицо у Туулии становится грустным, она подходит к мужу, прижимается лицом к его груди и замирает на мгновение, медленно поднимает голову и долго смотрит на него, глотая слезы, потом жадно целует. Глубоко вздыхает и, задумчиво поглаживая его лицо, слегка отстраняется. Онемевшие пальцы скользят по подбородку.

— И опять я остаюсь одна.

— Такова уж жизнь. Ничего не поделаешь. Заведи любовника. Хотя бы вон нашего электромонтера или почтальона.

— Оставь свои глупости.

Юсо кашлянул и стал застегивать пальто. Он избегает смотреть в глаза Туулии.

— Я, пожалуй, пойду. Предстоит нелегкий денек. Одной езды триста километров. Да еще в такую погоду.

Туулия вздыхает, вытирает слезы и протягивает руки, словно желая удержать его.

— Юсо!

— Да?— Юсо останавливается в прихожей, уже держась за дверную ручку. Он смотрит на Туулию: знакомый лоб, длинный изогнутый нос, тонкие губы, двойной подбородок, короткая шея, пышная грудь. В овальном зеркале, висящем за Туулией, видна половина зеленого кухонного шкафа и узкий край столика для посуды.

— Зубную щетку взял?

— Да.

— Бритву и полотенце?

— Да.

— Дезодорант? — продолжает перечислять Туулия.

— Да, да.— Юсо смотрит на часы.

— Ну хорошо. Послушай, я ничего не могу поделать, но всякий раз, когда ты уезжаешь... Мне кажется, что ты уходишь навсегда. Этого не следовало бы говорить, но это так.

Юсо поворачивается и возвращается к Туулии. На мгновение он крепко прижимает жену к себе. Опускает сумку на пол и обеими руками обнимает жену. Он глубоко вбирает в себя аромат Туулии и выдыхает, прижимаясь к ее волосам.

— Ничего, у тебя все будет хорошо. Жизнь такая штука, что однажды приходит этот самый последний раз. Мы не в состоянии навечно сохранить друг друга. Я позвоню тебе, когда доберусь до места,— говорит Юсо и пятится к двери. Тяжелая сумка оттягивает руки; он медленно закрывает за собой дверь, зная, что Туулия будет еще долго стоять в сумраке передней, вслушиваясь в шум отъезжающей машины.

«У тебя такой утомленный и нездоровый вид...»

Юсо Тинус сидит в мчащемся автомобиле, он знает, что два человека никогда не в состоянии понять друг друга до конца. Туулия

и не догадывается, что сейчас он способен трезво обозревать всю свою жизнь. И прежние ценности стали ему безразличны.

«Ты выглядишь старше лет на двадцать...» Туулия стоит в халате на пороге спальни в свете разгорающегося утра. Слегка ссутулившись — позади нее запотевшее окно, за которым беспрерывно валит снег.

Юсо Тинус, 55 лет, грушеобразное лицо с залатанными следами двух автомобильных аварий. Лишняя кожа собирается складками жира под подбородком, образует пласты на шее. Юсо весит двести пятьдесят пять килограммов и уже перестал тяготиться своей обременительной полнотой.

Юсо едет в Тампере по Хяменкату [1], скользя в своей железной коробке мимо занесенных снегом памятников у Хяменского моста. А возможно, он катит под взвизг колес по Линнанкату [2] в Турку. Или лавирует между автомобилем, везущим дезодорант, и катафалком на Восточной автостраде в Кулосааре [3]. А может быть, тормозит на перекрестке Кауппурикату и Кансанкату в Оулу, чтобы не наехать на сгорбленную старушку, тянущую за собой пластмассовые санки серо-кофейного цвета. На санках лежат два огромных пакета узорчатой туалетной бумаги. В вихрях снежной метели движение замедленно. Двое мужчин распивают бутылку на церковной паперти. Учитель стоит посреди пустынного школьного двора. На открытом пустыре высится коробка многоэтажного дома. Пустые оконные проемы в блочных стенах. Юсо закурил сигарету и жадно затянулся.

Он вдруг ощутил всю нелепость того, что человек считается вершителем судеб мира. Невыразимо тяжело сознавать, что́ тебя ждет. Какой смысл вести счет годам, когда даже самым дорогим воспоминаниям угрожает забвение, леденящая тишина. Самые близкие уже лежат в земле. Лучше, видно, быть животным, которое не задумывается о смерти.

Юсо едет и зачарованно глядит на сверкающий снег. «Это снежные души порхают»,— сказала про снегопад одна молодая женщина много лет и сто килограммов назад. Снежные души порхали, падали на ее блестящую кожу и таяли. Он, помнится, гладил эту влажную от снега кожу. Он был молод и верил в прочность и незыблемость мира.

Воспоминание детства: снежная метель, настоящая буря, когда он заблудился вместе с отцом и матерью. Они стояли в мягком глубоком снегу и ждали. Тогда он впервые испугался, что умрет. Снег слепил глаза. Он ничего не видел. Ни у кого из них не было ни малейшего представления, откуда они пришли и куда им идти.

«Ты должен пойти к врачу...»

«Чего доброго, еще умрешь!»

Недели две назад он как-то смотрел из окна в вечерние сумерки. Дизельный автомобиль на заднем дворе, тошнотворная вонь керосина, проникавшая даже в квартиру. Какой-то человек, скособочась, опираясь на автомобиль, неуверенно стоял на ногах и бесцельно смотрел на шланг. Тогда земля была еще почти голой. Лишь здесь и там поблескивали тонкие льдинки. При свете уличных фонарей трава казалась зеленой, как весной.

Туулия включила телевизор. Он подошел и удобно расположился рядом с нею. Туулия обняла его, стала гладить расплывшееся тело. Уложила на диван и принялась энергично массировать затылок и плечи.

— Что будет по телевизору? — спросил он.

— Не помню, кажется какой-то фильм.

[1] Улица в Хельсинки.

[2] Улица в Хельсинки.

[3] Пригород Хельсинки.

Первые же кадры вызвали у него ощущение, что он все это уже видел. Люди бегали вверх и вниз по ступеням. Какая-то старая баба крутилась в этой толпе волчком, намереваясь кого-то проткнуть своим зонтиком. Жуткий гвалт и неразбериха.

— Туулия. Мы видели эту картину еще в конце пятидесятых. Мы жили тогда в Васа [1]. В доме у Корсхолмского сквера. Это один из последних фильмов, который мы смотрели в кино. Сидели даже в ложе.

— Я ничего не помню,— вздохнула Туулия.— Еще раз в этом убеждаюсь. Видишь ли, эта операция стерла в моей памяти все пятидесятые годы. Я начинаю что-то помнить только с убийства Кеннеди. Того, первого Кеннеди. Как же его звали?

— Джон.

Тем временем Туулия приготовила чай. В полудреме они досмотрели фильм, в котором было много разговоров, но мало действия. После вечерних известий на шведском языке Туулия убрала посуду со стола. Диктор закончил передачу прогнозом погоды. Затем экран погас. Юсо стоило героических усилий подняться на ноги и выключить телевизор. В это время экран вновь ярко засветился.

Медленно проступили черты лица диктора, который обычно вел передачу последних известий на финском языке. Оно было серьезно, и у Юсо возникло чувство, будто диктор смотрит прямо на него. Юсо вспомнил, что подумал тогда: сейчас произойдет нечто исключительное.

— Начинается передача персонально для бизнесмена Юсо Тинуса,— объявил диктор ровным, невыразительным голосом.

— Туулия! Поди сюда... быстро! — Он попытался закричать, но смог выдавить из себя лишь хриплый шепот.

— Государственный центр регистрации актов гражданского состояния Финляндии сообщает вам, Юсо Габриель Тинус, что день вашей смерти окончательно назначен на первое апреля сего года. Центр советует вам своевременно позаботиться о приведении в порядок ваших дел. Церковь сообщает о своей заинтересованности в очищении вашей души.

— Туулия!

— Ой, Юсо, золотко! Что случилось?

Перепуганная Туулия подбежала к нему, схватила за запястье и принялась считать пульс. Будто сквозь клубящийся туман Юсо различил на телеэкране холодный, неподвижный зимний пейзаж. Тихая, приглушенная музыка и текст — СПОКОЙНОЙ НОЧИ.

— Что с тобой, Юсик?

— Не волнуйся! Пройдет. Сейчас уже много лучше.

— Но ты такой бледный!

— Ничего, обойдется. Выключи, пожалуйста, телевизор.

Туулия была явно озабочена. Он понял, что она испугалась, как бы он не умер. Туулия наполнила рюмку коньяком и буквально влила ему в рот. Обтерла его потное лицо. Ухаживала за ним, как за малым ребенком, до самого всепоглощающего сна.

Юсо Тинус едет и смотрит на снег. Снег подступает так близко, что кажется, будто он едет не по дороге, а в тоннеле. По обеим сторонам лес. У Юсо такое чувство, будто он скользит по тоннелю, огромному, как сама жизнь, а на стенах мелькают картинки из его, Юсо, жизни. Он слышит голос. Кажется, поблизости находится плита, плотно заставленная кипящими, дребезжащими котлами. Его имя выкрикивают где-то за снеговой завесой.

Он едет в тоннеле. Он и не пытается выбраться из него. Он знает, что тоннель — это ловушка. Это судьба.

Юсо Тинус до конца выжал педаль и закрыл глаза.

[1] Город на западе Финляндии.

Глава вторая

Номер гостиницы в Лахти [1].— Юсо не может подняться на ноги.— Предупредительный гостиничный священник спешит на помощь.— Юсо отрекается от прежней пластмассовой жизни.— Госпожа Маркетта Вяянен — родственная душа.— У Юсо привкус крови во рту.

Узкая, серая комната в гостинице. Напротив двери, ведущей в коридор,— плохо вымытое, все в потеках окно. Между низким столом и широченной кроватью — синеватое яйцеобразное пятно на ковре. В ящике стола Библия, конверты и бумага.

Юсо разобрал чемодан; отнес зубную щетку, пасту и электробритву в ванную. На обратном пути остановился посреди комнаты. С минуту он ощущал щемящее тепло от сознания, что находится вне дома, на новом месте. Так приятно быть в движении, слышать и видеть разных людей в разных ситуациях. В человеке всегда можно найти что-то новое. Всякий заслуживает того, чтобы взглянуть на него хотя бы раз.

Юсо шагал взад и вперед в одних носках по мягкому ковру, и тут ему пришло на ум сравнение с медведем. Этаким мохнатым, килограммов на шестьсот, мягко ступающим по нетронутому мху и принюхивающимся к лесным запахам.

Он наступил на пятно, выделявшееся на ковре. Даже через носки почувствовал влагу. От пятна исходил жгуче-терпкий запах. Юсо осторожно опустился на колени и стал принюхиваться. Ковровое покрытие местами прогорело до дыр. От дурманящего запаха ему вдруг стало не по себе, и он решил выйти из номера. Однако ноги подогнулись, и Юсо упал на бок. Тяжело вздохнул и попытался подняться. Тщетно. Без сил он упал на пол около источавшего резкий запах пятна.

— На помощь,— крикнул он.— Помогите!

Делать нечего — пришлось, перекатываясь, добираться до телефонного столика. Он дотянулся до телефонной трубки, взял ее в руки и набрал наугад пару цифр. Ведь по каждому номеру должен кто-то ответить. И почти тотчас на другом конце провода ответил вежливый мужской голос; незнакомец обещал прийти поднять его.

Раздался стук в дверь, и в комнату кто-то вошел. Снизу, с ковра, спаситель чем-то напоминал рыбу, возможно своими выпученными невыразительными глазами. На нем была сутана священника.

— Так вы священнослужитель?

— Да. Я священник этой гостиницы,— изрек человек и мощным рывком поставил Юсо на ноги.

— Вот как, священник гостиницы? Куда только эта церковь не запустила свои щупальца.

— Еще что-нибудь требуется?

— Сколько стоит ваша помощь?

— Как совесть подскажет.

Юсо достал кошелек, вынул бумажку в десять марок и кинул ее в направлении священника. Последний дал бумажке опуститься чуть не до самого пола и лишь тогда подхватил ее. Юсо вдруг почувствовал симпатию к священнослужителю. Этот человек умел себя держать.

— Принесите-ка мне большую картонную коробку, чем больше, тем лучше.

— Картонную коробку? — От удивления тот даже заикнулся.

— Да. Картонную коробку.

— Хорошо,— мягко промолвил человек и исчез в коридоре, прикрыв за собой дверь.

[1] Город на юге Финляндии.

Дверь открылась вновь, и появился священник с картонной коробкой. Она будто ждала его за дверью.

— Что еще?

— А вы слишком проворны для священника! — с искренним восхищением сказал Юсо.— Вы, наверно, за полдня способны полонить изрядное число душ.

— Спасибо за любезность, но обслуживание по части душ не относится к сфере моей деятельности. Я всего лишь чиновник. Связной в своем роде. Желаете специалиста по душам? Могу пригласить.

— Нет, нет... не нужно,— заволновался Юсо.— Уж я как-нибудь сам обойдусь в этом мире.

Он взглянул на спокойное, холеное лицо священника. Оно источало мягкую благодать, вводило в томное оцепенение, как бывает погожим июльским днем. Скрещенные руки его покоились на животе.

— Моя матушка мечтала сделать из меня священника,— сказал Юсо,— но даже в молодости я не мог доброжелательно относиться к священнослужителям. Мне казалось, что все они в какой-то мере устраивают цирк с аттракционами. Деньги-то собирают с народа испокон веков, а взамен все одни и те же слова.

— Это вы так считаете,— улыбнулся священник.

— Откровенно говоря, мне кажется весьма странным, что господу нужно столько слуг, чтобы обеспечивать свое существование.

— Церковь никогда не претендовала на совершенство,— улыбнулся священник.— Вот и я всего лишь скромный чиновник, у которого нет даже права выступать с проповедью. А гостиничный номер, согласитесь,— не церковь.

— Хорошо, хорошо. Но мне нужны дела, а не слова,— почти прокричал Юсо. Он прошагал к столу и принялся распаковывать свой саквояж. Он расставлял пластмассовые кружки, чашки, миски, стаканы, тарелки, банки, соковыжималки, яблокорезки, томатницы, планки, вешалки, подносы, цветочные горшки, лейки, круглые, четырехугольные коробки — восемьдесят шесть видов пластмассовых изделий выстроились правильными рядами на столе, на полу, на кровати.

— Что, удивил я вас, поп гостиничный,— заметил не без иронии Юсо.— Здесь только часть моего арсенала. Жаль, что вам не понять меня.

— Пожалуй, вы правы. Я, очевидно, могу идти. Клиенты ждут.— Священник сделал несколько шагов к двери.

— Стоп! Погодите, добрая душа. Я ведь тоже клиент.

— Да, но вам, кажется, уже известен день вашей кончины,— бесстрастно произнес гостиничный священник.

Холодная дрожь пробежала по телу Юсо. Лицо у священника было безмятежное. Юсо стало обидно. Он едва выбрался на границу света и тьмы и вдруг рухнул во весь рост во тьму.

— Послушайте, я продаю изделия из пластмассы! — вспылил Юсо.— Есть у вас, попов, хоть какое-то представление о том, что значит пластмасса в нынешнем мире? Без пластмассы я не мог бы спокойно спать. Пластмасса — моя опора в жизни. Она моя философия! Все в нашем мире пластифицируется, и не имеет смысла препятствовать этому процессу. Да здравствует пластмассовый мир! Пластмасса! Иногда мне кажется, что у меня даже мозги пластмассовые. Для меня ничего не существует, кроме пластмассы. Знаете ли вы, непутевый поп, что даже библии изготавливаются из пластмассы. И гробы. Церковные кресты. И облатки начнут изготовлять из пластмассы, как только желудок научится ее переваривать. Да и церкви уже не обойтись без пластмассы.

— Это вы узнали по радио или по телевидению?

— Да пробудитесь же, милый человек! Попытайтесь увлечься, хотя бы потому, что мне этого хочется.

— Хорошо.

— Попробуйте на вкус, хотя бы опыта ради, слово «пластмасса». Пластмасса. Пластмасса. Да повторите же — ведь говорить пока еще, кажется, не грех! Пластмасса. Произнесите же слово «пластмасса»! Пластмасса. Всевышний. Пластмасса. Вечная жизнь. Пластмасса. Женщина. Пластмасса. Чек. Пластмасса. Вино. Я люблю тебя, пластмасса. Я хочу прижать тебя к своей груди, пластмасса. Пластмасса пластифицируется из пластмассы в пластмассу.

— Пластмасса — это смерть,— отрезал священник.

— Хорошо!

— Пластмасса — это ад.

— Хорошо, хорошо.

Юсо подошел и похлопал священника по плечу.

— Пластмасса — это зубовный скрежет,— воодушевился священник.

— Хватит, хватит. Гостиничный номер — не церковь.

— Извините.

Юсо бросил взгляд в окно. Силуэты многоэтажных домов расплывались в вихре крутящегося снега. Темные проемы окон едва виднелись. В домах — невидимые люди. Люди, которые задыхаются в своих конурах, расправляют натруженные плечи, неумолимо приближаясь к концу своему.

— Послушайте, я посвятил добрых два десятка лет своей жизни продаже вот этих пластмассовых штучек,— произнес Юсо, отворачиваясь от окна.— Попробуйте представить себе жизнь среди пластмассы. А мы изготовляем десятки и сотни тысяч изделий. Я делал сначала все сам, все от начала и до конца. Разрабатывал модели, испытывал различные смеси, и прежде чем запускать в производство... да вы смеетесь!

— Нет.

— Прекрасно. У вас нет никаких оснований для смеха. Как священник, вы знаете, что такое коммерция и какова участь малых фирм. У вас во все времена хозяйство было хорошо поставлено. Церковь ведь существует давно и научилась взимать лепту с прихожан куда менее заметно, чем это делает государство, которое всегда грубо вело свои налоговые дела. Мне бы, наверно, надо было податься в попы. Каковы, кстати, доходы гостиничного священника в месяц?

— Мне, пожалуй, пора. Ничем больше не могу быть вам полезен. Меня ждут в сауне.

— Одну минутку.

Юсо придвинул картонный ящик к столу.

— Сейчас вы узрите маленькое чудо, ради которого я пригласил вас сюда.

Он сгреб со стола все пластмассовые изделия. Собрал кружки и банки, стоявшие на кровати и на полу, и кинул в ящик. Он хватал проспекты, бланки заказов, анкеты и швырял в пластмассовую кучу. Он взял толстую пачку визитных карточек, мелко искрошил их и тоже отправил в ящик. Он так усердствовал, что даже стал задыхаться. Наконец, дело было сделано, и он разразился сочным, торжествующим смехом.

— Вот, все свершилось, гостиничный поп! Вы поверили, что моя жизнь — это сплошная пластмасса. Однако вы присутствуете сейчас при поворотном моменте в моей жизни. Я в состоянии отказаться от всего, чем я жил, и отказываюсь. Теперь мне все безразлично. Мир, в который я верил, валяется в этой картонной коробке. А вот вы, могли бы вы с такой же легкостью отказаться от своей философии, а? Нет. А теперь можете убрать весь этот мусор прочь.

Гостиничный священник недоуменно уставился на Юсо.

— Все, все прочь... не может быть!

— Прочь, прочь, прочь, все это дьявольское дерьмо! Закопайте этот хлам. Выбросите его на свалку. Отправьте хоть на луну. Вон, вон!

Священник вынул из ящика томатницу и, словно любимую женщину, стал поглаживать ее пластмассовые бока.

— Вы, директор Тинус, принимаете слишком поспешно решения. Не отвергайте пластмассу. У вас есть жена и обязанности перед обществом. Вам положено жалованье до самой вашей смерти. Ради пластмассы все же стоит жить.

— Значит, вы советуете мне продолжать,— пробормотал Юсо.— В кого же вы все-таки верите — в пластмассу или в господа бога?

— По долгу службы — в бога.

— А на самом деле?

— Это зависит от обстоятельств. Что в данный момент выгоднее. Деньги ведь не пахнут.

Юсо вынул из кошелька бумажку в сто марок и положил ее на раскрытую длань.

— Унесите все это дерьмо. А то, как я намереваюсь жить, не касается попов, даже и гостиничных, так что лучше перестаньте нести околесицу.

Священник вытащил картонный ящик в коридор. Пластмасса дребезжала и позвякивала. А Юсо, изрядно устав, присел на кровать. И тут почувствовал, что очень голоден. Голод проник буквально в каждую клеточку его тела. У него было такое ощущение, точно он— туго скрученный жгут. Сухой, до последней капли выжатый.

— Я хотел бы поблагодарить...— Рыбья физиономия священника появилась в приоткрытой двери.

— Убирайтесь к дьяволу!

— Спасибо, но служебные обязанности велят мне двигаться как раз в обратном направлении.

Наконец-то Юсо остался один. Подталкиваемый голодом, он выглянул в окно. Снегопад прекратился. Все вокруг было белым. На заднем дворе гостиницы разгружали пикап. Свет автомобильных фар падал на снег. Коренастый мужчина выскочил из фургона с большой кипой чего-то белого в руках. Уж не снег ли? Нет. Туалетная бумага. Большущая охапка чистой туалетной бумаги.

— Я пью только водку,— сообщил Юсо Тинус пышной барменше, которая пресимпатично и очень кокетливо косила.

— Вот и прекрасно,— сказала барменша.— А с чем мы ее смешаем?

— Добавьте брусничного сока и три кусочка льда.

— Отлично. Я тоже пью водку только с брусничным соком.

— Значит, мы в некотором смысле родственники.

— Во всяком случае, родственные души,— сказала хозяйка бара и вытерла насухо стойку. Она то и дело отходила к дальнему концу бара обслуживать других клиентов. А Юсо в такие минуты от нечего делать принимался считать бутылки на полках — он насчитал двенадцать штук. Затем попробовал прочесть названия на этикетках и вволю поломал язык, произнося иностранные слова. Он допил свой стакан и слегка постучал по стойке.

У барменши был хороший слух — она улыбнулась и кивнула. Кого-то она ему напоминала. Какую-то женщину, которую он видел здесь, в Финляндии, а может быть, еще где-то. Во время увеселительной поездки в Париж то ли в 1956 году, то ли в 1964 году на скандинавском совещании фирм, занимающихся выпуском пластмассовых изделий. Он мог ее видеть в сотне разных мест и при самых разных обстоятельствах. Мог видеть фотографию похожей женщины в каком-нибудь журнале. А может быть, она являлась ему во сне.

— Еще раз то же самое, моя милая,— сказал он и громко рыг-

нул.— Прошу прощения. Здесь у вас удивительно хорошо кормят. Я съел целых три порции. И теперь все это не желает оставаться в желудке.

— Да,— улыбнулась женщина,— у нас на кухне работают свои большие специалисты да двое итальянцев. А на летний сезон мы еще пригласили японца. Кроме того, клиентам нравится, что у нас недорого. Я тоже столуюсь здесь скоро уже пятнадцать лет.

— И все еще живы?

— При таком жалованье даже на похороны не хватит.— Барменша позвякивала льдом в стакане.— Так что хочешь не хочешь — живи, перебивайся как можешь.

— Знаете, мадам, я недавно упал в своем номере.

— Да ну! Ушиблись?

— Нет. Но я не смог сладить со своей тушей и без посторонней помощи подняться, мне пришлось позвонить по телефону, и ко мне явился священник. Гостиничный священник. Есть здесь такой, или он наврал мне?

— Есть. Прижился. Не хочет, говорят, получать приход. Этот святой нахлебник издали чувствует, где пахнет деньгами. Мы его не очень жалуем, но клиенты от него без ума. Многие, подвыпив, хотят поговорить по душам, а он умеет слушать — особенно если ему за это приплатят.

Юсо расправился еще с одним стаканчиком и заказал новую порцию.

— Мадам, а мы никогда не встречались прежде?

Женщина внимательно посмотрела на него.

— Кажется, нет.

— Попытайтесь вспомнить.

Она посмотрела еще раз, закрыла глаза и взглянула опять.

— Нет. Я так мало передвигаюсь по белому свету. Правда, на позапрошлую пасху мы с друзьями ездили в Ленинград. Иногда бываю в Хювинкя.

— Вы замужем?

— Была,— вздохнула она.

— Развелись? Или вдова?

— Развелась. Мой бывший муж ударился в религию. У него было очень хорошее место, но нервы сдали. Он сейчас где-то в Южной Эстерботнии [1] выступает с проповедями. Летом я даже видела его фотографию в журнале. В каком-то еженедельнике — там писали не очень хорошо об их обществе. Забавно было видеть его в том самом пиджаке, в котором он ушел из дому. Должно быть, его нынешние занятия не очень-то доходны, или же он, бедняжка, не может постоять за себя.

— А сами вы, значит, ни во что не верите?

— В моем возрасте уже поздно верить.

— А я давно перестал верить. Вот скоро собираюсь умереть.

— Простите?

— Видите ли, господь бог ведь перебрался в Вашингтон. Поселился в Белом доме. Обсуждает с президентом общие коммерческие дела и проблемы. А ЦРУ претворяет в жизнь их решения. Умереть я собираюсь в начале апреля. Об этом сообщалось по радио. Церковь охотится за моей душой, но из этого ничего не выйдет.

Женщина пристально посмотрела на него.

— Да вы просто пьяны.

— Значит, я у цели.

— Извините. Я еще подойду к вам. А то клиенты ждут.

Она все уменьшалась и уменьшалась и, наконец, точно марионетка повисла в воздухе у другого конца стойки. Прищуренные глаза ее лучились улыбкой.

[1] Район Финляндии.

А Юсо все чаще подумывал, что теперь он будет вести уже чисто растительный образ жизни. И, видимо, закончит свое существование, отказавшись от какой бы то ни было системы взглядов. Впрочем, он и не чувствовал в ней необходимости. Всю жизнь он был пленником определенных воззрений. Теперь он хотел взорвать все, что связывало его с ними. Вещи и идеи, одежда и люди — все одно. Воззрения, как ему казалось, порождены страхом смерти, желанием бежать от нее, стремлением навечно оставить после себя след.

У него и не должно быть иной заботы — главное, чтобы работало сердце, легкие, печень, почки и кровь текла по жилам. Просто как-то неприлично умереть до официально объявленной даты. Значит, нельзя подвергать себя никаким потрясениям.

— Ну как, повторим то же самое? — Барменша стояла с бутылкой в руке.

— Да, то же самое. А после смерти у меня появятся крылья?

— Вот уж этого я не знаю,— рассмеялась она.

— Если и душа моя весит двести пятьдесят пять килограммов, взлететь ей будет нелегко. До звезд ведь далековато.

Барменша наполнила рюмку.

— Но вы еще успеете похудеть, прежде чем отправитесь в полет,— заверила она его.— Вы женаты?

— Да, был. А вы не знаете мою жену? Ее зовут Туулия.

— Не могу же я знать всех жен.

— Туулии в шестьдесят втором году удалили матку, и она утверждает, будто не помнит ничего, что до тех пор было. Не помнит ни Олимпийских игр в Хельсинки, ни много нашумевшего убийства Кюллики Саари, ни триумфа Арми Куусела[1]. Помнит лишь то, что случилось после убийства президента Кеннеди. Странная история. Даже нашей брачной ночи не помнит. Хотя, по правде говоря, о ней и вспоминать нечего.

— А что, разве она прошла не так, как положено? — заинтересовалась женщина.

Юсо отщипнул длинную заусеницу у ногтя.

— У меня было сильное расстройство желудка. Всю брачную ночь я просидел в туалете и пил виски.

От хохота барменша заколыхалась всем телом, и слезы полились у нее по щекам. Внезапно стена накренилась, и Юсо вцепился в стойку бара. Он чуть не упал с вращающегося кресла у стойки.

— Что случилось? — всполошилась барменша.

— Мне как-то не по себе. Нужно поскорее добраться до номера. Позвольте расплатиться.

Он протянул барменше купюру. Все вокруг него колыхалось, как на волнах. Он осторожно выбрался из кресла. Музыка резала слух. Барменша принесла сдачу.

— Ах, господи. Вам лучше? Могу я чем-нибудь помочь?

— Можете. Мне бы хотелось продолжить нашу беседу.

— Ах, вот оно что.— Барменша инстинктивно поправила волосы.

— Когда заканчивается ваш рабочий день?

— Я освобожусь в два. В час пятнадцать мы прекращаем обслуживать клиентов, но я должна еще немного задержаться.

— Приходите ко мне в номер.

— Право, не знаю,— замялась барменша.

— Зато я знаю. Номер триста два. Я пошел спать. Вы меня разбудите.

— Разбужу,— многообещающе улыбнулась барменша.

— Непременно?

— Непременно. До встречи.

— До свидания и привет вам!

---

[1] Финка, удостоенная звания «мисс Вселенная» на конкурсе красоты в 60-х годах.

Барменша — звали ее Маркетта Ваянен — разбудила его звонком в дверь без пяти два и попросила подойти к ресторану. Служащим отеля не разрешалось заходить в номера. На улице Маркетта Ваянен взяла его крепко под руку и бесцеремонно втолкнула в такси. Затем назвала свой адрес, и они поехали по тихим ночным улицам. Маркетта помогла Юсо выбраться из машины, открыла дверь и втолкнула Юсо в лифт.

— А ты и вправду пухленький! — ахнула Маркетта, снимая с него одежду.— У меня никогда еще не было такого дородного гостя. Клянусь!

— Послушай, как там тебя? — Юсо Тинус пытался собраться с мыслями.

— Маркетта Ваянен.

— А я — Юсо Тинус.

— Ты уже говорил.

— У тебя тут приятно пахнет. Сам не знаю почему, но это местечко напоминает мне Керава. Керава или Ярвенпя[1]. Я их всегда путаю.

— Ты, наверно, много путешествовал,— сказала Маркетта, стягивая с него рубаху. За головой Маркетты поблескивала красная лампа, освещавшая метровую книжную полку и что-то яркое — то ли покрывало, то ли домотканый ковер.

— Да, я побывал, пожалуй, во всех финских городах. Изделия нашей фирмы есть ведь в каждом доме. Послушай, женщина, я бывал в четырнадцати странах. И мне все равно где быть, но на родном языке все же говорить легче. Можно говорить автоматически, будто сквозь дрему, не нужно постоянно думать.

— Юсо, тебя раздевать догола? — вздохнула истомившаяся Маркетта.

— Да перестань, черт побери, меня дергать. Только Туулия умеет меня раздеть. Такая терпеливая женщина. А во время поездок приходится ходить в общественную баню, чтобы меня раздели. Когда был помоложе, подговаривал девочек из поликлиники, а теперь они не желают ни в какую.

Маркетта наконец уложила его на кровать, под одеяло, разделась сама и нырнула к нему под бочок. Юсо почувствовал горячие мягкие бедра, прижавшиеся к его телу.

— Тебе хорошо? — Маркетта обвилась вокруг него, крепко прижалась и стала теребить губами мочку его уха.

— Да, хорошо. Я всегда говорил, что секс — это единственная в мире сила, продлевающая жизнь. Если человек перестает любить, он быстро дряхлеет и разрушается, как трухлявое дерево. Но чем объяснить, что даже человек, находящийся, подобно мне, на краю могилы, стремится до последнего мгновения быть с женщиной?

— Брось, Юсо, говорить ерунду. До смерти тебе еще далеко.

— Страсть дарит наслаждение,— размышлял Юсо.— Вдыхать аромат женщины и чувствовать всей своей плотью, как она начинает распаляться,— это словно дурман, это пьянит. Когда я был помоложе, у меня в такие минуты всегда появлялся во рту привкус крови. Странно, конечно. Совершенно отчетливый привкус крови.

— А ты слегка с приветом,— засмеялась Маркетта.— Скажи-ка, а твоя Туулия хороша в постели?

— Право, не помню.

— Не помнишь... не помнишь чего?

— Туулию. Как женщину. Помню ее руки и плечи. Как она возится с посудой или вытирает пыль. Расстилает скатерть на столе. И голос ее помню. А вот лица не помню.

— Ой, Юсо, бедняжка. Ты говоришь так, будто видел свою Туулию сто лет назад.

[1] Города на юге Финляндии.

— Последние двадцать лет мы жили вместе по расчету,— вздохнул Юсо.— В нашем доме не было тепла. Поэтому лучше, когда один постоянно в разъездах, а второй сидит дома и следит за счетами и отвечает на телефонные звонки. Туулия незаменима в этих делах.

— Послушай. Ты какой-то странный. У меня еще никогда не было такого забавного чудака.

— У тебя этих самых чудаков, видно, здесь побывало больше чем нужно,— заметил Юсо.

— Мужчины действительно не обходили меня вниманием,— звонко рассмеялась Маркетта.— Да и я без ума от мужчин. Вот иду по улице, вижу симпатичного мужчину и сразу начинаю прикидывать, как бы его заполучить. Особенно тяжело мне летом, когда и без того жарко.

Женский голос ласкал слух Юсо. Не вникая в смысл слов, он слушал его, как музыку.

— Маркетта, а какой мужчина, по-твоему, заслуживает наивысшей оценки?

— Ой, Юсо, ты задаешь трудные вопросы,— вздохнула Маркетта и задумалась.— Ну ладно, слушай. Иногда попадается мужик что надо, а бывает, злишься на себя, что пошла с ним. Мой прежний муж был, правда, хорош. Такой был нежный и обходительный и всегда подлаживался под меня... будто мы с ним на лыжной прогулке, и он все спрашивал меня, не слишком ли быстро он идет, подходит ли мне скорость. Ну, а в этом деле должно быть безрассудство. И нежность и неистовство. Свет оставить?

Юсо почувствовал, как бьется у него сердце. Он был жив, и он хотел жить.

— Мне не мешает.

— И мне приятно. А многие не любят, когда свет горит.

— Да, скажи-ка еще раз, как тебя зовут?

— Маркетта. Маркетта Ваянен.

— Маркетта. Знаешь, я забыл, в каком мы сейчас с тобой городе.

— Ой, Юсо, бедняжка,— засмеялась Маркетта и крепко обняла его.— Мы с тобой, Юсик, в Лахти. Неужели у тебя в самом деле такая плохая память? Ну что, есть у тебя привкус крови во рту?

— Да. Совершенно явный... Маркетта, милая. Остаток моей жизни — в этом мгновении с тобой. А у тебя еще все впереди.

Маркетта Ваянен разрыдалась. Юсо Тинус тяжело повернулся на бок и положил руку Маркетте на лоб.

— Маркетта, тебе хорошо?

— Хорошо.

— А у меня привкус крови во рту.

— Да ну!

— Да. Такого я не испытывал лет четырнадцать. Теперь и умереть можно.

— Да не говори глупости, Юсо. Не умрешь ты. Ты еще осчастливишь многих женщин.

— Секс — это, конечно, восхитительно. Праздник тела. Вряд ли ты почувствовала бы себя такой счастливой, если б вместо этого получила от меня тысячу марок.

— Ой, Юсо, что ты, мне хватит гораздо меньше.— Маркетта погладила его по лицу.— Ты такой спокойный. Такой большой. Тебя никому не одолеть. А ты и представить себе не можешь, Юсо, как я иногда боюсь.

— Хм. Чего же ты боишься?

— Всего. Смерти и что никто больше не заботится обо мне. Ох, если б человек мог застраховать себя от всех бед и несчастий.

— Да, это было бы действительно здорово,— задумчиво произнес Юсо.

— Послушай. На прошлой неделе со мной приключилась странная история. Я шла на работу по улице Александра, и вдруг передо мной остановился автомобиль. Это был катафалк. У меня возникло такое чувство, что это за мной! А из него высунулся человек и спросил, как проехать в Муккула [1]. Я остолбенела и не могла ничего ответить. Хорошо, что в этот момент подошел какой-то мужчина и все им объяснил.

— Стала бы ты страховать свою душу, если б можно было?

— Конечно, если только это не выдумка сектантов. Я бы не хотела вступать в отношения со своим бывшим мужем.

Юсо Тинус привлек к себе Маркетту Ваянен.

— Маркетта, я начинаю новую жизнь,— сказал он.

— Правда?

— Да. Новую, короткую жизнь. Я чувствую, что способен на это. Я превращу один день в годы.

— Ты такой сильный, Юсо.

— Я есть, и я живу. А теперь можешь погасить свою лампу.

Маркетта погасила.

— Ах, папочка, душка,— донеслось из темноты.

Глава третья

Автострада Лахти — Тампере неподалеку от села Лампи.— Юсо пробуждается в кювете и размышляет, каково это — быть заживо погребенным в снегу.— Смышленый юноша спешит ему на помощь.— Юсо, опасаясь за судьбу юноши, берет его к себе шофером.

Автострада Лахти — Тампере проложена так, что при выезде из Лахти село Лампи остается по правую сторону дороги.

Пейзаж от Лахти до Лампи — самый обычный, но и безынтересным его не назовешь. Поля, леса, дома, одинокие деревья.

Юсо Тинус узнал о существовании Лампи по дорожному знаку, указывавшему дорогу к этому церковному приходу.

Лишь в последний момент он увидел, что перед ним две дороги — одна идет прямо, а другая сворачивает направо.

В себя Юсо пришел уже в кювете. Его автомобиль увяз в мягком белом снегу до середины лобового стекла. Открыть дверь Юсо не мог. На всякий случай он дал газ, но колеса только пробуксовывали. Обогревательная система работала, радио тоже. Юсо попадал в переделки и похуже.

Сейчас он был в состоянии лишь достать из отделения для перчаток коробку с сигарами. Тщательно увлажнив сигару кончиком языка, он раскурил ее. Можно и умереть вот так, постепенно погружаясь в снег, подумалось ему. Не столь быстро, как в снежную пургу, а медленно, когда тебя заносит постепенно, в течение пяти-шести часов. Нужно много снега, чтобы это произошло. Снег должен быть воздушным, мягким, и снежинки будут сверкать в свете далекого фонаря или фары. Нечто подобное можно увидеть в автомобильной мойке. Когда машина движется сквозь перекрещивающиеся струи воды навстречу ясному дню.

В зеркало Юсо заметил человека, робко приближавшегося к автомобилю. Человек был молодой, но уже не мальчик. Длинные руки его свисали почти до колен. Юсо осторожно открыл ветровичок. Он боялся спугнуть молодого человека.

[1] Район города.

— Алло, юноша! Подойдите, не бойтесь,— начал он переговоры.— Я живой.

Парень остановился, испуганно глядя из-под своей мохнатой шапки.

— Я финн.

Парень оглянулся, посмотрел по сторонам и, осмелев, сделал два шага к автомобилю.

— Я живой,— повторил Юсо.

Парень, поскрипывая валенками, подошел к нему.

— Так что, машина завалилась в кювет?

— Да.

— Дорога-то тут такая, что не собьешься.— Парень спрыгнул в сугроб перед автомобилем и осмотрел его сзади и спереди.

— Я, видно, вздремнул.

— А-а-а. Не ушиблись?

— Кажется, нет, во всяком случае не очень. Но беда в том, что я не могу выбраться отсюда. Вы не могли бы помочь? Наверное, вы знаете, что́ в таких случаях надо делать? Вам оттуда видней.

Парень посмотрел на автомобиль, на дорогу и на свои руки.

— Попробую взять у соседа трактор. А вы пока посидите здесь в свое удовольствие. Будьте покойны, до весны вы отсюда выберетесь.

И парень побежал — только валенки замелькали. Не успел Юсо погрузиться в раздумья, как тот уже снова появился на небесно-голубом тракторе. Со знанием дела он разгреб снег вокруг машины. Хорошо утрамбовал его сзади. Внимательно изучил форму кювета и уклон дороги. Трижды измерил расстояние между автомобилем и трактором. Взглянул на небо, понюхал воздух, будто предстоящая операция требовала определенных погодных условий.

Казалось, парень принял во внимание все возможные и невозможные варианты. Автомобиль должен выбраться из кювета в любом случае. Парень, видно, был тавастландцем по меньшей мере во втором или хотя бы в третьем поколении [1].

Наконец он взял трос и закрепил его на бампере. Сантиметр за сантиметром осмотрел трос. Он был исправен. Не лопнет. Молодой человек окинул все взглядом еще раз и, подойдя к автомобилю, спросил:

— Пойдет?

— Пойдет.

Машину качнуло туда-сюда, и она оказалась на дороге. Парень соскочил с трактора, ухмыляясь во весь рот, и начал сбивать снег с автомобиля варежкой. Юсо приоткрыл стекло и помахал ассигнацией.

— Пятьдесят марок хватит?

— Точненько,— заржал парень, схватил бумажку и засунул ее в свой замусоленный кошелек.

Парень вернулся к трактору и, остановившись возле него, стал наблюдать за Юсо. Заиндевелые рукавицы на руках. Унылый, безразличный взгляд из-под шапки. Длинные, повисшие вдоль тела руки. Шмыгающий нос.

— Теперь, пожалуй, я могу двинуться в путь,— громко сказал Юсо. Парень молчал. Юсо следовало бы включить передачу и дать газ, но он медлил.

— Что, коробка передач не срабатывает?

— Спасибо за помощь,— ответил Юсо. Тревожный, неподвижный взгляд парня преследовал его. Никогда прежде человеческий взгляд не вызывал в нем такого беспокойства.

---

[1] Уроженец провинции Хяме, выходцы из которой известны своей предприимчивостью.

Если бы он сейчас уехал, то почувствовал бы себя виноватым в том, что бросил парня на произвол судьбы. В этом мальчишке просматривались и другие задатки, кроме любви болтаться по дорогам. Что ожидало его здесь, в Лампи, на маленькой десятигектарной усадьбе. Всю лучшую пору своей жизни парнишка с утра до вечера будет сеять и молотить. Чинить разваливающиеся машины, угощать кофе свору всяких консультантов и советников по сельскому хозяйству и в конце концов женится на какой-нибудь соседской девчонке. Трудиться и трудиться чуть не до потери сознания, особенно летом, чтобы обеспечить хлебом и молоком людей, которых он даже не знает и которые поносят его, крестьянина, почем зря в печати и по радио.

Юсо внимательно смотрел на ширококостного парня, жизнь которого была заранее предопределена от рождения и до похорон.

— Послушай, парень.

— Так всегда говорит дева Ева.

— Ты ничем не связан, можешь пойти куда глаза глядят?

Парнишка стянул с рук рукавицы и обил их о голенище валенка, стряхивая снег. Он взглянул на избы и неожиданно повернулся в сторону Юсо.

— Ничего у меня за душой нет, черт побери!

— Хорошо! Поедешь со мной. Я уже не справляюсь с этим автомобилем. Станешь моим шофером.

Открытый взгляд парня понравился Юсо. В городах так смотрят очень немногие, если вообще смотрят. Это просто удивительно, как парню удалось сохранить душевную чистоту в такой близости от города.

— Надо бы вернуть трактор соседям. А заодно заскочить домой, сказать, что, мол, ухожу.

— А если они тебя не пустят?

— Какого дьявола не пустят, пустят! Рады еще будут избавиться. Все равно все здесь вылетят в трубу.

— Так я жду тебя,— сказал Юсо.

Проснулся он оттого, что парень выволакивал его из-за руля. Машина снова помчалась. Паренек уверенно вел ее. Юсо обнаружил, что теперь он в состоянии думать куда последовательнее, чем сидя за рулем. Он подумал о Маркетте Ваянен, о Туулии. Помечтал о лете, которое, судя по сообщению государственного центра по регистрации актов гражданского состояния, он едва ли увидит. Он поразмышлял о своей жизни, однако не смог собрать воедино разрозненные осколки воспоминаний.

Когда они повернули на автостраду Хямеентие, парень первый раз за двадцать километров открыл рот.

— Никак не мог найти эту самую страховку по болезни. Оказалась в кармане комбинезона, в хлеву.

— Вряд ли она понадобится,— заметил Юсо.

Парень включил последнюю скорость и серьезно взглянул на него.

— Как знать. Разумней все-таки, когда права и эта страховка при тебе, что-нибудь из них наверняка уцелеет, легче опознать труп. И не нужно будет понапрасну таскаться с ним туда-сюда, если адрес известен.

— А зовут-то тебя как? — поинтересовался Юсо.

— Пертти Юхани Ламминен.

— А я Юсо Тинус.

— А-а-а, Тиинес? [1]

— Да нет, просто Тинус. Ти-нус.

— Ага. Тиинус [2]. Странная фамилия. У нас в церковной школе

[1] По-фински означает: беременный.

[2] По-фински означает: кадка, бочка.

у одного парня была фамилия Киималайнен[1], а у двух других — Сикио[2], хотя оба они были из разных мест. Переселенцы.

Автомобиль несся вперед легко и плавно, как по рельсам.

— А я вовсе никуда не удираю,— произнес Пертти Ламминен, как бы обращаясь к самому себе.— Одна девка там, в Лампи, осталась. Она, может, маленько поревет по мне. Такая вот штука.

Юсо не откликался. Он закрыл глаза и задремал.

Глава четвертая

Номер 11 в гостинице города Форсса.— Вид на реку перекрыт хлопьями мокрого снега.— Сон Юсо о Туулии и некоторых других на лугу.— Женщина в шубе хочет всю жизнь слушать финские народные песни.— Скромная конторская служащая сообщает, что больше всего на свете боится черных дыр в космосе.— Страховка души стоит столько же, сколько пара колготок.— Юсо Тинус получает серьезное предупреждение.— Юсо настоятельно советуют составить завещание.

Номер 11 в отеле города Форсса. Полдень. Вид из окна на реку перекрыт хлопьями густого мокрого снега. Проснувшись, Юсо почувствовал себя необычайно бодрым. Белый и огромный мир стоял в первозданной своей красе. Дома, заводы, учреждения — все на своих местах. Люди слушали, подчинялись и верили. Юсо с большим аппетитом съел десяток-другой пышащих жаром сосисок.

Он позвонил Туулии ровно в девять и сообщил, что находится в Форсса.

— Мне так недостает тебя, Туулия,— сказал он.— Я видел ночью удивительный сон.

— Ой, Юсо, наконец-то ты позвонил! Я так ждала и боялась и опять ждала. Какой же тебе приснился сон?

— Было лето. Ты, молодая, ходишь по лугу близ Куопио. А на лугу людей, что кольев понатыкано. И все они наши знакомые и незнакомые тоже. Шведский король там был и папа римский, был и Денни и много других. Ты искала меня среди этих хиппи и попов и выкрикивала мое имя на всех языках. Ты, кажется, собирала добровольные пожертвования. В руках у тебя была моя старая фетровая шляпа, которую я когда-то купил на базаре в Ювяскюля. Когда ты подошла ко мне, я закричал. Юсси Юркка[3] ел через мою голову с чужой тарелки, не касаясь пищи руками,— он уверял, что это сейчас очень модно в Хельсинки. Затем все отправились в баню, где Виролайнен и Веннамо[4] по очереди поддавали пару. Некая Маркетта Ваянен натирала мне спину. Весь сон, надо сказать, был какой-то нереальный. Тайсто Синисало[5] продавал в железнодорожном вагоне лотерейные билеты коалиционной партии[6] и очень рассердился на меня за то, что я не купил.

— Юсик, золотко мое. Неужели все это было в одном и том же сне? Ты не путаешь?

— Было, было. Я и половины не упомянул того, что там было! Вспомнил еще, что у тебя прямо на лугу родился ребеночек.

— Не может быть!

— Да, да, именно так! Он был красный, как рождественское яблоко, и от него так замечательно пахло. Такой свеженький, будто его вот-вот испекли — только что не дымился.

---

[1] По-фински означает: похотливый.
[2] По-фински означает: зародыш, эмбрион.
[3] Финский драматический актер.
[4] Соперничающие финские политические деятели.
[5] Финский политический деятель
[6] Правая политическая партия Финляндии.

— Юсо! Ты все еще любишь меня? — воскликнула Туулия.— Юсо! Возвращайся скорее домой... Юсо! Я не могу жить без тебя. Юсо! Здесь так тихо, будто в могиле... Мне страшно здесь, Юсо!

— Туулия. Успокойся, Туулия,— ответил Юсо.— Туулия. Мы же не можем быть вместе вечно,— заключил он.

Дверь номера рывком открылась. В комнату ввалился жизнерадостный и совсем юный паренек по имени Пертти Ламминен во всем новом, на что в магазинах города Хямеенлинна вчера было истрачено более двух тысяч марок.

— В распоряжении господина директора всего десять минут, после чего народ повалит валом,— напомнил Пертти, водрузив на стол позвякивающую пластмассовую сумку с эмблемой винного магазина.

— Хорошо, хорошо, но задвинь эти бутылки куда-нибудь подальше. Бутылки на столе всегда производят невыгодное впечатление на клиентов. Или у вас там, в Лампи, спиртное всегда на виду?

— Там никогда не просыхают,— ответил Пертти и спрятал бутылки в шкаф.

— Ты можешь и окна зашторить. Подпустим немножко настроения, а если еще и свечу зажечь, будет совсем хорошо. Ты купил свечу?

— Чуть не забыл. Вспомнил только на мосту. Пришлось купить ее в магазине похоронных принадлежностей, траурную свечу. Подойдет?

— Подойдет,— сказал Юсо.— Нам она подойдет больше, чем любая другая. Соответствует настроению.

— До этого и я дотумкал. Еще я заскочил заплатить за это объявление в газету.

— Сколько?

— Двести. Уговорил маленько скинуть. Настоящая цена двести пятьдесят.

— Хорошо, хорошо.— Юсо ободряюще посмотрел на Пертти сверху вниз.— Так постепенно ты у меня, глядишь, светским парнем станешь. А вот если б я оставил тебя там, на дороге, ты бы никуда дальше Лахти не попал.

— Знаю. Я стараюсь как могу. Только это совсем не похоже на то, чем мне приходилось заниматься раньше. Раз только взял грех на душу — повез за мзду в день выборов старух на тракторном прицепе в церковь. Да и это не больно здорово получилось, потому как они с трудом держались на прицепе. Всякий раз на повороте какую-нибудь хлестало ивовым прутом — кусты-то как раз растут вдоль дороги.

Пертти зажег свечу. Стены комнаты отступили вглубь, а потолок опустился ниже.

— Ну вот теперь, пожалуй, хорошо! — воскликнул Юсо.— Я совершенно уверен, что мы с тобой сможем обеспечить себе не только хлеб насущный, но и выпивку. У меня, правда, нет больше нужды трудиться, но мне необходимо чем-то занять себя. Видишь ли, Пертти, когда труд и праздность пребывают в гармоническом сочетании, человек может чувствовать себя почти счастливым.

Юсо смежил веки. Некоторое время он видел волнующееся в ночных сумерках море. Затем над бушующей водной массой засветился день, и на морской поверхности заиграли тысячи переливающихся солнц.

В дверь постучали.

— Настал срок, сказала бы дева Ева,— заметил Пертти Ламминен.

— Тихо. Иди открывай,— скомандовал Юсо.

— Добрый день. Туда ли я попала? — спросила пронзительно-

жалобным голосом женщина в пушистых мехах. У нее была такая длинная и гибкая шея, что, казалось, голова может вращаться.

— Несомненно туда. Садитесь.

— Я по тому объявлению в газете. Я много думала над этим.

— Правильно. И, очевидно, довольно скоро пришли к выводу, сколь ненадежной и недолговечной является жизнь. Имею в виду именно жизнь,— подчеркнул Юсо, попытавшись придать своему голосу безусловную убежденность, свойственную священнослужителям, агентам по страхованию жизни и политиканам-краснобаям вместе взятым.— Вы почувствовали, мадам, настоятельную необходимость обрести уверенность в том, что жизнь будет продолжаться и после смерти. Что должно найтись такое место, где человек продолжил бы свое существование после всех мук и страданий. Что зелень зеленеет и после смерти и что музыка звучит в наших ушах так же, как и при жизни.

— Именно так! — всхлипнула женщина и порывисто распахнула влажную от снега шубку.— Да, я убеждена, что попала туда, куда нужно.

— Несомненно. Уверяю вас.

— Босс знает все наперед о земном и поднебесном,— вклинился Пертти Ламминен.

— Мой секретарь Берт Ламнель,— представил его Юсо.

— Как прекрасно, что я решилась прийти сюда,— вздохнула дама, сверкая глазами.

— Лучшего и не придумать,— согласился Юсо.

— Когда мой муж умер десять лет назад, я подумала, что теперь наконец смогу пожить в покое, в свое удовольствие. Буду делать что захочется или вообще ничего не делать. Проблема денег никогда не сдерживала меня ни в одном из моих начинаний. У меня и сейчас еще восемьдесят гектаров пахотной земли и сто шестьдесят гектаров леса, причем очень хорошего леса, который, однако, непрерывно убывает. Но щепотка всегда останется при мне, сколько бы ни старались государство и социалисты, отхватывая себе лучшие куски. Грабят меня все, кому не лень! Напрасно бедняки болтают про эксплуатацию и лишения. Их можно лишить только работы, а меня — всего: и земли, и манны небесной.

— Я понимаю вас, милая госпожа,— сказал Юсо.

— Все это так, а вот покоя у меня нет. Даже телевидение и то выбивает из колеи. Пропадает аппетит, когда видишь этих голодающих. Все время думаешь, чего лишены эти несчастные. А с другой стороны, досадно смотреть на жизнь богачей. Кутят, объедаются, пускают деньги на ветер и счастливы при этом. Какую телевизионную программу ни посмотришь, всегда возникает неприятное ощущение.

— Вы богаты и несчастны. Не так ли?

— Да. И послушайте еще, господин... простите, как вас зовут?

— Тинус. Юсо Тинус.

— Именно так. Господин Тинус. Послушайте, мне уже шестьдесят семь лет. У меня нет детей. У меня нет родственников, кроме какого-то двоюродного племянника, который работает по пластмассе,— говорят, материалист до мозга костей. У него и душа-то, наверное, пластмассовая. У меня нет никого, кто пожалел бы меня. Вы не поверите, как иногда бывает одиноко. Так, будто ты дряхлое, сухое дерево, что стоит над оврагом в Лапландии. Любой порыв ветра может сорвать его и бросить в овраг — и никто не заметит, никто не услышит, никому оно не нужно! Ты умрешь! Умрешь!

Женщина неудержимо разрыдалась; Юсо положил руку ей на плечо.

— Успокойтесь, милая дама,— попытался утешить ее Юсо.— Я вас так понимаю.

Женщина в мехах долго вглядывалась в Юсо.

— Вам меня не понять,— вздохнула она.— Скажите мне, что такое смерть, но только не заводите той песни, которую твердят попы. Я хочу услышать правду.

— Смерть...

— Вот именно. Смерть.

— Это практически конец нашей бренной телесной жизни, но одновременно и начало жизни духовной во всех ее аспектах. Начинается жизнь, духовное содержание которой закладывалось на протяжении нашей жизни на земле. Дело в том, милая дама, что человек воистину освящается и просветляется только после смерти. Душа человека освобождается от грязи повседневности и погружается в великое изначальное море бытия, растворяясь там в музыкально-гармоничной атмосфере духовного космоса.

Дама в шубке с неослабевающим интересом вслушивалась в каждое его слово.

— Так ли это, господин Тинус? Достоверны ли ваши сведения на этот счет?

— Да. Потому-то я и здесь. Господин Ламнель, окажите любезность, подайте мне страховые бланки.

— Вы действительно полагаете, что можете застраховать мою душу? Не просто так, для проформы, а чтобы я действительно была уверена в своем бессмертии?

— Я гарантирую вам бессмертие! — заявил Юсо.

— Да, вы, несомненно, удивительный человек,— произнесла женщина дрожащим от волнения голосом.— Вы, безусловно, один из величайших людей, которых когда-либо знала Финляндия. Иначе я не была бы здесь.

Юсо Тинус разложил перед собой бланки в определенном порядке, вынул из внутреннего кармана ручку и обнажил перо.

— Да, да, конечно, и я в меру своих скромных сил стараюсь служить обществу. А сейчас я должен задать вам несколько вопросов. Затем вам останется только расписаться внизу, и я направлю бумаги дальше по инстанциям. Вот и все. Этот документ гарантирует вам, что в момент предания вашего праха земле душа ваша будет далеко-далеко, покачиваться на волнах в океане бессмертия.

— Вы говорите так хорошо и проникновенно. Вы производите впечатление человека, вполне заслуживающего доверия,— заключила дама.

— Вы можете вполне довериться мне, а уж я препровожу вашу душу по назначению. Должен обратить ваше внимание на то, что страховка души дает гарантию вечности. Но есть и дополнительная привилегия — гарантия от черных дыр.

— Это хорошо. Ничего нельзя приобретать без гарантии. В наши дни все разваливается, едва попав к тебе в руки.

— Да! Вы удивительно разумный человек.

— А от чьего имени вы выступаете, директор Тинус? От кого вы получили полномочия вести это страховое дело? Я никогда не слышала о существовании такого рода деятельности.

— Вы правы. Разве я еще не рассказал вам, милая дама, о ВОЦе?

— Нет.

— Тогда слушайте. Штаб-квартира нашей страховой компании находится в Женеве, в Швейцарии, и одним из ее акционеров является финская церковь — всего лишь одним из младших партнеров Всемирного объединения церквей или ВОЦ — чрезвычайно обширной организации. В ВОЦ входят и другие объединения, кроме религиозных. Словом, все учреждения и организации, посвятившие себя заботе о душе человека. Так что, милая дама, это не только церковь и попы. Кстати, в этой папке лежит официальное согласие финских епископов, теософов, антропософов, астрономов, специалистов по НЛО и примыкающих к ним групп по страхованию души человеческой,

а также мои официальные полномочия, скрепленные соответствующими печатями ВОЦа. Вы наверняка захотите посмотреть, как все это выглядит черным по белому... господин секретарь, дайте, пожалуйста...

— Нет, нет, я и так верю,— поспешно воскликнула женщина.

— Следовательно, мы можем приступать?

— Спрашивайте.— Дама в шубке уселась поудобнее и смежила веки. Пламя свечи колебалось на сквозняке. Из соседней комнаты донесся затяжной сладострастный смех. Юсо вытащил из-под стола бутылку и приложился к горлышку. Сейчас было не до стаканов.

— Верите ли вы в бога или вообще во что-нибудь?

— Нет.

— Что вы употребляете в пищу — мясо, рыбу или овощи?

— Ем все, за исключением моркови, а также укропа.

— Как у вас работает желудок — хорошо?

— Нет.

— Газы?

— Да, и все сопутствующие явления.

— Рассматриваете ли вы мужчину как объект для половых упражнений или же считаете его только частью окружающей вас жизни?

— Мужчина — жеребец и ничем иным никогда не станет.

— Когда вы впервые обнаружили, что стали женщиной?

— Это было в Сомеро, в бане. Нужны подробности?

— Нет. Считаете ли вы, что коммунизм когда-нибудь станет государственной идеологией и в западных странах?

— Нет. Собственностью нельзя наделить всех, живущих на земле. Ее просто не хватит. Кто-то будет обделен. Кому-то в этом мире положено владеть, иначе не может быть.

— Верите ли вы, что войны когда-нибудь прекратятся и в мире установится прочный мир?

— Не похоже на то. Всегда воевали и продолжают воевать. Видно, война — в человеческой природе.

— Хотели бы вы жить в этом мире вечно?

Дама в шубке надолго задумалась.

— Нет, пожалуй. По правде говоря, сама не знаю. Трудно решить вот так, вдруг. Поди узнай, каково там, в этом самом океане бессмертия. Пожалуй, отвечу так: я хотела бы остаться здесь, если бы могла быть вечно молодой.

— Хороший ответ. Вы одна из наших самых смышленых клиенток. И, наконец, весьма важный вопрос с точки зрения комфорта пребывания в вечности: хотите вы слушать в вечности свою национальную или же иностранную музыку? Эстрадную или классическую или, возможно, оперные арии и симфонии? Вы можете назвать ваших любимых композиторов?

— Это очень любезно. Что я могу ответить? Мне нравятся народные песни. Да, финские народные песни. Среди них особенно люблю народные мелодии, а вот «Умолкнувшую скрипку»[1] больше не люблю. Ну а что касается композиторов, то, пожалуй, Мауно Куусисто, Тапио Руатаваара и Малмстен[2]. Но можно ли учитывать такие личные пожелания?

— Можно. И все они будут приняты во внимание. Послушайте, милая дама, у меня заполнены уже все графы, и вам остается лишь подписаться внизу. Ваша страховка готова. Во веки веков, «харасоо»[3].

— Да ну? А сколько эта страховка стоит? Я не могу подписать ее, пока не условимся о цене.

— Вы совершенно правы, милая дама. Правильная постановка вопроса! — Юсо вытащил из портфеля еще какие-то бумаги и принял-

[1] Произведение известного финского композитора Сибелиуса.
[2] Современные финские композиторы.
[3] От русского «хорошо».

ся лихорадочно подсчитывать.— Бóльшая часть страховки идет, естественно, на покрытие управленческих и организационных расходов. Вы понимаете, что работы много, а расстояния длинные. Наши бумаги мы пересылаем не обычной почтой. Во всем необходим особый порядок.

— Так сколько?

— Минуточку, минуточку. Плата устанавливается по определенной шкале и в соответствии с земными доходами. Вот таблица страховки души для лиц, занятых в сельском хозяйстве. Разрешите, пожалуйста, вашу страховую карточку на случай болезни. Спасибо. Посмотрим. У вас восемьдесят гектаров полей и сто шестьдесят леса?

— Да.

— По этой шкале взнос составит пять марок с гектара. Совсем недорого. И этот взнос будет единовременными и окончательным. Никаких ежегодных взносов или дополнительных платежей. Минуточку... с полей набирается пять раз по восемь — это четыреста, и с леса пять раз по шестнадцать — это восемьсот. Всего тысяча двести марок.

— Что?! Тысяча двести марок!

— Да. За эту же сумму вы, если хотите, еще получаете в придачу страховку против черных дыр. Таким образом, черные дыры в космосе не проглотят вашу бедную беспомощную душу. Это своего рода страховка на время перемещения души из земного пространства в вечность. Видно, взнос показался вам слишком большим...

— Что вы, это так дешево!— просияла дама в шубке.— Ведь страховка гарантирует миллионы лет. Целую вечность. А я даже за обычное страхование жизни плачу пятьсот марок в год, и, кстати, совершенно напрасно, ибо у меня нет близких. В конце концов получат все те, кто и без того хапает предостаточно. Государство, социалисты и эта телевизионная братия.

— Будете платить наличными?

— Да. Где расписаться? А-а-а. Ясно. Могу я получить копию?

— К сожалению, нет. Документы вашей страховки отправятся уже через час в штаб-квартиру Всемирного объединения церквей в Женеве. Наш процесс страхования отличается от того, который принят в других страховых обществах.

Дама в шубке задумалась. Она еще не была до конца убеждена.

— А если я внезапно умру — сегодня, например. Эта бумага будет уже в силе? Что станет с моей душой?

— Деловой вопрос,— одобрительно кивнул Юсо.— Вы можете быть совершенно спокойны. Страховка вступает в силу, как только вы ее подписали. Информационные спутники тотчас направят световые сигналы на расстояние нескольких световых лет в космическое пространство. Можете умереть хоть сейчас, там, где сидите,— и вам гарантирована вечная жизнь.

Дама громко, облегченно рассмеялась. С нее словно спали тяжкие узы.

— Вы не представляете себе, какое прекрасное у меня сейчас настроение. Все так легко и просто. Я, видимо, могу идти. Мне так легко, как никогда.

— Гм-гм... а как же все-таки с наличными?— вынужден был напомнить Пертти Ламминен.

Дама в шубке поднялась, открыла сумочку, извлекла оттуда толстую пачку ассигнаций и бросила на стол.

— Посчитайте, хватит ли.

Пертти поплевал на пальцы, дважды пересчитал ассигнации и протянул лишние даме.

— Ни в коем случае! Оставьте себе. Должно же от моей души перепасть и вам что-то приятное!

Дама в шубке танцующей походкой направилась к выходу и

взялась за дверную ручку. Лицо ее сияло от радости. Юсо показалось, что от этой улыбки в темном неприветливом гостиничном номере стало светло.

— До встречи в вечности, господин Тинус, если не раньше! Я буду вам всегда благодарна.

— До встречи в вечности,— ответил Юсо.— До свидания, goodbye.

— Хей-хей,— подмигнула шубка у двери.

— Вы хотите слушать Денни в стерео или монозвучании? — спросил Юсо Тинус.

В номер только что вошел восьмой клиент — двадцатитрехлетняя конторская служащая из Ронттимяки. Юсо был в преотличном настроении. Казалось, ему удалось найти оптимальную возможность для исследования человеческих душ. Он чувствовал, что при этом и сам как бы очищается. Он чувствовал, что люди нуждаются в мошеннике, подобном ему. Они ощущали потребность пооткровенничать. Им было тяжело, и они жаждали облегчения. Жизнь большинства складывалась из унылой и безрадостной череды дней, похожих друг на друга. И смерть, поджидавшая человека в конце этого серого прозябания, не радовала. Жизнь — большая черная дыра, которая заглатывала эти «я». Радостного действительно мало. Была уже половина четвертого. Пертти раздвинул занавеси — за окнами сгущались сумерки. Скрюченные деревья на берегу реки постепенно растворялись, сливаясь с окружающим пейзажем. Несколько грузовиков с прицепами пыхтели, перебираясь друг за другом через мост. Маленький городок погружался в вечер, ночь и сон.

Конторская служащая была на четвертом месяце беременности и не знала точно от кого. Она заявила, что любит больше всех эстрадного певца Денни.

— Верите ли вы, что завтра в Финляндии будет лучше, чем сегодня?— продолжал свой опрос Юсо.

— Верю.

— Станет ли когда-нибудь Финляндия страной народной демократии?

— Приходится верить, что станет.

— Какое качество в мужчине восхищает вас больше всего?

— Гм... чтобы он был нежным и не психом. И чтоб умел поговорить. Это так ужасно, когда партнер все время молчит.

— Боитесь ли вы смерти и черных дыр в космосе?

— Ужасно боюсь. Раньше больше всего боялась смерти, а теперь еще эти дыры. Говорят, если попасть в такую, то из нее уже не выбраться, будешь жить в совсем другом измерении, а то и вовсе помрешь. Я же считаю, что лучше умереть как положено.

— Боитесь ли вы жить?

— Боюсь. Ведь никогда не знаешь, что может случиться. Лопнет, к примеру, сосуд в голове, и поминай как звали. Все время чего-то боишься.

— Боитесь ли вы самой себя, своего собственного «я»? — спокойно, мягко спросил Юсо Тинус, глядя, как стая птиц отправилась в путь в сгущающейся темноте. Они летели медленно вдоль русла реки, заполненного снежным месивом. Неожиданно они исчезли в темноте. Пейзаж у реки снова застыл в торжественной неподвижности.

— Пожалуй, боюсь. Я, наверно, боюсь всего. всего. А больше всего боюсь, что меня вышибут. Особенно сейчас, когда я ожидаю этого... Они такие... Когда дела идут плохо, они так и норовят сделать все еще хуже. Временами кажется, что жизнь — это чистое безумие. И почему только мир такое дерьмо?

— Следовательно, вы все время боитесь,— вздохнул Юсо.

— Почти все время.

— И прежде всего черных дыр и смерти?

— Да.

— Послушайте, девушка! Я хочу застраховать вашу душу!

— Нет, нет... это было бы слишком здорово!

Девица в радостном упоении обхватила себя руками. Она была искренне рада. Словно избавилась от чего-то тяжелого и гнетущего.

— Это прекрасно,— заверил Юсо.— При наличии страховки вам нечего бояться, по крайней мере того, потустороннего. Итак, какую музыку вы любите больше всего?

— Я уже сказала — Денни. Он божественный.

— Хорошо. Вы сможете слушать Денни вечно.

— И-и-и-и! Это правда? — блаженно взвизгнула девица.

— Правда, правда! — прогремел Юсо Тинус.— Вам остается только подписать бумагу.

— А сколько это стоит?

— Пять марок.

— Что?

— Пять марок.

— Но это же слишком дешево. На это ничего не купишь, кроме пары колготок.

— А вы за эту сумму получите страховку души и в придачу гарантию безопасности от черных дыр. А кроме того, еще и гарантию вечности. Поздравляю!

— Спасибо,— вздохнула молодая особа и извлекла из сумочки кошелек.

— Сначала подпишите. Тогда она вступит в силу.

Молодая женщина вывела свою фамилию большими спотыкающимися буквами и бросилась обнимать Юсо.

— Ужасно вам благодарна!

Глотая от умиления слезы, Юсо пожал ей руку.

— Поздравляю! В течение ближайшего часа я направлю ваши страховые документы в страховой центр Всемирного объединения церквей в Женеве. А между тем, милая девушка, страховка уже вступила в силу! Можете теперь спокойно бежать на улицу. Не страшно, если даже попадете под автомобиль и погибнете. Можете теперь спокойно выбирать между жизнью и смертью. Что больше по душе. При всех обстоятельствах ваша молодая очаровательная душа помчится стремительнее любой ракеты в уготованное специально для вас вечное атмосферное образование, где всегда весна и ласковый, мягкий юго-западный ветерок и где можно постоянно слушать песни Денни. Поздравляю от имени всего личного состава нашей фирмы. Встретимся в вечности. Я как-нибудь загляну проведать вас там!

Женщина выбежала — вернее, вылетела на крыльях счастья вон из комнаты. Юсо Тинус задумчиво сидел в кресле, где он провел последние шесть часов.

— Пертти! Туши свечку и зажигай свет. Сегодня, видно, уже никто не придет, а если и придет — не примем. Помоги мне добраться до кровати. Я измотан вконец.

Лежа в кровати, Юсо стал размышлять о своей жизни, о судьбе, о немногих оставшихся днях, о всеобщем конце.

— Водки!

Пертти Ламминен принес.

— Спасибо. Теперь мне уже не обойтись без тебя.— И он подумал о том, что прожил пустую, незначительную жизнь. Он вспомнил день посвящения в студенты и день своей свадьбы. Тогда он многого ждал от жизни. Он подумал о Туулии. Теперь казалось, что Туулия случайно проскользнула в его жизнь. Туулия пришла, закрыла за собой дверь, повесила жакет на вешалку, заняла место хозяйки дома. Тогда ему в голову не пришло предложить этой женщине убраться прочь, а теперь было слишком поздно.

Юсо проснулся от грохота радио. Мир будто стал другим. Большая резонирующая комната и темнота. Где-то рядом вырисовывалась лампа, а поодаль Пертти Ламминен — ухо у приемника и пивная бутылка в руке.

— Что, парень, я еще жив? Который час?

— Привет. Двадцать минут двенадцатого. Ты маленько вздремнул.

— Кажется, да. Сколько же я проспал?

Пертти взглянул на часы.

— Больше шести часов.

— В каком мы городе?

— В Карккила.

— Что?! Я думал — в Форссе.

— Вот так всегда. В Форссе мы были вчера, а утром сюда перебрались.

— Что мы здесь делаем?

— Занимаемся страховкой душ, черт побери.

— Ага. Все то же.

— Пока все идет гладко. Вот здесь, Юсо, семь тысчонок, не облагаемых налогом,— похлопал Пертти по толстой пачке кредиток.— У себя в Лампи мне нужно проработать целый год, чтоб получить столько. Так понемножку начинаешь смекать, как господа без особых трудов обводят всех вокруг пальца.

— Ты вон о чем! А я и о сегодняшнем-то дне ничего не помню. Вчерашний вот припоминаю. Эту старую богатую бабу, которая первой застраховалась.

— Добром это не кончится, сказала дева Ева, упав в прорубь. Я немножко побаиваюсь за тебя, Юсо. Не надо слишком-то зарываться. А то поди разбирайся потом, что с тобой делать. Я ведь только в народную школу ходил и всего-навсего шоферяга.

Пертти, казалось, был искренне озабочен. У Юсо сладко затрепетало сердце от сознания, что кто-то заботится о нем. По радио объявили время — двадцать три пятьдесят девять. Юсо взглянул на свои часы. Они показывали пять минут четвертого. Он переставил стрелки. А Пертти тем временем ел яблоко и запивал пивом.

— Прежде чем пожелать спокойной ночи нашим радиослушателям, прочитаю сообщение, адресованное бизнесмену Юсо Тинусу, путешествующему по Финляндии,— объявил диктор.

Юсо побледнел. Сердце забилось с перебоями.

— Государственный центр регистрации актов гражданского состояния Финляндии сообщает вам, Юсо Габриель Тинус, что ваша деятельность после того, как вы получили первое извещение, дает основания для серьезного беспокойства. Вы, очевидно, помните, что дата вашей смерти — первое апреля. По предварительным сведениям, собранным гражданским регистром, вы ведете себя не так, как положено умирающему, уходящему из этого мира человеку. Кроме того, вы выступаете в роли представителя церкви без соответствующего на то разрешения властей. Позаботьтесь также о жене вашей Туулии Тинус, которой вскоре предстоит овдоветь. Возвращайтесь домой и отпустите сына земледельца Пертти Ламминена. Немедленно составьте завещание и облегчите вашу душу!

Юсо Тинус тяжело дышал. Он не мог говорить. Горло сжала спазма. Перед его мысленным взором замелькали образы незнакомых мест и людей.

Пертти Ламминен осушил бутылку до дна и выключил радио.

— Ты слышал? — едва произнес Юсо. Он с трудом повернулся на бок и почувствовал, что весь в поту.— Слышал, что он сказал?

— А чего там слушать-то, всего-навсего наш гимн, как всегда.

— Национальный гимн?

— Да, да.

— Только это и передавали?

— Все время.

Юсо Тинус онемело уставился в потолок.

— Юсо, а ты-то что там услышал?— поинтересовался Пертти Ламминен.

— Водки!

Перти Ламминен принес.

— Видно, ты все-таки что-то услышал. Это я так, про себя. У нас в Лампи жил сапожник, который всегда слышал кошачье мяуканье. И не было у него покоя от этой кошки ни днем ни ночью. Бедняга боялся даже выйти на улицу в отхожее место — думал, что кошка поцарапает. Поэтому за нуждой он всегда бегал в лес с палкой и оправлялся там, размахивая ею вокруг. Считали, что он малость свихнулся. А может, и нет. Как ты думаешь?

— Наверное. А может, и нет.

— От тебя толком никогда ничего не добьешься.

— Спокойной ночи,— зевнул Юсо.

Глава пятая

Мечты Юсо о тихом слиянии с лесом.— Проблемы Пертти по женской части.— Поразмышляем о глупых и упрямых.— Что произошло в мужском туалете отеля «Марски» в 1956 году?— Генеральный директор заинтересован в партнерстве.— Генеральный директор намерен прихватить с собой в вечность цветной телевизор отечественного производства.— Юсо разрабатывает свою программу сохранения энергии.— Туулия признается в неверности

Юсо Тинус смотрел из окна автомобиля на меняющийся пейзаж. Дома́, сараи, ровные поля, столбы и еще лес. Заснеженный лес. Мрачный лес. Солнечный лес. Разреженный, с прогалинками, в которые вонзаются острые клинья света. Первозданный, мощный, шумящий лес, в котором едва брезжит дневной свет.

«Я мог бы покинуть этот мир, скрыться от шума и людей в лесу и, одичав, прорасти лесом»,— подумал Юсо, поглядывая на Пертти, у которого эти обширные лесные массивы вызывали лишь скуку и зевоту. Зато стоило появиться самой захудалой избенке — и Пертти пробуждался к жизни и начинал бурно восторгаться:

«Если бы я мог начать жизнь заново, я ушел бы в лес и забыл бы о том, что я — человек. Прожил бы год, не услышав ни разу человеческой речи. Прожил бы десяток лет и стал потихоньку врастать в лес. Руки и ноги свились бы с крепкими сучьями, а тело обросло бы сморщенной, покрытой мохом корой. И был бы я мыслящим деревом, но после длинной вереницы лет расстался бы с никому не нужной способностью мыслить и умер бы среди других деревьев, бездушным, беспамятным, блаженно неведающим».

— Ты спишь? — толкнул его в бок Пертти Ламминен.

— Нет.

— Помнишь, где мы были только что?

— Нет.

— Помнишь, куда мы едем?

— Нет.

— Помнишь, чем мы занимаемся?

— Нет.

— Да, с памятью у тебя того. Помнишь хоть, кто ты такой?

— Помню.

— А я кто?

— Знаю, но сразу не припомню.

— Я Пертти Ламминен из Лампи.

— А-а-а. Что-то очень знакомое.

Машина мчалась вперед. Дома, склады, заводы, автомобильные стоянки.

— Звонил только что с последней бензоколонки к себе в Лампи, соседской девчонке. Вообще-то она уже взрослая. Ей скоро стукнет тридцать.

— Ну и что?

— Да вот задержка у нее,— вздохнул Пертти.

— А-а-а.

— Запаздывают у нее эти дела на две недели. Боюсь, что влип. Я с ней переспал несколько раз, когда она к нам забегала. А из окна нашей кухни все видно и слышно. Вот и гадай теперь, что делать.

Мост и длинное складское помещение. Ряд заснеженных деревьев. Пертти Ламминен, погрузившись в свои мысли, барабанил пальцами по рулю.

— Послушай, Пертти. Скажи мне честно. Кажусь я тебе ненормальным?

Пертти даже вздрогнул. Взглянул удивленно на Юсо и надолго задумался.

— Попробуй разберись, когда ты мне еще и жалованье платишь. Но в общем-то я таких видал. Сын моего брата был таким же перед тем, как его упрятали в Хаттельмала [1]. Такой же заводной, как и ты. Однажды всю зиму проглядел в дырку от сучка в стене избы. Уже весной я спросил, чего он там разглядывал. Он посмотрел на меня волком и заорал — чего, мол, ерунду спрашиваешь. С таким знай держи ухо востро.

— И ты не боишься меня?

— А чего мне тебя бояться?— ухмыльнулся Пертти и прибавил газу.— Я ничего не боюсь, кроме как стать отцом. Вот тогда жизнь нашего брата идет наперекосяк.

— А мне так и не удалось обзавестись ребенком,— пожаловался Юсо.— Хоть я много раз пытался. Как бы я был счастлив. Этакий маленький взъерошенный лепетун — будущий мужчина или толстенькая девчушка.

— Ну и заботы у тебя, Юсо! — загоготал Пертти.— Правду говорят: у глупого — одни глупости на уме. Но не огорчайся — не такой уж ты глупый. Я и поглупее видал.

Лес по обе стороны. Стая ворон пролетела низко над дорогой.

— У нас в Лампи, наверно, снег идет,— задумчиво произнес Пертти.

Юсо закрыл глаза. Автомобиль, казалось, мчался навстречу пустоте и мраку.

— Моя смерть никого не коснется, кроме меня,— задумчиво произнес он.

— Да, да. Разок только ущипнет,— засмеялся Пертти.

— Но я еще живу,— сказал Юсо.

— Да, да. Только живи поспокойнее,— заключил примирительным тоном Пертти Ламминен.

Юсо Тинус рассматривал портреты на стенах холла, изображавшие незнакомых ему людей. Важные, упитанные люди важно обозревали свой важный мир. Роскошь и блестящие полы привели Пертти Ламминена в тоскливое расположение духа и вынудили сосредоточиться на старом, знакомом и приятном: он стал думать о соседской девчонке, которая ходила на танцы без трусиков.

— Генеральный директор ждет вас,— объявил секретарь и, не переводя дыхания, сообщил, что генеральный директор может уделить им только пять минут: через десять минут начинается совещание с начальниками отделов; в три генеральный директор улетает

[1] Заведение для душевнобольных.

в Тампере, где он выступит с сообщением о трудностях в области платежного баланса; к вечеру генеральный директор вернется в столицу, где выступит на благотворительном ужине, который устраивает женская организация его партии.

— Генеральный директор очень спешит,— торопился секретарь.

Юсо Тинус и Пертти Ламминен вошли в кабинет генерального директора. Пол застлан ковром, тяжелые столы и стулья. Бледный зимний свет в окнах.

Юсо спокойно встретил надменный взгляд генерального директора. Он узнал его по многочисленным телевизионным пресс-конференциям, газетным фотографиям и карикатурам. Он понимал, что стоит перед весьма влиятельным человеком, распоряжающимся как государственным, так и частным капиталом. Однажды он даже видел сон — он и генеральный директор ехали на «тандеме» в Пиетарсаари. Позже он неоднократно удивлялся, почему именно в Пиетарсаари.

— Н-н-да,— нетерпеливо прогремел генеральный директор и взглянул на свои часы, затем на стенные.— Кто вы, собственно, такие и по какому делу? Я действительно очень занят.

Юсо подошел, опустился в мягкое кожаное кресло и зажег сигару. Пертти прилип к дверному проему, откуда легко было удирать.

— Имя мое не имеет никакого значения,— заговорил Юсо, обращаясь к генеральному директору так, словно перед ним мальчик на побегушках.— Однако при различных обстоятельствах мне случалось узнать о вас кое-что — как пристойное, так и непристойное. Хочу предложить вам сделку, выгодную нам обоим.

— Что вы там болтаете!

— Я осведомлен о том, что произошло в мужском туалете отеля «Марски» накануне президентских выборов пятьдесят шестого года. Очевидно, вы помните. Известно мне также и о ваших спекуляциях земельными участками в начале шестидесятого года. Я знаю и о том, кто ехал по шоссе на Тарво в состоянии полного опьянения. Знаю, кто скрыл от налоговой инспекции сотни тысяч марок. А подкупы на президентских выборах шестьдесят второго года! Нужно ли мне называть имена тех женщин, которых вы практически содержите, оплачивая за казенный счет их квартиры...

— Хватит! — взвыл генеральный директор. Он вдруг весь сжался за своим столом. Лицо его покраснело. Он с трудом дышал. Пертти Ламминен почувствовал себя так уверенно, что оторвался от дверной ручки и присел на стоявший рядом стул. А секретаря генерального директора так трясло, что его дымчато-серый парик съехал на лоб.

— Я бы мог предъявить вам обвинение в десятке различных преступлений, из которых шесть весьма серьезны. Бедняга Никсон по сравнению с вами святой. Иди Амин мог бы быть вашим крестным отцом. Растление малолетних...

— Нет, нет, нет! Это ложь... эта девчонка лжет!

— Распродажа автомобилей по заниженным ценам. Промышленный шпионаж. Систематическое использование даровой солдатской силы. Манипуляции с государственными ассигнованиями на жилищное строительство. Торговля государственными должностями. Подтасовка членских списков. Взятки. Обман. И после этого вы на свободе, да еще на высоком государственном посту! А в это время какого-то несчастного безработного сажают в тюрьму за то, что он стянул кусок колбасы. И все эти темные делишки обделываются на государственные средства. На поступления от налогов!

— Сдаюсь! Сколько?! — Генеральный директор схватился за бумажник. По вискам его струился пот.

— Совещание с начальниками отделов...— пролепетал секретарь и взглянул на часы.

— Отмени все,— вздохнул генеральный директор.— Я болен. Так и скажи им... Ну да ты знаешь, что сказать.

Секретарь ушел.

— Очевидно, я могу перейти прямо к делу?

Генеральный директор в изнеможении кивнул. Юсо вперил взгляд в мясистую голову генерального директора. Генеральный директор был помельче. Максимум сто пятьдесят килограммов. Юсо даже стало его жаль.

— Я, собственно, не хочу денег.

— Что?!

— Вы не ослышались. В вашем мире, видно, не так много ценностей, кроме денег. И все играют под социалистов. Ваш брат даже Маркса может превратить в заштатного торгаша. Вы мне скажите, как это порядочный социалист может жить точно князь. Вам никогда не приходило в голову, что ваша роскошная жизнь оплачивается за счет скудных грошей множества бедняг-налогоплательщиков.

— Чего вы от меня хотите?

Юсо Тинус до отказа наполнил легкие.

— Хочу застраховать вашу душу!

— Что?!

— Я хочу застраховать вашу насквозь прогнившую душу. Или вы предпочитаете ад? Учтите: принадлежность к социалистам там вам не поможет.

— Ну что за люди пошли,— простонал генеральный директор и слегка привстал за своим столом. Юсо уловил на его лице подобие улыбки.— Пытаетесь изображать гадалку или ясновидящего? Их и без вас расплодилось слишком много.— В словах генерального директора присутствовал уже не один килограмм язвительной насмешки.

— Ну что ж, поиграем, пока правда не станет достоянием всех,— разозлился Юсо.— Я знаю такое, что вам и не снилось. Ваша партия отреклась от вас в феврале семьдесят пятого года. Так что долго на этой директорской качалке вы не продержитесь. На ваше место уже подобран человек. Скоро вас исключат из партии. Вы станете политическим нулем. Обломок! Отверженный! Вас не возьмут даже в губернаторы. Веннамо [1] и тот руки вам не подаст. Но мне вас жаль, и я застрахую вашу душу.

Генеральный директор был на грани нервного шока. Он дрожал как осиновый лист. Пытаясь опереться на стол, он еле вымолвил:

— Вымогатель!

— Кто же здесь вымогает? Разве я что-нибудь соврал?

— Оставьте меня в покое.

— Как только будет оформлена страховка.

Юсо долго глядел на пригнувшегося к столу генерального директора; наконец тот поднялся и, задумчиво проследовав через кабинет к Юсо, присел на кресло.

— Чего тут препираться,— сказал генеральный директор, примирительно улыбаясь и опускаясь в кресло напротив Юсо.— Я принимаю даже с удовольствием эту страховку. Интересно узнать, что за фирма стоит за этим бизнесом. Мы могли бы обсудить вопрос о сотрудничестве...

— Возможно,— неопределенно сказал Юсо.

— Что, если бы я стал пайщиком вашей фирмы? Мне кажется, у такого рода предприятия есть будущее. Я мог бы выделить для начала тысяч пятьсот — шестьсот. У меня еще с прежних времен сохранились некоторые деловые связи с церковью. Это принесло бы пользу нам обоим. У меня есть земля вокруг кладбищ, несколько мастерских по изготовлению гробов, предприятия по продаже над-

[1] Мелкий финский политический деятель.

гробий и тому подобное. И можете быть уверены, я всегда получу от государства и страховых обществ неограниченные займы под низкий процент. Ну что, приступим к обсуждению сделки?

Юсо Тинус почувствовал вдруг прилив злости.

— Ах, бандит вы эдакий! Политический прохвост! Вы что, не понимаете, что ваше время истекло? Все отвернулись от вас. Ваши любовницы вас бросят. Жена раскромсает ваше состояние. Через год вы станете совсем одиноким. Даже деньги от вас уйдут. Скоро вам вообще крышка!

Генеральный директор, окончательно сломленный, вернулся на свое место за столом, опустился со вздохом на стул и закрыл глаза. Его пугал этот монументальный, мамонтоподобный человек, который, казалось, знал о нем все. А что, если он говорит правду и о его будущем?! Вот уже несколько ночей он видит во сне кошмары. То он в дороге — идет откуда-то куда-то с партийным флагом. Опять же с флагом, один — в непролазных сугробах. С флагом — посреди пашни. На бирже, на кладбище. Только он и флаг. Босой, голый, без бумажника и чековой книжки. Только он и флаг.

— Я хочу застраховать вашу душу!

Генеральный директор открыл глаза. То же место, тот же человек, то же безумное требование. Генеральный директор попытался рассудить здраво.

— А вы не сумасшедший?

— Не имеет значения. Мужской туалет в отеле «Марски», пятьдесят шестой год. Президентские выборы...

— Хорошо. Я сдаюсь.

— Я задам вам несколько вопросов, которые необходимы для страховки. Вы заплáтите, подпишете, и дело с концом. Мы оба обретем покой.

— Вы этим занимаетесь ради собственного удовольствия или по чьему-то поручению?

— Не ваше дело. При всех обстоятельствах я руководствуюсь более высокими моральными принципами, чем вы. Я хочу привнести в атмосферное поле вечности животворную силу, как она была некогда привнесена в бактериологические культуры.

Генеральный директор открыл было рот, но смолчал.

— А сейчас несколько вопросов, уточняющих характер вашей души. Любите ли вы деньги?

— В некотором роде. Необходимость. В этом капиталистическом классовом общ...

— Вы социалист?

— Да.

— Хотите ли видеть Финляндию социалистической?

— И да, и нет.

— Ваше воинское звание?

— Капитан.

— В свободном браке или в законном?

— В законном.

— Не живете ли вы случайно в квартире, полученной на государственную ссуду?

— Да.

— И вы имеете дотацию на оплату квартиры?

— Это не дотация, а одно только название. Теперь, однако, дело обстоит так...

— Сумма ваших доходов, с которой вы в последний раз платили налоги?

— Триста пятьдесят тысяч, но...

— Вы, социалист, утверждаете, что вас обирают,— кто же?

— Капиталисты, как я полагаю. Да, конечно! Эти самые тридцать семейств.

— Когда вы в последний раз занимались любовью?
— Два с половиной часа назад.
— Когда были последний раз в интимных отношениях с женой?
— А это обязательно?
— Когда?
— На первомайские праздники шестьдесят седьмого года.
— Когда в последний раз вы занимались физическим грудом?
— Я... по правде говоря, не помню... Да. На последнем военном сборе таскал корзинки с пивом и колбасой, только не заносите это в бумаги.
— Относите ли вы себя к салонным социалистам?
— Безусловно нет.
— Когда в последний раз брали взятку?
— Это же смешно.
— Когда?
— Вчера, вчера, но это был всего-навсего велосипед, да и тот без переключения скоростей.
— Что — или кого — вы больше всего любите?
— Пожалуй, безделье. Я имею в виду, что при моей занятости человек...
— Вам известны место вашего захоронения и дата смерти?
— Нет. Этими делами занимается мой адвокат.
— Испытывали ли вы в последнее время чувство одиночества?
— Да. Испытывал.
— Способны ли вы в постели на то же, что год-два назад?
— Нет. К сожалению, не способен.
— Какую музыку вы хотели бы слушать в вечности?
— Минутку. Я люблю Иоганна Штрауса-младшего.
— Хотите ли вы в вечности смотреть телевидение?
— А это возможно?
— Да.
— Тогда хочу, и лучше цветное. Отечественное, цветное, с дистанционным управлением, если возможно. Нет, нет! Господи, боже мой, это заходит слишком далеко. Вон отсюда! На помощь! Я сойду с вами с ума.
— Неплохо бы вам еще полминуты продержаться в здравом уме. Вот вы упомянули бога. Будучи социалистом, верите ли вы в бога? Или в Иисуса Христа?
— В некотором роде.
— Да или нет?
— Да.
— Ясно. У меня нет больше вопросов. Остается лишь подсчитать, сколько вам придется платить за страховку. Вы родились в двадцатом году?
— Да. Седьмого августа, в Сортавала.
— Вес?
— Сто сорок и пять сверху.

Юсо Тинус принялся считать. Умножал, делил, складывал и между делом рисовал кошачьи морды.

У Пертти Ламминена, сидевшего возле двери, все это вызывало крайнее отвращение. Разом рухнули многие каноны и представления. Из Лампи жизнь казалась совсем другой. Во все, что говорилось в Хельсинки, верили или старались верить безоговорочно. Он будто опустился из поднебесья на грешную землю. Великое перестало быть великим и даже средним. Его провели за нос. Он аккуратно и доверчиво платил налоги и по счетам, полагая, что является необходимым винтиком в большой общественной машине.

— Раскошеливайтесь на три тысячи триста марок, и душа ваша легко и свободно, как дуновение ветерка, помчится в вечность! Земля вам пухом и доброго пути!

— Неужели это так необходимо?

— Да.

Генеральный директор словно окаменел. Он машинально извлек из внутреннего кармана пиджака чековую книжку и проставил цифры. Затем встал, медленно проковылял к Юсо и вручил чек.

— Убирайтесь.

Юсо спокойно, неторопливо собрал бумаги и положил в портфель. Уже было поднялся, но вспомнил что-то.

— Минутку. Еще одна небольшая формальность. Исполните мою последнюю волю: оформите пенсию — тысячу марок в месяц — госпоже Туулии Тинус. Фамилия, имя, адрес и номер текущего счета в банке — в этом конверте. Первый взнос сделаете сразу после моей смерти, а дату смерти узнаете через государственный центр регистрации актов гражданского состояния. И еще: госпожа Тинус должна быть похоронена за ваш счет или за счет ваших детей.

Тут уж генеральный директор не на шутку разъярился.

— На помощь! Грабят! — Генеральный директор схватился за телефон и стал поспешно набирать номер.— Я сообщу о вас в полицию! В политическую полицию! Я подниму на ноги весь личный состав ЦРУ и других разведок!

— А скажите-ка, что произошло в мужском туалете отеля «Марски» в пятьдесят шестом году?— повысил голос Юсо.

— Хорошо... хорошо.— Генеральный директор прямо на глазах сник.— Я похороню, я оформлю, я заплачу. Оставьте меня, наконец, в покое!

Юсо собрался уходить. Он взглянул еще раз на генерального директора, который тяжело дышал, как загнанное животное. Комната погружалась в сумерки. Лысина генерального директора поблескивала в отливающем желтизной свете. Тело содрогалось, будто от плача. Прежде чем расстаться, Юсо захотелось похлопать по плечу этого потерпевшего крах повелителя. Поделиться бы с ним своими мыслями о человеке. А ведь все люди одиноки в этом мире. Жизнь человеческая — одни страдания. Не успев родиться, человек начинает плакать, и каждый день дает ему для этого новые основания.

— Вы заключили хорошую сделку,— сказал Юсо с порога.— Остальные трудящиеся капиталисты позавидуют вам. За несколько часов пребывания на посту генерального директора вы получили целую вечность. По-моему, это выгодное помещение капитала.

— Действительно, выгодное,— как бы вслух подумал генеральный директор.

— До встречи в вечности,— сказал Юсо Тинус.

— До свидания,— сказал генеральный директор.

— До свидания,— проговорил Пертти Ламминен, понимая, что едва ли когда-нибудь еще ему представится возможность подать голос в апартаментах генерального директора. Если даже он втиснется в состав какой-нибудь делегации в Хельсинки, ему не дадут и слова сказать этим господам. Такого больше в жизни у него не будет.

Спускаясь по лестнице, Пертти Ламминен потянул Юсо за рукав.

— Послушай, одно только я хотел бы узнать.

— Ну?

— Что там случилось в уборной в отеле «Марски»?

— Да не знаю я,— признался Юсо.— Я лишь предположил, что у такого матерого политика грехов хватит на любой случай, бери любой год и любое место. Ты же видел, как прямо в цель били и спекуляция земельными участками, и взятки, и прочее. Так уж, видно, повелось — чем важнее шишка, тем больший разбойник.

— Похоже на то, сказала дева Ева на сеновале.

Пертти Ламминен ехал по Маннерхеймингтие [1] и затормозил у светофора. Перед ним стоял большой грузовик с красными совет-

[1] Центральная улица в Хельсинки.

скими флажками, развевавшимися на ветру. Юсо подумал: а что, если бы он сейчас жил в Советской Финляндии? — вряд ли бы он тогда сидел в таком вот автомобиле, прихлебывая водку из бутылки. Где бы он был, что делал? Работал посудомойкой в привокзальном ресторане или дежурным по этажу в «Интерконтинентале»? Нет, нет, на это он не согласился бы. Еще руководить он бы, пожалуй, мог, да только этого ему бы не доверили. Что ж, можно научиться играть на гитаре и напевать под нее «Калинку» у билетного автомата в метро.

— Куда ехать?

— Давай прямо.

Автомобиль следовал за красными флажками. День клонился к закату. По радио шла передача вечерних известий, диктор призывал экономить электрическую энергию.

— Можно куда больше сэкономить, если принять решение одновременно всех умертвить,— тихо произнес Юсо.— Государство направит бандеролью в каждый дом порошок с ядом. Определит единое время приема порошков. Государственное радио проиграет последнюю пластинку, которой отдадут предпочтение слушатели. Ну, скажем, президентский марш. Такая всеобщая смерть — это даже здорово. Все будут знать, что в одно и то же время и под одну и ту же музыку умрут миллионы.

— А после этого сыграют «Сяккиярвен полкка»[1] для тех, кто останется в живых,— засмеялся Пертти.

— Да, но живых-то не останется. По крайней мере в Финляндии.

— Кто-то все равно останется.

— Как это останется?

— Черт возьми, неужели не ясно? Даже у нас в Лампи найдется много таких, которые наверняка выживут. Заставить их умереть — черта с два, из них даже налоги не могут вытрясти.

— Ну а если нужно? Всенародное решение. Одобренное и утвержденное большинством. Освященное и патронируемое президентом, архиепископом и командующим вооруженными силами. Народ просто заставили бы...

— Кто это его заставил бы?

— Государство.

— У нас не государство, а дерьмо! Оно не способно даже прокормить всю эту шарагу, не то чтоб умертвить. Безработным выдают ровно столько, чтоб душа в теле держалась. Государство! Бред сумасшедшего.

— Ну-ну, не болтай лишнего,— заволновался Юсо.

— Куда ехать-то?

— Прямо, вперед!

Вечер. Из номера отеля «Марски» видно, как беззастенчиво город расточает энергию. Блестели, пульсировали, пылали огни. Взад и вперед сновали автомобили. Причем отнюдь не машины «скорой помощи» или катафалки. Тротуары заполнены целеустремленными пешеходами. Что-то незаметно было, чтобы кто-нибудь остановился поразмыслить, осознать, что делается вокруг, зачем и для чего.

Юсо сидел в мягком кресле у окна и пытался разглядеть за суетными земными огнями небо и звезды. Он думал о том, что где-то там, высоко, небо, небесная держава. Пытался представить себе дома, излучающие свет. Но дальше этого ему продвинуться не удалось. Небо небом, а земля землей. Воздух, звезды, искусственные спутники, пашня, асфальт.

[1] Веселые народные мотивы.

Он отпустил Пертти в город. У Пертти вся жизнь впереди. Над ним не висит призрак близкой смерти, человек он молодой, пусть понаслаждается прелестями большого города. Юсо с трудом поднялся, зашел в ванную и освежил лицо холодной водой. Он взглянул на себя в зеркало и содрогнулся. Ему казалось, что у него совсем другая внешность. Рыхлый, весь в складках, точно морское чудовище в мутной воде. Глаза глядят в разные стороны. Лицо будто покрыто чешуей, из расщелин которой торчат клочья волос, как засохшая прошлогодняя трава. Он вернулся в комнату и бросился на кровать, вслушиваясь в голоса внутри себя и извне. Он должен сосредоточиться, поразмыслить о своей жизни, чувствах, настроениях, годах и людях. Конец легче встретить, когда можно расстелить перед собой жизнь, как веер, широкий и яркий. За воспоминаниями и размышлениями легче скрыть свои страхи. Глупо существовать бесцельно. Дышать и ждать конца.

Внезапно он вспомнил Туулию. Туулия! Он должен сейчас же поговорить с ней. Ведь Туулия — единственный человек, с которым он мог непринужденно перекинуться несколькими словами. Он попросил телефонистку отеля набрать номер Туулии.

«Что она сейчас делает? — раздумывал он, ожидая разговора.— Смотрит телевизор? Листает женские журналы? Приводит себя в порядок, спит, слушает музыку, вяжет, говорит или разглядывает дома и людей из окна? Часто ли Туулия думает обо мне?»

Ему трудно было представить себе, как Туулия воспринимает жизнь. Чего она ждет от будущего? Разве каждый человек не ожидает каких-то событий, перемен? Чего Туулия хочет от жизни? Он не знал. Он прожил с нею не один десяток лет, но только сейчас подумал, что ведь и Туулия способна чувствовать, радоваться и страдать. Иногда, возвращаясь из своих деловых поездок, он вздрагивал, обнаружив женщину в своем доме. Видимо, Туулия была для него чем-то вроде дверной ручки или посуды? Приятно прикоснуться, погладить.

Зазвонил телефон. Юсо почувствовал, как ёкнуло сердце. Это Туулия. Его жена.

— Туулия,— проговорил Юсо в трубку.

— Кто это?

— Я, Туулия! Это я.

Юсо замолчал и подумал, не перепутал ли он номер. Кому же в таком случае принадлежал этот очень знакомый женский голос? Туулии? А может быть, это какая-нибудь из его знакомых?

— Туулия! Это я, Юсо Тинус! — прокричал он в трубку.

— Что? Юсо? Но у тебя совершенно другой голос. Это не ты. Кто это меня разыгрывает!

— Да это я.

Долгая пауза.

— Туулия. Что ты только что делала?

— Я... я зажигала свечу.

— Одна?

— Совсем одна. Послушай. Что за чудеса, где ты?

— Неважно, я еще существую.

— Юсо, золотко! Только теперь я поверила, что это ты. Ой, как я испугалась. Как будто там кто-то чужой.

— Я действительно становлюсь чужим.

— Что ты болтаешь, Юсо, золотко! Моя родная крошка, Юсик. Ты и не представляешь себе, как у нас здесь темно. У меня горит только одна-единственная свеча. Ты знаешь, Юсо, я стала бояться электрического света. Приезжай скорей домой. Юсо, золотко! У тебя нет сердца! Где ты сейчас и где ты был все это время?

— Разве я не звонил тебе вчера?

— Не пытайся врать!

— Да нет, я же звонил.

— Юсо, не смеши меня. У тебя опять все шиворот-навыворот. Или ты пьян. Я не слыхала от тебя ни слова с пятницы. Я даже звонила Лахтинену в Пелькяне. Ты не заезжал туда, да и Лахтинен умер. Тебя не было ни в Турку, ни в Ваазе, ни в Пори, ни в Канкаанпяя. Я обзвонила все эти города. Ты даже не был в Тампере, а ведь это самое выгодное место для сбыта товаров. В какой-то газете я прочла заметку, что кто-то пытался украсть тюленя в Сяркяниеми. Какой-то парнишка и толстяк. У них был автомобиль с таким же номером, как у тебя, и такой же прицеп. У тебя что, украли автомобиль, Юсо? Беспомощная ты моя крошка.

— На мне то же грязное нижнее белье, в котором я уехал из дому.

— Ой, бедненький Юсо. Приезжай домой! Здесь на фирме тоже все вверх тормашками. Из главной конторы звонят беспрерывно и спрашивают тебя, и на заводе беспорядок. Половина этой шайки прогуливает. Инженер Андерссон сказал, что почти все рабочие говорят, будто фирму прикроют. Они утверждают, что пластмасса больше не оправдывает себя, так как цены на нефть все время растут. Пластмасса становится невыгодной. Юсо, золотко! Крошка моя! Где ты и почему ничего не делаешь? Где твоя энергия? Позвонил бы хоть в главную контору, Андерсону.

— Туулия.

— Да, золотко?

— Эти ребята там правы. Из пластмассы не стоит ничего больше делать. Пластмасса — отмирающий материал. Пластмасса холодна, чужда человеческой натуре. Она бездушна, антигуманна. Понимаешь? Дерево — вот это другое дело, металл — тоже.

— Юсо! Ты ли это?

— Да, я.

Юсо прислушался, дышит ли он. К счастью, еще дышит, все время дышит. Дышит, видит и слышит.

— Юсо. Ты слышишь?

— Да, и дышу.

— Послушай. Я должна кое в чем тебе признаться.

— Да. Что случилось?

Юсо слушал унылую тишину. Ему показалось, что Туулия всхлипнула.

— Ты что, плачешь, Туулия?

— Ой, Юсо!

— Да?

— Юсо!

— Да скажи ты, черт побери, что-нибудь! Я не могу больше ждать!

— Юсо. Я...

Юсо положил трубку на подушку возле уха и распластался на кровати. Теперь он мог слушать.

— Юсо,— послышался голос, приглушенный подушкой.— Я была неверна тебе! Ой, Юсо, золотко! Я не хотела. Это было... я даже не знаю, как это случилось.

— А, вот чем ты там занимаешься. Электрик?

— Да нет, почтальон!

— Ах, вот как! Туулия? Как же это?

— Это произошло так внезапно. Он вошел в дом и схватил меня, но не грубо. Скорее наоборот. Я подумала сначала, что это какой-то тест, поскольку все время он был такой деловой, рассудительный. Послушай, он не произнес ни слова! Только бросил свою сумку в угол передней и пошел на меня как танк. Я решила посмотреть, что он намерен делать, а потом и сама распалилась. Ты же ничего не знаешь, Юсо. Ты же целыми неделями отсутствуешь,

а на улице и по телевидению — мужчины и все прочее. Если говорить откровенно, Юсо, это было прекрасно. Я пыталась вообразить вместо него тебя, но он сухощавый. И от него пахло пóтом, но ведь и от тебя тоже попахивает пóтом. Юсо... Юсо! Не сердись, Юсик. Подумай, ведь это впервые за двадцать лет.

— Что! Неужели я уже двадцать лет женат!

— Да, да. Мы поженились в пятидесятых годах. Я проверила это сразу после ухода почтальона, по нашему брачному свидетельству.

Юсо закрыл глаза и стал перебирать в памяти прожитые годы.

— Я что-то не верю.

— Но все так и было. Вот только мне не понравилось, что он не произнес ни слова. Ведь ты в таких случаях всегда что-нибудь говорил.

— Ты скажи ему об этом.

— Не понимаю — о чем?

— Что в это время нужно говорить.

— Ах, вот что! Ой, Юсик! Значит, ты не сердишься?

— Нет. Чем ты занималась это время?

— Да, знаешь, просто существовала. Спала и ела. Нечего даже рассказать. Стала ужасно много читать объявлений в газетах. Пишут ведь всякое. Вот недавно кто-то продавал слоновий помет в развес и в упаковке. Но чаще всего предлагают колбасу и туалетную бумагу.

— Туулия!

— Да?

— А этот самый почтальон сейчас у тебя?

— Да.

— Голышом?

— Как ты угадал?

— По запаху.

— По телефону? Не разыгрывай меня, Юсо.

— Да-да.

— Юсик.

— Ну?

— Он в ванной.

— Передай ему от меня привет. Скажи, что я звонил. И еще, Туулия: не давай ему мою одежду. Никогда, как бы он ни располнел.

— Хорошо, Юсо, хорошо. Теперь послушай ты меня.

— Ну что?

— У меня такое чувство, будто я стала другим человеком. Я сама не своя или, вернее, только теперь стала сама собой. Тебе не понять, но это так. И послушай еще. Я говорила сейчас об этих объявлениях. Как-то недавно я читала некрологи в газете, и в одном из них упоминалось твое имя.

— Что?!.

— Да, все так. Но у того Юсо Габриеля Тинуса не было указано место рождения, и, кроме того, дата его смерти объявлена заранее — первое апреля. Как это можно заранее знать, когда человек умрет? Совершеннейшая чепуха. Сначала я испугалась, но потом рассмеялась.

— Пока я жив.

— Что?

— Я говорю, что пока жив!

— Да, да. Послушай, Юсо. Я больше не могу с тобой говорить.

— Что, он вышел из ванной?

— Да.

— Ты должна идти?

— Да.

— Туулия, береги себя!
— Буду, Юсо. Ты так хорошо меня понимаешь.
— Скоро я действительно начну понимать этот мир.
— Юсо, дорогой. Не забывай!
— Я помню, но быстро забываю.

Там, далеко, Туулия положила трубку. Он вздохнул в темноте. Где-то что-то зашумело и задвигалось, вскоре шум приблизился. Что-то проскрипело вдоль тела и прошло вверх, дребезжа, миновало грудь и плечи, прокатилось над головой и остановилось.

«Это лифт»,— догадался Юсо. Он долго прислушивался, но так и не услышал, когда лифт двинулся вновь.

Глава шестая

В лабиринтах Центра регистрации актов гражданского состояния.— Юсо пополняет свои познания по части учета населения.— Биография на кончиках пальцев. — У Юсо трудности с размещением в автомобиле.— Пертти рассказывает Юсо о своеобразном методе воспитания.

Чиновник был худенький коротышка. Лицо — цвета старой бумаги, губы тонкие, уши торчком и длинный костистый нос. Впалая грудь и легкий пушок над губой и на щеках. Охрипший голос и безудержное многословие.

— Послушайте, вы должны не знаю как радоваться, что начальник бюро разрешил вам посетить архив. Гости редко пересекают красную черту регистрационного центра. Но вы — человек умирающий. А вот ваш шофер должен остаться у входа. У него жизнь еще впереди.

Юсо Тинус внимательно рассматривал расходившиеся во все стороны коридоры, двери, холодные стены без окон. Они находились под землей. Электрические лампы ярко освещали цементные стены.

— Ну что ж, пошли,— сказал Юсо.— Я хочу увидеть своими глазами собственное досье. Поди, Пертти, в лавку и купи себе «Аку анкка»[1].

— К сожалению, в нашем киоске этот журнал не продается,— сообщил чиновник.— Это государственное учреждение. Комитет по элиминации моральной деградации разрешил к продаже только «Пекка пуупя»[2]. И даже все напитки под названием «Анкка» изъяты из продажи. У нас с этим очень строго.

— Да, видно, действительно так. Ну что ж, тогда пойди и позвони, скажем, в Лампи и узнай, как дела у твоей соседки. Привет ей от меня.

Пертти ушел, а чиновник достал откуда-то из-за угла два самоката, красный и зеленый. Юсо получил зеленый.

— Так оно быстрее будет,— просипел чиновник.

Они покатили по широкому коридору, который вскоре делал петлю и, казалось, возвращал путника к исходной точке. Юсо даже почудилось, что он увидел тот же исцарапанный портрет УКК[3], что и в начале коридора.

— Теперь я знаю, куда исчезают налоговые поступления,— буркнул Юсо.— Здесь что же, на каждого финна заведено досье?

— Конечно,— заверил его чиновник.— Вам, директор Тинус, я могу доверительно сообщить, что даже большая часть еще не появившихся на свет тоже занесена в регистрационные списки. В ближайшее время все люди будут фигурировать в картотеке с момента зачатия. Дело в том, что Союз гражданского населения и органы, кон-

[1] Комиксы о похождениях утенка.
[2] Пекка — дурья башка.
[3] Сокращенно: Урхо Калева Кекконен, бывший президент Финляндии.

тролирующие занятость рабочей силы, весьма озабочены тенденциями резкого сокращения населения в стране. Поэтому во всех сборных домах последней конструкции устанавливается техника секретного подслушивания, и, таким образом, все заслуживающие внимания сведения будут фиксироваться и передаваться на хранение в информационные машины, которые станут выдавать точные прогнозы. В домах типа «Арава» [1] микрофоны устанавливаются одновременно с прокладкой электрических и телефонных проводов. Должно же государство извлекать какую-то пользу из своих капиталовложений.

Пораженный услышанным, Юсо уставился на рот чиновника, который непрерывно двигался, точно деталь какой-то машины. Они остановились со своими самокатами в начале длинного коридора. Откуда-то издалека доносился стук одинокой пишущей машинки. Юсо вдруг показалось, что чиновник вовсе не человек, а человекоподобный робот, информационная машина, терминал.

— Это информационный нокаут. Я и не подозревал, что технократы обладают такой властью над родом людским. Не удивительно, что народ бежит из страны. Сколько человек работает в этом заведении?

— У нас сейчас около двух тысяч, но вам я могу сказать доверительно, что добрая половина не нужна, так как у нас непрерывно происходит рационализация. И все же после очередных парламентских выборов пришлось дополнительно трудоустроить триста человек.

Они налегли на самокаты. Миновав основной коридор, они выехали в коридор покороче. Чиновник стал притормаживать, то и дело поглядывая на многочисленные таблички на стенах.

— Мы в коридоре «Т». Ведь ваша фамилия Таунус [2]?

— Не Таунус, а Тинус,— уточнил Юсо.

— Ах, Тинус. Да, конечно. Тогда еще на полкоридора дальше.

Еще два-три толчка, чиновник остановился, с трудом прочел надпись на табличке и открыл дверь. Комната от пола до потолка была заставлена огромными металлическими стеллажами, шкафами, ящиками, полками. Посредине находился стол, на нем — терминал, а за ним, положив голову на стол, спал среди арбузных корок моложавый мужчина.

Чиновник подошел и разбудил его.

— По особому разрешению выдайте для ознакомления досье на директора Юсо Габриеля Тинуса в его собственные руки.

— Простите, простите,— пролепетал человек и протер заспанные глаза.— Так неожиданно. Три с половиной года сюда не заглядывала ни одна душа и вдруг сразу две. Как фамилия?

Чиновник протянул записку мужчине; тот извлек откуда-то стремянку, ловко залез на самую верхнюю ступеньку, принялся открывать и закрывать ящики и вскоре спустился с большой зеленой папкой под мышкой.

— Вот, пожалуйста! Юсо Габриэль Тинус, берите.— Молодой человек учтиво улыбнулся и поклонился.— Новый рекорд. Досье найдено за четырнадцать секунд.

— Можно присесть? — Юсо оглянулся вокруг. Молодой человек в порыве самопожертвования придвинул ему свое кресло. Юсо сел и сдул с папки слой пыли. На обложке было написано его имя, дата рождения и дата смерти, последняя, правда, пока была заключена в скобки. Под фамилией почему-то была помещена фотография с обнаженной женской грудью, вырезанная из журнала. Юсо открыл папку и обнаружил целую монографию о себе.

— Да, здесь все мои грехи, аккуратно систематизированные,— заметил он, листая страницы.— А вот эти сведения неточны. Я вовсе

[1] Строятся государством на льготных условиях.

[2] Марка автомобиля.

не пытался симулировать самоубийство тогда, в шестьдесят шестом году, в Марианхамина. Я вполне серьезно рассчитывал умереть. Обстоятельства истолкованы совершенно неверно.

— Вполне возможно,— улыбнулся чиновник.— Говорят же, творящему да воздастся. Да, действительно, симуляция самоубийства — глупо звучит. К тому же наш представитель мог ошибиться.

— Всякие шпионские донесения СУОПО, тесты так и лезут в душу к человеку. В досье перечислена каждая тряпка, которую я когда-либо носил, а какие сексуальные картинки здесь собраны!

Чиновник подошел взглянуть. Бледные щеки его густо покраснели.

— Да-а. Это, видно, работа Центра по исследованию половой жизни гражданского населения Финляндии. В половине жилых домов установлены скрытые камеры, надо же их периодически испытывать. Но ваши фотографии выглядят довольно свежими. Судя по отдельным признакам, они сделаны в Лахти на улице Паасикиви. Не кажется ли вам, что и фотоархив наш на высоте?

— Все поступающие данные ежедневно закладываются в банк информации, а эти бумажные архивы здесь только для сокращения безработицы,— пояснил хозяин комнаты.— Практически ими не пользуются. Все необходимые сведения гораздо быстрее можно получить из электронно-вычислительных машин. Интересует ли вас, господин директор, каким образом установлена дата вашей смерти?

— Интересует!

— В нашу головную информационно-вычислительную машину заложены все касающиеся вас сведения: это досье — лишь малая их толика. Там есть также ваш голос и ваша фотография. На основе всего этого можно точно установить, когда тот или иной человек окажется на грани, с одной стороны, духовного, а с другой — экономического кризиса, когда у него произойдет надлом, когда он рухнет. Эти два кризиса не всегда совпадают во времени,— продолжал молодой человек, выхватив папку из рук Юсо и наспех просматривая находившиеся там бумаги.— Жизнь не развивается по прямой.— Он поднял глаза от бумаг и равнодушно улыбнулся.— С некоторых пор вы подошли к экономическому самоубийству, иными словами, ваши расходы уже давно превышают доходы. Да-а. А ваше духовное самоуничтожение тоже уже не за горами. Поэтому информационно-вычислительная машина и выдала дату — первое апреля. Это как бы день вашей смерти. Хочу надеяться, что расчеты произведены правильно. Ведь электронно-вычислительные машины практически работают безошибочно. Столь же безотказны и наши системы. Так что ничего не поделаешь, придется вам умереть первого апреля.

У Юсо невольно затряслись руки. По телу его пробежала дрожь. Перед глазами засверкали зеленые молнии. Он почувствовал себя бесконечно одиноким. Еще более одиноким, чем тогда зимой, в бурю и метель, с отцом и матерью, когда в белой кромешной тьме они не могли разобраться — откуда пришли, где находятся и куда надо идти.

Оказывается, какие-то люди запрограммировали здесь его жизнь! Они распоряжались отпущенными ему годами, смаковали его малозначимые деяния и переживания, вынюхивали насчет интимной жизни. Они лишали его права на естественную смерть. Все эти техники, программисты и операторы, зачарованные своими электронными установками, загипнотизированные цифрами, мелькающими на экранах. Неужели же он раб информационной машины! Этой системы, состоящей из пучка проводов, гнезд памяти, металла и пластмассы!

Юсо Тинус встал.

— Спасибо за квалифицированные объяснения,— сказал он и приличия ради пожал молодому человеку руку.— Очевидно, у меня все

же есть какое-то право на обжалование или в данном случае право на помилование,— произнес он голосом, полным иронии.

— К сожалению, нет,— ответил молодой человек тихо, будто действительно выражал сожаление.

— Что?!

— К сожалению, нет: слишком большая роскошь перечеркивать все, что создано с таким трудом. Да и информационно-вычислительная машина, безусловно, права. Кроме того, как вам известно, в этом предприятии участвует церковь. А стремление жить до полного маразма неразумно. Куда лучше уйти, когда ты еще в здравом уме, оставив ближним красивые воспоминания о себе.

Юсо Тинус, пошатываясь, вышел в коридор. Все кружилось у него перед глазами. Он вцепился в самокат и стал поспешно толкать себя вперед. Ему хотелось поскорее выбраться отсюда на свежий воздух. Хотелось вновь увидеть небо, тучи и непрерывное покачивание деревьев.

— Люди добрые, помогите! — взывал Пертти Ламминен, пытаясь втиснуть Юсо в автомобиль на перекрестке улиц Порккала и Микелина. Юсо выразил желание побывать на кладбище, но силы оставили его у самых ворот. Пертти удалось лишь наполовину втиснуть Юсо в автомобиль — ноги его еще висели снаружи.

Пертти нажал на клаксон, призывая на помощь. Два лейтенанта береговой артиллерии, осклабясь, промаршировали мимо. Пожилой деятель Армии спасения остановился, повертел головой и направился дальше. Автомобиль Финского радио притормозил, но не остановился. Из него раздался дружный хохот.

Двое мужчин с белыми пластмассовыми сумками, на которых значилось «Алко» [1], не спеша подошли к месту происшествия.

— Помогите, вы, бродяги! Я из Лампи!

Мужчины осторожно поставили сумки на край тротуара так, чтобы бутылки находились в стоячем положении и в поле зрения.

— Толкайте его снаружи, а я буду тащить изнутри,— приказал Пертти, обогнул автомобиль и вцепился в плечи Юсо. Один из мужчин стал запихивать Юсо, упершись обеими руками ему в живот, а второй пытался задвинуть в автомобиль его ноги.

— Ты тут за кучера?

— Да, недавно.

— Сколько он тебе платит?

— Это вы о ком? — встрепенулся Юсо.

— Ах, извините, это мы просто так, между прочим.

— Не нужно меня больше пихать. Достаточно. Вы оба весьма добры. Сколько я вам должен? — Юсо вытащил бумажник.

— Все чешут мимо, только задницы трясутся,— заметил Пертти.

— Здесь сотня на двоих. Хватит?

— А вы не шутите? — покрутил бумажку в руках один из двоих, явно прикидывая, не фальшивая ли.

— Не может быть. Он что, за решетку идет, что ли?

— Нужно же хоть раз в жизни сделать что-то хорошее в этом не лучшем из миров,— сказал Юсо.— Не могли бы вы в счет той же суммы прикрыть дверь?

— Куда поедем? — спросил Пертти и включил мотор.

— Прочь!

— Куда — прочь?

— Прочь, прочь! Не могу больше видеть этот город, эту гнойную язву. Здесь не хватает воздуха. Здесь можно задохнуться! Прочь, прочь отсюда!

— Прочь рубашку, парень, с плеч, приказала дева Ева.

Мотор взревел, и автомобиль вынесся за город. Ни трамваев, ни

[1] Государственная фирма, торгующая спиртными напитками.

огней светофора. Меньше движения, меньше машин и людей. Юсо вздохнул с облегчением. Дома стали ниже. Порой они долго ехали мимо открытых заснеженных полей. Замелькали детишки по обочинам дороги. И, наконец, Юсо увидел небо во всей его необъятной широте, яркое, чистое зимнее небо. Он улыбнулся.

— Послушай-ка, Пертти Ламминен.

— Ну?

— Скажи мне честно, что бы ты стал делать, если бы заранее знал день своей смерти. Ну, скажем, это было бы первое апреля. И это было бы совершенно достоверно. Скажем, ты получил бы официальное извещение о своей смерти.

Юсо почувствовал, как Пертти внимательно уставился на него. И сбавил газ. Впереди один за другим катили два восемнадцатиметровых полуприцепа. Справа тянулся высокий некрашеный дощатый забор, и на нем огромный щит — АВТОРЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Слева — низкое служебное строение, детский сад, школа или механическая мастерская.

— Давай-ка лучше полюбуемся пейзажами. Посмотри на тот большой камень посреди поля.

— Что бы ты стал делать и стал бы ты что-нибудь делать вообще?

— Так что бы я стал делать?

— Вот-вот.

Автомобиль прошел несколько километров в полной тишине. Пертти Ламминен думал. Ухаб. Кладбище и памятник павшим героям. Солдат из гранита угрожающе замахивался ружьем на прохожих.

— Наверно, я бы запил и начал потихоньку подаваться к себе в Лампи.

— Ага. Значит, тебе Лампи дорог!

— Еще чего. Я о своих подумал. Вот им, беднягам, туго пришлось бы.

— Не понимаю.

— Пора бы понять. Катафалки стоят дорого. У нашего брата нет денег везти тело за сотни километров. Так что дешевле помереть в своем углу. Отец никогда не простит мне, вздумай я помереть где-нибудь у черта на куличках.

— А какие тебе б хотелось иметь похороны?

— Это мне-то?

— Да, да.

— Не успел еще так далеко забежать. Ну, водки должно быть вдоволь, и табаку, и кофе, если кто его пьет. И чтоб на моих похоронах курить было можно. С моего разрешения, хотя я уже и буду покойником.

— А ты боишься смерти, Пертти?

— Вот дьявольщина. Тоже мне пристал — боишься не боишься. Бойся не бойся — не спасет.

— А ты во что-нибудь веришь?

— Что знаешь, в то и веришь. Вокруг себя больше оглядываться надо. Мир-то, он не из одних верующих.

— Неправда! — крикнул Юсо так, что Пертти даже вздрогнул.

— А-а-а. Ну хорошо, я поверю, если тебе от этого легче станет.

— Во что?

— Так сразу-то трудно сказать. Ты, Юсо, больно прыток спрашивать. Вспомнил я такого Ярвинена — был у нас в Лампи, сейчас он, правда, уже на кладбище в Лахти прописался. Дотошный был — обожал людей расспрашивать — и уж больно верующий. Собирал вокруг себя народ, вышибал слезу у баб. Был точно белая булка и какой-то не от мира сего. Должно, немного ненормальный. Все грозился, что убьет своих ребят, если они его не будут слушаться. Раз

я проезжал на велосипеде мимо дома Ярвинена, а один из его мальчишек забрался на крышу. Пяти- шестилетний карапуз. А папаня орет: «Сейчас же слезай вниз, не то убью». Я ушам своим не поверил. Подумаешь, малыш ослушался, а он уже — убью. Наверно, так уж у него было заведено. Другие-то грозят хворостиной. Слезай вниз — не то убью! Это ж надо! Правда, тот Ярвинен был мясником. Вот, наверно, в чем дело-то.

— Что это с тобой? — покосившись на него, с улыбкой спросил Юсо.

— А что?

— Говоришь целых пять минут без передыху. А вообще ведь еле языком шевелишь. Вот только насчет девы Евы выскажешься — и все.

— Да-а-а? Разве? Значит, болезнь и меня начинает прихватывать. Прямо не знаю, что и делать. Утром звонил в Лампи. Черт бы их всех побрал!

— А что?

— Да ходила она к доктору со своим животом. Но не говорит, что он ей сказал. Брата спрашивал. Я просил его разузнать. А она, как идет оттуда, только песни поет. Что тут будешь делать? Надо бы с ней самой по телефону поговорить, спросить напрямик. Черт бы ее побрал. Поет, а?

— Говорят, молодость — что глупость,— заметил Юсо.

— А теперь-то куда? По какой дороге? Если прямо, то к покойникам.

— Поворачивай направо.

Пертти повернул и дал полный газ. Телеграфные столбы и снег на многие километры.

— Я сказал, что этот Ярвинен был мясником?

— Сказал.

Глава седьмая

В Коувола грустно.— Юсо хочет знать свой точный вес.— Подходящие весы — только на бойне.— Полицейский отдает честь Юсо.— В тоннеле — что сама жизнь.— Юсо хочет слышать женский голос.

Грустно в Коувола. Еще несколькими днями ближе к смерти. Поздние вечерние часы. На улицах только такси. Снег вздымается столбом. Пьяная драка у киоска с сосисками. Ручеек крови на снегу. В ночной тишине раздаются удары. Появляется полицейская машина, и вместе с ней — спокойствие и пустота на улице.

Юсо отправил Пертти за весами. Он хочет знать точно свой нынешний вес. А Коувола достаточно большой населенный пункт, и уж по крайней мере одни-то весы к услугам Юсо, конечно, найдутся.

Сразу после одиннадцати Пертти позвонил из кухни ресторана. Голос его звучал на фоне какого-то стука и треска. Чем-то большим и тяжелым ритмично ударяли об пол. На кухне Пертти обнаружил весы на сто сорок килограммов.

— Нет, этого недостаточно,— вздохнул Юсо.

— Что?!

— Недостаточно! — взвился Юсо.

— Мало ему,— пояснил голос Пертти.

«Ой, создатель», «Вот это да»,— раздался хор голосов. Затем какая-то женщина грубоватым голосом объявила, что ее муж может добыть весы побольше в магазине скобяных изделий. Только он сейчас на семинаре продавцов в Котке и домой явится только утром. Другой женский голос, помоложе, предложил поискать в других местах, однако женщина, видимо, находилась дальше от телефона, и голос ее был плохо слышен.

— Сейчас, Юсо, сейчас, погоди,— вставлял время от времени Пертти.

Между тем Юсо разглядывал освещенную фонарями притихшую ночную улицу. Какой-то сгорбленный старик проковылял по ней. Куда он шел? Был ли доволен жизнью и тем, что она скоро кончится? Хотел ли умереть в одиночестве или среди людей?

— Эй, Юсо! Все в порядке! — возликовал Пертти в трубку.

— Слава богу!

— Здесь нашлась женщина, у которой брат работает на бойне. Мы получим у братишки ключи. Там, говорят, такие весы, что хоть тысячи килограммов наваливай. Мы можем пойти туда прямо сейчас.

— Никуда я не пойду!

Пертти чертыхнулся.

— Эй, вы! Тащите эти весы сюда, в отель. Юсо приказал! — объявил Пертти всем находящимся на кухне.

Послышался женский голос. Слова неразборчиво дребезжали.

— Юсо. Они очень тяжелые. Нужен грузовик.

— У меня же есть деньги! Возьми для начала пятьсот монет и организуй это дело.

Около половины первого к отелю подкатил грузовик с весами, на которых можно было взвесить животину до тысячи килограммов. Юсо смотрел из окна, как весы вынимают из кузова. Они были железные. Они были тяжелые. Он почувствовал чуть ли не умиление. Вот же ведь — благодаря деньгам невозможное стало возможным.

Как много в мире можно делать с помощью денег, всего лишь денег! Невзрачных чеков и замусоленных бумажек.

Весы не проходили в дверь отеля, хотя обе створки были распахнуты настежь. Они стояли перед дверью на тротуаре. В бледной ночи мелькали огоньки сигарет.

Позвонил портье.

— Директор Тинус. Это для вас привезли весы?

— Да.

— Ясно. Значит, все в порядке. Но у грузчиков затруднения. Весы не лезут в дверь. Они просят вас сойти вниз.

— Не пойду. Не могу.

— Вот лошадиная ж... Извините. Неужели вы не понимаете?

— Нет.

— Весы у самого входа. Спуститесь на лифте. Я открою дверь и помогу вам. Поймите же, что получается.

— Нет, я с места не двинусь. Пусть двигаются весы!

— Вот заср... Извините. Поймите же. У весов собрались уже почти все городские пьяницы. Послушайте, черт вас подери! Ну вот, теперь еще и полицейская машина. Спускайтесь вниз! Я приказываю. Немедленно!

— Я заплачу за перенос весов. Вы получите двести монет, если организуете доставку этой штуки сюда наверх.

Портье вздохнул и задумался.

— Ну ладно, попробую. Полиция, пожалуй, разгонит зевак.

— Вот это уже другой разговор. Я жду.

Юсо повалился на кровать. Почему-то на память ему пришел один случай, который произошел, когда он пяти- шестилетним мальчиком гостил в деревне у тетки. Он помнил, как мучительно долго не мог заснуть в комнате, где тошнотворно пахло горькими лекарствами. Он видел на потолке круглые коричневые глаза, которые тотчас закрывались, как только он переводил на них взгляд. Тетка крепко спала в соседней комнате, а он был один и не мог уснуть. Большая ель шумела в темноте на ветру. Маленькому Юсо приснился сон — он отправился гулять. Он стоял в лесу, среди ветра и темноты. Ветер, лес, темнота — и вдруг громкий вскрик. Проснулся он на коленях во влажных мшистых зарослях. И тут же поднялось солнце.

— Юсо, подъем!

— Что?!

— Они здесь, в коридоре,— суетился Пертти.

— Что — здесь?

— Ну эти идиотские весы!

— Давайте их в таком случае сюда.

— Юсо, черт бы тебя побрал! — Пертти вцепился в него и с трудом принялся стаскивать с кровати.— Подумай хоть на минутку о других. Время-то уже четверть третьего.

— Я заплачу!

— Да, да, но и деньги не все могут. Сюда эти весы подняли лебедкой, да и то с большим трудом.

— Если бы у меня было достаточно денег, я купил бы этот отель и освободил место для весов.

— Ну вот что, Юсик, хватит валять дурака,— сказал устало Пертти и поставил его на ноги.— Я шофер, а не сиделка при ненормальном. Я, черт возьми, вытащу тебя силком, если сам не пойдешь!

— Ладно,— протянул Юсо.— Я ведь только хотел показать тебе, что с помощью денег можно даже стены передвигать.

Весы стояли в начале коридора. Рамы из окон были выставлены. Вьюжило. Вокруг весов топталось человек двадцать. В том числе — непонятно почему — бригада «скорой помощи». Два ночных сторожа с немецкими овчарками. Случайный лыжник с лыжами под мышкой, облокотившись о стену, спокойно курил трубку. Перед весами стоял полицейский в форме.

— Вот и мы,— объявил Пертти Ламминен.

Собравшиеся уставились на них.

— Пошли отсюда вон, бездельники, нечего глаза пялить,— приказал полицейский и поднял руку. Никто не двинулся с места.— Вы слышали или нет? — Полицейский достал пистолет и неожиданно для всех предупреждающе выстрелил в потолок. Все отступили на два-три шага. Бригада «скорой помощи» даже не шелохнулась — будто приросла к месту.

Пертти помог Юсо взобраться на весы. Крепко вдавив ноги в металлическую платформу, Юсо почувствовал себя на мгновение во всех отношениях выше остальных.

— Ну сколько там набежало? — опомнился он.

Окружающие стали осторожно подходить — полицейский ведь по-прежнему держал пистолет в руке. Стоял и ждал результата. Затем уставился на стрелку весов и почтительно снял фуражку.

— Возможно, весы не в порядке,— засомневался он.

— Сколько? — распаляясь, спросил Юсо.

— Двести тридцать пять,— объявил полицейский и инстинктивно щелкнул каблуками.— Вы можете по праву считать себя самым полновесным мужчиной в Финляндии. Вам бы принять участие в каких-нибудь соревнованиях, где полнота может дать преимущество. Нет ли этим летом где-нибудь состязаний по обжорству? Никто не знает?

— Помогите мне уйти отсюда!

Полицейский подхватил его под руку, а Пертти — под другую. Через десять секунд Юсо уже лежал на кровати у себя в номере. В глазах мельтешили лица, пейзажи.

— До свидания! — сказал полицейский и отдал честь.

Юсо приподнялся на локтях. Именно так. Он не ошибся. Ему хотелось плакать. Ему отдали честь! Ему! Растроганный, Юсо вытащил из кармана бумажку в сто марок и протянул полицейскому.

— Извините, но я не могу принять: при исполнении служебных обязанностей.

— Примите в таком случае как частное лицо. Как обычный человек.

— Как частное лицо, пожалуй, могу,— согласился полицейский, схватил бумажку и сунул в карман.— До свидания! — повторил он и помахал рукой.

— Спасибо вам,— вздохнул Юсо и, тотчас забыв о нем, стал изучать свои пальцы. Они были короткими и тупыми. Иногда осенью на рынке продают точно такую морковь.

Он был теперь на двадцать килограммов легче, чем дома. Он похудел. Скитание по миру вытрясло из него килограммы. Какое будущее ожидает его? Грусть и тоска! Сожаления о прошлом, тревога за настоящее и будущее! Стоп, что-то новое!

Юсо представилось, что он находится в длинном тоннеле. Длинном, как сама жизнь. На стенах мелькают картинки из его жизни. Он видит много знакомых лиц, которые смотрят на него с сожалением. Лица прозрачны, они светятся красным, словно внутри горит лампа. Люди что-то говорят, но он не понимает. Перед ним проходит вся его жизнь. Все его приключения и деяния днем и ночью. Эти картины поразили его. Он представлял себе свою жизнь иной.

Удивительно мало сценок, изображающих его похождения с женщинами. А он-то считал, что последние тридцать лет были заполнены только пьянством, возней с бабами в гостиничных номерах и автомобильными поездками. Мелькавшие изображения, однако, показали, что большая часть его жизни ушла на сон. На уйму бесполезной ерунды. На хождения. На разговоры. На ожидания. На простаивание перед лифтом и в лифте.

Можно ли из этих осколков жизни составить разумное целое? Нет! По большей части это был хаос, беспорядочная глупость. Мельтешня пейзажей, лиц, отдельных слов и телодвижений, и все это объединял один и тот же наблюдатель и действующее лицо — он сам, Юсо Тинус.

— Пертти,— прошептал он в темноту.

Пертти Ламминен спал.

— Пертти! — закричал Юсо, как на пожаре.

— Что?

— Приведи сюда какого-нибудь человека.

— Человека? Черт побери! С каких это пор я перестал быть человеком?

— Заткнись. Раздобудь женщину.

— Женщину?!

— Женщину, женщину.

— Женщину в четыре часа ночи? Сначала были весы, а теперь...

— Женщину сюда. Я заплачу.

— Неужели так нужно?

— Да!

— Совсем невтерпеж?

— Да!

Пертти поднялся, натянул брюки и вышел. Юсо ждал, он повернулся на бок и ждал в гнетущей тишине. Пертти вернулся и приволок с собой женщину. Высокую блондинку. Пьяную.

— Где ты ее нашел?

— Спала, привалившись к дереву.

— Разденьтесь сверху.

Женщина начала нетвердыми пальцами расстегивать платье.

— Ты же могла замерзнуть.

Женщина попыталась ответить, но язык не повиновался ей.

— Скажи: я люблю тебя, Юсо Тинус.

Женщина произнесла это только с третьей попытки.

— Еще раз. Я люблю тебя, Юсик.

— Я люблю тебя, Юсик.

— Сколько тебе лет?

— Я — пятьдесят второго года.

У женщины был красивый звонкий голос. Напоминал голос какой-то дикторши на телевидении. Той самой, которая постоянно щурится.

— Пятьдесят второго года. Тогда я продавал автомобили в Рийхимяки.

— А-а-а.

— Можешь одеваться.

Женщина покраснела.

— А я-то думала.

— Пертти,— сказал Юсо.— Возьми мадемуазель и понаслаждайся с нею.

— Черт побери, Юсо. Первое здравое предложение сегодня,— захохотал Пертти и притянул женщину к себе.

— Только убирайся с глаз долой. А то вы похожи на обезьян.

— Я погашу свет,— сказал Пертти.

— Гаси, гаси.

Юсо затаил дыхание. Он боялся вновь оказаться в тоннеле. Туда он попадет — рано или поздно. А пока надо сохранять хладнокровие. Нельзя давать волю воображению. Жизнь должна складываться из чисто механических движений — движений мышц. Он должен лишь существовать. Тихо и спокойно, дни и ночи, без эмоций и дум.

Глава восьмая

Туулия довольна своим почтальоном.— Эли поддает ветра в паруса фирмы.— Весточка на дне сумки фирмы «Алко».— Юсо в поисках более просторного помещения для своего бренного тела.— Почтальон приносит настораживающее известие.— Пертти делает мрачный обзор состояния экономики.— Юсо обещает изыскать дополнительные денежные знаки.

Новое утро.

Каждое такое свежее, льющееся через край утро уже счастье, думал Юсо Тинус, с грустью ожидая заказанного телефонного разговора. Пертти пошел за завтраком в ресторан. Женщины не было видно. Яркий день затоплял комнату. Юсо размышлял о вечности. Что такое вечность — бытие вне времени? Останавливается ли все в вечности? Господствует ли там темнота? Неподвижность? Бессознательность? Смерть?

Зазвонил телефон.

— Я слушаю,— сказал он.

— Это ты, Юсо? — спросила откуда-то издалека Туулия незнакомым голосом.

— Я. Что слышно?

— Юсо! Где ты и почему не звонишь?

— Здесь. В этом мире.

— Любишь ли ты меня еще, Юсо?

— Да, да.

— Что? Любишь?

— Наверное.

— Что? Ах, ты не знаешь.

— Нет. Все заботы покидают меня. Во мне царит хаос. Нужно время, чтобы разобраться в этих чувствах, упорядочить их. Во всяком случае, сейчас я знаю больше о непостоянстве всего земного, об относительности жизни и времени.

— О чем, о чем?

— Об относительности.

На другом конце долгая пауза.

— Юсо. Я больше не понимаю тебя.

— Ты никогда меня не понимала.
— Да. Не понимала, Юсо.
— Да.
— Теперь он переехал к нам.
— Кто?
— Ну, этот.
— Кто — этот?
— Ну, почтальон. Не могу же я вечно бегать открывать ему дверь, второй-то ключ ведь у тебя. Юсо, тебе не кажется, что так оно лучше?
— Он уже прописался?
— Да, он заполнил какие-то бумаги и отнес их дворнику. Видно, это касалось прописки.
— Наверняка касалось. Сколько он весит?
— Кто?
— Твой почтальон!
— Ах, вот ты о чем. Не знаю, что и сказать. Что-то около семидесяти. От него уже сейчас большая помощь. Он выносит мусор и ходит за покупками, пылесосит квартиру и во всем мне помогает. Не нужно даже и намекать — он сразу бросается делать.
— Выходит, золотой человек, цены ему нет.
— И не говори! Недавно я встретила госпожу Яррила на лестнице, так даже она сказала, что он самый вежливый человек во всем доме, а госпожа Яррила по пустякам не хвалит.
— Туулия! Ты только не перегружай его. А то ему надоест, и тогда у тебя опять останется одна только бесконечная работа.
— Ой, Юсо! Я и сама побаиваюсь. Раз уж удалось подцепить приличного человека, нужно уметь удержать его. Вот я и сказала ему вчера, когда он вернулся с работы: отдохни, мол, немножко. Сварила кофе, наделала бутербродов с ветчиной и подала ему в постель. Если бы ты видел, как ему это понравилось! У него были слезы на глазах! Да, как мало иногда нужно, чтобы сделать человека счастливым.

В голосе Туулии чувствовался восторг и радость жизни. Юсо был безгранично рад за Туулию. Туулия как-никак его жена, и теперь она обрела наконец счастье.

— А как вы там обходитесь? — вспомнил вдруг Юсо.— Жалованья-то почтальонского вам хватает?
— Ой, Юсик, золотко! Крошка моя любимая! Как раз об этом я и хотела поговорить с тобой. Послушай. Ты бы не смог перевести сюда хотя бы пару тысяч. Для начала. Ты знаешь, мы приобрели кое-какую мебель и ночники в спальню. Да и стульчак в туалете треснул, когда он стоял на нем на руках. Он иногда ужас какой игривый.
— Переведу. Возможно, даже сегодня. Правда, если деньги у меня выйдут раньше времени, это может приблизить мою кончину. Но тут уж надо самому выкручиваться. Я переведу.
— Ты чистое золото, Юсик! Если бы я только знала, где ты! Но ты что-то скрываешь от меня. Розничные продавцы звонят сюда со всей страны и просят пластмассы. Никто не знает, где ты, а Андерссон не получил от тебя ни одного заказа за все это время. Послушай! У них здесь весь склад забит пластмассой. Юсо, золотко, приезжай домой! Мы скоро погибнем тут от этой пластмассы!

Юсо испустил сочный, злорадный смешок.

— Юсо! Нечего ржать-то. Если бы Эли не занялся тут всеми делами, мы бы уже погибли. Эли вернул рабочих на работу. Эли связался со всеми магазинами и оптовыми фирмами и пустил в оборот несколько грузовиков товара.
— Какой Эли! О каком Эли ты твердишь? Не знаю я никакого Эли.
— Но это же он, Юсо! Он, Эли. Тот самый почтальон — Эли.

— Ах, вот как. Что же, Эли там теперь вроде директора, что ли? Вместо меня?

Туулия замолчала.

— Ты меня слышишь, женщина? Выходит, Эли — это я!

Тут Юсо заметил, что Пертти вкатился в номер с большим подносом. На тарелках дымились колбаски, картофель, толстые куски свинины и отбивные.

— Отвечай, Туулия!

— Да, получается, что так,— вздохнула Туулия.— Должен же и здесь кто-то вести дела. И лучше, что этот кто-то Эли, а не посторонний человек.

— А мою одежду ты этому Эли тоже отдала? — спросил Юсо, подцепив с подноса запеченный с сыром кусок колбасы. Еда была горячая и очень вкусная. Живот тотчас заурчал, выражая удовлетворение.

— Боже мой, Юсо. Нет. Конечно. Ты же сказал, что нельзя отдавать.

— Правильно, правильно. И не отдавай. Я не хочу, чтоб в моих штанах ходил кто-то другой, даже если я умру.

— Да, да. Но он и сам достаточно обеспеченный, у него есть свои брюки. Насколько мне помнится, у него по крайней мере две пары брюк, если не три,— со слезами в голосе произнесла Туулия.

— Не вздумай еще реветь из-за штанов,— предупредил Юсо.— Туулия, пора закругляться, а то мне принесли поесть.

— Приятного аппетита, Юсик-золотко! — бодро пожелала Туулия.

— Так держать. Выше нос, несмотря на все превратности судьбы.

— Не забудь выслать деньги, Юсик!

— Вышлю.

Юсо поспешно закончил разговор и схватил вилку и нож, которые протягивал ему Пертти. На дне сумки «Алко» Пертти обнаружил письмо.

— Юсо, здесь письмо тебе. Лежало под бутылками.

— Мне? Никто вроде бы не должен знать, где я нахожусь. Даже «Алко».

Пертти бросил ему в постель письмо — на конверте сияла серебристая печать с изображением ангела.

Юсо вскрыл конверт и извлек из него лист гладкой бумаги с машинописным текстом:

Директору Юсо Габриелю Тинусу, находящемуся по пути где-то в этих краях.

ЦЕРКОВЬ СЛЕДИТ ЗА КАЖДЫМ ВАШИМ ШАГОМ. НЕЛЬЗЯ ТАК БЕЗДУМНО РАСТОЧАТЬ ВРЕМЯ. ПОДУМАЙТЕ О ВАШЕМ ПОЛОЖЕНИИ НЫНЕ И О ВЕЧНОСТИ. ДУХОВЕНСТВО К ВАШИМ УСЛУГАМ. С ДРУЖЕСКИМ ПРИВЕТОМ ЕПИСКОПАТ ФИНЛЯНДИИ.

Юсо Тинус нащупал спички. Только третья зажглась. Зола от письма рассыпалась и разлетелась по всему полу.

Юсо начало раздражать то, что он теряет столько времени, пока его втиснут в автомобиль. Да и сам процесс размещения такой туши в небольшом автомобиле был не из приятных. Его телеса закатывали, уродовали, вжимали. Чужие руки постоянно тискали его. Хочешь не хочешь, а приходилось ощущать себя какой-то зыбкой, колышущейся массой.

— Поезжай в какой-нибудь автомобильный магазин,— сказал он Пертти, когда его наконец втиснули в автомобиль.

— Хорошо. Ну что ж, поехали, сказала дева Ева...

— ...на сеновале,— докончил Юсо.

— Откуда ты знаешь?

— Ты уже изрекал это. А сейчас поехали покупать новую машину. Побольше этой.

Пертти нашел магазин. Продавцам велено было прогнать перед ними все находившиеся в магазине автомобили. Юсо пришла в голову нелепая мысль, будто он смотрит первомайский парад на Красной площади в Москве. Возможно, это происходило оттого, что продавцы, проезжая мимо, отдавали честь.

Подошел директор магазина, атлетического сложения мужчина с красной гвоздикой в петлице.

— Как вам понравился наш ассортимент? Нашли что-нибудь подходящее?

Юсо прикрыл глаза и задумался.

— До четвертого к нам придет новая импортная партия.

— Я возьму красный пикап, который был последним или предпоследним.

— Прекрасно. У вас игривый вкус. В придачу вы получите аквариум, бутылку водки и тостер. У вас все основания быть счастливым.

— Счастливым я могу быть только от бутылки водки. Аквариум отправьте в психиатрическую больницу, а тостер — в детский дом, чтобы дети ели теплый хлеб.

Теперь у Юсо было достаточно места в автомобиле, но лежать на твердом влажном полу было неприятно. Он приказал Пертти ехать в мебельный магазин.

— Сейчас ты пойдешь и купишь мне кровать, которая поместилась бы сюда и в которой удобно было бы лежать.

Он получил кровать. Она подходила по размерам. Широкая и упругая. От себя Пертти купил ему в подарок простыни, подушку и наволочки. Толстое теплое одеяло.

Юсо помогли улечься в кровать. Какое счастье! Он принял новое горизонтальное положение и с наслаждением вздохнул.

— Теперь у Юсо райское житье! — заглянул в автомобиль Пертти.

— Так и есть, если это похоже на рай.

Новая кровать, новые простыни, подушка, одеяло и новый автомобиль, новые светлые фары, лучи которых пронизывают густую тьму зимнего вечера! У Юсо уже давно не было такого легкого и спокойного состояния духа. Ему вспомнилось рождество в детстве с подарками, завернутыми в шуршащую бумагу, и с запахом свечей.

— Куда ехать? — произнес голос Пертти Ламминена где-то за его головой.

— Прямо, вперед!

— Я так и думал.

— Ты начинаешь постигать науку.

Автомобиль стремительно мчался по шоссе. Юсо приноравливался к своему новому жизненному пространству. Лежа на спине, он видел только серо-зеленый потолок автомобиля. На боку, если вытянуть шею к переднему сиденью, он мог смотреть вперед и вверх. Приняв полусидячее положение, он мог смотреть в темное заднее окно. Таким образом без особого труда он мог обозревать все спереди и сзади. Через заднее окно он видел движение на шоссе, слепящий свет автомобильных фар. Сколько разных человеческих судеб можно встретить на шоссейных дорогах! На своей мягкой кровати, в этом новом, хорошо пахнущем автомобиле он был лишь кусочком плоти среди миллиардов таких же горемык.

На площади в Савонлинна Юсо Тинус почувствовал потребность определить на карте свое местонахождение. Ведь только названия и имеют значение. Названия, имена сохраняются, а плоть тленна. Пертти купил толстый географический атлас.

Юсо окинул взглядом все части страны. Но ему захотелось по-

смотреть шире и дальше. Прочь из своего тела, из морей этого мира. Возможно, ему предстоит отыскать нечто, достойное стремлений, вовсе не в этом земном мире, не в самом себе. В самом себе он ничего не находил.

К счастью, на картах были обозначены также и звезды. Он разложил на животе видимую на Земле часть Луны. И в тот миг, когда его тупой, похожий на морковку палец двигался по нижней части океана Бурь в направлении моря Влажности и далее к находящемуся сбоку от него морю Облаков,— в тот самый миг, когда он пытался вообразить свет и мрак Луны, кратеры, шероховатую поверхность, своеобразный колорит и описанные астронавтами пурпурные камни,— в этот самый миг Пертти Ламминен рванул настежь обе задние дверцы машины.

— Подъем!

Рядом с Пертти стоял незнакомый мужчина. Почтальон, догадался Юсо, увидя его форму.

— Что случилось?

— Вот этот просит тебя зачем-то расписаться.

Юсо долго вглядывался в бесстрастное служивое лицо.

— Ты что, тот самый, который крутит с Туулией?

— Не знаю я никакой Туулии. Вы Юсо Габриель Тинус?

— Да, я.

— Вам телеграмма. Распишитесь.

— Ну и народ же здесь. Телеграмм я за свою жизнь получил предостаточно, но никогда еще за них не расписывался. Я что, исключение из правил, что ли? Вы, случайно, не от местных попов и не от этих чудаков из Центра регистрации актов гражданского состояния?

— Никого и ничего я не знаю. Я — почтальон. Распишетесь вы наконец?

Юсо черкнул свое имя в протянутой почтальоном тетрадке и получил телеграмму. Бланк по одиннадцатой форме, на нем — одинокое ожиревшее сердце. Телеграмма действительно была адресована ему. Стояло его имя. И адрес — Савонлинна, городская площадь.

ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕЛАЕТ ВАМ ЮСО ГАБРИЕЛЬ ТИНУС СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТОЧКА ВИДИМО ВЫ ПЛОХО ПОМНИТЕ ДАТУ СВОЕЙ СМЕРТИ ТОЧКА ЭТО ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ ТОЧКА ВАШЕ БАНКРОТСТВО МОЖЕТ ПРИБЛИЗИТЬ ДЕНЬ ВАШЕЙ КОНЧИНЫ ТОЧКА ПРЕКРАТИТЕ РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ТОЧКА ЭТО МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ ДЛЯ ВАС ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТЬЮ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВАШЕЙ ЖЕНЫ ПОСЛЕ ВАШЕЙ СМЕРТИ НЕДОСТОЙНЫ ТОЧКА ФИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СИМ ОБЪЯВЛЯЕТ ВСЕ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ВАМИ СТРАХОВКИ ДУШ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ТОЧКА ЛЕВОНАСТРОЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДУХОВЕНСТВА НАМЕРЕНЫ ОБРЕЧЬ ВАШУ ДУШУ НА ВЕЧНЫЕ МУКИ УЖЕ ТЕПЕРЬ А НЕ С ПЕРВОГО АПРЕЛЯ ТОЧКА ПРАВОЕ ЖЕ И УМЕРЕННОЕ ДУХОВЕНСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЗУМИТЬСЯ ТОЧКА ИСПРАВЬТЕСЬ ЖЕ ЧЕРТ ВАС ПОБЕРИ ТОЧКА НЕМЕДЛЕННО УСТАНОВИТЕ КОНТАКТ С БЛИЖАЙШИМ ДУХОВНЫМ ПАСТЫРЕМ ТОЧКА ВЕЧНОСТЬ МОЖЕТ СТАТЬ И ВАШИМ УДЕЛОМ ТОЧКА

ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ—ФИНСКИЙ ЕПИСКОПАТ—ДУХОВЕНСТВО.

Юсо Тинус впал в странное состояние. Он не ощущал движения автомобиля. Он ничего не видел. Он не чувствовал тяжести тела. Было абсолютно тихо. Еще недавно он без устали любовался заснеженным лесом. На целые километры лес и лес в снежном наряде.

Умереть бы сейчас! Можно ли так безразлично относиться к своей смерти? Сколько вздора говорилось о ней! Попы напрасно его запугивают.

Он находился в полном сознании. Он мог двигаться и тотчас понял, что лежит на животе. Приподнявшись, он посмотрел в заднее окно. Конечно же, он еще на земном шаре. Спускались сумерки, было почти темно. Медленно падал снег, снежинки кружили в свете уличных фонарей. Танец снежных сердец.

«Есть здесь кто?» — захотелось крикнуть ему.

Тихо, как в могиле.

— Подъем! — возопил он.

Послышалась возня на переднем сиденье. Шепот и шушуканье. Высунулась голова Пертти Ламминена. С ним была женщина.

— Что случилось?

— Мне показалось, что ты меня бросил.

— Пока не возьму расчет, никуда я не денусь. А ты знаешь, где мы?

Юсо насчитал на переднем сиденье три ноги и четыре руки. Уж не предался ли Пертти извращениям, предпочитая развлекаться с одноногими женщинами? Юсо посмотрел в окно и увидел слева очертания большого строения, а справа — редкие деревья и парк. Из заднего окна вдалеке виднелись магазины. Он ощутил близость воды. Наугад сказал:

— Мы в Йоенсуу. На ратушной площади Йоенсуу. Здесь витает дух Сааринена [1].

— А ты, оказывается, знаешь Финляндию,— удивился Пертти.

Спереди снова донесся шорох. Ясно было, что там одевается человек. Временами оттуда выглядывала нога, временами — часть плеча, кудрявая голова в замысловатых забитках.

— А в тебе даже зимой сок бродит...— подумал вслух Юсо.

— Да. Приходится время от времени проверяться,— заржал Пертти.— Так как, поедем в гостиницу или опять прямо?

— В гостиницу. Но сначала мне нужно попасть на весы.

— Опять! Ты же только что взвешивался в Коувола.

— Это необходимо. Времени остается мало, и мне нужно знать, что происходит в моем организме.

— Да, да. Всегда вот так. Видно, лучше отвезти тебя прямо на бойню. Не нужно искать весов — у них там все есть на месте. Но сначала я отпущу свою овечку. Чао, крошка, до встречи на небе!

Некоторое время Юсо наблюдал за толстушкой, удалявшейся подпрыгивающей воробьиной походкой. Вскоре она исчезла за высокими сугробами. Шел снег. Уличные фонари пульсировали в нем. В Йоенсуу все дышало покоем.

— Что ты такое сказал насчет неба? — вспомнил Юсо.

Пертти включил мотор и стал слушать, как он работает.

— Не суй нос в мои дела по страхованию душ!— проворчал Юсо.

— Черта с два, нужно же кому-то продолжать, раз уж начали,— бросил Пертти через плечо.— Нельзя ни с того ни с сего бросить хороший бизнес.

— Которые по счету были эти кружевные штанишки?

— Четвертые или пятые. Эта обошлась дешево. Деньги совсем не понадобились. От той поварихи в Коувола мы с тобой отхватили прилично. Тысячу двести. Только вот она не смогла заплатить наличными больше пятисот. Но уж лучше это, чем ничего. Тем более что они кончаются.

— Что кончается?

— Деньги.

— Что?!

— Деньги кончаются, черт бы их побрал.

— Да ну!

— Да. От твоих осталась всего одна затасканная пятерка. Без моих страховок мы бы не дотянули до сегодня.

Юсо задумался. Ведь как раз об этом говорилось в телеграмме. Жизнь от начала до конца — неизбежная и обременительная погоня за деньгами. Даже накануне смерти человеку приходится сражаться с денежными проблемами.

---

[1] Знаменитый финский архитектор.

— Послушай, Пертти. Я хочу показать тебе, как делают деньги.
— Фальшивые?
— Нет, очень даже настоящие! Бездомные и бесхозные деньги есть почти повсюду, несмотря на депрессию. Нужно только найти средство сделать их своими,— сказал Юсо, прихлебывая из бутылки.— Деньги — всего лишь бумага,— заключил он и прикрыл глаза.

Глава девятая

Пертти узнает подлинную цену Юсо и восхищается его экономическими способностями.— Материнское молоко, кровь и цветочный перегной.— Жевательная резинка, замороженные продукты и летние дачи. — В роли представителя акционерного общества «Материнское молоко» в провинции.— Юсо принимает делегацию местной общины.— В номере Юсо нежданный гость.— Душа, управляемая электронно-вычислительной машиной.— Гость предлагает Юсо застраховать душу. — Гость совершает чудо и неучтиво удаляется через окно.

— На тебя не надивишься, Юсо! Ты дьявольски умный ловкач, как и все чокнутые,— громко воскликнул Пертти Ламминен, подталкивая к кровати Юсо картонные ящики, доверху наполненные резиновыми воронками для сцеживания молока.— Давай побыстрее управимся с этим, Юсо, избавим от денег местных дегенератов и махнем в Швецию собирать кроны — чтоб целее были, а то ведь сами шведы, растяпы, на это не способны.

Но Юсо Тинус молчал. Он спал, сложив пухлые руки на пухлом животе.

Пертти закрыл за собою дверцы машины и подумал, что, если бы эти люди, сражающиеся со снегом на улицах Йоенсуу, знали, какая мыслительная машина лежит в этом автомобиле, они бы все, как один, сбежались сюда. Проведай какой-нибудь местный консультант по вопросам экономического развития об этом чуде, и к Юсику потекло бы больше предложений, чем денег — выигравшему в лотерею. Пертти догадывался о подлинной цене Юсо. Он понимал, что ему следует помалкивать. Сболтни он лишнее, и Юсо могут у него отобрать. А его самого отправят по этапу обратно в Лампи. Там соседская девчонка быстро подбросит ему щенка, который прикует его к Лампи, как тяжелый якорь. В лучшем случае ему останется вспоминать те времена, когда он колесил по стране с ненормальным толстяком, который все время болтал о своей смерти.

Пертти включил первую скорость и отпустил педаль сцепления. Взглянул назад. Юсо спал. Он включил вторую скорость и расположился поудобнее.

Будь у него мозги, как у Юсо Тинуса, он собирал бы деньги, как недоумки — макулатуру, и построил бы на них рядом с церковью в Лампи десятиэтажный дом с плавательными бассейнами, ночными кабаками, салонами для игры в бинго и жил бы как в последний свой день. Он стал бы председателем общины и разносил бы всех круглорожих в пух и прах. Он раздел бы женщин до пояса и лучших бы посеребрил. Он наплодил бы в этом мире столько детей, сколько душа пожелает, и каждому произведению мужского пола дал имя Пертти Ламминен. Умер бы он без стенаний, выхлопотав себе центральное отопление в могилу. Родственникам бы завещал открыть небольшой бар рядом с его склепом, чтобы через стаканчик проглядывала его могила. Какая-нибудь бабенка сидела бы тут же и ткала ковры, чтобы людям было на что поглазеть, а не только на кости. Всем малышам по имени Пертти Ламминен в баре выдавали бы бесплатно мороженое — сколько влезет.

И ни при жизни, ни после смерти не было бы у него недостатка ни в чем. Если бы только у него были мозги Юсо Тинуса.

Юсо знал, как делать деньги. Останавливаясь у светофора, Пертти оглянулся на Юсо, храпевшего на подушке, расписанной клубничками. Рот директора-распорядителя был приоткрыт. Кожа блестела, будто смазанная жиром. Все произошло внезапно. В несколько мгновений Юсо Тинус создал фирму общегосударственного значения. Фирма Юсо Тинуса привела людей в движение. Они доверили Юсо свои последние гроши. И даже стали делать подарки. Юсо Тинуса возвели в ранг благотворителя.

Материнское молоко, кровь и цветочный перегной. Материнское молоко и кровь всегда пользовались спросом. На цветочный перегной были выгодные предварительные заказы на весну. Прямо с участков пустующих домовладений. Эпохальное изобретение для изготовления пеленок. Портативная уборная — «непромокаемый Юсик». Потрясающий метод избавления от курения в течение одного дня. Инструкция — 19,50 марок за штуку, включая почтовые издержки,— непосредственно от автора, Ю. Г. Тинуса. От того же автора сборник наставлений —«Через систему мышления хуай-хай к счастью», в придачу — страхование души и гарантия безопасности от черных.

Юсо Тинус создавал организации. Он сливал фирмы, благо господствовала тенденция к слиянию. Пускал фирмы в трубу, если это было выгодно. Занимал и давал взаймы. Лежал на кровати и думал.

Сидел в номере гостиницы, звонил нужному лицу в нужное место и время и добивался успеха. Коммерческая деятельность его разрасталась. Деньги словно сами по себе потоком устремлялись к директору-распорядителю Юсо Габриелю Тинусу. Он узнал, что на складах одной страховой компании недвижимым грузом лежит пять тонн сырья для жевательной резинки. Позвонил по телефону и получил подтверждение пригодности сырья для производства; позвонил еще раз — и отыскал покупателя на юге Швеции, а после третьего звонка грузовик с прицепом почти задаром перевез груз покупателю. Юсо приобрел и выгодно перепродал холодильники со слегка поврежденной поверхностью, стиральные машины, морозильные камеры. Накупил древесины и построил из нее летние домики.

Пертти Ламминен ехал на полной скорости по заснеженной, только что расчищенной дороге. Лес по обе стороны. Бледный зимний день угасал.

Они везли резиновые воронки для сцеживания молока матерям, проживавшим в лесной глуши.

— Да плодоносят матери — и чем дальше, тем больше! — прогремел сзади голос Юсо.

— Привет! Мы, между прочим, скоро прибудем,— оглянулся Пертти.— Какого дьявола, Юсо, тебе понадобилось изобретать этот молочный бизнес? Ты же скоро выдоишь насухо всех женщин Финляндии.

— В жизни нужна лишь одна плодотворная идея. А у меня их много,— ответил Юсо.

— Прибыли, мой господин,— объявил Пертти, сбавил скорость и остановил автомобиль у входа в местный муниципалитет. Пертти выпрыгнул и пошел открывать задние дверцы. Юсо приподнялся на локтях. На дворе уже были густые сумерки. Лес стоял черной стеной и шумел совсем близко.

С верхних ступенек муниципалитета на автомобиль упал яркий свет. Прожектор поддерживал долговязый парень, у которого от волнения тряслись руки. К автомобилю промаршировала колонна, состоящая человек из четырех-пяти. Передние с любопытством уставились на дверцы автомобиля. Молчаливое ожидание. От холода делегация топталась на месте.

— Прошу извинения, уважаемые граждане. Поскольку вы явно чего-то ждете, я, очевидно, должен выйти отсюда?

— Не утруждайте себя, ради бога! Оставайтесь там, директор-распорядитель Тинус, отдыхайте,— произнес из темноты дрожащий мужской голос.— От имени муниципалитета Саломется разрешите сердечно приветствовать вас по случаю прибытия в нашу общину. Это для нас исключительная радость и счастье. Могу ли я представить вам нашу делегацию?

— Можете.

— Эта госпожа, рядом со мной, акушерка нашей общины, она же патронажная сестра, а также медицинская сестра в школе. Между прочим, она еще и моя жена, с вашего разрешения. Рядом с ней секретарь муниципалитета, он же производитель работ и руководитель молодежных организаций, а мне выпала честь быть председателем всех наших муниципальных комиссий. Здесь, в Саломется, мы вынуждены сосредоточивать по нескольку должностей в одних руках из-за налогов. В данном случае я выступаю в качестве председателя комиссии по индустриализации.

Юсо не видел из своей кровати ничего, кроме расплывчатых колышущихся фигур и голов. Он кивал этим головам, а они в свою очередь низко кланялись ему.

— В больницах сейчас большая нехватка материнского молока,— произнес Юсо, обращаясь к кланяющимся головам.— Чрезвычайное, бедственное положение нации требует, чтобы материнское молоко, все до капли, было сцежено и взято на хранение. С одобрения министерства социальных дел и с разрешения департамента здравоохранения я основал в этой стране, в числе прочих, акционерное общество «Материнское молоко». В некотором роде я являюсь официальным представителем этого акционерного общества, если позволите употребить такое выражение.

— Позволяем,— в один голос выдохнула делегация.

— Я оторвался от срочных дел и прибыл сюда, именно в вашу общину, потому что здесь, в этих отдаленных провинциях, горячо принимают к сердцу призыв Союза народов страны не дать Финляндии погибнуть от сокращения прироста населения. Никаких искусственных заменителей материнского молока, порождающих болезни и всяческие аллергии. Должно быть только добротное, натуральное материнское молоко. А здесь, дорогие друзья, здесь у вас еще струится настоящее материнское молоко!

— А если не струится, то заставим струиться,— авторитетно заявил секретарь муниципалитета — производитель работ — руководитель молодежных организаций.

— Хорошо! Это слова настоящего мужчины. А сейчас я намерен подарить нынешним и будущим матерям Саломется вот эти подойники, в которые они смогут сцеживать излишки молока после возвращения из больницы. Такой агрегат — «Подойник-Юсик» — очень прост в употреблении и эффективен. Кому-то поначалу, видимо, нужно поручить проинструктировать матерей, как им пользоваться.

— Мы уже завтра организуем здесь, у себя, доильные курсы,— объявила акушерка — медицинская сестра — работник школьного здравоохранения.

— Прекрасно! Да, здесь еще способны на свершения. Финляндия ждет от нас подвигов, а не пустой болтовни. Мой помощник раздаст вам подойники. Они в этих ящиках. У вас, кажется, уже открыта станция по приему молока?

— Да. Молоко собирается и хранится в холодильнике секретаря муниципалитета — производителя работ — руководителя молодежных организаций. С помощью школьников все дома снабжены ксерокопиями инструкции с исчерпывающими пояснениями.

— Правильно! Не давайте вашим грудям скудеть! — подбодрил их Юсо.— Материнское молоко не должно иссякнуть в нашей стране. А отцам я рекомендую сдавать кровь в наш передвижной автопункт по приему крови. Акционерное общество «Броди, кровь, по свету» может теперь уже в любом количестве поставлять кровяную плазму даже в Африку и на Ближний Восток. Очередную партию отправляют самолетами на юг вместе с войсками по поддержанию мира в следующий понедельник. Матери тоже могут сдавать кровь, но молоко и кровь не рекомендуется сдавать одновременно.

— Сдадим! — заверила хором делегация.

Откуда-то из темноты выскочил фотограф, который увековечил Пертти Ламминена за раздачей членам делегации ящиков с подойниками. Последовали одна за другой четыре-пять вспышек блицев. Жители городка благоговейно стояли у автомобиля и восхищенно глядели на Юсо. Оба уличных фонаря возле муниципалитета тускло горели. В каждом окне мерцало живое пламя свечи.

— Ну, вот. Пожалуй, теперь все ясно.— Юсо все это начинало надоедать.

Пертти подошел и закрыл задние дверцы автомобиля.

— Извините, но, если можно, откройте, пожалуйста, дверцы еще на минутку,— прогудел мужской голос.

Пертти открыл.

— Ну? В чем дело? — вздрогнул Юсо, едва успев в последнюю минуту спрятать бутылку под подушку.

— Директор-распорядитель Тинус, мы хотели бы вручить вам почетный вымпел нашей общины!

Юсо приподнялся и принял подарок.

— Граждане! Я буду хранить этот вымпел на самом видном месте. Перед вами большое будущее! Да здравствует и процветает акционерное общество «Материнское молоко»!

Растроганные члены делегации подошли пожать руку Юсо. Хлопотливому фотографу не терпелось увековечить и это событие. Распластавшись на крыше автомобиля, он беспрерывно щелкал аппаратом.

Кто-то плакал вдали. Юсо показалось, что плач доносится из тьмы далеких гор. Может, какая-то мать плачет там от счастья. Может, такого смелого предпринимателя здесь ждали уже давно. Наиболее производительные и чуткие матери способны при правильном сцеживании давать молоко годами. Ведь в этих скудных местах очень нуждаются в деньгах. Брусники для продажи зимой не соберешь. Юсо верил, что вселил в матерей этих слаборазвитых районов новое самосознание. Они почувствовали новую, сравнимую лишь с силой денег, гордость за свои груди.

Еще одна вспышка. Фотограф спрыгнул с крыши автомобиля на землю и протянул Юсо руку.

— Я никогда не испытывал ничего подобного,— признался фотограф.

— Я верю вам.

Пертти закрыл дверцы и завел мотор. Когда автомобиль тронулся с места, до Юсо донеслись крики «ура».

— Что, они все еще стоят там? — через минуту спросил Юсо.

— Да. Машут нам вслед.

— А люди здесь настоящие. Таких преданных и честных людей можно встретить только на фронте, да и то не всегда.

— Да, настоящие. Можешь быть уверен, Юсо, доброкачественного молока и крови они тебе не дадут. Точно рассчитают как побольше извлечь выгоды из этого дела. Наверняка подольют коровьего молока, а то и просто воды. Люди ведь дьявольски изобретательны.

Юсо закрыл глаза, вслушиваясь в ровное гудение мотора. Он и не глядя чувствовал, что автомобиль мчится через густой лес.

— Если бы я мог начать жизнь заново, я ушел бы в глубь какого-нибудь заповедного леса,— тихо проговорил Юсо.— Увел бы с собой молодую, горячую женщину, и она бы согревала меня. Я бы мог жить в лесу и умереть в лесу с привкусом крови во рту.

— Да ты собираешься еще и Тарзаном стать,— расхохотался Пертти.

Но Юсо уже не слышал его. Он спал, сложив пухлые ручки на пухлом животе.

Портье бросился открывать обе створки наружных дверей, чтобы дать возможность внести кровать Юсо. Несли ее шестеро — как гроб. Юсо с интересом наблюдал за раскачивавшимся перед ним миром.

— Директор Тинус, у вас в номере гость,— прошептал портье.

— Кто? Что?

— Гость. Мне больше ничего не дозволено говорить. Он ждет вас.

— Министр промышленности, да? Он, конечно, приехал вести переговоры о национализации акционерного общества «Материнское молоко». Верно?

— Нет.

— Тогда наверняка какой-нибудь налоговый инспектор или еще кто-то из этой братии. Не знает еще, что мне все едино, обложит он меня дополнительным налогом на миллион или на марку. Я вообще не плачу налогов. Пусть заплатят наследники. Это какой-нибудь сборщик налогов со сводом законов под мышкой. Наверняка он!

— Вовсе нет, но я не...

— Ах, так это наверняка министр обороны! Крови не хватает и в других районах, не только на Ближнем Востоке. Они хотят приобрести акции моего общества «Броди, кровь, по свету» или попытаются национализировать и его. Это министр обороны, да?

— Нет, нет, нет. Я не имею права говорить. Торопитесь!

Когда грузовой лифт с Юсо Тинусом, кроватью и шестью мужчинами, среди которых был и Пертти Ламминен, поднялся на верхний этаж, горничная в спешке кинулась открывать дверцу.

— Господин директор Тинус! Он в вашей комнате!

— Что за черт, кто там, в конце-то концов?

— Ш-ш-ш-ш-ш-ш...

— Убирайтесь в таком случае с дороги! А вы прибавьте-ка скорости!

Таинственный гость, о котором жужжал и шептал весь отель, начал серьезно интересовать Юсо. Носильщики рысцой миновали коридор и остановились, переводя дух, у его номера. Распахнулась дверь, и кровать, накренившись, втиснулась внутрь. Ее опустили у стены. Юсо сунул носильщикам деньги и приказал всем, в том числе и Пертти, выйти из комнаты.

У окна стоял мужчина в черном. Юсо шумно повернулся на бок. Рыгнул. Прищелкнул языком.

Человек сбросил с себя оцепенение и не спеша повернулся к нему.

— Добрый вечер,— доброжелательно начал Юсо.— Кто это позволил забираться в номера к незнакомым людям?

— Я позволения не спрашиваю — во всяком случае у таких грешников, как ты,— произнес мужчина мягким, хорошо поставленным голосом.

— Ах, вот как. Так кто же вы или ты?

— Я епископ.

— Ой. Неужели настоящий епископ? Не может быть!

Мужчина подошел и, сложив молитвенно руки, вдруг прекло-

нил колена перед кроватью Юсо. Губы его шевелились. Слов не было слышно.

— Да, так ты, видно, действительно поп. И ты что, за меня молишься?

— За тебя. За твою душу.

— Правильно, правильно. А к какой губернии ты, епископ, приписан или, может, ты какой-нибудь гостиничный поп? Мне уже раз встречался такой.

— Имею честь быть разъездным епископом.

— Что?

— Разъездной епископ.

— Постоянно в разъездах, так, что ли? И финская церковь платит тебе жалованье! Этак можно стать охотником за командировочными.

— Не вызывай у меня, жалкий человек, вражды или ненависти. Я направлен сюда ради тебя. Ты должен покаяться, пока не поздно. Времени в обрез. Смерть настигнет тебя раньше, чем придет конец нынешнему фашистскому империалистическому капиталистическому миру. Солнце встает с востока, а твое солнце неотвратимо клонится к загнивающему западу. В бесклассовом обществе борьбе между старым и новым, между правдой и ложью не будет конца, говорит председатель Мао.

— Ах, вот оно что, так ты, видно, маоист.

— Да. Я представляю линию, предначертанную председателем Мао.

— Вот как. Значит, и церковь — вплоть до епископов — погрязла в политике.

— Что ты знаешь о церкви?! Она уже столетиями придерживается политических принципов. Да, не дозрел ты для нашего времени, Юсо Габриель Тинус.

Юсо внимательно разглядывал плавно передвигавшегося разъездного епископа, который тем временем поднялся с колен, стряхнул пыль с мантии и сел наконец в кресло. У епископа был открытый и спокойный взгляд. Наступила пауза. В соседнем номере открыли воду в ванной. Послышался сочный женский голос, звучавший как-то неуместно в этой обстановке.

— Об одном я думал всю дорогу,— признался вдруг Юсо.

— О чем же?

— Каким это образом я стал бельмом на глазу у церкви. Почему церковь не дает мне умереть спокойно! Если уж мне совершенно безразлично, попаду я в ад или нет, то обращение такой души — пустая трата времени и, следовательно, денег. Право же, бессмысленно растрачивать время на какого-то одного толстого грешника.

— В мире нет прямых дорог, говорит председатель Мао,— улыбнулся разъездной епископ.— Кое-что произошло с тех пор, как ты начал задумываться.

— А что же произошло?

— Я, пожалуй, могу открыть тебе, что в нормальной ситуации грешник вроде тебя непременно попал бы в ад. Но для нас, церковников, ты в своем роде подопытное лицо или, вернее сказать, подопытная душа.

— Что?

— Именно так. Ты не ослышался. У нас в церкви и, естественно, там, наверху, уже десять лет тому назад решили вступить в эпоху электронно-вычислительных машин.

Юсо удивленно уставился на разъездного епископа.

— Возможно, сначала это покажется чересчур механистичным, поскольку речь идет о церкви. Но ведь церковь должна идти в ногу со временем. Продажа индульгенций и конторские костяшки отошли

в историю. Мы — семена, народ — это почва, подчеркивал покойный председатель Мао. Иисус говорил то же самое, только другими словами.

— Послушай, а у тебя основательный ералаш в голове,— осмелился вставить Юсо.— Интересно, каким же тестам будут подвергать подопытных?

— Тебе, Юсо Габриель, выпало неземное счастье выступить в роли подопытной души, за порывами которой мы будем очень внимательно следить, начиная с момента смерти, при помощи наших электронно-вычислительных подразделений, как здесь — внизу, так и там — наверху. Ты первая в мировой истории душа, управляемая электронно-вычислительной машиной. Для нас важно, чтобы твоя душа понеслась по верному адресу, точнее — в поднебесное царство.

Епископ говорил убедительно, со знанием дела. У Юсо было такое впечатление, что этот человек в один присест высказал все, что он продумал и прочувствовал за всю свою жизнь. А его собственный образ мыслей, его собственное «я» не имеют никакого значения. Он даже лишен права влиять на свою судьбу. Он коварно и безжалостно выведен из игры.

— Меня только удивляет, как это церковь Финляндии в наше просвещенное и демократическое время верит в ад. И ты тоже — ведь совсем еще молодой человек, маоист и прочее. Как эта вера в ад может сочетаться с догмами красной книжицы[1]?

— Ад существует! — рявкнул разъездной епископ и поднялся на ноги.— Все реакционеры — бумажные тигры! Либо восточный ветер победит западный, либо западный победит восточный!

— Ну конечно. Давай успокоимся. Я же только спросил.

— Извини.

— Ничего,— улыбнулся Юсо.

— Ад существует. В нашем научно-исследовательском электронно-вычислительном центре получены неопровержимые подтверждения тому.

— Да ну? Поразительно! Почему же в таком случае вы не расскажете о них в церквах, не напишете в газетах?

Истерический припадок уже окончился. Епископ поднял свалившееся на пол одеяло Юсо и даже поправил ему подушку.

— Видишь ли,— сказал епископ, явно смягчившись и улыбаясь,— такого рода факты не интересуют обыкновенных смертных, дорогой Юсо. Температура, степень загазованности, содержание серы. Страсти Ветхого завета на поверку по-прежнему оказываются более эффективными.

— Ну ладно, в таком случае расскажи мне о небе.— Юсо повернулся на бок и принял более удобную позу.— Музыка там хоть есть?

Разъездной епископ протянул руку за портфелем, щелкнул замком и вытащил какую-то анкету. Он извлек из недр своей мантии ручку и отвинтил колпачок.

— Юсо Габриель Тинус. На сей раз ты отделаешься удивительно легко. Поставишь лишь свою фамилию на этой бумаге. Затем я в нескольких словах опишу тебе, что тебя ждет там.

Разъездной епископ сунул ему под самый подбородок бумагу, дал ручку и указал место, где надлежало поставить подпись.

Юсо охватила паника. Он почувствовал себя животным, загнанным в западню.

— Никаких церковных бумаг я не подпишу!

— Подписывай, сатана! Империалист! Бумажный тигр, ревизионист!

Юсо видел перед собой сверкающие ненавистью глаза.

---

[1] Имеется в виду цитатник Мао Цзэдуна.

— Не подпишу! И потом, что это за бумага? Есть же у меня право знать, что я подписываю.

— Есть. Конечно есть,— смягчился епископ, подтащил стул поближе к Юсо и примирительно улыбнулся.— Это некоторым образом проездной билет из проклятого капитализма в бесклассовое поднебесное общество.— Епископ бережно погладил бумагу.

— А в каком классе?

— Брось издеваться, недостойный! Это тебе не поможет. Это настоящая страховка души. Демократическая добровольная церковь хочет застраховать твою душу от опасностей и ловушек, подстерегающих ее по дороге в вечное пристанище. Мы еще не вполне доверяем нашей новой технике. Путь нелегкий, и всякое может случиться. Подпиши, Юсик, и дело с концом. Ну что это мы, взрослые мужчины, валяем дурака!

Юсо загоготал так, что все его тело заходило ходуном.

— Не хватало мне только страховки души! Хороши у церкви кавалерийские налеты, ничего не скажешь! Чтобы так бессовестно украсть у ближнего удачную аферу!

Епископ поднялся, дрожа от злости; он схватил Юсо за локоть и насильно вложил ручку ему в пальцы.

— Подписывай! Немедленно! И эта страховка — истинная! Совсем не то, что твое жалкое надувательство. И твой шофер тоже пусть прекратит это издевательство над женщинами, страхуя их души. Вот он, подлинный документ. Он имеет силу в любой стране ныне, и присно, и во веки веков.

Юсо решил больше не раздражать епископа.

— Хорошо. Если тебе так уж необходима моя подпись, я могу и подписать. Но прежде ты должен сотворить для меня чудо.

— Чудо?

— Чудо, чудо. Их в истории церкви творилось немало.

Разъездной епископ уставился на Юсо.

— Ты что, опять издеваешься?

— Нет. Я мог бы серьезно подумать о том, чтобы подписать эту бумагу, если ты выдашь какой-нибудь трюк, то есть сотворишь чудо. Я всю жизнь любил цирк.

Епископ глубоко вздохнул, взглянул на часы и закрыл глаза.

— Хорошо, Юсик, но это чудо только для тебя.

Епископ поднялся и поставил портфель на стул. Он неторопливо подошел к окну и задернул занавеси. Затем вернулся на середину комнаты и остановился. Он долго сосредоточенно стоял на ковре. Затем, словно гимнаст, медленно развел руки в стороны. Медленно, медленно. Наконец сделал глубокий вдох и несколько раз легко взмахнул руками. Ноги его отделились от пола. И вот уже епископ парил в воздухе.

— Харасоо! Ты, оказывается, умеешь летать! — Восторг Юсо был неподдельным.

Епископ медленно поднялся к потолку и, перевернувшись на живот, принял горизонтальное положение. Он парил, словно этакий веретенообразный воздушный шар. Достигнув дверного косяка, он оттолкнулся ногами от стыка стены с потолком, набрал скорость и, покачиваясь, приблизился к верхней части кровати Юсо этак в метрах полутора от его лица.

— Подпишешь? — выдохнул епископ.

— Погоди. Погоди. Что за спешка? Должен же я знать, что ты продаешь. Если у меня вообще есть душа, то какие опасности могут подстерегать ее по пути отсюда туда — невесть куда.

— Черные дыры! — простонал епископ и, скрючившись, принял положение зародыша в утробе.

— Ага. Знакомая история. А существуют ли они на самом деле?

— Существуют! Могу тебе доверительно сообщить, что это ги-

гантские ловушки для черных сил, приспешников ада и летающих тарелок.

— Для летающих тарелок!— заинтересовался Юсо.— Значит, эти летающие тарелки, всякие чудища и снежный человек — ваши враги?

Епископ сантиметр за сантиметром спускался вниз. Руки его висели по бокам.

— Все, кто не с нами,— наши враги! Или, говоря словами председателя Мао, наши враги — это все силы, находящиеся в союзе с империалистами: господа военные, бюрократы, компрадорская буржуазия, крупные помещики и примыкающая к ним реакционная часть интеллигенции. Иисус сказал то же, но другими словами.

Епископ покачивался над Юсо на расстоянии двух десятков сантиметров.

— А ты не свалишься на меня?

— Будешь подписывать? — снова сунул ему свои бумаги, теряя терпение, епископ.

До Юсо долетело дыхание епископа. Он чувствовал запах мятной карамельки.

— Ты обязан подписать!

— Нет. Давай-ка разберемся с этим делом спокойно. Носом к носу не стоит говорить.

Горящие глаза епископа, находившегося всего в десяти сантиметрах над Юсо, впились в него. Юсо оттолкнул рукой епископа, и тот, как воздушный шар, взлетел под потолок.

— Ты непременно желаешь попасть в ад!

— Ничего я не желаю.

— Я облечен полномочиями препроводить тебя в ад. Я обещал тебе чудо за твою подпись. Ты не сдержал слова!

Епископ парил под потолком, распластав руки, поджав ноги, и издавал какие-то урчащие звуки. Гостиничный номер постепенно погружался в сумерки. Юсо казалось, что на улице идет сильный снег. Тяжелые хлопья будто падали ему на кожу.

Он был в лесу, где яркое солнце сквозь ветви деревьев пронизывало клиньями снег. И снег искрился. Юсо дышал, и весь лес словно бы дышал в том же ритме. Посреди леса находилась большая черная яма. Он знал, что его путь через нее. Через эту яму он вступит в настоящую жизнь. Там была дверь с ручкой. За дверью его ждала новая жизнь. Душа его готовилась воссоединиться с новым «я». Он схватился за ручку и потянул.

Юсо Тинус очнулся и понял, что разъездной епископ лежит рядом. Епископ спал. Юсо сбросил его на пол. Епископ тотчас проснулся и испуганно посмотрел вокруг.

— Ну и нашел же ты место спать. Видно, все-таки время чудес миновало.

— Извини. Устал. Эти бесконечные разъезды и проповеди так утомляют, да еще это чудо. Ты должен понять меня.— Епископ говорил тусклым надломленным голосом.

— Да ладно уж. Все мы люди.

Епископ подобрал бумагу с пола и разгладил ее.

— Значит, не подпишешь?

— Нет!

— Хорошо. Сейчас я отправляюсь в нашу ставку и подам рапорт о тебе. Придется признать, что меня постигла неудача.

— Ничего не поделаешь. Жизнь подвергает испытаниям даже епископов.

Епископ сунул бумагу в портфель и застегнул его.

— Твоя судьба остается неизвестной. День твоей смерти по-прежнему первое апреля, на какие бы ухищрения ты ни пускался. О судьбе твоей души ничего сейчас сказать не могу. Воинствующее духовенство с удовольствием увидело бы тебя в аду. Сильно насе-

дают. Советую тебе полояльнее относиться к церкви. Это самое разумное, что можно сделать в твоем положении.

— Не хватит ли проповедей! — Юсо почувствовал, что все ему надоело.

— Я ухожу. Прощай!

— Привет, привет!

Разъездной епископ развязал свой ремень и, прижав портфель к животу, снова завязал. Он повернулся к окну, поднял руки кверху, будто намереваясь нырнуть, сильно оттолкнулся ногами, отделился от пола и вылетел по кривой из окна.

Послышался звон разбитого стекла, и все смолкло.

Глава десятая

Туулия повествует об успехах Эли.— Туулия искренне рада удачам Юсо в коммерции.— Туулия хотела бы видеть Юсо и Эли рядом.— Юсо изучает проблему рыночного сбыта душ.— Юсо стремительно мчится по просторам тундры.— Н-аа, н-аа!— Отрывки из биографии по телевизору. — Пертти Ламминен готовится к роли отца и делится дополнительными наблюдениями за летающими тарелками.

Зазвонил телефон. Юсо Тинус с трудом взял трубку.

— Юсо, это ты, Юсо?— спросили на другом конце.

— Да, я.

— Говорит Туулия.

— Какая Туулия?

— Ой, Юсик! Неужели ты уже не помнишь Туулию! Свою Тулию!

— Ах, Туулия! Как ты догадалась позвонить сюда?

— Как... ты же звонил мне почти каждый день и дал этот номер — на всякий случай. Бедняжка, у тебя ко всему еще и память слабеет!

— Видно, долго я здесь задержался.

— Юсо!

— У тебя что-нибудь случилось?

— Послушай, да! Все чудесно! Только что звонили из главной конторы. Ты даже не представляешь себе.

— Ну?

— Эли теперь директор!

— Эли? Какой Эли?

— Господи, Юсо, да ты что, не помнишь? Ну, почтальон! Мой почтальон. Мое лохматое золотко. Они решили там сегодня, что директором будет Эли.

— Поздравляю. Мои сердечные поздравления этому Эли.

— Спасибо, Юсо. Эли недавно звонил с фирмы и сказал, что все они там рады за него. Они готовят к отправке в честь Эли несколько автоколонн с этими твоими изобретениями, соковыжималками. Они вошли в такой раж. Они просто в восторге, что Эли теперь босс.

— У вас, я вижу, все идет на лад. Этот Эли, верно, мастер на все руки.

— Юсо! Неужели, стоя на пороге в мир иной, ты еще можешь ревновать! Что ты делал там все это время?

— Я?

— Да, ты. Чем ты занимаешься? Или чем пытаешься заняться?

— Да как тебе сказать. Выдаиваю молоко у матерей, а у отцов — кровь. Тут такая бедность, что ничего другого из них и не выдоишь. Цветочный перегной и страховка душ, пеленки и жевательная резинка, наставления и строевой лес, сухостойная сосна и прочая мелочь — ко всему этому народ всегда относится настороженно. А вот

бизнес с материнским молоком идет сейчас хорошо. Я, между прочим, являюсь директором-распорядителем акционерного общества «Материнское молоко».

— Что? Так это твоя идея, Юсо? Как раз вчера мы с Эли видели в газете объявление акционерного общества «Материнское молоко» и акционерного общества «Броди, кровь, по свету». Подумали еще, что это дело рук Кейхянена. А это, оказывается, ты! Родной мой! Золотко! Послушай, Юсик. Я положительно горжусь тобой. Куда же ты эту кровь сбываешь?

— Да все туда же. На поле брани. Где теперь только не воюют, кровь льется рекой, а у людей во время военных действий нет времени ее сдавать. В начале были трудности — Красный Крест все путался под ногами, но я втянул в это дело нескольких министров, и теперь у меня есть официальное правительственное разрешение. Будь я покровожадней, я бы высосал из Финляндии всю кровь до последней капли. Но я, видно, по характеру мягкий человек. Гуманный, как теперь принято говорить.

— Кажется, так. Что еще у тебя, Юсо, золотко?

— Вообще все хорошо, но я больше не в состоянии воспринимать этот мир. Все рушится на глазах — чувства, мысли, все.

— Что́ ты не в состоянии?

— Воспринимать! Воспринимать мир!

— Ах, вот оно что. Ну, с этим ты справишься. Да, кстати. Насчет твоей одежды. У меня всегда слезы наворачивались на глаза, когда я смотрела на твои вещи, и Эли отнес их в Армию спасения. Только вот найдется ли такой толстый бедняк, чтоб твоя одежда пришлась ему впору. Ничего, что он туда ее отнес?

— Ничего. Это ведь все одно — что одежду на помойку выкинуть, что тело.

— Да, Юсо. Тут тебе пришло невероятное количество почты. Ума не приложу, что с ней делать. Мы, правда, всю ее просмотрели. Всякие предложения и счета.

— Какие?

— Самые разные. С боен идут потоком счета за взвешивание. Из Китая пришла посылка, но в ней нет ничего, кроме фотографий Мао, домашних туфель и сои. Из Форсса пришла фотография какой-то беременной женщины, а из Лахти неприличная фотография. На ней похожий на тебя мужчина с какой-то блондинкой. Предложения церковной литературы — какие угодно. Кстати, на мой счет поступили какие-то странные сто марок. От какого-то генерального директора. Я смогла прочесть только одно — пробная операция. Что это может значить?

— Главное, что деньги пришли. У тебя обеспеченное будущее. Дыши глубже.

— Ой, Юсо, золотко! Голос у тебя так изменился, стал совсем чужим, Юсо. Ты еще любишь меня? Юсо! Ты еще помнишь, какая я? Юсо! Помнишь мои глаза? Юсо! Мои губы? Юсо! Помнишь ли хоть немножко?

— Нет.

— Ой, Юсик! Это неправда. Мне так недостает тебя сейчас. Ты был такой необыкновенный, сильный, могучий.

— Но у тебя же есть Эли.

— Есть, Эли есть,— вздохнула Туулия.— Но Эли совсем другой. Я не знаю. Вас так трудно сравнивать. У Эли нежный и теплый взгляд. Вечерами мы часто только и делаем, что смотрим друг на друга. Ох, если бы вы были здесь оба, рядышком, вот на этом диване, и я могла бы смотреть на вас обоих сразу! Да, между прочим, сколько ты сейчас весишь?

— Немного больше ста восьмидесяти.

— Что? Ты так похудел? Еще на прошлой неделе ты весил боль-

ше двухсот. А мой Эли начал полнеть. Когда он ко мне пришел, был кожа да кости. А сейчас у него жирок ползет изо всех щелей. Мне, честно говоря, страшновато думать о будущем. А ты там еще и худеешь. Юсик! А ты не болен? Может, у тебя глисты? Ой, Юсо, золотко! Тебе необходимо пойти к врачу. Слышишь, Юсо, что я говорю? Это же я, Туулия! Юсо! Ты меня помнишь, Юсик?

Юсо пристально смотрел на стену, голую, шершавую стену. Стена качнулась. Неужели опять тоннель? Нет, только не в тоннель, где ему суждено вечно сожалеть об упущенных мгновениях.

— Юсо! Ну скажи! Ты меня еще помнишь?

— Тебя?

— Да, меня.

— А ты кто?

— Юсо! Ты просто невыносим. Я же твоя Туулия.

— Туулия...

— Да, да. Туулия. И ты обязан это помнить, ты ведь только что помнил.

— Туулия. А, вспомнил.

— Ой, Юсик, бедненький. Видно, силы твои на исходе. Тебе нужно прилечь. Ты, наверное, очень одинок там.

— Да.

— Ах ты мой маленький золотой бутончик! Послушай! Может, приедешь навестить нас? В самом деле. Провели бы втроем прекрасно вечер. Знаешь, Эли компанейский мужик. У него анекдотов — что пальцев на руках. С ним не соскучишься. Ты меня слышишь? Ну ладно. Тебе, наверно, трудно слушать. Созвонимся попозже. Желаю тебе успеха, Юсик, золотко. Я кладу трубку. Юсо! Эли в прихожей. Он не может без меня раздеться. Так располнел, Юсо! Ну, привет! Хей, Юсо.

Когда автомобиль, управляемый Пертти Ламминеном, вновь двинулся в путь и занял свое место в движущемся потоке, у Юсо промелькнула мысль: а что, если у него все же есть душа? Он приподнялся и увидел через заднее окно улицу, дома и людей — в автомобилях и без автомобилей.

А может, у человека все же есть душа? Какая она, эта душа? Бесплотная? Невидимая? То же, что и дух? А может, это электрическое явление? А может, энергия? Отделяется она от тела в момент смерти?

Рождаются ли у души мысли? Является ли совесть составной частью души? Кто устанавливает законы природы, кто их соблюдает? В состоянии ли биологи, физиологи и бактериологи хотя бы в общих чертах распознать душу? Найти ее? Или она лишь плод тысячелетних заблуждений человека? Вера, навязанная боязнью смерти? Даже коммунисты и атеисты — и те упоминают о душе. А может, все это заблуждение?

Юсо почувствовал, что у него голова пошла кру́гом. Если душа у человека действительно есть, то к смерти надо относиться уважительно, без словоблудия. Тогда его устойчивая антипатия к церкви безответственна. Может, все-таки стоит выпустить на всякий случай свою душу на рынок? Как знать, а вдруг маоистский разъездной поп действительно прав. Его дни сочтены. Он скоро умрет. Но торопиться нельзя. Никаких спонтанных решений. Душу, если уж она существует, следует реализовать по максимальной стоимости.

Юсо лежал в постели на спине и глядел в дорожный телевизор, который Пертти Ламминен утром при выезде из Рованиеми установил в задней части автомобиля. Телевизионный экран был чаще затемнен, но время от времени из телевизора доносилось шипение, и на экране проскакивали какие-то разрозненные картинки. Передача

длилась несколько секунд, затем раздавался ехидный щелчок, и телевизор выключался. Это телевизор неисправен или его угасающее сознание уже не в состоянии воспринять от начала до конца передачу? А может быть, они забрались так далеко на север, что леденящая белизна все парализовала?

— Я хочу в тундру, на снежные просторы,— объявил Юсо старику лапландцу, которого они подсадили в Кемиярви.

Старик рассмеялся сиплым, прерывистым смехом и, подавшись вперед, похлопал Юсо по плечу.

— Я серьезно,— рассердился Юсо, выхватил бумажник, извлек оттуда ассигнацию в сто марок и помахал ею под носом у старика.

Смех мгновенно прекратился.

— Где ближайшая тундра?

— Н-аа, н-аа,— показал старик прямо вперед.

Пертти молча направил машину вперед, пробираясь среди снежных холмов. Последние пятьсот километров Пертти ни разу не раскрыл рта. Видно, были у него на то основания.

Снега, снега и только кое-где уныло торчит одинокое дерево. Старик лапландец тихо посмеивается про себя. Лапландия из окна автомобиля казалась безграничной. Здесь еще сохранился простор для человеческой мысли, размышлял Юсо. Первозданный ландшафт способствовал этому. Человек обретал здесь духовную самостоятельность — ничто не мешало ему думать: ни привычные строения, ни чье-то чужое влияние, ни общепринятые пристрастия.

— Н-аа, н-аа,— промяукал старик, и Пертти остановился.

Старик вывалился из автомобиля, и тотчас послышался его громкий, уверенный голос. Юсо привстал и увидел возле дороги дом. На дворе стоял их спутник, а около него еще трое мужчин.

Юсо сомкнул глаза, и перед его мысленным взором возникли люди, когда-то близкие друзья. Похлопывания по плечу, заверения, что конечно же помогут, поддержат в трудную минуту. Где теперь эти друзья? За долгие месяцы никто, кроме Туулии, ни разу и не вспомнил о нем. Всеми он забыт. Он, умирающий человек, где-то в далекой Лапландии, за бесконечными снегами, и ниоткуда ни единого теплого слова не долетело до него!

— Н-аа, н-аа!

И вот он уже под открытым небом со своей кроватью и прочими принадлежностями. Ножки ее прикреплены к длинным лыжам. Впереди мотосани, на них готовый к старту, ухмыляющийся сын Лапландии.

— Н-аа, н-аа! — помахал рукой старый лапландец, и вот уже помчались сани. Взметнулся снег. Забил фонтаном, заклубился. Кровать раскачивалась и кренилась. Юсо наслаждался, и в то же время ему было страшно. Он зарылся головой в свою земляничную подушку. Он был готов. Готов умереть в этот миг. В этом раскачивающемся, стремительном, раскидывающем снег скольжении.

— Быстрее! — закричал он.— Н-аа, н-аа, быстрее! — снова крикнул он в снежную пелену.

Отделиться от земли! Устремиться сквозь воздушные потоки в небеса! Умереть и стать душой, покинувшей тело. Что бы сказали тогда господа из центра регистрации актов гражданского состояния? Как бы реагировали церковь и епископат? Он витал бы в пространстве — сам по себе, безо всяких вычислительных машин. Он был бы волен в своем небесном странствовании!

В эту минуту бешеная скачка прекратилась. Он лежал поперек кровати. Кровать не двигалась.

— Н-аа, н-аа! — раздался рядом молодой голос.

Возле него стоял юный лапландец и счищал с одеяла снег. Парень улыбался. Поблескивали здоровые зубы.

— Где мы?

— Н-аа, н-аа! — И парень очертил рукой широкую дугу, охватывавшую весь мир.

— Значит, в тундре?

— Н-аа, н-аа,— закивал парень и засмеялся.

Юсо подтянулся и принял сидячее положение. Он посмотрел по сторонам, и у него стало удивительно легко и спокойно на душе. В воздухе переливался неповторимый сумрак — будто землю накрыли колышущейся сетью с мелкими ячейками.

— Пуукко [1],— попросил Юсо.

— Н-аа?

— Пуукко! — Юсо начертил в воздухе пуукко.

— Н-аа, н-аа! — понял парень и, вынув пуукко из ножен, вложил в руку Юсо.

— Сердце,— показал Юсо.— Сердце, пуукко, ты! — Он вернул пуукко парню. Расстегнул пуговицы и обнажил грудь.

— Н-аа? — удивился лапландец и стал перекидывать пуукко из руки в руку, точно тлеющую головешку.

Откуда-то издалека донесся надсадный волчий вой.

— Я хочу умереть здесь,— сказал Юсо, обращаясь к первозданной тишине.— Мне ни к чему доживать жалкие крохи. Хочу уйти окруженный этой чистой, непорочной природой. Получишь сто марок, если ударишь ножом. Пятьсот! Тысячу марок! Три тысячи! Четыре тысячи и страховку души в придачу! Согласен?

Лапландец ухватил покрепче нож и, расставив поудобнее ноги, стал над ним. Юсо закрыл глаза и стал ждать. Через мгновение, а может быть, вечность он почувствовал прикосновение острия к телу. Лапландец, видимо, чертил какие-то узоры на его груди. Сверху вниз, поперек, направо, затем снова поперек, вверх, налево.

— Что за колдовство ты тут разводишь? — не выдержал Юсо.

— Н-аа! — Парень выпрямился, сунул пуукко в ножны и залез в свои сани. Заработал мотор. Кровать двинулась, заскользила вслед за санями. Парень в санях привстал, помахал ему рукой и задорно засмеялся.

Юсо сильно простудился и несколько дней чувствовал себя плохо. Пертти останавливался для заправки и ехал дальше — молча, погруженный в свои думы. Угрюмые пейзажи Лапландии остались позади. Теперь уже стал попадаться густой лес. Повсюду снег. Кое-где в лесу виднелись люди в рабочих комбинезонах. Начался снегопад. Густой и непрерывный. Потом вдруг прекратился.

Юсо надоело смотреть в окно, и он стал следить за то и дело прерывавшейся телевизионной передачей. Из отдельных отрывков возникало что-то знакомое. Будто он когда-то бывал в домах и местах, мелькавших на экране. Да и люди были чем-то удивительно знакомы. Чья-то покачивающаяся походка или застенчивый взгляд будили воспоминания. На ум пришли многие события, в которых он принимал участие.

Наконец он понял: по телевидению показывали отрывки из его собственной жизни!

«Юсик! Сколько раз говорить тебе одно и то же!» — кричала его мать, надраивая старыми отцовскими подштанниками шершавый кухонный пол.

«Юсик, Юсик! Скорей, скорей... уже начинается!» — визжала загорелая длинноволосая девчонка, бежавшая по берегу озера. Солнце жемчужными переливами играло в ее волосах.

«Я требую уважать мое право на свободу!» — пылко говорила крупная дама, быстрыми нервными движениями засовывая белье в корзину для стирки. Это была Туулия.

Чего ради телевидение выставляет напоказ его жизнь? Это делается наверняка с ведома официальных властей. Где-то решили пе-

[1] Финский нож, финка.

редать именно эту программу. Технократы, попы, епископы и политики — вот кто стоит за всем этим. Теперь это ясно. Самое благоразумное сейчас — молчать и ограничиться лишь наблюдением за тем, что должно произойти. Они решили лишить его жизни и даже определили день смерти. Интересно все же, как это произойдет. Речь-то ведь идет о его жизни.

— Не жизнь, а сплошная преисподняя,— рявкнул вдруг Пертти Ламминен.

— Что с тобой? — удивился Юсо.— Ты молчал всю Лапландию.

Машина прошла несколько десятков километров по заснеженной дороге, прежде чем Пертти соблаговолил ответить.

— Звонил брату из Рованиеми.

— Ну и что?

— Забеременела, чертовка!

— Кто?

— Лаура. Соседская девчонка. Я же рассказывал.

В голосе Пертти Ламминена послышались слезы.

— Значит, забеременела?

— Да. И меня считают виновником.

— А что, разве не так?

— Так-то оно так, но это же дьявольское невезение. За одну маленькую радость вся жизнь пойдет насмарку. Да и радость-то была — тьфу. Вот, дьявол, окрутила.

Юсо поднес бутылку к губам, и винное тепло разлилось по его телу.

— Говори что хочешь, но иногда это — самое большое счастье в жизни.

Пертти зло сверкнул глазами, но ничего не сказал. Телевизор умолк. Автомобиль мчался в вечерних сумерках. Снег клубился за ним. Фары освещали заснеженную дорогу.

— Рассказать тебе про летающую тарелку? — вздохнув, спросил Пертти.

— Давай.

— Брат мне рассказал, когда я звонил ему.

— Так.

— Это чистая правда.

— Ну, конечно.

— Наш дядя вел молоковоз в Туулосе. И вдруг за поворотом видит этакую большую блестящую штуковину — точно капля метров четырех-пяти в высоту и с маленькими круглыми оконцами по бокам. Дядя остановил молоковоз, выпрыгнул на дорогу и кричит — убирайтеся, мол, дайте проехать. Дорога-то общая, одна, а он торопится. Они никакого внимания. Вертятся там, да и только. Дядя подумал: вот дьявольщина, включил скорость и погнал машину прямо на них. И только когда оставалось всего каких-нибудь полметра, штуковина эта поднялась вверх. Они будто осатанели и стали делать виражи перед самым его носом. А дядя едет себе. Ему все нипочем. Он и во время войны знай себе стрелял, хотя все смылись к той самой бабушке. Дядя едет, сам черт ему не брат, так что хошь не хошь пришлось им убираться восвояси. А когда дядя подъехал к молочному заводу, оказалось, что молоко-то у него скисло все до капельки. Подумать только — среди зимы! Теперь там у них смертный бой идет — кто оплатит убытки. У дяди есть свидетель — его помощник, правда, тронутый. Видно, все же государство возместит убытки. Я так думаю. Платит ведь оно за сваленные ветром деревья. Почему же тогда не заплатить за такое сверхъестественное безобразие.

Пертти Ламминен прибавил скорость и глубоко вздохнул. Долгое повествование утомило его. Автомобиль с грохотом несся навстречу вечерним сумеркам.

— Разом выдал все, что накопилось за много дней,— улыбнулся Юсо.— А ты знаешь, что это за штука, летающие тарелки?

— Кажется, что-то вроде сатаны.

— Если верить разъездному епископу, так оно и есть. Дьяволы и дьяволята.

— Знает, что говорит, хотя, с другой стороны, выходит, что они вроде бы спасители человечества,— раздумчиво произнес Пертти.— Я где-то читал, что они дадут прикурить этим атомным пушкарям, если те доведут дело до ручки. Не позволят нарушить равновесие в этом самом космосе. Хорошие ребята — катаются, слыхать, то на Марс, то на Венеру и в другие места. Где получше. Поди угадай, как на самом-то деле будет.

Юсо сделал большой глоток из бутылки.

— Все будет хорошо. И с тобой и со мной,— сказал Юсо.

— Да ну?

— Конечно. Мы с тобой умрем раньше, чем что-нибудь произойдет.

И опять огни — только уже нового города. После долгой густой тьмы — правильные ряды уличных фонарей, красочные витрины, ярко освещенные многоэтажные дома, светофоры, снующие взад и вперед машины.

Юсо Тинус уже не захотел отправляться со своей кроватью в отель. Он пожелал заночевать в автомобиле. У него был обогреватель. У него был телевизор. У него были воспоминания.

Он попросил Пертти установить в автомобиле телефон. Вскоре около него появился черный телефонный аппарат, который через ближайший телефонный центр был подключен к государственной сети. Пертти он отправил ночевать в отель. Ему хотелось остаться одному, совсем одному в эти его последние ночи на земле. Впереди — целая ночь раздумий и воспоминаний о большом мире за стенами его автомобиля; внутри, здесь — телевизор.

Юсо видел, как зажигаются и гаснут в домах огни. Он слышал людские голоса. Заводились автомобильные моторы. Звонили церковные колокола. Кто-то надрывно кричал в ночи. Прошло много времени, прежде чем кто-то откликнулся.

Он еще жил. Каждый вдох был продолжением жизни.

Глава одиннадцатая

Женщина по имени Тайми не дает покоя Юсо в Куопио.— Пертти находит, что он счастлив.— Женщина с заячьей губой появляется как нельзя кстати. — Государственное телевидение и сновидения помогают Юсо вспомнить события 1937 года.— Погоня в Куопио за женщинами, которых зовут Тайми.— Радостная встреча. — У Юсо появляется привкус крови во рту.

Пертти Ламминен завел мотор. Юсо Тинус открыл глаза. Было прохладное утро.

— Пертти, где мы?

— С завтрашним днем вас. Мы уже третий день в Куопио.

— В Куопио! Неужели и правда мы в Куопио? — изумился Юсо, и в памяти у него тотчас всплыли знакомые закоулки города, старый деревянный дом и какие-то запахи.

— Еще на праздники мы были в Оулу, но потом ты стал рваться сюда. А у меня там, в отеле, была потрясная баба. Делай с ней что хочешь, а она знай поет народные песни. Я даже свою Лауру из Лампи чуть не забыл.

— Теперь я начинаю припоминать, почему захотел сюда. Мне нужно найти здесь одного человека.

— Ага, женщину?

— Женщину, женщину.

— Ну, это мы мигом спроворим. Скажи только, как ее зовут. Вот телефонный справочник.

— Все дело в том, что я не помню ее имени.

— А-а-а.

— Ничего, я все-таки вспомню.

— А я и не тороплю тебя. Слишком хорошо знаю, что ждет меня в Лампи.

Юсо глубоко вздохнул и закрыл глаза.

— Вспомнил. Тайми [1].

— Ага. «Росточек я в твоем саду» [2], значит?

— Фамилии никак не припомню. А вот в саду она действительно могла быть.

Юсо внимательно смотрел на черный немой экран телевизора. Он приподнялся на локтях, извлек из-под подушки бутылку водки и отпил из нее. Затем вытянулся во всю длину, и перед его взором возникли птицы с длинными крыльями — неторопливо махая ими, они низко летели над тростниковыми зарослями. Черноголовые большие птицы в вечерних сумерках.

— То ли Тайми Вяхяниеми, то ли Исониеми, а может, Вяхямяки или Исомяки. Короче, фамилию не помню, но женщину помню. У нее был заразительный нежный смех. Когда она смеялась, у меня появлялся привкус крови во рту.

— Вообще-то эту Тайми нелегко будет найти.— Пертти листал телефонный справочник.

— Поедем туда, где я видел ее в последний раз!

Пертти Ламминен дал газ и включил скорость.

— Прямо вперед!

Пертти Ламминен оглянулся. Юсо сидел в кровати. Необычно бледный и напряженный. С бутылкой в руке. Он неотрывно смотрел вперед поверх плеча Пертти. Ладно, подумал Пертти, сейчас главное — сохранять присутствие духа и не отвлекаться.

— Направо!

Пертти Ламминен повернул направо, не без чувства внутреннего удовлетворения подумав, что вот он здоров, а Юсо болен. Это его вполне устраивало. Он уже тысячу километров назад перестал искать какую-либо логику в маршрутах Юсо. Тот переезжал с места на место по чистой прихоти. Сначала Пертти думал, что Юсо мечется в погоне за деньгами, но оказалось — не так. Умный человек делал бы деньги постоянно. Юсо же занимался деньгами лишь постольку, поскольку это его интересовало. Странный он все-таки человек. В его воображении возникают люди, и он разговаривает с ними. Он слышит какие-то голоса. По его телевизору показывают программы, которых никто больше не видит.

— Налево!

Пертти Ламминен повернул налево и увидел в зеркале, что Юсо лежит на животе возле своей кровати. Неприязнь в глазах. Нужно быть настороже. Пока он хоть тихий. А что будет, если станет буйным,— он, Пертти, много таких видал.

— Теперь сбавляй скорость и останавливайся вон у той церкви— так, чтоб я видел церковь отсюда, из заднего окна!

Пертти Ламминен притормозил и остановился. Чтобы убить время, стал разглядывать детишек, катавшихся на санках с горы. Не противозаконное ли это дело — то, чем он занимается? Но ведь он всего

[1] В переводе — росток, саженец.

[2] Слова народной песни.

лишь выполняет распоряжения и ведет автомобиль. Получает деньги и выполняет указания. Так делают все. У него есть работа. А если бы он остался в Лампи, то по-прежнему был бы безработным, да к тому же стал бы отцом. У многих его приятелей дела обстоят куда хуже. Получают нищенские пособия по безработице. Потом тянут в баре жиденькое пиво, злобно поблескивая глазами. А он, слава богу, на расстоянии пятисот километров от Лауры. Да к тому же, разъезжая с Юсо, он успел увидеть столько людей и многое другое, что любые десять его земляков за всю жизнь такого не видели.

— Теперь назад — на ту улицу и направо! — Голос Юсо звучал глухо и громко, как из большой бочки.— Налево!

Пертти Ламминен повернул налево. Он с удовольствием подумал о том, как вернется в свой родной угол. Соберет знакомых парней, поставит бутылку на стол и станет рассказывать, как возил умирающего психопата по белу свету.

— Стоп! Приехали!

Пертти остановил машину у тротуара и выключил мотор. По обеим сторонам улицы тянулись длинные ряды домов.

— А сейчас, Пертти, ты пойдешь и спросишь вон в том детском саду, работает ли еще у них та самая Тайми.

— Тайми Вяхяниеми, или Вяхямиели, или как ее там?

— Спроси просто Тайми.

— Тайми. Есть у вас тут какая-нибудь Тайми, так?

— Да.

Пертти выпрыгнул из автомобиля и побежал наводить справки. Юсо посмотрел на свои руки. Он подверг их внимательному осмотру. Тяжелые и неуклюжие. Пальцы раздулись и были похожи на морковки. Он почувствовал гнетущую тоску, вспомнив, какие были у него когда-то изящные и подвижные пальцы. До Туулии он играл на скрипке. На школьных вечерах показывал фокусы.

В это мгновение телевизор щелкнул и побелел, как свежий снег. На экране без всяких объявлений появились обнаженные женские груди. Круглые, упругие и сочные. Затем экран потускнел и погас. Тишина.

Почему по телевизору вдруг передали такую картинку? Они что— издеваются над ним? Почему именно груди? Не лицо и не все тело? А ему, умирающему человеку, так хотелось бы сейчас увидеть густой сосновый лес или бескрайнее небо в пушистых, колышущихся облаках.

— Подъем, Юсо! К нам идут! — озадачил его Пертти и распахнул заднюю дверцу машины.

Рядом с Пертти стояла высокая костлявая женщина с оттопыренной заячьей губой.

Маленькие глазки-пуговки, нос стручком, пышные взбитые волосы до плеч.

— Ты кто — Тайми? Не может быть!

— Да никакая она не Тайми. Не путай ты, Юсик, черт бы тебя побрал. Это Мартта.

— Мартта?

— Да, да.

— Так чего же ты притащил сюда какую-то Мартту?— взвился Юсо.

— Но эта какая-то Мартта знала какую-то Тайми, которая когда-то работала здесь в детском саду.

— А эта Мартта умеет говорить?

— Умеет, умеет,— заверил его Пертти, и Мартта — Заячья Губа усердно закивала головой. Джунгли на ее голове зашелестели.

— Ну, так когда же ваша знакомая Тайми работала в этом детском саду?

— Сразу после войны. Я тоже работала там — правда, сейчас это не детский сад, а дом для престарелых. Люди не хотят больше иметь детей, раз за это не платят. Больше одного-двух никто не заводит. Вот доплачивали бы по две-три тысячи марок на ребенка — тогда бы это ощущалось.

— А Тайми? — напомнил Юсо.

— Да, да. Там была одна такая, тетя Тайми. Я помню ее очень хорошо, хоть и прошло много времени. Эдакая хохотунья.

— Она любила посмеяться?

— Да. Даже по пустякам.

Юсо задумался, наморщив лоб.

— Правильно, именно хохотушкой Тайми и была. Вполне вероятно, что она. Вы не знаете, где она сейчас, эта Тайми?

— Да, да. Так вот. Я припоминаю, что она пошла учиться в школу, а потом занялась политикой, во всяком случае, устроилась на работу в какую-то контору по социальному обеспечению. Я не очень уверена, но мне кажется, что это так.

— Не могли бы вы помочь нам отыскать эту Тайми?

— Поехали! — с готовностью откликнулась Заячья Губа, забралась в автомобиль и полезла к Юсо.

— Не лезьте на мою кровать, черт побери! Отправляйтесь туда, к Пертти.

Заячья Губа взгромоздилась на переднее сиденье, Пертти завел мотор, дал газ, и они поехали.

— А ничего другого, кроме того, что тетя Тайми любила посмеяться, вы про нее не помните?

— Нет. Но смеялась она по любому пустяку. Нужно молчать, а она смеется. Смеялась над картинами на стенах. Даже над портретом Маннергейма хохотала во все горло. Ее смешил электрический свет, ведь электричество тогда только появилось. Нет, ничего, кроме смешливости, я о ней не помню.

— Расскажите еще,— попросил Юсо.

— А что?

— Что-нибудь. Что на ум придет. Хочется послушать человеческую речь.

— Вот так с ним все время,— послышался шепот Пертти.

— О чем же мне говорить-то? Все это так вдруг, неожиданно,— ответила Заячья Губа. И спросила у Пертти: — А мне обязательно говорить?

— Говорите что угодно. Только чтоб побольше слов было! — вклинился Юсо.

— Ему нужно рассказывать,— прошипел Пертти.

— Послушайте, но я же не могу вот так взять и придумать. И на бумажке не приготовлено. Нет ли здесь какой-нибудь газеты? А то я ничего не помню наизусть, хотя в школе читала длиннющие стихи. И вообще все как-то странно — вы лежите там сзади и лакаете водку.

— А где же, по-вашему, я должен находиться?

— Хм-м-м. Я не могу советовать. Я так мало путешествовала, что и не знаю, как теперь принято. Прошлым летом мы с мужем, правда, были в Аавасакса [1], но там очень скучно.

— Вы, наверное, не догадываетесь, кто я?

Заячья Губа обернулась.

— Вы Юсо Тинус.

— Что?! Откуда вы меня знаете?

— Вы же выступали по телику в церковной программе о страховании душ.

— Я?!

— Вы, конечно. Не скромничайте. Генеральный директор бежит по ступенькам с портфелем под мышкой, а вы наверху — в вертолете.

[1] Небольшой курортный городок.

И у вас это здорово получается, когда вы кричите оттуда: «Приобретайте вечность за обесценивающиеся марки». Одна из моих двоюродных сестер, как увидала вашу рекламу по телику, сразу же застраховала свою душу. Да, там же еще дают дополнительные гарантии от черных дыр тем, кто страхуется в течение десяти дней. Я тоже, наверное, застрахуюсь, пока еще не померла. Я, правда, ни во что не верю, но так оно надежнее.

— Значит, я церковный рекламный клоун! Это же явная месть!

— Я узнала вас сразу. Эй! Остановитесь здесь. Контора в этом доме.

Пертти резко затормозил.

— Идти мне с Марттой искать твою Тайми или как?

— Идите!

— Но это может затянуться надолго.

— Идите!

— Что это с ним?

— Может, у него какой-нибудь приступ,— прошептала Заячья Губа.

— Будем делать, как он хочет,— прошипел Пертти.

— Вон, вон! Чтоб ни одного копыта здесь не было, вон!

Юсо Тинус попытался сосредоточиться. Он не должен пить лишнего. Он не должен позволять дремоте расслаблять волю. Он не должен поддаваться телевизионному шантажу. Он должен привести в порядок свои мысли. Упорядочить внутренний и внешний хаос. Мир предлагает — он систематизирует и выбирает.

Но разглядывая — до рези в глазах — мелькавшие на телеэкране картинки, Юсо подумал: а почему, собственно, он должен приводить в порядок все это, систематизировать? Ради кого он, умирающий человек, выбивается из сил? Его явно кто-то понуждал собирать свою жизнь по каплям. Но кого интересуют его переживания? Справедливо ли вообще его сейчас понуждать? Видно, человек появляется независимо от его желания, чтобы мучиться и страдать.

Передача по телевидению продолжалась. На экране снова появились обнаженные женские груди. Затем кладбище. Камера блуждала вдоль пустой песчаной аллеи, пока не остановилась перед кирпичным строением. Светило солнце, из строения выскочила угловатая тень и кинулась куда-то через замшелые могильные камни.

По широкой аллее шли одетые в темное люди, они остановились перед строением. Судя по их старомодным одеяниям, дело происходило в 1930-е или 1940-е годы. Юсо вглядывался в лица, но не нашел среди них ни одного знакомого, хотя некоторые, казалось, кого-то напоминали. Особенно один — сгорбленный мужчина с опущенным взглядом — заставил его вздрогнуть. Рядом с мужчиной стоял длинноногий мальчишка в одежде явно не по росту. Должно быть, мужчина — это его отец, а мальчик — он сам. Но где же его мать?

«Юсик. Что ты сделал со мной?»— произнес звонкий, дрожащий от напряжения женский голос. Голос не имел никакого отношения к изображению на экране телевизора.

Внезапно ритм событий убыстрился. Вот из кирпичного здания выкатился гроб с телом. Гроб подхватили на руки и бегом понесли в церковь, видневшуюся на заднем плане. Последовало отпевание, затем на крышку гроба посыпались венки. Гроб приподняли. Все старались как можно скорее отделаться от покойника. Мужчины с такой поспешностью засыпали гроб землей, будто их жизни грозила опасность. Отпевание. Венки и цветы на могильном холме. Теперь темп замедлился. Спешка прекратилась. Камера задержалась на стае ворон, кружившей на краю кладбища. Затем показали, как провожавшие покойника выходили из ворот кладбища — с просветленными лицами, словно сбросив с себя огромную тяжесть.

На экране — в третий или четвертый раз — снова появилась упругая женская грудь.

Юсо Тинус сделал изрядный глоток водки, закрыл глаза и погрузился в беспокойный, мятущийся сон.

Во сне он увидел себя рядом с отцом в поезде. Они направлялись в Куопио на похороны. Сестра отца, его тетя, умерла. В купе полно было солдат. Один из них встал, обнажил до колена покрытую кровавыми язвами ногу. Он ходил и показывал всем свою ногу. Люди смеялись. Отец вынул из кармана четырехдюймовый гвоздь и вонзил ему в ногу, как в масло. Гвоздь торчал в ноге, а отец хохотал.

Затем поезд сменился старым деревянным домом, на крыльце которого горел фонарь. Ступеньки насквозь прогнили. По ним было опасно ступать. Юсо обнимал какую-то женщину. Он ощущал дурманящий запах ее духов. Ему было шестнадцать лет. Женщина упорно твердила, что он еще слишком молод,— точно это могло быть препятствием. Близость женщины и ее аромат в комнате. Свет уличного фонаря проникал в окно. Юсо лежал рядом с женщиной словно в лихорадке. Женщина тяжело дышала и все пыталась убедить его, что им нужно на похороны. «Они скоро обнаружат наше отсутствие,— все беспокоилась она.— Они придут за нами сюда».—«Не придут»,—заверил он. Никто не знает, где они. «У них нет ключа,— вспомнила женщина и успокоилась.— Я же тут работаю, у них не может быть ключа». И они предались любви. А затем вновь похороны, и кто-то держал речь. На столе мерцали свечи, а он тайком из-за спины отца улыбался той женщине.

Юсо проснулся и открыл глаза. Он взглянул на телевизор. Экран был снова темный, но теперь Юсо чувствовал себя увереннее. Сон, телевизор и память восстановили ясно и последовательно всю цепь событий.

В 1937 году он поехал с отцом на похороны тети в Куопио. Сон воскресил правду, и все было так, как на телевизионном экране. Поздно вечером вместе с женщиной по имени Тайми они отправились из осиротевшего дома в детский сад возвращать одолженную на поминки посуду. Они несли ее в двух больших картонных коробках. Женщина убрала посуду на место. Когда они уже собрались уходить, он сгреб ее в темной передней. Он никогда раньше не знал женщин. Он сорвал с нее одежду. Тогда первый раз в жизни он ощутил привкус крови во рту.

— Подъем, покойничек! В дорогу.

Пертти Ламминен включил мотор и с молодым задором так нажал на рычаг, что коробка передач затрещала.

— Что со мной? Умер я или жив?

— Попробуй разобраться.

— Ой, какой он милый чудак! — хихикнула Заячья Губа.

— Куда мы едем?

— Прямо вперед, как всегда,— гаркнул Пертти.— Я пошутил. Сейчас мы жмем к муниципалитету Куопио. Там тебе представят около десятка Тайми, на выбор. Их свозят сейчас туда со всего города на служебных машинах.

— Что? Значит, дело получило огласку?! — перепугался Юсо.

— Ничего не поделаешь, пришлось просить помощи у официальных властей. Или, по-твоему, нужно бегать по улицам, заглядывать в лицо каждой бабе и спрашивать, кто из них Тайми. Ищи сам свою Тайми. А отцы города только рады. Говорят, здесь никогда ничего интересного не происходило. Они только и ждали такого случая. Жалеют, что сейчас не туристский сезон. Была бы хорошая реклама городу.

Пертти остановил машину перед зданием муниципалитета. Заячья Губа бросилась оповещать, что директор Юсо Тинус прибыл для ос-

мотра. Пертти подошел и растворил задние дверцы пикапа. Юсо почувствовал себя крайне неловко. Так, будто он оказался среди воспитанных, со вкусом одетых, обходительных людей в неприлично короткой куртке и безобразно грязных кальсонах.

— Вон они оттуда валом валят. Не прогляди, выбирай какую нужно!

Первая Тайми уже стояла возле пикапа. Юсо приподнялся на локтях. Он увидел только взъерошенную ушанку и под ней худое лицо.

— Знакомая? — торопил его Пертти.

— Издали не вижу. Пусть подойдет поближе.

Пертти втолкнул женщину в машину.

— Ты кто?

— Тайми.

— Какая Тайми?

— Этого я не могу здесь сказать. Мой муж почти мэр города, у него хорошее положение.

— А меня ты знаешь?

— Узнаю. Видела по телевидению. В рекламных передачах.

— И только?

— Не уверена. А платят за эти расспросы? Но учтите, мой муж не должен об этом ничего знать. Я сама делаю долги и сама расплачиваюсь. Мужчин нельзя впутывать в такие дела.

— Где ты была весной тридцать седьмого года?

— Тридцать седьмого? Да, где же я была тогда? А-а, в ресторане.

— Что, весь год?

— Да.

— Странно, как это выдержали твои почки и печень, или они у женщин совсем отсутствуют?

— Да нет же, я не пила там! Я работала. Готовила холодные закуски. Но этого нельзя говорить моему мужу. Он думает, что я училась тогда в высшем христианском народном училище.

— Идите!

В автомобиль вползла новая Тайми. У этой Тайми было круглое цветущее лицо и ярко-красный жакет.

— Заходите, заходите! Я не съем,— сказал Юсо.

— За такие деньги ни за что не соглашусь на непристойности!

— Да этого и не потребуется. Разденьтесь до пояса.

— Я?

— Ты. Не я же.

— Мне кажется, это становится...

— Не нужно. Если б ты, дорогуша, знала, что́ я выстрадал.

— Что же ты выстрадал?

— Будешь раздеваться или нет?

— Разденусь.

Женщина разделась. Юсо пристально смотрел на нее и припоминал. Он даже прикрыл глаза, вспоминая женскую грудь, показанную по телевидению. Он должен, конечно, учесть, что с годами форма груди изменилась. Она уже не могла быть такой, как тогда, в передней детского сада.

— Ты на верном пути, Юсик,— раздался звонкий голос из телевизора. Это был разъездной епископ. Изображение отсутствовало, слышался только голос.

— Та ли это женщина? — спросил Юсо у телевизора.

— Это вы — то бишь ты — мне говоришь?— спросила женщина.

— Убирайся! Исчезни!

— Я могу уйти?

— Можешь, и немедленно!.. Пертти!

— Ну что? Нашлась?

— Скажи остальным женщинам, чтоб они заранее приготовились и разделись до пояса. На улице уже оттепель, а они все бабы здоровые.

— Ты что, Юсо, серьезно?

— Да.

— Ну и ну! Они же не согласятся... они не могут согласиться!— проблеяла Заячья Губа с переднего сиденья.

— Какого дьявола ты-то еще здесь делаешь! — удивился Юсо.

— У меня полное право находиться здесь. Я обручена.

— Ну и что? Это же мой автомобиль.

— Но я обручилась с Пертти. Только что. Если мне нельзя оставаться здесь, то и Пертти уйдет со мной. Да или нет?

— Оставайся, но не каркай. Тут люди делом занимаются.

Пертти вернулся с обхода.

— Странно. Все согласны раздеться, кроме одной. Она требует, чтоб ей больше заплатили.

— А сколько ты платишь остальным?

— Двести плюс командировочные.

— Дай этой пятьсот и приведи сюда. Я хочу видеть ее сейчас же.

— Правильно, правильно,— послышался голос разъездного епископа из телевизора.

— Ненормальные все-таки бабы! — ужаснулась Заячья Губа.— Не думают ни о чем, кроме денег, даже репутация им до лампочки. Моя приятельница по работе сфотографировалась для порнографического журнала и получила за это чистоганом пятьсот пятьдесят. Картинки вышли смелые. Правда, вместо ее лица вмонтировали лицо другой женщины. Но многие все равно опознали ее, особенно мужики. Даже мой муж сразу сказал: да это же Ритва.

Пертти Ламминен быстро втолкнул в автомобиль следующую Тайми.

— А-а-а, значит, это вы оценили свою грудь в пятьсот марок? Меня зовут Юсо Тинус.

— Я знаю. О вас так много говорят.

— А можно вас погладить?

— Сколько угодно.

— Есть у вас дети?

— Трое. Старший женат, живет в Порво, работает в «Несте», а двое — у Саастамойнена здесь, в Куопио.

— У вас красивый голос.

— Да? Не знаю. Некоторым и вправду нравится.

— Он у вас такой звонкий, хотя вы уже и пожилая женщина, что мне вспоминается девичий праздник на вознесение.

— К делу, Юсик,—послышался из телевизора мрачный голос разъездного епископа.

— Я иногда читаю наизусть «Кантелетар»[1] или что-нибудь другое,— обаятельно улыбнулась женщина.

Юсо не мог не отметить, что у женщины и сейчас еще подтянутое, стройное тело. Какой же роскошной она была в молодости!

— Вы удивительно славная, красивая женщина.— Юсо даже глотнул от волнения.

Женщина вспыхнула и неожиданно опустила теплую руку на его измученное лицо. И робко его погладила. Прикосновение женщины было удивительно приятным. Таким приятным, что Юсо захотелось тотчас умереть. Он закрыл глаза и представил себя весной 1937 года. Внезапно в ноздрях возник запах пола детского сада.

— Послушайте! Где вы были весной тридцать седьмого года? Не помните?

— Помню. Здесь, в Куопио.

— А не осталось ли у вас каких-то особых воспоминаний о той весне? — Юсо с нетерпением ждал ответа.

---

[1] Народный эпос.

От женщины исходил приятный аромат. От ее рук и волос.

— Я почти уверен, что той весной вы работали в одном детском саду.

— Совершенно верно. Каким чудом вы узнали об этом? Я действительно работала тогда уборщицей в детском саду.

Юсо задержал дыхание. И ошалело уставился на женщину, на ее спокойное лицо, открытые глаза, на обнаженную пышную грудь.

— Не помните ли вы некие похороны?

Женщина стала припоминать. Она скрестила руки на груди и задумалась. Закрыла глаза. Внезапно с губ ее сорвался возглас. Лицо просветлело и помолодело. Женщина разразилась безудержным смехом.

— Что?! Это был ты, Юсик?

Тайми 1937 года с размаху бросилась ему на грудь.

Пертти Ламминен ехал с прилипшей к нему Заячьей Губой. Тайми 1937 года примостилась рядом с Юсо. Он сжимал ее в своих объятиях.

Поверх обнаженных плеч Тайми Юсо видел солнце, которое горело тусклым диском за заиндевелыми стеклами задних окон автомобиля. Тайми дышала ровно, спокойно. Она прижала свои влажные губы к его шероховатой щеке. Ласкала языком кончик его носа. Поглаживала подбородок. Солнце село за многоэтажные дома.

— Интересно, встречает ли человек знакомых и после смерти? — подумал вслух Юсо.

— Да, я, по крайней мере, верю в это,— тихо сказала Тайми.— Совершенно определенно, и мы еще встретимся.

— Я бы хотел тогда похудеть килограммов на сто.

Тайми гладила его редкие волосы и почесывала указательным пальцем лоб.

— Непременно похудеешь. А ты все такой же обаятельный и страстный, как тогда в тридцать седьмом.

— Я был интересным парнем?

— Прекрасным. Божественным. На твоем свитере был изображен лев. А какие удивительные глаза! Их я вспоминала все эти годы. Не каждый день, но часто.

— Да, хотелось бы мне вновь пережить все, что было тогда.

— Мы еще встретимся, Юсик.

— Пол был твердым, а в прихожую проникал свет с улицы. Я даже не знал твоего имени. Только позже узнал.

— Не говори ничего.

Юсо глубоко дышал. Солнце исчезло. Юсо положил свою тяжелую пухлую руку с пальцами-морковками на Тайми. Он чувствовал, как она горячо дышит. А вместе с нею дышал весь мир. Все люди в мире в эти мгновения дышат так, будь то в темноте или при свете.

— Тебе хорошо со мной, Юсик? — Тайми смотрела на него сияющими в вечерних сумерках глазами.

— Да, хорошо. Оставаться бы вот так с тобой до самой смерти.

Тайми посмотрела на часы и ахнула.

— Я же опаздываю. Да и ты не умрешь без меня. У меня ужасно ревнивый муж. Я не могу остаться. Да еще сегодня к нам должны приехать гости из Силинярви. Он не справится один.

Юсо видел, что на дворе стало совсем темно. Светились лишь фонари и витрины. Пронзительно завывая, пронеслась «скорая помощь». Пертти и Заячья Губа на переднем сиденье стрекотали как подростки. Юсо ощущал тепло Тайми. Глаза Тайми закрылись. Юсо чувствовал, что им обоим хорошо.

— Не уходи от меня!

— Я тебя не оставлю, Юсик.

— Не беспокойся, он обойдется там с гостями.

— Пожалуй, да. Возьмет из холодильника. Там все есть. Подогреет в духовке. Да к тому же есть несколько пакетов с рождественским печеньем.

— Да-а, сколько тепла в любящей женщине!

— Как я рада, что снова встретила тебя, Юсик!

— Тайми!

— Что, Юсик?

— У меня привкус крови во рту!

Глава двенадцатая

Необычные помехи в телевизоре Туулии.— Пластмассовые кровати Эли.— Туулия ожидает прибавления семейства.— Вместе с Тайми.— Юсо получает от неизвестных доброжелателей в личное пользование товарный вагон.— Дамы из Куопио покидают родной город.— Персональный спортивный экран Юсо.— Юсо переезжает вместе с кроватью. — Юсо дарит бутылку водки незнакомому машинисту. — Юсо в пути.

Утро. Еще жив. Туулия напугала его телефонным звонком.

— Ой, Юсик, золотко, ты даже не представляешь себе, что у нас здесь творится! — раздался голос Туулии в телефоне.

Юсо, онемев, ждал. Он заметил что у него дрожат руки.

— Бутылку! — прошептал он Тайми.

Тайми приложила бутылку к его губам. Полегчало. Водка бурлила по всему телу.

— Ой, Юсик! Ты знаешь, наш телевизор...

— Да,— сказал, успокаиваясь, Юсо.— Что с ним?

— Он сошел с ума. Ой, Юсик. Ты никогда не понимал меня, но постарайся понять хоть сейчас.

— Да.

— В нем женская грудь! Подумай только — голая женская грудь.

— А в телевизоре не слышалось голоса?

— Голоса? Ах, голоса. Я не слышала, но Эли, правда, сказал, что ночью слышал. Ведь он даже ночью вставал посмотреть.

— Что же он слышал?

— Что же он слышал... Обожди минутку, сейчас припомню. Там что-то зазвенело, потом наступила тишина. Как если бы супруги шептались между собой, а потом сильно заскрипел пол. Затем опять шепот.

Юсо наблюдал за Тайми. Она сняла с него ботинки и носки. Тайми держала ведро, в ведре была теплая вода, а в руке у нее мягкая пористая губка, которой она заботливо обмывала его заскорузлые ноги.

— Ты лучшая в мире женщина, Тайми,— вздохнул Юсо.

— Ой, Юсик, золотко. Как ты там поживаешь? Голос у тебя опять стал совсем чужим.

— Я постоянно меняюсь, Туулия. Готовлюсь к трансформации. Порываюсь раствориться в пространстве и одновременно пытаюсь вернуться к состоянию эмбриона Тут надо одновременно быть пассивным и активным. Вот так-то.

Туулия долго молчала.

— Юсо! А это больно — то, что ты пытаешься сейчас делать? Я по правде говоря, не совсем понимаю.

— Да, иногда бывает и больно. Надо научиться заглушать свое «я». Надо оставаться самим собой, но не концентрироваться полностью на себе. Понимаешь? Нет, тебе этого не понять. Как там дела на фирме?

Туулия глубоко вздохнула.

— Да по всякому. Эли сконструировал ведро с крышкой. Уже запустили в производство, но особого спроса нет. По-моему, очень

практичное ведро, хотя крышка, пожалуй, и не нужна. Эли ходит мрачный. Он был так увлечен своим изобретением — оно ведь из пластмассы. Прямо как ты в молодости. Мне начинает казаться, что слишком он опластмассился. Послушай, у нас даже кровати из пластмассы. Эли сам изготовил их на заводе.

— Удобные?

Тайми вытерла ему ноги и, мило улыбаясь, стала делать массаж. За спиной Тайми раскинулось синее небо и поднималось из снега восходящее солнце. Настало снова мгновение, когда он готов был сказать жизни — прощай.

— Мне, честно говоря, они не нравятся. Я все время боюсь, как бы они не развалились. Уж больно ножки у них подгибаются. И еще ужасно неприятно, что Эли непрерывно толстеет. Скоро он перевалит за сто. А каким стройным был, когда пришел к нам! Да, конечно, деревянная кровать всегда деревянная кровать. И ты, Юсо, не стал бы спать в пластмассовой кровати, не так ли?

— Нет конечно.

— Ты меня еще любишь хоть немножко?

— Не знаю. Я, пожалуй, и не узнал бы тебя теперь, разве только по голосу. Со мной произошло столько разных событий.

— Ты слишком переутомился, Юсо,— произнесла Туулия дрожащим голосом.— У тебя наверняка трудности. У меня тоже. Мы с Эли всегда стараемся быть вместе, а ты так далеко. Сейчас я должна быть особенно осторожной, чтобы не случилось чего.

— Туулия!

— Да, Юсо?

— У меня такое чувство, что ты беременна!

Туулия рассмеялась.

— Ой, Юсик, золотко! У тебя действительно отшибло память. Ведь скоро отправляться в родильный дом. Я ведь тебе уже много раз говорила.

— Что?! В родильный дом?!

— Да, да. Видел бы ты меня сейчас!

— Но у тебя же еще ничего не было, когда я уезжал из дома.

— Ой, Юсик, глупенький! Прошла ведь целая вечность и столько всего.

— Туулия!

— Что?

— Но у тебя же была операция в шестьдесят втором году.

— Да, да, но сейчас у меня пластмассовая матка. Эли сам изготовил на фирме, а установили мне ее в Хельсинки. Я же звонила тебе оттуда. Ничего особенного. Как будто вставили зуб.

— Ах, вон оно что. Теперь начинаю припоминать. Значит, наконец у тебя все в порядке. Так это ребенок Эли?

— Ну, Юсо! Как тебе не совестно. За кого ты меня принимаешь? Я принадлежу только вам двоим. Конечно, это ребенок Эли. Но послушай. Не сердись, я больше не могу говорить. Кружится голова. Ты понимаешь меня. Привет тебе, Юсик. Созвонимся.

— Да!

Юсо Тинус остро почувствовал, как он нуждается в человеческом тепле. До чего же хорошо, что сейчас рядом с ним Тайми. Ночью она дышит рядом с ним, а днем заботится о его бренном теле.

Пертти Ламминен и Заячья Губа объединились против него и Тайми. Молодая пара беззастенчиво вымогала у Юсо деньги. Однажды утром, когда Тайми пошла на рынок, Пертти неожиданно вошел и ударил Юсо по лицу. Другой раз ночью Заячья Губа подкралась и запихнула несколько снежков ему за пазуху.

Но почему молчит церковь? Может быть, он уже не является важной запрограммированной электронно-вычислительной душой? Может быть, кто-то другой занял его место? Впереди сплошной мрак и смерть.

Пертти вел автомобиль. Заячья Губа хихикала и несла несусветную чепуху. Мягкие, любящие руки Тайми ласкали Юсо. Был вечер, а может, уже и ночь. Они ехали из Каяни обратно в Куопио. В Каяни Пертти поехал по указанию какой-то высокой инстанции. Они остановились примерно на час на центральной площади. Выпили по чашке кофе и отправились обратно в Куопио.

«Мне, очевидно, остается не более двух недель такой жизни. Четырнадцать дней и ночей»,— подумал Юсо. Автомобиль мчался в темноте. Тайми повернулась на другой бок. Заячья Губа спала, положив голову на колени Пертти. Пертти охранял ее покой и вел машину,— тот самый Пертти, которому Юсо дал другую жизнь, подхватив его на обочине автострады Лахти — Тампере. «Мои мать и отец умерли. Туулия жива, но продолжения рода нет. Умирая, хорошо сознавать, что ты одинок, как перст».

Автомобиль мчался в темноте под уклон. Снега сверкали в ослепительном свете фар.

— Юсик! Тебя к телефону, золотко.— Тайми передала ему трубку. Юсо успел заметить, что уже наступил день. Автомобиль стоял. Через заднее окно виднелись посреди снегов высокие многоэтажные дома.

— Директор Юсо Тинус?

— Да, я.

— Добрый вечер, вас приветствует управление железных дорог! Я счастлив первым поздравить вас, директор Тинус.

— Меня? Что, умирать стало счастьем?

— Собственно, по этому вопросу мне нечего вам сообщить. Не успел разобраться. Но у меня для вас, директор Тинус, приятное известие. Ваши благодетели, пожелавшие остаться неизвестными, передают в ваше полное распоряжение, вплоть до последних ваших дней, целый железнодорожный вагон.

— Что?!

— Именно так. Начиная с сегодняшнего дня вы получаете в личное пользование товарный вагон, оборудованный камином; кроме того, там есть две кровати с приставками, стол и два стула, газовая плита со всеми принадлежностями, Библия, шестиметровый домотканый ковер, три пластмассовых ночных горшка с автоматическими крышками, канцелярская бумага, принадлежности для уборки, десять пакетов туалетной бумаги и два рулона упаковочной бумаги. Поздравляю от имени государственных железных дорог!

— Не понимаю. Вы что там, издеваетесь?

— Это для вас, безусловно, сюрприз. Во всяком случае, вас и ваших спутников ожидает товарный вагон на пристанционном участке Куопио. Его прицепят к любому составу, когда вы пожелаете. Одно обстоятельство я бы хотел уточнить незамедлительно. В телеграмме, прибывшей из Кемиярви, указан ваш вес — сто пятьдесят пять килограммов. Верно ли это? Не двести пятьдесят пять? Во всяком случае, в рекламных телевизионных передачах вы выглядите солиднее.

— Да, это верно. Земная жизнь вынуждает худеть. А кто же все-таки эти неизвестные доброжелатели? Центр регистрации актов гражданского состояния и церковь? Угадал?

— У меня нет полномочий сообщить это. Но ваши покровители, несомненно, желают вам только добра. Что за радость лежать на смертном одре в тесном пикапе, да еще в условиях финской зимы. Камин доставит вам большое удовольствие. Разрешите пожелать вам

приятных последних дней! Откровенно говоря, я даже завидую вам. Теперь уже земная жизнь недолго будет вас обременять.

— Что-нибудь еще?

— Нет, пожалуй. Счастливо оставаться!

— Вам тоже!

Пертти Ламминен поставил машину за вокзалом Куопио. Был уже вечер. Рельсы блестели в свете огней. Поблескивали сосульки. Похрустывал смерзшийся снег.

Женщины ликовали. В их жизни наступал поворотный момент. Они оставляли родной город. Они оставляли своих мужей. Они оставляли все свои вещи. Детей и одежду. Они отрывались от своих кухонь, от своих моек, возле которых провели столько лет.

— Как здорово вырваться отсюда и оказаться среди настоящих людей,— громко, чтобы все слышали, сказала Заячья Губа.

— Я уже побаивалась, что, кроме смерти, и ждать нечего, а вот ведь — жизнь только начинается! — ликовала Тайми.

— Пусть мой старик теперь сам нюхает свое дерьмо! Мы с Пертти выиграем в лотерею и построим дом в Лампи. В нем будет бассейн, а парные полки в бане — из заморского дерева.

— Я буду жить с Юсиком душа в душу до самого конца. Юсик не останется одиноким в свои последние дни. Юсик узнал жизнь со мной — со мной ее и закончит.

Ошалевшие от радости женщины пустились в пляс. Пертти ходил по рельсам, разыскивая товарный вагон, который неизвестные доброжелатели презентовали им.

Телевидение передавало спортивные соревнования, в которых участвовало только два спортсмена — низенький и длинный. Мужчины мчались стремглав один за другим по обочине шоссе. Низенький был в очках, с волосатыми ногами. Длинный был лысый, костистый и производил впечатление очень выносливого и самоуверенного. Юсо сразу стал болеть за низенького. Справедливость требовала, чтобы он победил: ведь ему приходилось делать два шага, тогда как длинный делал всего один. Очки у низенького запотели, и его то и дело, как слепого, заносило на обочину и в канаву, где воды было по колено. Низенький всякий раз долго барахтался в канаве, прежде чем выбраться на дорогу.

Пертти открыл заднюю дверцу пикапа. Отвел Заячью Губу и Тайми в товарный вагон. Теперь настала очередь Юсо. Время расставаться с автомобилем, который много недель служил ему домом.

— Ну, Юсо, теперь давай ты.

— Я бы хотел остаться в кровати.

— Ради такого случая мог бы и подняться.

— Я хочу остаться здесь.

— Черт бы тебя побрал.

Из темноты появился начальник товарной станции и с помощью яркого карманного фонарика изучил положение.

— Ничего особенного. Поднимем этого господина вместе с кроватью. Туристы никогда не станут к нам ездить, если мы даже в таких мелочах не можем пойти им навстречу.

Юсо услышал шум приближающегося трактора. Трактор установили в заранее определенном месте. Темноту прорезали лучи света. Раздались зычные слова команды.

— Директор Тинус,— кричал начальник товарной станции, будто находился на расстоянии километра.— Можете вы потерпеть еще минутку? Мы ведем подготовку. Вы еще вполне успеете к вечернему поезду.

— Я жду!— крикнул Юсо в ответ и уставился в телевизор.

Низенький бегун в этот момент неудачно упал и лежал теперь, охая, на дне канавы. Длинный преспокойно стоял на обочине и ска-

лил зубы. Он вытащил пачку сигарет из складок своих спортивных брюк и закурил. Низенький беспомощно барахтался в грязной жиже канавы. Длинный пускал затейливые кольца дыма и поглядывал на небо. Наконец он бросил окурок в канаву, подошел к низенькому и одним рывком вытащил его. Низенький протер очки и в знак благодарности пожал длинному руку. Бегуны приняли старт и продолжили бег.

— Директор Тинус! Теперь держитесь крепче!

Его кровать установили на какой-то опоре. От крана на тракторе к этой опоре тянулись цепи с крюками. Кругом скрипело и трещало. В темноте звучали голоса. Кровать пришла в движение. Она медленно поползла вверх, в терпкий морозный воздух.

— Юсо! Брось важничать, подумаешь, шишка!— заорал не без издевки Пертти Ламминен, прижимая к себе Заячью Губу.

Кровать вытащили наружу. Юсо увидел небо. В небе мерцали звезды. Кровать поднималась, и он поднимался вместе с нею. Юсо Тинус был уже на высоте трех метров. Он видел все новые и новые звезды и чувствовал на лице сильный северный ветер.

— Хорошо идет, ребята! Так держать!— командовал начальник товарной станции, светя карманным фонариком.— Директор Тинус, как вы там себя чувствуете?

— Нормально, спасибо. Мне сейчас очень хорошо. Послушайте, не могли бы вы дать умирающему возможность хоть немного задержаться здесь. Я хочу отсюда поглядеть на мир.

— Можно, но только не свалитесь. Вы ведь сейчас не застрахованы. Ваша транспортная страховка и страховка от несчастного случая вступают в силу только после водворения в вагон.

Юсо видел группу мужчин внизу. Пертти и Заячья Губа стояли, тесно прижавшись друг к другу. Товарный вагон ждал справа. Боковая стена его была раздвинута, чтобы кровать могла пройти. Взволнованная Тайми стояла в вагоне и вытирала слезы.

С высоты своего наблюдательного пункта Юсо видел далеко. Он видел большое здание вокзала. Десятки блестящих рельсовых путей на дворе депо, а наверху — звезды. По соседнему пути шел паровоз. Машинист подмигнул ему. Юсо помахал рукой.

Машинист высунул кудрявую голову из окна и что-то крикнул. Юсо не расслышал. Он осторожно повернулся на бок, вытащил из-под подушки бутылку водки и показал машинисту. Тот оживился и указал пальцем на бутылку, а затем на себя. Юсо стал раскачивать бутылку из стороны в сторону.

Машинист остановил паровоз и одним рывком выпрыгнул на снег. Подбежал к вагону Юсо и остановился в ожидании. Юсо бросил бутылку вниз, и машинист ловко поймал ее. Затем благодарно кивнул и вернулся на свое место. Паровоз запыхтел, машинист засмеялся и дал громкий прерывистый свисток.

Это маленькое происшествие привело Юсо в хорошее настроение. Как легко будет машинисту идти сейчас домой с бутылкой водки, булькающей во внутреннем кармане. Машинист усадит жену на диван и вытащит бутылку. Он скажет жене: «Я получил ее от человека, лежащего в кровати, которую краном подняли над землей. Он находился на высоте по крайней мере пяти метров».— «Ты с ним знаком?» — спросит жена, накрывая в гостиной стол для кофе. «Нет, никогда прежде не видел». — «Ничего подобного, ты знаешь его», — будет упорствовать жена. Машинист разольет водку по стопочкам и серьезно ответит: «Да нет же, черт возьми, не знаю! Это был совершенно незнакомый парень».

Возможно, и жена машиниста пошлет ему мысленно благодарность, прошептав про себя: «Он подарил бутылку только моему мужу, только мой муж заслужил этот подарок, никто другой во всем городе».

— Директор Тинус! Может, наконец, мы продолжим погрузку? — нетерпеливо прокричал начальник товарной станции.

— Продолжайте!

Кровать опустилась. Юсо вместе с кроватью поднесли к товарному вагону. Через минуту кровать грохнулась на пол вагона. Прибыли. Грузчики высвободили тросы и цепи, вытащили из-под кровати опору. Пертти Ламминен принес телевизор и телефон и установил их у противоположной стены.

— Директор Тинус, я хочу пожелать вам и вашим спутникам счастливого пути! — Начальник товарной станции улыбнулся и мигнул своим карманным фонариком. — Прощайте!

— Прощайте, — вздохнул Юсо Тинус.

Стену вагона задвинули. Женщины стали приводить помещение в порядок. Заячья Губа выцыганила где-то скатерть и постелила ее на стол. Тайми тщательно подмела пол. Пертти не было видно.

Посреди товарного вагона ярко горел камин. Поленья потрескивали, создавая ощущение домашнего уюта. Подошла Тайми, разгоряченная и раскрасневшаяся, плеснула немножко водки в рот Юсо. И он тотчас почувствовал себя наверху блаженства. Рядом суетятся, хлопочут женщины, пылает камин, согревая все вокруг, и лишь издалека доносятся тоскливые свистки паровоза.

По телевизору продолжали показывать бегунов. За это время низенький и длинный уже успели свернуть с дороги в лес. Они разожгли небольшой костер из хвороста и жарили колбасу, пили пиво и закусывали. Низенький рассказывал что-то, усиленно жестикулируя. Длинный слушал спокойно, жевал колбасу и время от времени поглядывал на макушки деревьев.

Уже засыпая, Юсо Тинус услышал, как его вагон прицепили к поезду. Затем он почувствовал движение. Поезд пошел. Он был в пути!

Глава тринадцатая

Поезд на полной скорости в кромешной тьме. — Сомнения Юсо в отношении Тайми. — Сыщик аккредитуется и сообщает с точностью до секунды срок жизни Юсо. — Юсо убеждается, что «язык мой — враг мой». — Пертти рассказывает о девушке из Лампи. — Сыщик знакомит Юсо со своими профессиональными проблемами. — Сыщик заинтригован историей с женской грудью. — Туулия в Стокгольме ожидает разрешения от бремени. — Эли продолжает полнеть. — Туулия предлагает Юсо стать крестным отцом.

Юсо открыл глаза.

Есть не хотелось. Хотелось пить. Он хорошо спал, но что-то все же тревожило его. Он стал прикидывать, пока не вспомнил: он ведь умрет через несколько дней, может быть, вместе с душой, а может, и нет. Откуда-то из глубины выползала тоска.

Поезд мчался в темноте на полной скорости. А что, если поезд летит уже не по рельсам, а в космосе? Поезд выходит в пространство на свою орбиту. Вокруг все черно, вихрится и хрипло гудит, как нижние регистры органа.

Тайми согрела воду и вымыла голову. Теперь она расчесывала влажные волосы, сидя у ног Юсо. Щетка равномерно оглаживала длинные пряди. Тайми заметила, что Юсо проснулся, и звонко рассмеялась.

— Ой, агу-агу! Моя крошка проснулась.

Юсо неприятно удивился. Она говорила с ним как с грудным младенцем! Она безнадежно застряла в воспоминаниях молодости. Не нужно ему было связываться с Тайми образца 1937 года. Что теперь он станет делать — ведь такой болтунье и пустосмешке никог-

да не понять его. Юсо тяжело вздохнул. Впервые он всерьез пожелал, чтоб скорее пришла смерть.

Пертти и Заячья Губа еще справляли праздник всех святых в кровати. Временами из-под одеяла выглядывала то голова, то кисть руки, то коленка.

Юсо наблюдал, как Тайми накручивает волосы на бигуди и закрепляет их шпильками. Привычные пальцы ловко закручивали волосы, и в них как из воздуха появлялись шпильки.

— Ну вот. А Юсик выглядит совсем свеженьким. Хорошо ли Юсик себя чувствует?— Тайми слащаво улыбалась и складывала губы бантиком.

Юсо молчал. Эта комедия вызывала у него отвращение. Он ошибся в Тайми, как в свое время ошибся в Туулии. Он ошибся в Пертти Ламминене, который оказался бессовестным, эгоистичным малым. Юсо во всех ошибся и остался один. Даже умирая, он не увидит возле себя ни единого настоящего друга, который пожал бы ему руку, сказал бы доброе слово, сообщил бы последние новости и сплетни, чтобы перед смертью он был осведомлен о том, в каком мире остаются здравствующие.

Юсо сделал над собой усилие и перевернулся на другой бок, чтобы видеть камин. Тут он обнаружил, что перед камином на коленях стоит человек и подкладывает поленья в огонь. На нем были серые брюки, темный пиджак и фетровая шляпа. Человек закрыл заслонку и поднялся. Перчатками из свиной кожи он стряхнул опилки с одежды, смачно облизал губы и остался доволен собой. Он явно пребывал в полной гармонии с собой и с окружающим миром. Дрова как будто наперегонки разгорались в камине. Они горели, а поезд шел.

— Прошу извинить, но, как я понимаю, мы с вами не были знакомы раньше,— не выдержал Юсо.— Вы что, из числа обслуживающего персонала?

Мужчина мягко улыбнулся и пружинящим шагом подошел поближе. В нем не было ничего примечательного. Острый нос, тонкие губы и впалые щеки. Типичный сухопарый финн.

— Ну что ж, добрый день, Юсо Габриель Тинус,— сказал мужчина, сунул ему руку и присел как ни в чем не бывало на край кровати.

— Привет, привет. Мы, вероятно, встречались?

— И да и нет. Я подсел к вам в Пиексамяки.

— Но вы ошиблись вагоном. Этот вагон мой. Он официально передан в мое личное пользование. Я путешествую в нем от Куопио.

— Да, да. Вы еще достаточно удовлетворительно соображаете, директор Тинус. Мой вагон, между прочим, прицеплен к вашему. Мы едем гуськом, а в данный момент — вместе. Я просто решил навестить вас. Можно сказать, решил нанести визит вежливости.

Юсо недоумевал. Он внимательно смотрел на мужчину и пытался добраться до истины. Однако лицо его ничего не выражало — оно было как чистый лист бумаги. В человеке было что-то неживое и кукольное, сродни пластмассе.

— Что за дьявольщина, откуда вы меня знаете?— вспылил Юсо.

Мужчина вынул из внутреннего кармана миниатюрную счетную машинку, наморщил в раздумье лоб, пробежал пальцами по кнопкам и с любопытством принялся изучать полученный результат. Он взглянул на часы и вторично проверил результат. Затем повернулся и посмотрел на Юсо.

— Шесть суток, одиннадцать часов, тридцать две минуты и восемнадцать секунд, если считать и данную!

— Это еще что за предстартовые расчеты?!— неуклюже попытался пошутить Юсо.

— Вы прекрасно понимаете, что у вас остается мало времени. Меньше недели. Выражаясь фигурально, я не хотел бы оказаться в ваших штанах.

Юсо почувствовал, как тревожно забилось сердце. Оно еще качало кровь. Пока.

— Ты что, церковник?

— Собственно, нет, но у меня полномочия.

— Кто же ты такой?

— Спокойно, Юсик. Напролом тут не пройдешь — ни слезы, ни зубовный скрежет не помогут. Все в свое время. Особой спешки у нас нет. Шесть добрых дней и ночей.

— Я имею право знать! Пока я еще в здравом уме.

— Да, да. Это верно.

— Кто ты такой?

— Ну ладно. Какие тут особые секреты. Я — чиновник.

— Какой, к дьяволу, чиновник?

— Точнее, я значусь в ведомостях на получение жалованья в охранной полиции. В данном особом случае я действую в качестве уполномоченного нынешнего правительства. За отсутствием лучшего выражения можешь звать меня... ну, скажем, сыщиком. У меня также полномочия от церкви. В моем портфеле, кстати, есть один весьма важный документ, в котором не хватает лишь твоей подписи.

— Только не страховка души!

— Конечно, она. Осмелюсь надеяться, что ты созрел для сотрудничества с нами. Я обязан оберегать тебя, защищать и следить за тобой. Можешь полагаться на меня до последнего вздоха. Можешь считать меня твоим телохранителем, лучше сказать, хранителем твоей души. В определенном смысле я твой отец, который заботится, чтобы никто не причинил тебе зла.

Человек, назвавшийся сыщиком, говорил ровным, бесцветным голосом. Он укрыл Юсо поплотнее одеялом и заботливо вытер ему пот с лица. Тайми отошла к Заячьей Губе. Женщины поглядывали на сыщика и прыскали со смеху, как подростки.

— Я постараюсь держаться как можно незаметнее. Твое дело умереть, а мое — дать тебе умереть спокойно,— пояснил сыщик.

Это потрясло Юсо. Теперь уже не знать ему покоя. Значит, он должен жить и умереть в окружении этой разношерстной компании. Женщины болтают глупости и хихикают. Пертти корчит рожи. Сыщик из охранной полиции внимательно следит за каждым его движением. И это на смертном-то одре!

— Какого дьявола охранка, правительство, церковь и вся эта свора досаждают мне! Что я такого сделал, скажите? Неужели я не имею права лежать? В таком случае я могу подняться, если это так уж необходимо. Отвечайте! Я не нарушил ни одного закона, действующего в Финляндии. Налоговый закон — да, но это не закон, а сплошной идиотизм, перечень порочных положений.

Сыщик извлек из кармана блокнот и, смиренно улыбаясь, стал листать плотно исписанные страницы.

— Вот-вот... сейчас ты сказал, что не нарушил ни одного закона, кроме налогового. А я приведу тебе один поучительный пример, и, надеюсь, ты поймешь. Как человек мыслящий, ты уразумеешь, почему я здесь. Давай-ка посмотрим телевизор.

Телевизор тотчас заработал. На экране появилась длинная улица. Оживленное уличное движение, серый, зимний день. Юсо узнал Маннерхеймингие. Камера торопливо искала в потоке движения какой-то автомобиль. Наконец искомый легковой автомобиль появился на экране.

— Да это же старый знакомый! На нем мы ехали с Пертти!— припомнил Юсо.

— Совершенно верно,— усмехнулся сыщик и сунул блокнот в карман.

Теперь камера вела грузовик, затянутый сверху брезентом, и следовавший за ним легковой автомобиль. Спереди и сзади на грузовике развевались маленькие красные флажки. По верху кабины водителя большими буквами было написано: ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО. Водитель курил — к нижней его губе прилипла наполовину выкуренная сигарета. Казалось, он спал — голова болталась из стороны в сторону в такт движению грузовика. «Он же наедет на нас, и мы взорвемся»,— ужаснулся Юсо, не успев вспомнить, что он по-прежнему жив и теперь уже находится в поезде.

В подрагивающем телекадре он узнал на переднем сиденье легкового автомобиля Пертти Ламминена и себя.

— А теперь, Юсик, слушай внимательно!— раздался голос сыщика над самым его ухом.

Безмолвствовавший дотоле телевизор ожил. Гул машин, вой сирены «скорой помощи», резкие людские голоса, ровный голос диктора.

Юсо узнал и свой голос:

«Можно куда больше сэкономить, если принять решение одновременно всех умертвить. Государство направит бандеролью в каждый дом порошок с ядом. Определит единое время приема порошков. Государственное радио проиграет последнюю пластинку, которой отдадут предпочтение слушатели. Ну, скажем, президентский марш.

Юсо удивленно взглянул на сыщика. Спокойное, словно нарисованное на бумаге лицо ничего не выражало.

В передачу снова вклинились чьи-то голоса: детский крик, нудный звук трубы, звонкое щебетанье птиц, шаги. Долго показывали чистое небо, затем камера впилась в автомобиль, который вел Пертти.

Послышался его беззаботный голос:

«А после этого сыграют «Сяккиярвен полкка» для тех, кто останется в живых!»

Голос Юсо:

«Да, но живых-то не останется. По крайней мере в Финляндии».

Пертти:

«Кто-то все равно останется».

Юсо:

«Как это останется?»

Пертти:

«Черт возьми, неужели не ясно? Даже у нас в Лампи найдется много таких, которые наверняка выживут. Заставить их умереть — черта с два, из них даже налоги не могут вытрясти».

В кадре на мгновение появилась башня стадиона. Автомобиль подошел к перекрестку. Две собаки с поводками в зубах ждали у светофора перемены сигнала.

«Ну а если это нужно? Всенародное решение, одобренное и утвержденное большинством. Освященное и патронируемое президентом, архиепископом и командующим вооруженными силами. Народ просто заставили бы...»

Пертти, с издевкой:

«Кто это его заставил бы?»

Юсо:

«Государство».

Пертти:

«У нас не государство, а дерьмо! Оно не способно даже прокормить всю эту шарагу, не то чтоб умертвить».

Голоса пропали. Кадры перестали сменять друг друга. Экран померк. Сыщик подошел и выключил телевизор. Затем вернулся, вздохнул и удобно расположился на краю кровати.

— Вот так-то,— промолвил сыщик.— Взрослый человек и — яд! Антиобщественный поступок. Антигуманный поступок. Оппозиция финскому образу жизни. И никаких оправданий.

— Признаю,— вздохнул Юсо и закрыл глаза.

— Надо все-таки думать, прежде чем говорить. Да еще в присутствии девственной молодой души,— наставлял его сыщик.

Пертти, испугавшись, пытался прикрыть свой страх болтовней. Врал напропалую о соседской девчонке из Лампи, которая хотела любым путем обзавестись мужем: бегала на лыжах за мужчинами даже на соревнованиях. Пертти вовсю старался рассмешить женщин. Соседская девчонка была до того безобразной, что это замечали даже в кромешной тьме. Все у нее не на месте: и нос — на щеке, и глаза — на затылке.

— Что за страх ты рассказываешь,— ужаснулась Заячья Губа.

— Это же неправда,— заметила Тайми, вытирая слезы от смеха.

— Самая что ни на есть правда.

— Пертти, а ты противный. Нельзя так говорить о женщинах.

— Но тут каждое слово правда. Я сам видел эту бабу. Хоть и уродина, а добра! Телеса свои на тачке возит, когда далеко идти.

— Ой!— ужаснулась Заячья Губа.— Страсть-то какая, Тайми, подумать только. Славу богу, что мы без порчи.

Юсо еле сдерживался. Будь у него силы, он бы вышвырнул всю эту братию вон. И почему это Пертти Ламминен оказался на его дороге? Но ведь могло случиться и хуже. Юсо взглянул на сыщика. Идиотская болтовня Пертти совсем не досаждала тому. Наоборот. Судя по всему, он слушал с удовольствием. Юсо вдруг понял, какой он никчемный. Почему ему не дают спокойно уйти из этого глупого мира?

— Видно, я совсем уж никчемный человек,— тяжело вздохнул он.

Сыщик встрепенулся и дружески похлопал его по плечу.

— Не тревожь ты себя, Юсо, понапрасну. У тебя как-никак впереди еще шесть дней жизни. А большинство людей умирает раньше тебя. А сколько несчастных душ вообще лишены возможности явиться на свет божий! Мало ли сейчас в Финляндии делают абортов.

— Совершенно верно,— согласился Юсо.— По-моему, это ненормально, что совсем молоденькие девчонки занимаются любовью, а как что случится,— сразу делают аборт. И никто не спрашивает моего мнения на этот счет.

— Мы с тобой, Юсик, одного мнения на этот счет,— улыбнулся сыщик. Он подошел к камину и подбросил дров.

Пертти устроился с обеими дамами на кровати. Видно было, что он распалился вовсю. Сыщик, не обращая на него внимания, вернулся на свое место — он потирал руки, чтобы согреться.

— Одно мне все же не по душе.

— Да? — Сыщик присел и выжидающе замолчал.

— Хотелось бы посмотреть по телевизору хоть иногда обычную финскую программу, пусть они и не ахти какие. Этот частный канал начинает мне надоедать.

Сыщик сделал вид, что удивился.

— А что же тут такого особенного? То, что я показывал, снято по особому разрешению, к тому же я не намерен больше досаждать тебе своими документальными материалами. Хотя о тебе сделано немало фильмов. У нас в стране ты лицо особо важное — VIP[1], и на тебя хочешь не хочешь накапливается все больше фильмов и звукозапи-

[1] Very Important Person — весьма важное лицо *(англ.)*.

сей. У нас в СУОПО снимают много. Когда нужно отснять больше четырех с половиной миллионов метров пленки, не очень-то посидишь сложа руки. А какие же программы передают по твоему телевизору? Мне по долгу службы положено это знать.

Сыщик то ли разыгрывал несведущего простака, то ли действительно ничего не знал. Не все и не везде идет гладко и безупречно, как рассчитывают бюрократы и технократы. Нет. Случаются и проколы. Юсо вспомнил последние дни и недели. А все-таки он по-прежнему хозяин сам себе или уже нет? А что, если он не умрет в назначенный день? Если все это грандиозный розыгрыш?

— Пытаетесь что-то вспомнить?— полюбопытствовал сыщик.

Поезд мчался вперед — похоже, что на юг. Пертти с дамами продолжал возиться на кровати, сыщик СУОПО — уполномоченный церковного управления — весь обратился в слух и зрение.

Внезапно все стало бело. Снег! Пошел снег.

— Там снег идет?

— К сожалению.

— Почему — к сожалению?

— Снег заметает следы,— вздохнул сыщик. Он развалился на кровати, заложил руки за голову и, погрузившись в свои мысли, уставился в потолок.— Мы в СУОПО не любим снега, да и церковники не очень-то его любят. А у нас с ними ведь общие интересы. Всех преступников и злоумышленников — за решетку или в ад.

— Значит, старый снег для СУОПО лучше, чем новый,— заключил Юсо.

— Конечно. Следы хорошо видны, и по ним легко идти. С другой стороны, слишком много следов тоже плохо. Но самое неблагоприятное время — лето.

— Да, да. Летом не видно следов.

— Правильно. Кроме того, летом — деревья, кустарники и канавы, в которых преступнику легко спрятаться. Летом и другая проблема: как втихую фотографировать разыскиваемых и подозреваемых нашими допотопными техническими средствами. Телеобъективов нет, поэтому приходится подползать вплотную к жертве. А это, между нами говоря, нелегко и дьявольски нудно. Многие преследуемые, желая скрыться, бухаются в воду. А ведь сыщик-то обязан идти по следу. Летом вообще люди слишком много думают и передвигаются. Положение, милый Юсик, у нас в СУОПО просто отчаянное: мы даже на пятьдесят процентов не знаем, кого официально считать человеком лояльным, а кого — нет.

Сыщик замолчал. Теперь слышен был лишь грохот поезда да время от времени свистки паровоза. Заячья Губа хихикала. Тайми спала на полу и храпела. Сыщик продолжал свои обстоятельные объяснения, от которых Юсо неодолимо клонило ко сну.

— Могу поделиться: у меня есть дачка в Луси, в сторону Тюрвянто. Когда я провожу там отпуск и отдыхаю после бани на веранде — любуюсь озером, лесом,— то иногда не на шутку становится страшно! Человек, а тем более официальное лицо не имеет права считать, будто он находится в покое и одиночестве. В это время, в каких-нибудь ста метрах от него, в зарослях ольховника, может, крадучись, уходит какой-нибудь инакомыслящий, антиобщественный элемент. Вот потому я всегда и настороже — днем и ночью. Положение обязывает. За это мне платят жалованье. Говорят, я еще ребенком был пугливым и подглядывал за взрослыми. Из этой склонности родилась профессия. Я не сетую. Я просто рассказываю, чтобы скоротать время.— В голосе сыщика звучали уныло-грустные нотки. Вдруг он вскочил, достал из кармана носовой платок и высморкался.— Можешь, Юсик, не сомневаться: у каждого свои заботы. И ты сейчас, наверное, думаешь, что все погибнет, когда погибнешь ты. Тебе хотелось бы все

уничтожить. Порошки с ядом и прочее. Но люди останутся, и поэтому наш брат должен охранять остающихся в живых. Те, что умирают, и те, что остаются,— это разные люди.

Сыщик снял фетровую шляпу и стал обмахиваться ею. Его лысину прикрывало лишь несколько рыжеватых, прилипших ко лбу завитков.

— Вот так-то, Юсик. Теперь припомнил?

— Что именно?

— Что тебе показывали по твоему телевизору.

— Женскую грудь!— вспомнил Юсо.

Сыщик приосанился и застегнул пиджак на все пуговицы.

— Мне нужно пойти в свой вагон. Я должен отправить рапорт в штаб-квартиру.

Когда Юсо вновь поднял взгляд на сыщика, на его месте уже никого не было. Сыщик исчез.

Во сне было солнце, к которому он направлялся. Солнце заполняло полнеба. На Юсо были первые в его жизни длинные брюки, и он бежал по искрящемуся снегу к солнцу. Бежал сквозь вихрящийся светлый воздух, испещренный круглыми дырами. Через них видна была вселенная.

— Это тебя, Юсик! — послышался голос.— Юсик! Проснись!

И он открыл глаза. Первой, кого он увидел, была Тайми на фоне ясного зимнего дня. Тайми настойчиво протягивала ему черную телефонную трубку.

— Что случилось?

— Тебя просят к телефону.

Юсо схватил трубку и прижал ее к уху.

— Я слушаю.

Он ничего не услышал. Только шум, который временами то усиливался, то ослабевал. Но у него было ощущение, что на другом конце провода кто-то непрерывно говорит. Не оглох ли он?

Он отстранил трубку. Пертти, жуя резинку, натягивал брюки. Заячья Губа, стоя на коленях на кровати, что-то прибивала к стенке. Тайми готовила на плите еду. Сыщика не было видно. Поезд двигался на юг.

— Я не оглох?

Подошел Пертти, затягивая на ходу ремень. Пертти потолстел — живот у него так и выпирал. Подойдя к Юсо, Пертти встал в позу боксера и в шутку нанес Юсо несколько ударов.

— Ты что тут, старик, шепелявишь?

— Я не оглох?

Заячья Губа с молотком в руках уставилась на него.

— Чего это он опять придумал?

— Что-то у него там, в коробке, забарахлило,— сказал Пертти, приподнял одеяло и осмотрел Юсо.— Да нет, сверху вроде ничего не заметно.

— А вы меня слышите?

— Может, он есть хочет.— Мягко ступая в одних чулках и на ходу вытирая руки полотенцем, подошла к кровати Тайми.— Юсик, картошка уже варится. Будет фарш под соусом и печенка. Вкуснотища, Юсик! Постарайся быть пай-мальчиком. Поговори пока по телефону, если там еще кто-то есть.

Тайми взяла бутылку и дала ему глотнуть. Затем снова протянула трубку.

— Я слушаю.

— Куда ты, Юсо, пропал? — раздался женский голос.

— Сейчас я здесь, а через секунду буду дальше.

— Послушай, Юсо! Я сейчас в Стокгольме,— произнес женский голос.

— Кто это?

— Я, Туулия! Ох, золотко мое, как же ты далеко! Мне хочется плакать, когда я слышу оттуда твой голос. Значит, ты еще существуешь?

— Туулия! Где ты сейчас?

— В Стокгольме. Неужели ты даже этого не помнишь? Мы же только вчера говорили с тобой. Послушай, доктор считает, что у меня двойня. Эли был прав, настаивая, чтобы мы поехали сюда. Там, в Финляндии, они бы не справились.

— Когда же они появятся на свет?

— В любое время могут, хоть сегодня.

— Я в поезде, Туулия.

— Это хорошо. Там за тобой лучше присмотрят. Будь послушным, Юсик, не перечь им. Эли недавно приходил проведать меня, и мы много говорили о тебе. Ты знаешь, наш Эли все толстеет. Сейчас в нем почти двести килограммов. Он взял здесь себе в шоферы одного финна. Они ездят на каком-то пикапе. В обыкновенный автомобиль Эли не вмещается.

— Вот как! Скоро для него начнут передавать по радио персональные известия.

— Что? Я чего-то не понимаю.

— Да нет, ничего.

— Да. Послушай-ка. Эли заключил две выгодные сделки. Он продал одной оптовой шведской фирме множество товаров из пластмассы. Почти всю готовую продукцию. Подумать только! Они намерены сбыть ее куда-то во Вьетнам или в Африку как помощь развивающимся странам. Да, и еще, Юсо! Мы решили с Эли, что ты можешь стать крестным отцом одного из наших близнецов. Ты не против?

Юсо не отвечал. Пауза затянулась. Снова послышался волнообразный шум.

— Юсо! — произнесла Туулия дрожащим голосом.

— Ты что там — плачешь, что ли?

— Плачу. Это так ужасно, что мы разучились общаться. Либо мы не понимаем друг друга, либо ты молчишь. А ведь еще недавно мы могли беседовать. Послушай, Юсо, мне кажется, что ты стал совсем равнодушен ко мне.

— Так оно и есть. Равнодушен.

— Юсо! Ты не смеешь так говорить! Юсик! Человек не может так измениться. Ты не должен быть равнодушным ко мне! Мы же супруги, Юсик! Мы должны любить друг друга! Юсик! Дорогой! Золотко!

— Меня нельзя больше любить.

— Юсо! Послушай! Сейчас начнется врачебный обход. Идут ко мне.

— Меня интересует только душа. Есть у меня душа, как ты полагаешь?

— Да, да. Я не понимаю, о чем ты. Ох, Юсо, золотко, любимый, дорогой! Держи, на счастье, большие пальцы вверх, когда я буду рожать. А я подержу за тебя, когда ты будешь помирать.

— Ну хорошо. Будь молодцом, Туулия! Вот сейчас я отчетливо вспомнил тебя. Ты сидишь на кухне на табуретке в шерстяных чулках и чистишь картошку. Картофельная шелуха валится на пол.

— Ой, Юсо! Вот пришел врач. Он переворачивает меня.

— Мой поезд пошел, Туулия.

— Юсик, дорогой!

— Да?

— Они отбирают у меня телефон. Хей, хей, Юсо, дорогой! Я позвоню, или позвонит Эли, когда это случится.

— Ну, хорошо.

— Подумай, Юсик. Ты можешь стать крестным отцом.

— Ладно.
— Юсо! Врач...
Разговор прервался. Телефонная трубка в его руке лишилась души, стала мертвой.

Глава четырнадцатая

Снежная птица приносит тяжкую весть от дорогого друга.— Правление компании по страхованию душ в погоне за новыми клиентами.— Разъездной епископ рассказывает о рекомендации, касающейся Юсо.— Заячья Губа обнаруживает, что у нее появилось молоко.— Сыщик весьма успешно обучает Юсо, как пользоваться оружием.— Пертти рассказывает о снежной зиме в Лампи.— Трагическая смерть. — О допустимом в Финляндии количестве женщин.

Скрип среди ночи. В бледном, тусклом свете камина Юсо Тинус увидел залетевшую в вагон птицу. Большая белая птица дрожала на полу. Глаза ее горели. Поезд медленно тащился в ночи. В щелях вагона завывал ветер. Но камин горел.

Птица стряхнула с себя снег и оказалась черной. Черной, как ночь. Поблескивали зеленые глаза, она глядела прямо на Юсо.

«А что, если это моя смерть — вот сейчас, сию минуту?»— содрогнулся он. А что, если идеологическому, экономическому и политическому руководству страны надоело возиться с ним? А что, если компьютер уточнил дату его смерти? Его не считают жизнеспособным. Он инакомыслящий. Антиобщественный элемент. Видимо, именно так сыщик и сообщил о нем в штаб-квартиру. И он вдруг преисполнился уверенности, что его смерть наступит именно сейчас.

— Пертти!.. Тайми!.. Заяц!..

Они спали. Никто не услышал. Он был один. Не было даже сыщика. Птица вытянула шею и захлопала крыльями. Она боялась голоса Юсо. Тут он заметил, что к шее птицы подвязан какой-то блестящий предмет.

— Подойди-ка, птичка, сюда.

Птица слушала, будто понимала.

— Я смирный, умирающий человек.

Птица внимательно смотрела на него.

— Я не сделаю тебе ничего плохого. Цып, цып. Ну, иди же.

Птица расправила крылья и взлетела на край кровати.

— Странная птица. Сдается, ты понимаешь человеческую речь.

Птица дала прикоснуться к себе. Он снял с ее шеи маленькую кожаную сумочку, украшенную позолотой, и выудил оттуда свернутую бумагу, на которой было написано: ЮСО Г. ТИНУСУ.

— У тебя действительно ко мне дело. Может, ты доставила мне новую дату моей кончины,— заметил Юсо, обращаясь к птице, но та мгновенно выпорхнула из его рук и скрылась в темноте. Раздалось лишь приглушенное воркованье, а затем снова монотонное постукиванье колес. Беспрестанный шум в ушах.

Руки у Юсо дрожали, пока он разворачивал бумагу. Она была исписана мелким, убористым, но красивым почерком.

ЮСО ГАБРИЕЛЮ ТИНУСУ.
В ПОЕЗД.

У ТЕБЯ ПЯТЬ ДНЕЙ ЖИЗНИ, ЮСИК. ТЕБЕ ПОЗДНО ЧТО-ЛИБО ПРЕДПРИНИМАТЬ. ЛИБО ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР ПОБЕДИТ ЗАПАДНЫЙ, ЛИБО ЗАПАДНЫЙ ВЕТЕР ПОБЕДИТ ВОСТОЧНЫЙ. ЭКСТРЕМИСТЫ, КОНСТИТУЦИОНАЛИСТЫ, ХРИСТИАНСКИЕ ДЕМОКРАТЫ, ШВЕДЫ И БЕСПАРТИЙНЫЕ СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВИ ТРЕБУЮТ НЕМЕДЛЕННО ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ЭТОМУ ШОУ. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕДАКЦИЯ ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЙ ОПОВЕЩЕНА ЧЕРЕЗ СТОКГОЛЬМ О ТВОЕЙ СУПРУГЕ. ПОПЫТАЕМСЯ ПРЕДРЕШИТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИСХОД. ПОНИМАЮ, ЧТО ТЕБЕ ТЯЖЕЛО, ДОРОГОЙ ДРУГ. КАК ЧЕЛОВЕК РЕКОМЕНДУЮ САМОУБИЙСТВО, А КАК ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО СОВЕТУЮ СДАТЬСЯ НА МИЛОСТЬ СУДЬБЫ. ТВОИ ШАНСЫ ОТПРАВИТЬСЯ НА НЕБО, ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ,— ОДИН ИЗ ТЫСЯЧИ. ПЫТАЮСЬ ОРГАНИЗОВАТЬ У ТЕБЯ ПОЛУОФИЦИАЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ ЗАВТРА УТРОМ. ПОБЕСЕДУЕМ ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ О ДУШЕ. СТАВЬТЕ ПРОБЛЕМЫ РЕБРОМ. ГОВОРИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МАО.

ТУУС,
РАЗЪЕЗДНОЙ ЕПИСКОП.

Юсо проснулся от постукиванья. Знакомый однообразный шум поезда. Пахло кофе. Было утро или день. Юсо приподнялся на локтях и открыл глаза. Он был не один. Кроме Пертти, Тайми, Зайца, а также сыщика в вагоне было еще трое мужчин, сидевших у пылающего камина рядом с сыщиком. Юсо протер глаза и сразу узнал двоих: разъездного епископа и генерального директора, с которым он во сне ехал тандемом на велосипеде в Пиетарсаари. Третьим был румяный незнакомец в очках. В руках он держал палку, которой время от времени постукивал по камину.

— Ах-а-а, вот и наш хозяин проснулся,— с кислой улыбкой подошел к нему сыщик.— Если ты, Юсик, не возражаешь, мы проведем здесь маленькое совещание Правления Финского отделения Компании по страхованию душ. Совсем небольшое, исключительно деловое, к тому же большая часть вопросов уже рассмотрена. Я присутствую здесь от имени своего учреждения в качестве секретаря.

— Привет! — Рука разъездного епископа поднялась за камином.— Побеседуем, как только покончим с делами.

— Хей, хей! — кивнул генеральный директор.

Неизвестный лишь взглянул в сторону Юсо. Очки его поблескивали в отсветах огня. Он поднял руку, в которой была палка, и камин загудел. Сыщик поспешил на свое место и перевернул страницу в записной книжке. В кровати на другой стороне вагона было тихо.

— Если и дальше дела пойдут так же, одни управленческие расходы поглотят больше половины доходов,— объявил неизвестный суровым голосом.— Такими темпами нам не достичь двадцати процентов прироста доходов с оборота, определенного штаб-квартирой для Финляндии. Необходимо застраховать как можно больше душ или поднять страховые платежи. Есть желающие выступить?

— По-моему, в данной ситуации не стоит прибегать к повышению страховых платежей,— начал генеральный директор.— При всех обстоятельствах мы получим финансовую помощь от государства, даже если фирма начнет работать убыточно. Дивидендов в этом году акционерам, видимо, не нужно выплачивать — во всяком случае не всем. У нас и по части производства гробов дивиденды не выплачивались уже года два. Основные акционеры, разумеется, получали деньги, но, так сказать, из-под прилавка. Естественно, что средства необходимо изыскивать, коль скоро мы их вложили.

Юсо поднял руку. Он долго смотрел на нее. Да, это его рука. И он дышит. И люди в этом вагоне тоже — сущая правда. И эти удивительные речи звучат в несомненно реальном мире, который так быстро прогрессировал во времени.

— Новые контингенты душ для страхования можно найти в Швеции,— вмешался в разговор разъездной епископ.— Насколько мне удалось изучить настроения шведских финнов, они довольно податливы на эту пропаганду. Оторванные от родины, осиротелые переселенцы, они думают только о Финляндии и финской сауне. Необходимо каким-то образом втиснуть в страховые документы сауну, а также эмблему «Алко». Нельзя ловить воробьев с зажмуренными глазами, говорит председатель Мао.

— В этом что-то есть,— задумчиво произнес генеральный директор.— А что, если привлечь к продаже страховок Армию спасения?

— Армию спасения!— внезапно перебил его разъездной епископ.— Насколько мне известно, в программу деятельности Армии спасения уже сейчас входит надзор за душой и ее спасение. Едва ли там

когда-либо серьезно планировалось страхование душ; кроме того, они через МОЦ включены в нашу деятельность.

Сыщик поднялся, набрал охапку дров и подбросил их в камин.

— Если мне будет дозволено сказать, то, по-моему, нам необходимо охватить всех путешествующих. Подумайте только, какое множество людей постоянно находится в пути, в автомобилях. Если подключить все бензозаправочные станции, то можно раздавать бесплатные талоны на бензин и одновременно оформлять льготное, предназначенное специально для автомобилистов страхование души.

— Идей, как видимо, достаточно, и это хорошо,— резюмировал неизвестный круглолицый господин.— Но нам надо поторапливаться. Составим меморандум и направим в штаб-квартиру. И не забудьте заполнить бланк на получение суточных. Суточные и гостиничные не помешают. Так сказать, домой — с пополневшей казной.

Присутствующие поднялись и расправили затекшие члены.

— Прошу пожаловать для продолжения в мой вагон. Там пишущая машинка и телетайп,— сказал сыщик.— Закусим чем бог послал.

— Я хотел бы обменяться несколькими словами с директором Тинусом,— сказал разъездной епископ.

— Хорошо,— согласился круглолицый и вышел.

— Заодно я проинформирую Юсика о нашей рекомендации.

— Приходи побыстрее, а то горючего маловато.— По лицу сыщика пробежала сладенькая улыбочка.

Юсо слышал, как раздвинули дверь вагона. Неизвестный, генеральный директор и сыщик исчезли под усилившийся шум поезда. А разъездной епископ подошел и сел на край кровати.

— Ну так как, Юсик? Может, кофейку? Нет? А я хлебну.

— Я бы вовсе не появлялся на этот свет, если б знал, какие меня ждут здесь мучения!

— Ой-ой, что ты, Юсик! Выше голову! Что это с тобой? Тебя обслуживают, поезд движется, и любовь твоей молодости с тобой рядом. Вот с душой у тебя хуже, она — в кризисе. А времени остается мало. Четыре дня с хвостиком.

— Спасибо за письмо,— вздохнул Юсо.

— Спасибо за благодарность.— Разъездной епископ отодвинул от себя пустую кофейную чашку.— Послушай, Юсик. Мы только что решили направить относительно тебя рекомендательное письмо по инстанциям.

— Да?

— Мы рекомендуем сохранить дату твоей смерти прежней — первого апреля. Рекомендуем также удостоить твою душу чести вознестись на небо, несмотря ни на что. Сыщик составил о тебе хорошее заключение. Такому, как ты, нечего делать в аду. От тебя там не будет никакого толку, даже рекламной ценности.

— А моим мнением даже не поинтересовались?

— Ну зачем. Разве так не лучше?

— Я бы хотел умереть сию минуту.

Рука разъездного епископа покровительственно опустилась на его голову.

— Но, Юсик, миленький, хорошее приходит не вдруг.

— Я хочу избавиться от всего! Хоть в ад! Немедленно!

— Какая-то ноша легка, а какая-то тяжела, говорит председатель Мао.

— Я выберусь отсюда и брошусь под поезд!

— Попробуй встань!

Юсо попробовал. И понял, что привязан. Он вырывался, дергался, но только больше запутывался в простынях.

— Сыщик хорошо поработал. Твою драгоценную душу нельзя предоставлять самой себе.

Юсо лежал неподвижно, вперив взгляд в потолок.

— Свой крест нужно нести до конца.

Юсо закрыл глаза.

— Мне пора к коллегам. Совещание ведь не закончилось.

Юсо тяжело дышал.

— Возможно, мы больше никогда не встретимся. Если нам повезет и мы оба станем победителями в финале, знай: дважды на небо не попасть. Улыбнемся друг другу, если повстречаемся там.

Юсо приоткрыл глаза. Разъездной епископ исчез. День сквозь щели заглядывал в вагон. У стены на полу был иней. На улице зима. Поезд мчался под уклон, на юг.

Тайми выцедила ему в рот утреннюю бутылочку.

— Сегодня наша детка будет кушать фасолевый суп и блинчики. Надо хорошо поесть, чтоб набраться сил.

Юсо не хотелось говорить.

— Не будь таким букой, Юсик. У тебя еще много приятных дней впереди. Никто никогда не знает, что его ждет. Разве я, к примеру, могла предвидеть в Куопио, что со мной такое приключится?!

Юсо понял, что поезд стоит. Пертти не было. Заячья Губа сидела на корточках возле камина и внимательно изучала свою грудь. В ногах у Юсо слышалось равномерное постукивание. Там, скрестив ноги, как портной, сидел сыщик и печатал на машинке. Видимо, такая уж у него была потребность — строчить рапорты.

— Сколько у меня еще осталось времени? — поинтересовался Юсо.

— Минутку! — Сыщик перестал печатать и вытащил счетную машинку.— Три дня, десять часов, сорок семь минут и одиннадцать секунд. Точно! Совершенно точно.

— Еще три дня? А не два? В расчетах у тебя где-то ошибка.

— Ой, послушайте-ка! У меня тут какие-то странные шишки!— завопила Заячья Губа. Тайми оставила плиту и пошла выяснять.

— Не рыпайся, Юсик. Три дня — как в аптеке.

— В конце концов не все ли равно. Сегодня уже полдня прожито.

— Жизнь — это счастье,— философствовал сыщик.

— Если жизнь — счастье, то смерть — рай.

— Кто знает?

— Никто. А ты вот знаешь, что творится с моим желудком? Мне совсем не хочется есть. Я худею. Я хоть что-то еще вешу?

Сыщик взял листок и подсчитал.

— Вот. Ты весишь сто двадцать один килограмм — тебя взвешивали три дня назад.

— Неправда!

— Да, точно.

— Скоро я стану таким же, как в дни службы в армии. Это, конечно, смерть.

— Эй, вы там! Не поверите, у меня молоко появилось. Ей-богу.

— Да ты, видно, забеременела, бедняжка,— вздохнула Тайми.

И женщины принялись тихо беседовать. Тайми давала Заячьей Губе советы по уходу за ребенком, как пеленать и что нужно делать, чтобы получить отпуск по беременности. Тайми советовала записать отцом Пертти, но выжать алименты у бывшего мужа.

Сыщик продолжал стрекотать на машинке. С улицы послышались голоса. Поезд начал оживать. Пьяный Пертти, спотыкаясь, ввалился в вагон. Поезд дернулся и быстро набрал скорость.

Стояла ночь, было темно. Юсо проснулся, почувствовав, что сыщик находится у самой кровати. Ледяные глаза сыщика были нацеле-

ны на Юсо. В руке поблескивал пистолет, нацеленный прямо ему в сердце.

— Ты что, собираешься убить меня? — Юсо произнес это так, будто речь шла о чем-то глубоко ему безразличном.

Сыщик приставил дуло пистолета к виску Юсо. Металл противно вдавился в кожу.

— Он и в самом деле намерен прикончить меня здесь,— подумал вслух Юсо.

— Не волнуйся. Я тебя не убью,— невозмутимо ответил сыщик.

— Может, ты получил предписание из штаб-квартиры покончить со мной?

Сыщик провел пистолетом по его коже. Туда и обратно. Как бы вычерчивая кресты.

— Ну же. Я готов.

Юсо ждал. Только грохот поезда. Холодное дуло на виске.

— Конечно, любителей побаловаться с пистолетом много, но не все способны разрядить его,— провоцировал Юсо.

Сыщик прекратил поглаживание и вложил оружие Юсо в руку.

— Владей на здоровье, Юсик! Ты можешь сам покончить с собой, когда будет настроение. Я действую на свой страх и риск. Я попаду, честно говоря, в затруднительное положение, если ты застрелишься. Но это уж мои проблемы. У тебя — свои. Мы квиты.

Юсо недоуменно рассматривал металлическую вещицу.

— А, да ты же не знаешь, как с ним обращаться и куда целиться. Дай-ка я тебе покажу. Вот предохранитель. Когда ты его передвинешь вот сюда, оружие сработает. Оно уже заряжено. И порох сухой.— Сыщик очертил пальцем круг на виске Юсо.— Чувствуешь мой палец? Хорошо! Вот здесь, в этом месте, прижмешь дуло. Сантиметр туда или сюда — неважно.

Юсо ощупал пистолет, крепко обхватил всей пятерней и прижал дуло к виску, как показывал сыщик.

— Неплохо получается. Чуть выше. Так. Но всегда помни, Юсик, о предохранителе. Многие от волнения забывают и потом напрасно терзаются и ждут. Подумай об этом, пока еще в состоянии. Человек, предположим, привел в порядок свои мысли и решил застрелиться. Однако не тут-то было! Это страшно. Это ужасно. Но теперь ты все знаешь. Сначала снимаешь предохранитель и только затем спускаешь курок. Ну, теперь все ясно?

— Да.

— Хорошо. Положи его сейчас хотя бы под подушку. Остальным ни к чему его видеть, зато он всегда под рукой. Хорошо, когда у него есть свое место. Ужасно неприятно приниматься за поиски вместо того, чтобы сразу уйти навсегда, начинаешь пороть горячку. Я приведу его в боевую готовность и положу сюда. Теперь он на месте. Нетрудно ведь взять его оттуда? Это у тебя получается хорошо. Теперь остается только согнуть руку. Попробуй еще раз. Так. Вот так. Ты уже целишься как профессионал. Теперь положи его обратно. Очень хорошо. Ну что ж, ты вполне овладел этим, Юсик. Я верю в тебя. Ты наверняка примешь правильное решение. Ты умрешь элегантно, Юсик!

Снег! Снег врывался в вагон, будто какое-то небесное тысячеротое чудовище старалось изо всех сил — втягивало в себя холодный воздух и развьюживало во все стороны пушистый снег. Камин шипел и трещал.

Юсо удивлялся такому обилию снега. Казалось, ему не будет конца. Даже сыщик боялся снега и, покачивая головой, слушал сводки погоды как по Финляндии, так и по Швеции. Снег просачивался в вагон, превращая все вокруг в бесформенную массу. Снег напугал и женщин. Заячья Губа свернулась в клубок под боком у Пертти и тихонь-

ко жалобно причитала. Тайми залезла на кровать к Юсо и мелко дрожала, как загнанное животное. Детектив сидел в тепле у камина, уставясь на потрескивавший огонь. Он больше не счищал снега с пальто и со шляпы.

— Этот снег похоронит всех нас! — взвизгнула Заячья Губа.

— Да нет, это еще ничего! — успокоил ее Пертти.— Я, знаешь, в своей жизни видел бури и посильнее. Этот снег — пустяки по сравнению с тем, что было как-то зимой в Лампи.

— Расскажи, Пертти, как это было.

— Там одной зимой выпало столько снега, что бабы, ей-богу, увязали в нем по самую шею. Снегу навалило так много, что из дому страшно было выйти. У моего старика два дня уходило на то, чтоб добраться до лавки, хотя до нее всего километр.

— Не может быть!

— А вот было! Через дорогу от нас жил сосед Аалтонен, ему здорово надоела его баба. Взял он большой острый заступ, подкараулил свою бабу, когда она возвращалась из отхожего места. Вернее, увидел-то он только ее голову — снегу было по горло,— и когда она подошла ближе, ударил заступом. Голова так и свалилась в снег, как ботва. Аалтонен еще пришел тогда к нам и сам рассказал, как здорово это у него получилось.

— Ужас! Я и вправду начинаю бояться. Нашел что рассказывать! А что, если ты сам такой же, как этот Аалтонен? Я еще не хочу умирать. Тайми! Скажи что-нибудь.

Но Тайми не слышала.

— Тайми! Пертти издевается надо мной!

Тайми спала, растянувшись рядом с Юсо. Юсо видел ее приоткрытый рот и зубы уже пожилой женщины.

Пертти сбросил с себя снег и подошел к Тайми по заснеженному полу вагона. Долго длилось молчание.

— Заяц!

— Ну?

— Эта женщина ничего больше не услышит.

— Почему?

Пертти внимательно оглядел Тайми.

— Да потому, черт возьми, что она уже покойница.

— Ужас.

— Она умерла, черт возьми! Эта баба умерла рядом с Юсо!

Юсо закрыл глаза и притворился спящим. Тишина. Пертти стоял как пригвожденный, уставившись на мертвую Тайми. Монотонно стучал поезд. Приглушенно свистел паровоз. Юсо стало не по себе. Если бы сейчас у него в руке было оружие, он бы покончил с собой, не задумываясь.

— Пертти. А если и Юсо...— прошептала Заячья Губа.

Пертти ощупал лицо Юсо. Нос, уши, рот.

— Да нет, этот жив. Теплый. Храпит.

Юсо услышал шаги. Детектив подошел к кровати.

— Она преставилась, эта женщина,— пояснил Пертти.

Детектив оглядел Тайми.

— Да. Не очень-то приятная история.

— Что же нам делать?

Сыщик задумался и громко высморкался.

— Ну ладно. Ничего не попишешь. Бери за ноги. Отнесем ее туда, к стене.

Сыщик и Пертти отнесли Тайми к стене. Слышно было, что сыщик отодвигает дверь. Юсо почувствовал ледяную струю воздуха на лице. Шум поезда усилился.

— Там сейчас начнется лес. Бросим ее под деревья, когда я сосчитаю до трех.

Поезд катил с возрастающей скоростью. Юсо почувствовал по запаху, что они в лесу. В сосновом бору.

— Раз, два, три.

Дверь закрыли. Сыщик подошел к камину и подбросил дров.

— Вообще-то мы должны были отправить труп Тайми с ближайшей станции обратно в Куопио,— назидательно сказал сыщик.— Однако в нашей работе необходимо иногда смотреть на некоторые вещи сквозь пальцы. Ведь если действовать по правилам, у меня ушло бы немало дней на одни только объяснения. Все эти бесчисленные допросы и замеры. Не всегда такое можно себе позволить. И без того этот Юсо Тинус доставляет нам уйму хлопот.

Заячья Губа всплакнула. Сыщик пошел ее успокаивать. Пертти закурил. Теперь поезд пошел медленнее.

— А ну-ка давайте все успокоимся.— В голосе сыщика появилось несвойственное ему тепло. Он все продолжал поглаживать Заячью Губу.— Да что там, через пару недель тело Тайми найдется. Эти прилежные лыжники обшаривают всю местность. Да и мы ведь можем сообщить, где ее забрать. А гроб можно будет отвезти обратно в Куопио.

— Лучше, Заяц, забыть, к черту, эту Тайми,— убежденно сказал Пертти.— Этой Тайми у нас никогда не было, и мы ничего о ней не слыхали.

Сыщик снял свою шляпу и стряхнул снег на пол.

— Да, что факт, то факт, покойник всегда есть покойник. И покойник не стоит того, чтобы по нему все время горевать.

— В Финляндии женщин и без того слишком много,— заметил Пертти.

— Именно это я имел в виду,— отозвался сыщик.

— Ужасные вещи вы говорите,— вздохнула Заячья Губа.

Юсо почувствовал, что снегопад прекратился. Он открыл глаза. Сыщик грел руки у камина. Заячья Губа, всхлипывая, обнималась с Пертти. Вскоре ей надоело всхлипывать, и она перешла на тихое жалобное причитание.

Сыщик негромко напевал какую-то песню военного времени в такт постукиванью колес.

Глава пятнадцатая

Последнее страхование души.— Юсо узнает, что пожертвовал все свое имущество государству.— Шоферу нужен песок.— Туулия сообщает, что родила мальчика с пластмассовыми частями тела.— Воздушные шары и серпантин.— Пертти в восторге от нового назначения. — Сыщик знакомится с поступившими телеграммами.— Веселый потрошитель трупов.— Женская грудь в темноте. — Ключ и дверь.— Дома.

Юсо Тинус чувствовал, что его толкают и пихают столь же решительно и безжалостно, как тогда, в детстве, когда его будили в пять утра в лагере церковной школы. Нарушитель спокойствия копошился сначала возле его ног, затем стал подниматься дюйм за дюймом, пока не добрался, наконец, до лица. Казалось, теперь его молотили кулаками.

Юсо открыл глаза. Вихрящийся мрак и среди него — вечное пламя камина. Он жив. Он еще дышит в этом мире. Сыщик немилосердно нацелил на его лицо яркий свет карманного фонарика. Затем, шурша бумагами, насильно раскрыл ладонь Юсо и вложил ему в пальцы карандаш.

— Распишись!

— День сейчас или ночь?

— Это все равно. Тебе осталось два дня, три часа, восемь минут

и пятнадцать секунд. Подписывай и теперь уже сможешь быть спокойным за свою душу. Иначе пахнет чистым адом. Поэтому со страховкой нужно спешить!

— Ничего я не подпишу!

— Это твое последнее слово, Юсо Габриель Тинус?

— Да!

— Окончательное?

— Окончательное!

— Ясно. Вини потом себя.— В голосе сыщика послышался металл. Он разорвал бумагу на две части, затем еще на две и прошел к камину.— В этом, Юсик, ты будешь раскаиваться вечность!

Сыщик бросил бумагу в огонь, вернулся и, присев на край кровати, извлек записную книжку и с озабоченным видом начал ее листать.

— Твои земные дела начинают приходить в относительный порядок. У меня здесь ряд вопросов, которые мы с тобой еще должны решить, так как ты не имел возможности довести их до конца. Хочешь послушать?

Юсо молчал.

— Для начала могу сообщить, что у тебя со вчерашнего вечера, с половины восьмого, когда окончилось богослужение, нет больше собственности. Ты беден как церковная крыса.

У Юсо будто остановилось сердце.

— Что?!

— Только спокойно, Юсик. Дело в том, что всю твою собственность, деньги и акции, как и все остальное, решено передать в пользу государства и частично церкви. И в этом нет ничего необычного. Ты являешься одним из первых граждан, которые передают в дар свою собственность на благо общего дела. На этом прецеденте постараются построить общую норму поведения, которая будет на пользу обеим сторонам. Система жалованья будет упразднена, и деньги, которые раньше шли на жалованье, потекут прямо в государственную казну.

— Эдак здесь, на земле, вы построите ад!

— Ад или рай, мне все равно, я только чиновник. Подумай сам: ну что может сделать частное лицо на свои деньги и собственность, если налоги скоро станут пожирать семьдесят—восемьдесят процентов дохода? Так уж лучше согласиться на пятидесятипроцентный налог, да и остальное пожертвовать государству. Бессмысленно ведь лезть на рожон.

— Значит, я национализирован,— вздохнул Юсо.

— А хотя бы и так. Теперь этот термин в ходу. Хотя я бы назвал тебя пионером. В странах, находящихся на нашей стадии капиталистического развития, нельзя допустить, чтобы человек, у которого нет ни прошлого, ни будущего, завладел значительной частью средств наших граждан.

— Значит, туда ушло и материнское молоко, и деньги от других моих операций? На какие же средства мне теперь жить?

Сыщик дружески похлопал его по плечу.

— Не беспокойся, Юсик. Страна всегда печется о своих сынах.

Поезд мчался вперед, на юг. Юсо со всех сторон окружала ночная тьма. Люди отвернулись от него. Тайми ушла навсегда, Туулия далеко. Как он одинок. Как медленно идет время. Он попытался незаметно сунуть руку под подушку.

— Минутку! Еще немного о твоих делах! — раздался из темноты жесткий голос сыщика.

Юсо попытался приказать своей руке, но рука будто онемела.

— Тебе полезно знать, что место захоронения для тебя уже приготовлено. Гроб выбран. Дубовый. Время — общепринятое. Священника на похоронах официально не потребуется, так как ты отрекся от

церкви. И все же разъездной епископ обещал произнести несколько слов на твоей могиле. Твой некролог уже набран и оплачен. Он появится в городской газете по месту рождения и во всех правительственных газетах. Эли и Туулия любезно согласились устроить по тебе поминки в столовой пластмассового завода. Они же взяли на себя все расходы. Твои спутники, за исключением Тайми, будут определены на государственную службу. Тайми похоронят одновременно с тобой на средства комиссии по туризму. Генеральный директор обещал на основании какого-то джентльменского соглашения между вами позаботиться о твоей Туулии.

— Хорошо. Что еще?

— Все готово. Свидетельство о смерти уже оформлено. Отсутствует только подпись врача. Заметь, что в Финляндии выгодно помирать.

— Да,— сказал Юсо и попытался согнуть руку.

— Ты доволен тем, как все организовано?

— Да,— сказал Юсо и неожиданно согнул руку. Его пальцы скользнули под подушку.

— Прекрасно! Но можешь поверить, Юсик, что это была дьявольская карусель, чуть не до седьмого пота.

— Я верю,— сказал Юсо, шаря под подушкой. Ничего. Там не было ничего.

Сыщик поднялся и потянулся.

— Ну и прекрасно. Пожалуй, об этом все. Прими спокойно, Юсик, то, чему суждено случиться. Смерть ведь явление вполне естественное. Как представитель церкви я, конечно, пожелал бы тебе сделать иной выбор. В качестве же сыщика СУОПО мне все равно, что ты сотворишь со своей душой. У нас в СУОПО вообще не имеют понятия о душе. Как, кстати, и в ЦРУ. У полиции хватает земных забот. Ну ладно, попытайся уснуть. У тебя еще есть время поспать.

Шаги удалились. Сыщик исчез в темноте. Сучковатые дрова потрескивали в камине. Пертти и Заячья Губа спали. Только Юсо бодрствовал. Ему вдруг стало жаль женщину, чей заледенелый труп валялся сейчас в лесу возле железнодорожного полотна.

Светило солнце, и шел снег. Поезд стоял. Юсо Тинус остался один в вагоне. Боковая стена была раздвинута, и он все видел и слышал. Сыщик выкрикивал приказания шоферу, который пытался подать грузовик к товарному вагону. В кузове грузовика был установлен гроб Юсо.

— Дьявольщина, колеса пробуксовывают! — послышался грубый голос шофера.

— Сделайте что-нибудь,— требовал сыщик.

Пристанционный участок был большой. Грузовику предстояло переехать через десяток путей. Шофер пошел, оторвал несколько досок от другого товарного вагона и положил их поперек рельсов.

— Если доска сломается, тогда пиши пропало! — крикнул сыщик.

— А, черт! Надо бы песку достать, посыпать под колеса.

— Достаньте, достаньте песку! У вас ведь почасовая оплата — денежки-то все равно текут.

— Какие, к черту, деньги! Я только вечерним поездом прибыл из Ристиярви, а меня сразу погнали сюда.

— Это уж наши заботы.

Сыщик и шофер заспорили о том, кто будет доставать песок. Шофер заявил, что оплачивать песок не станет, даже если согласится достать его. Сыщик сказал, что у него нет полномочий ни на оплату песка, ни на его доставку.

Юсо видел, что сыщик стоит на путях, глубоко упрятав руки в карманы пиджака. За сыщиком — большой грузовик с высоким, надежным кузовом и бортами, окрашенными в ярко-красный цвет. Од-

на нога шофера была на подножке, другая стояла на заснеженной земле.

Сыщик снял шляпу.

— Ничего, обойдетесь и без песка.

Большие рваные хлопья снега падали на лысину сыщика и тут же таяли. Сыщик водрузил шляпу на голову, а руки сунул в карманы.

— Где в этой дьявольской деревне найти песок?!

Шофер извлек из пачки сигарету и со злостью закурил.

— А это уж ваши заботы,— парировал сыщик.

«Это мгновение я запомню до конца жизни — я, Юсо Тинус, в своем товарном вагоне. На улице сияет солнце и падает пушистый снег. Между сверкающими искрящимися рельсами стоит, засунув руки в карманы, сыщик, а рядом с ним шофер — со злым лицом и с сигаретой в зубах».

Юсо вздремнул, но скоро проснулся. Обозрел заснеженный пристанционный участок и понял, что жив. Между рельсами стоял грузовик, в кабине которого, зажав в руке недоеденный кусок колбасы, спал шофер.

Снег посерел. Небо затянуло мрачными тучами. Зазвенел телефон. Впервые за долгое время заработал телевизор. Маленькая комната, в ней две женщины и еще одна — в кровати. Женщина в кровати — его мать, которую он тотчас узнал по жилистым, сжатым в кулаки рукам, она кричала от боли. Две другие женщины, испугавшись крика, отступили. Матери, очевидно, было очень больно. Камера долго показывала крупным планом ее подергивающееся лицо. Рот кричал. Вдруг он понял, что мать рожает. Конечно же. Мать рожала его.

Зазвонил телефон, и стая птиц залетела в сумеречный вагон. Они хлопали над ним крыльями. Белоснежные птицы. Несколько десятков. Он чувствовал, как колышется воздух. Немые птицы. Только свист крыльев.

Снова зазвонил телефон. Юсо с трудом поднес трубку к уху.

— Я слушаю!

Птицы, испугавшись его голоса, мгновенно исчезли.

— Юсо! — кричал голос откуда-то издалека.

Он понял, что это Туулия.

— Моя родная крошка, Туулия! — воскликнул он.

— Юсик, золотко! Я родила! Я стала матерью, Юсо! Я родила час назад, Юсо! — Туулия ликовала очень долго.

— Да.

— Неужели тебе нечего сказать мне, Юсо?

— Да, да.

— Неужели тебя совсем не интересует наш ребенок?

Его ухо слышало речь Туулии. Голос Туулии был рядом с ним. Он должен быть ласковым с Туулией.

— Да, интересует, конечно.

— Послушай, я родила! Родился только один, хотя ожидали двойню. Юсо! Это мальчик! Ты не поверишь, как мы с Эли счастливы. Юсо! Скажи что-нибудь. Скажи хотя бы, что тебе приятно это слышать.

— Приятно слышать.

— Ой, Юсо! Я звоню тебе из комнаты медицинских сестер, потому что все остальные телефоны заняты. Я хотела сразу же рассказать тебе, Юсик. Я сбежала из отделения сюда, и меня сейчас разыскивают. Послушай! Я почти люблю тебя, Юсо!

— Приятно слышать.

— Слушай, у меня прошло все очень хорошо, за исключением одной странности. Не знаю, как и объяснить. Боюсь, ты можешь неправильно понять или вообще не поймешь.

Юсо закрыл глаза и ждал. Где-то рядом послышался детский плач.

— Понимаешь, Юсо, вообще-то он здоров, но в нем пластмасса!

— Где пластмасса?

— Да в нем, в нашем ребенке, в нашем с Эли. Это правда, Юсо. У него пластмассовые ногти, уши и все пальцы на ногах тоже из пластмассы. Пластик, говорят шведские врачи. А по-фински это пластмасса. Когда они показали мне ребенка, он выглядел немного странно. Но, может, пластмасса и не помешает, поскольку в остальном он вполне здоров. Он получил максимальное количество баллов. Если пластмасса хорошая, то эти места только дольше не сносятся, Юсо. Ох, Юсик, если бы ты был сейчас здесь! Ты бы сразу сказал, хорошая это пластмасса или какая-нибудь второсортная дрянь. А эти самые принадлежности у него нормальные.

— Что? Не понимаю.

— Ну эти самые. Было бы ужасно, если бы и они были из пластмассы. Это было бы слишком жестоко. Юсик, золотко! Если бы ты мог увидеть сейчас нашего ребеночка. Он плакал недавно так очаровательно, когда мне показывали его. Ой, Юсик, дорогой! Если бы ты сейчас был здесь и сидел бы хоть вон на той гладильной доске! Мы могли бы поговорить. И Эли сейчас нет — он отправился за цветами. Его теперь возят в кровати, потому что сам он не в состоянии передвигаться. Он все толстеет. И не знаю даже, как мы попадем на твои похороны. Послушай, Юсик! Ты все еще там?

— Да!

— Ой, Юсик! А как ты провел это время? Ведь тебе, бедняжке, осталось совсем немного жить. Эли только вчера вспоминал: «Твоего Юсика скоро унесут». Скажи мне что-нибудь, Юсо. Юсо!

Снег вихрем заносил весь мир. Юсо видел в телевизоре искаженное лицо матери. Сыщик влетел в вагон. Он вытащил пистолет из кармана и навел на голову Юсо.

— Юсо! Ты еще слушаешь меня?

Сыщик хихикнул, наклонился и сунул оружие под подушку, потом опять спрыгнул в снег и пошел будить шофера грузовика.

— Поговори со мной, Юсо! Поговори в последний раз!

— Я уже сказал все, что мог,— выдавил из себя Юсо, и уже в следующую секунду ему стало жалко Туулию. Ему захотелось коснуться ее веснушчатого локтя.

— Я бы хотела еще раз увидеть тебя, Юсик! — рыдая, произнесла Туулия.

— Но ты не сможешь!

— Я так хотела бы, Юсик!

— Не получится.

— Юсо! Мне сейчас кажется, что ты прожил жизнь в полном одиночестве.

Туулия ждала ответа.

— Юсо! Я никогда не понимала тебя! Юсик! Ты так и останешься для меня загадкой! Юсик, золотко! Так ли это? Скажи! Так ли это?

Юсо ничего не ответил. Он был не в состоянии держать трубку. Она выскользнула у него из рук и упала на пол. Он слышал далекий голос Туулии, который звал его. «Юсо, Юсо, Юсо!» — кричала Туулия; голос уходил все дальше и дальше и, наконец, исчез.

Сыщик пробрался через густые снежные заносы. Он стоял перед камином и грел окоченевшие руки. Увидев, что Юсо не спит, сыщик промаршировал к кровати и вытащил карманный калькулятор.

— Юсо Габриель Тинус. Двенадцать часов, одиннадцать минут и пятнадцать секунд, ровно!

Юсо рассмеялся.

— Что же тут смешного? Когда остается так мало времени, стоило бы встретить приближающийся уход с более серьезной физиономией.

— Да и из оставшегося-то времени добрая половина лишняя. Этот мир уже изучен вдоль и поперек. Я не первый умираю без веры, без бога, без ничего.

— Да, это так. Как видно, наш Юсик умеет важничать,— промяукал сыщик, вынул пистолет из-под изголовья и бесцеремонно сунул дуло в рот Юсо. Послышался металлический щелчок. Это сыщик снял предохранитель. Юсо смотрел в упор в его холодные глаза. Сыщик стоял не двигаясь. Грузовик затормозил у вагона. Издалека донесся звон металла. «Значит, это произойдет здесь, и именно сейчас»,— едва успел подумать Юсо, но сыщик уже отвел пистолет и сунул под подушку.

— Что за глупый трюк?— не удержался Юсо.

— Это в своем роде генеральная репетиция,— спокойно ответил сыщик.

— Какой пьесы?

— Тебе лучше знать.

В этот момент Пертти Ламминен и Заячья Губа ввалились в вагон, засыпанные снегом.

— Привет покойничку и остальным!— Пертти, раздувая щеки, надул огромный воздушный шар, на котором в обрамлении крестов стояла дата смерти Юсо. Заячья Губа крутила в руках с десяток вертушек. Ленты серпантина засвистели и рассыпались у изголовья кровати.

— Черт возьми, Юсо! Твое преставление уже совсем близко,— пробормотал Пертти и глотнул прямо из горлышка.— Мы с Зайцем скоро двинем в Лампи. Знаешь, меня там назначили церковным сторожем и судебным исполнителем. Застрахуем души поголовно всем болванам в Лампи. Я обещал Лауре быть крестным, когда она родит. Надо же заметать следы.

— Эй, мужики, взгляните, что этот ненормальный купил мне! Может ли супруга церковного сторожа ходить в этаком?

Заячья Губа, желая похвастаться своим новым жакетом, споткнулась спьяну и упала. Сыщик подхватил ее, как полено, и отнес на кровать.

— Умирающему можно было бы оказать и большее уважение,— проворчал при этом сыщик.

Пертти качнулся в сторону Юсо и, зажмурясь, отхлебнул еще.

— Дерьмо все это. Живых и то не уважают. Знай грабят. Налоги растут и губят все вокруг. Народ живет и умирает, так и не дождавшись осуществления своих надежд.

Сыщик подошел к Пертти и схватил его за локоть.

— Юсо Тинус все же твой работодатель или, по крайней мере, был им.

— Если бы я припомнил все делишки, которые мы с ним обделывали, то мои приятели поставили бы мне не одну бутылку.

— Довольно! — Сыщик рванул Пертти в сторону.

— Юсо, а ты подумал, что вот-вот наступит первое апреля? А что, если все это первоапрельская шутка? Что, если тебя обвели вокруг пальца?

— Идиот! — рявкнул сыщик. Послышался глухой удар. Пертти замолк. Сыщик оттащил обмякшего Пертти в кровать к Заячьей Губе и вытер руки платком.— Жаль, что у нас в СУОПО не платят надбавок за грязную работу. Правда, в церкви, к счастью, такие надбавки есть, только иначе называются. У них казна не скудеет. Но я не жалуюсь.

Сыщик вышел, скоро вернулся с охапкой дров и набил камин до отказа. Камин запылал, как прежде. Сыщик проверил, на месте ли оружие, и оправил одеяло.

— Ничего, все будет хорошо.

На улице шел снег. Большими хлопьями. Обильно. Мир весь был серовато-белый. На экране телевизора мелькали кадры. Там продолжались роды. Там торопились. Мать рожала его. Женщины сновали взад и вперед. Пар и потные лица.

В руке у сыщика пачка почерневших от непогоды конвертов. Сыщик присел на край кровати.

— Поскольку у нас еще есть время, почитаем эти только что полученные телеграммы. Ожидаются даже венки, но я прикажу их положить прямо в кузов грузовика. Так я прочту?

Юсо слабо кивнул. На экране телевизора грели воду в большом котле.

— Вот первая, она короткая.

ПРОЩАЙ ТЫ, ГРЕШНИК, КОТОРЫЙ СТАЛ МНЕ ТАК ДОРОГ. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МАО! — ТУУС, РАЗЪЕЗДНОЙ ЕПИСКОП.

Юсо почувствовал влагу на щеках. Это не был растаявший снег.

БУДЕМ С ГОРДОСТЬЮ ЧТИТЬ ВАШУ ДОРОГУЮ ПАМЯТЬ ПРИ ВОСПИТАНИИ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ. ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ВЫМПЕЛ. ОНИ У НАС НА ИСХОДЕ. МУНИЦИПАЛИТЕТ САЛОМЕТСЯ.

Слезы обильно катились по щекам Юсо. Сыщик распечатал и расправил третью телеграмму.

— Здесь очень коротко, Юсо. У тебя весьма бережливый друг. Написано так: БОЛЬШОЕ СПАСИБО ИЗ КУОПИО и подпись: ВДОВЕЦ ТАЙМИ.

Юсо сомкнул глаза и попытался ни о чем не думать. Когда он вновь их открыл, сыщика уже не было. Он повернулся на бок и выглянул наружу. Сыщик сидел в кабине рядом с шофером — тот проверял фары. Сыщик забежал вперед и удовлетворенно закивал головой. Шофер стал проверять габаритные огни и сигналы поворота. Сыщик забежал сзади.

— Работает. Не работает. Работает. Не работает. Работает.

Шофер что-то прокричал, но что — Юсо не понял. Сыщик снял с головы шляпу и вытер лысину.

На экране телевизора на плиту поставили уже второй котел, воду в него носил какой-то ухмыляющийся мужчина. Это, очевидно, был его отец. В комнате стемнело. Зажгли керосиновую лампу и свечи. Дверь открылась, и в кухню вошла горбунья с трубкой во рту, взяла полотенце и вытерла пот. Роды, видимо, затягивались.

На улице было темно, но снег излучал свет.

— Два часа, одиннадцать минут, на старт, внимание, марш! — возвестил сыщик, стоя у пылающего камина.

— Как же все это произойдет? — спросил Юсо.

Никто не ответил. Яркие лучи от фар грузовика распластались на истоптанном снегу. За грузовиком тянулась вереница машин. Теле- и радиоавтомобили, полицейские машины, «скорая помощь», какой-то автомобиль с бойни, от которого поднимался пар и исходил запах свежей колбасы. Люди ходили по снегу взад и вперед. Похожие на призраки. Руководящие и простые. Позади всей этой толпы, опершись на палки, стоял одинокий лыжник, он внимательно глядел и ничего не понимал в происходящем.

— Это случится в одно мгновение?

На экране телевизора его мать рожала! Уже показалась голова ребенка — его собственная голова. Керосиновая лампа коптила. Мерцали свечи. Женщины растерянно метались. Мужчина, который был

его отцом, сидел в дверном проеме, уставясь в пол. Дребезжа на раскаленной плите, кипели котлы с водой.

— Ровно один час! — крикнул сыщик.

— Привет аду! — в свою очередь крикнул Пертти.

— Приветик, Юсик! — проворковала Заячья Губа.

Юсо Тинус уже не различал предметов. Он попытался сунуть руку под подушку. Не было подушки, не было ничего. Брошен на милость посторонних. В глазах мелкая мозаика разрозненных событий. Усиливающийся шум. Как будто поезд опять пришел в движение. Он всем телом ощущал скорость и пронизывающий ветер. Камин пылал посреди снегопада. Казалось, поезд мчится на север. Он поднимался, взбирался на гребень колышущейся волны. Скользил, падал, снова поднимался.

Среди возрастающей густой метели кто-то в восторге крепко сжал его руку.

— Господин Тинус! — раздался откуда-то издалека радостный мужской голос. Его тело попало в чьи-то объятия.— Господин Тинус! Вы меня слышите? Я буду вскрывать вас.

Чьи-то кулаки молотили его в грудь.

— Господин Тинус! Я выбран из десяти претендентов, мы тянули жребий, и я выиграл! Это самый счастливый момент в моей жизни. Я буду вскрывать ваш труп собственными руками!

Возле него было много народу. Шум голосов усиливался.

— Программа ночного радио, господин Тинус. Расскажите нашим слушателям, как вы себя чувствуете сейчас.

Кто-то дернул его за ногу.

— Налоговая инспекция! Поданное вами заявление о возмещении денег за пройденный километраж неточно. Не можете ли вы припомнить...

Где-то совсем близко запел хор.

— ...Там, за звездами, нас ждет иной приют...

— Господин Тинус! Вы, конечно, продадите нашей радиогазете исключительное право на трансляцию вашей смерти!

Поезд скользнул в темноту и остановился. Камин. Снег. Множество лиц. Голоса. Возрастающий шум.

— Шесть минут!

— Четыре и двадцать одна!

— У меня очень острый нож!

— Наши читатели хотят знать!

— Вы уплатили не все налоги!

— Ваш любимый псалом?

— Ваше психическое заболевание?

— Три и сорок две!

— Ваше мнение об атеизме?

— Наибольший интерес представляют ваши почки!

Женская грудь! Скоро он уже сможет ее коснуться.

— Три и девять!

— Две!

Он вцепился обеими руками в пылающие неоновым светом пухлые груди. Рванулся вперед всем своим каменеющим телом. Он оказался в тоннеле, окруженный сценками из своей жизни. Глубокая, звенящая пропасть. Вдали белел снег и свет.

Он ощутил в руках ключи. Перед ним была дверь. Он должен найти нужный ключ. Ему нужно пробиться в новую жизнь.

— Шесть секунд! — послышался издалека голос сыщика.

Юсо Тинус сунул ключ в замочную скважину. Шум возрастал. Мир покачивался. Ночь отступала. Ключ подходит. Он повернул ключ в замке. Тяжелые хлопья снега ударили ему в лицо. Ветер. Темнота. Он крепко держал ключ в руке. Он должен попасть внутрь.

— Четыре, три, две...

Юсо Тинус с силой рванул дверь...

Он закрывает дверь и идет, вздрагивая всем телом, из затемненной прихожей к двери кухни. На кухонном табурете неподвижно сидит женщина, бесцельно глядя на пустой стол. «Решает головоломку»,— думает он. Кладет портфель под вешалку на пол. Новая полочка для щеток под зеркалом — платяные щетки, щетки для волос в футлярах. Он снимает пальто и телогрейку и подходит к вешалке. Из кухни раздаются быстрые шаги.

— Юсик! Ты пришел и молчишь?! — Женщина кидается к нему. Юсо чувствует, как ее руки скользят по его плечам, будто опознавая. Женщина отстраняется, вздрогнув.— Ой, Юсо, золотко, как ты похудел! Ты же сущая жердь. Я никогда не видела тебя таким тощим.

— Сто тридцать два,— отвечает он.

— Какой ужас! Тебе непременно нужно пойти к терапевту. Так и помереть недолго.

— Не возражаю. Смерть — процесс естественный. И на случай смерти можно застраховаться,— говорит Юсо и сбрасывает башмаки.

— Опять ты за свои штучки!

Юсо, мягко ступая, направляется в гостиную и останавливается на пороге.

— Ага! Здесь новые обои.

Туулия подходит и, обхватив его за талию, встает рядом.

— Приятно, что сразу заметил. Ты не будешь сердиться, Юсик? Мы, или, вернее, я, подумали, что здесь нужно что-то подновить. Нельзя же постоянно только чего-то ждать.

— Кто же их наклеил? Ты сама?

— Что ты, что ты, Юсо! Из мастерской приходили рабочие, да еще им помогал тут один — Эли, из правления нашего дома. Мастер на все руки оказался этот Эли.

Юсо усаживается на диван и расстегивает ремень. Туулия, стоя в метре от него, внимательно его оглядывает. Юсо слышит ее учащенное дыхание.

— Хватило ли тебе дезодоранта?

— Хватило.

— А удалось продать всю пластмассу?

— Я много продал. Даже в Швеции.

— Ну и хорошо. Поначалу тебе без конца звонили из главной конторы.

— Что им было нужно?

— Не знаю. Спрашивали тебя. Но ты все же изменился, Юсо. Будто совсем другой человек. Ты ли это, Юсо? Запах, по крайней мере, тот же.

Юсо пристально рассматривает Туулию — ее голову, грудь, губы, которые все время движутся.

— Да и ты не та, какую я оставил здесь.

— Может быть,— вздыхает Туулия.— Я где-то читала, что такой отпуск на пользу, если люди долго живут вместе, им полезно побыть друг без друга.

— Вполне возможно. Что здесь слышно нового?

Туулия поглаживает свои обнаженные локти и смотрит куда-то мимо него.

— Да как сказать. Я, по правде говоря, и не знаю. Никто из наших знакомых не умер, и никто не заходил. По крайней мере из тех, кто тебя интересует. Однако нужно напоить тебя кофе. Наконец-то ты снова со мной!

Туулия открывает воду на кухне и позвякивает кофейными чашками.

— Юсо, ты так и не заезжал к Лахтинену?

— К какому Лахтинену?— переспрашивает Юсо и разглядывает стоящую на комоде фотографию мужчины, которой он раньше не

видел. Между его фотографиями в студенческой и военной форме втиснута фотография неизвестного мужчины.

— Ну как же! К Лахтинену из Пялкяне. Тому, у которого мы были летом шестьдесят восьмого. Я еще упала там в крапиву.

— Да, да. Ну и что?

— Да ничего, я просто звонила туда. Мне ответила его вдова и была немножко обижена. Тот Лахтинен, оказывается, умер уже десять лет назад. Может, ты говорил о другом Лахтинене?

— Может.

Туулия протирает стол, ставит кофейные чашки. Юсо следит за быстрыми движениями ее рук. Вот Туулия снова пошла на кухню — он внимательно смотрит, как она движется. Слегка наклонившись вперед, короткими неторопливыми шагами, руки свисают вдоль туловища. Туулия приносит кофейник, останавливается, задумывается, наполняет чашки до краев, кладет на стол подставку и ставит на нее кофейник. Затем усаживается рядом с ним, смахивает волос с воротника его рубахи и как бы забывается, устремив взгляд вверх и пожевывая корочку сдобы.

Юсо кладет три куска сахара в чашку и начинает шумно размешивать. Впервые он почувствовал, что ему тепло.

— А если бы я сейчас умер, осталась бы после меня душа?

Туулия кладет руку ему на плечо.

— Завтра, прямо с утра, запишу тебя к врачу. Уж теперь-то я точно вижу, что тебе нездоровится. Болит что-нибудь?

— Может быть у меня душа?

— Да, да. Наверное, может. Насколько мне известно, у всех есть душа. Да вот и госпожа Яррила утверждает, что даже у ее собаки есть душа, хоть она совершенно обыкновенная дворняжка.

— Я бы с радостью промчался, подобно безумной ракете, через всю вселенную. Ни тебе сборщиков налогов, ни болванов-политиканов. Вот был бы праздник! Я бы разыскал там некую Тайми, которую ты, к счастью, не знаешь. Там можно повстречать и других знакомых.

— Юсо! Кофе остынет! Да, кстати, куда мы поедем на лето?

— Ну хотя бы в Лусию.

— В какую такую Лусию? Что там интересного?

— Да так, пришло в голову. Там может быть приятно. Поиграли бы в прятки на мысу.

Рука Туулии надолго задерживается у него на лбу.

— Температуры у тебя вроде нету. А будто бредишь.

Юсо молча потягивает кофе. Туулия подливает ему еще. На улице вдруг проглянуло солнце.

— Снег тает,— заметил Юсо.

Туулия поднимается и идет к балконной двери.

— Да, весна — это все-таки прекрасно. Пивные бутылки так и простояли на балконе всю зиму.

— Хороший кофе.

— Ты не поверишь, как мне было одиноко здесь,— говорит Туулия, не оборачиваясь.

— Верю, такова человеческая доля — здесь и там.

Юсо берет булочку и выковыривает изюм, как когда-то в детстве. И тут же отмечает про себя, что еще сто килограммов назад его похожие на морковки пальцы ни за что не вытащили бы изюм. Как знать, может, скоро он и на скрипке сможет играть.

Туулия уносит поднос с кофейной посудой на кухню. Солнышко испещрило пятнами пол в гостиной. В комнате тепло. Во рту еще остался вкус кофе.

— Я, пожалуй, пойду в воскресенье в церковь,— произносит Юсо.

Слышно, как в кухне падает на пол чашка и разбивается.

— А может, и не пойду.

— Пойдем-ка пообедаем в ресторане,— говорит Туулия из кухни.

— Да, пожалуй,— отвечает Юсо, распластавшись на диване и положив руки под голову.

— Настоящий кровяной бифштекс! — говорит Туулия, мóя посуду.

— И ледяной водки для начала! — откликается Юсо, устраиваясь на диване поудобнее.

— Ой, Юсик! Только теперь начинаю верить, что ты опять дома. И что это именно ты, а не кто другой!

Был конец зимы. Снег в Хельсинки лежал рыхлый, потерявший цвет и свежесть. Дело явно шло к весне. Но за городом зима представала во всей своей красе: чистый-чистый снег — даже на обочинах шоссе,— глубокий и пушистый, задумчивые деревья, несущие на ветвях почти аптечную, стерильную вату.

Я наблюдал кусочек зимней Финляндии, едучи на усадьбу Яна Сибелиуса, где он погребен и где устроен мемориальный музей.

Когда думаешь о Финляндии, об ее историческом облике — воистину красивом и немеркнущем вопреки бегу времени,— то невольно вспоминаешь «Калевалу» и Яна Сибелиуса. Оба этих феномена принесли Финляндии всемирную славу.

Сказочная страна Калева, подвиги ее героев стали в один ряд с защитниками Илиона, неистребимыми викингами Исландии, Олеговыми бойцами из Путивля. Руны, некогда записанные Лённротом, известны теперь во всех уголках мира.

Такую же славу принес Финляндии и Сибелиус своей прекрасной музыкой. Я с превеликим волнением возложил пламенеющие гвоздики на белоснежный могильный холм композитора.

С той поры я с особым интересом берусь за любую книгу, повествующую о Финляндии.

Я открыл для себя страну самобытную, чем-то не похожую на другие и чем-то сходную с другими. И она запала мне в сердце. Вот почему я с нетерпением перевернул первую страницу книги Симо Оянена в русском переводе.

Скажу прямо: автор известен мне меньше, чем, скажем, маститый Антти Туури, нынешний председатель Союза финских писателей, или некоторые другие здравствующие ныне финские литераторы. Оянен — редактор по профессии, но последнее время занимается только писательским трудом. Он уже опубликовал пять романов. Наиболее значительный из них — «На небо — с гарантией» — тепло встречен финским читателем.

Однако самое достоверное о литераторе не в его биографических данных, а в книгах его. Они определяют место его в жизни, лучше скажут о его взглядах и литературных помыслах. Поэтому обратимся к книге — «На небо — с гарантией».

Листая роман Оянена страницу за страницей, я спрашивал себя: что это — реалистическое повествование, отражающее жизнь, или далекая от жизни фантасмагория?

Самое начало повествования говорит в пользу первого предположения:

«На дворе идет снег. Вьюга кружит между рядами серо-коричневых коттеджей. Снег скапливается около машин на автостоянках, на пустынных унылых тротуарах, на крышах домов, на ветках деревьев, которые начинают жить своей самостоятельной заснеженной жизнью...

Пушистый снег кружится за окном...»

Туулия Тинус провожает своего мужа-бизнесмена в дорогу.

«Впереди опять дорога. На полях календаря делового человека точно расписано, где и когда надлежит быть...»

«— Юсо, не забудь саквояж с образцами.

— Он уже в машине».

Итак, Юсо Тинус пускается в деловую поездку, увозя с собой восемьдесят шесть видов пластмассовой продукции, выпускаемой фирмой, которую он возглавляет.

...Вдруг в привычную, в общем-то суматошную жизнь врывается голос телевизионного диктора, как бы вещающего свыше:

«Государственный Центр регистрации актов гражданского состояния Финляндии сообщает вам, Юсо Габриель Тинус, что день вашей смерти окончательно назначен на первое апреля сего года. Центр советует вам своевременно позаботиться о приведении в порядок ваших дел. Церковь сообщает о своей заинтересованности в очищении вашей души»

С этой минуты Тинус зажил новой жизнью: над ним повис дамоклов меч мрачного предсказания центра регистрации актов гражданского состояния. И эта жизнь словно тоннель: «Он идет в тоннеле. Он и не пытается выбраться из него. Он знает, что тоннель — ловушка. Это судьба».

Вот тут и начинается «развлекательная сатира в эпизодах и сценах», обещанная нам автором. Но сатира на что? На реальную жизнь капиталистического общества, которая и есть «тоннель-ловушка». Это особенно подчеркивали те финские критики, которые откликнулись на новое произведение Симо Оянена.

Герой повествования попадает в мир жестокий, мир бездушный. Люди в этом мире словно бы сотворены из пластмассы, образцы которой развозит в своем автомобиле бизнесмен Юсо Тинус.

Читая «эпизоды и сцены», заключенные между первой и последней главами, ты не замечаешь, что произошло нечто особенное: все разворачивается просто, убедительно. И, кажется, ничего фантасмагоричного. Перед читателем проходит обыденная жизнь того общества, порождением которого является и сам Тинус, и другие персонажи, с которыми он имеет дело.

Переменился ли Тинус? Стал ли он иным? Этого мы не знаем. Просто он полнее раскрылся перед нами благодаря обстоятельствам, в которые попадает. Он, Тинус, не может изменить что-либо в этих обстоятельствах или обойти их. Не может потому, что попал в «тоннель-ловушку».

Пожалуй, кульминация повествования достигается в том месте, где Тинус общается со своей женой по телефону. Помнит ли он ее? Вроде бы да. Туулия... Туулия... Да, конечно, жена. Однако Тинус настолько отчужден, что для него она — человек почти посторонний Юсо Тинусу все безразлично — она может поступать как угодно.

А время идет. Хронометр отстукивает секунды, близится сакраментальный момент, о котором говорил телевизионный диктор. Вскоре Тинус покинет этот мир. И он настает, этот час!

Да, Тинус оставляет этот мир... чтобы через мгновение предстать перед нами в этом же мире. Нет двух миров, есть один тоннель-ловушка.

Тинус снова дома.

Туулия спрашивает его:

«— Хватило ли тебе дезодоранта?

— Хватило.

— Удалось ли продать всю пластмассу?

— Я много продал. Даже в Швеции...»

Завершилась фантасмагория, начинается обыденная жизнь:

«Юсо молча потягивает кофе. Туулия подливает ему еще. На улице вдруг проглянуло солнце.

— Снег тает,— заметил Юсо.

Туулия поднимается и идет к балконной двери...

— Ты не поверишь, как мне было одиноко здесь,— говорит Туулия, не оборачиваясь.

— Верю, такова человеческая доля — здесь и там».

Что же дальше? —спросим мы.

Дальше? Все то же: поездка окончена, герой выехал из своего мира и вернулся в тот же мир. Замысел автора становится предельно ясным. Ясно и другое: произведение это необычное. Несомненно талантливое.

Еще одна финская книга. Из страны Калева, из мира Сибелиуса я перенесся в день сегодняшний, в мир, где коряво переплелись судьбы человека, автомобиля, телевизора, пластмасс и прочего, характерного для потребительского общества. В этом обществе человеку душно. Его душа, смешиваясь с терпкими парами дезодоранта, понемногу обугливается. Эфемерность человеческого существования становится очевидной. Эту очевидность гарантирует своим произведением Симо Оянен.

Г. ГУЛИА

■

ГЕНРИК ВОРЦЕЛЬ

Рассказы

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

На пути из Хайнцендорфа в Здажицы

16 июня 1945 года в полдень мы остановились на горном перевале. Вот он, неведомый край! Все стояли и смотрели, один только молодой гураль Сойка, бросившись на траву в тени придорожной яблони, лежал, потягиваясь и урча, точно пес, которому безразличны окружающие пейзажи.

Перед нами была деревня Хайнцендорф, куда мы направлялись с утра, сперва на поезде, потом пешком. Впоследствии деревня эта получит название Верхние Здажицы, но пока мы называем ее Хайнцендорф. Весьма возможно, что мы здесь поселимся, останемся навсегда, и все-таки это не укладывается в голове, кажется невероятным. Может, из нас из всех только гураль по фамилии Ветер, коренастый мужик с короткой красной шеей, знал, чего хочет. Он ткнул пальцем в сторону поля зрелой пшеницы, тянущегося вдоль дороги, и сказал:

— Хороша пшеничка. В этой деревне должна быть мельница. Если еще не заняли, я возьму.

Мой приятель Квинтовский усмехнулся многозначительно, как бы свысока, вернее, усмехнулись его черные усики. Он теперь всегда будет так улыбаться — и несколько месяцев спустя, став финансовым инспектором в гмине, и через несколько лет, когда сделается начальником сельскохозяйственного отдела в поветовом совете. И будет с наслаждением складывать длинные столбцы цифр, и это его пристрастие будет приводить в ярость его жену, которой здесь, разумеется, нет: сговорившись ехать со мной на запад, он оставил ее у родителей в Новом Тарге. Я тоже собирался ехать один, но в последнюю минуту, когда поезд уже тронулся, втащил жену в вагон, и вот она со мной, как была — в кухонном фартучке, с засученными по локоть рукавами.

Сегодня в полдень мы с ней увидели несколько больших хозяйственных построек, стоящих особняком за деревней, они сразу бросились нам в глаза, но можно ли было предположить, что именно там нам суждено провести годы? Похожие строения, только по эту сторону деревни, займет некий Захорчук, демобилизованный солдат, с которым мне еще сегодня предстояло познакомиться.

Гуральке Питоньке на вид я бы дал лет тридцать пять; это была веселая бабешка из разряда тех, которые хорошо знают, что всем нравятся и всем нужны. Как всякое в меру ограниченное существо, она чувствовала себя счастливой — я видел, как она радовалась куску хлеба с колбасой, который получила вчера в Клодско, в пристанище, где ночевали и кормились валом валившие в эти края переселенцы. Однако притязания Ветра Питоньке не понравились.

— Ишь ты, сразу ему мельницу! Я о таком и не мечтаю, дали б какую халупу. Да там небось еще эта проклятая немчура сидит.

Квинтовский опять усмехнулся — совсем как однажды в Мейсене, когда я сообщил ему, что лагерфюрер занимается своеобразной статистикой: отмечает — с учетом национальных различий — кто в какое время возвращается по вечерам в барак. Квинтовский тогда отпустил какую-то шуточку в адрес этого лагерфюрера, а теперь

© Zakład Narodowy im Ossolińskich-Wydawnictwo, Wrocław, 1979.

повернувшись спиной к Хайнцендорфу, смотрел в противоположную сторону, на деревню, называвшуюся пока Кунцендорф, а в будущем — Нижние Здажицы.

— Красиво здесь.

Юный Сойка, курносый паренек, лежал на животе, навострив уши, прислушивался к разговору и время от времени вздыхал:

— Выпить охота.

— Красивые места,— повторил Квинтовский, и тогда мы с женой повернулись лицом к югу: там вдалеке стеной стояли поросшие темно-синим лесом горы, а в зеленых долинах виднелись целые деревни и стоявшие особняком дома — четко очерченные квадратики. Где-то справа, за горами, лежал город, откуда мы вышли сегодня утром; до недавнего времени он назывался Гляц, а теперь, как раньше — Клодско.

Был полдень, в Хайнцендорфе зазвонил церковный колокол, потом мы услышали два или три винтовочных выстрела, и Питонька кокетливо, с некоторым запозданием вздрогнула:

— Ух ты!

Были среди нас два человека, которые пока помалкивали: Поганек с женой. Он — вечно сутулящийся, тощий, чернявый, вообще какой-то темный, то ли от природы, то ли просто давно немытый, она — толстая, ничем не примечательная, баба как баба. Поганек сказал, что он фотограф и одновременно часовщик, но никому из нас не пришло в голову спросить, почему ему вздумалось заняться сельским хозяйством. Поняли мы это значительно позже, когда он, обчистив две усадьбы, исчез из Здажиц, чтобы, потеревшись на базарных площадях и в темных городских закоулках, вынырнуть на свет божий в качестве фотографа, промышляющего на ярмарках и церковных праздниках. Но прежде Поганек успел в Верхних Здажицах напакостить тамошнему солтысу[1] Саранецкому, да и мне доставил чертовски много неприятностей. Пристал он к нам на станции в Новом Тарге, где угостил всех самогоном, пожертвовав одной из многочисленных бутылок, которые вез с собой. И в клодском перевалочном пункте угощал тех, кого считал нужным; у него была манера подходить к незнакомому человеку и заговаривать с ним, как с закадычным приятелем. Я только два года спустя понял, какой это опасный тип: ему ничего не стоило подъехать, например, к начальнику управления безопасности, чтобы кого-нибудь оговорить. С женой своей Поганек беседовал, понизив голос, мы никогда не знали, о чем у них идет речь. Теперь же он смотрел на Хайнцендорф и вдруг громко сказал:

— Ну и дыра!

Видно, ему не понравилось расположение деревни, в особенности ее северный узкий конец, зажатый между горами, теряющийся в лесу. А может, он только машинально повторил слова одного человека, который накануне вечером рассказывал нам в клодском пристанище, что побывал в Хайнцендорфе, где еще много свободных хозяйств, но остаться там не захотел, потому что это сущая дыра, медвежий угол. Люди рвутся в города и деревни, лежащие близ железной дороги и главных трактов. Час назад мы были в Кунцендорфе и удостоверились, что там уже все разобрано. Даже если самого поселенца в деревне нет, на дверях висит табличка, извещающая о том, что дом занят; тамошний солтыс только беспомощно разводил руками и говорил: «Идите в Хайнцендорф, к Саранецкому, он вам что-нибудь выделит».

Стало быть, в Хайнцендорфе уже обосновался некий Саранецкий, который ждет поселенцев, а если поглядеть на виднеющиеся вдалеке долины и застроенные склоны гор, можно не сомневаться, что и туда поодиночке и группками тянутся люди и, быть может, тоже отдыхают сейчас на обочине дороги, как Сойка, который лежит на траве и приговаривает:

— Выпить охота.

Кто-то из наших заметил, что со стороны Хайнцендорфа идут два человека; мы перестали глазеть на горы и уставились на эту пару.

— Небось немцы,— сказала Питонька.

Мне тоже показалось, что это немцы. Мужик в сапогах и рыжеволосая девушка. Я взглянул на Квинтовского — улыбки под усами как не бывало; меня удивило, что это с ним случилось, а в голове возник вопрос: умен этот парень или глуп? И что означает усмешка, постоянно появляющаяся на его лице,— говорит ли она об уме или, наоборот, скрывает врожденную глупость. Лишь значительно позже до меня

[1] Деревенский староста. *(Здесь и далее прим. перев.)*

дошло, что улыбка Квинтовского, какая бы она ни была — умная или глупая,— мгновенно исчезала, едва на горизонте появлялся немец.

Мы в своей жизни повидали достаточно немцев, но сейчас все с интересом уставились на приближавшегося к нам старика в сапогах. Именно на него, а не на рыжеволосую девушку, похожую на еврейку; впрочем, может быть, один я не обратил на нее внимания, засмотревшись на этого крестьянина, шагающего размеренно, спокойно, словно времена были самые нормальные и дорога из Хайнцендорфа в Кунцендорф абсолютно безопасна. На голове у него была шляпа, в руке корзина, девушка тоже несла маленький узелок. В нескольких шагах от нас старик поднес руку к шляпе и произнес какое-то приветствие. Тогда Сойка встал, непристойно потянулся и, упругим шагом сбежав на дорогу, остановился перед немцем.

— Выпить чего-нибудь есть? — спросил он, указывая на корзину.

Немец, разумеется, не понимал, о чем спрашивает Сойка, смотрел вопросительно в нашу сторону, рыжеволосая девушка переменилась в лице, явно встревожившись, но мы молчали.

— Ну говори, есть чего выпить? — повторил Сойка и, не дожидаясь ответа, потянулся к корзине, ухватился за ручку.

Однако немец корзины не отдавал, смотрел на нас сурово, осуждающе: «Это еще что за разбой!» Мне стало неловко, захотелось прикрикнуть на парня, но я подавил свой порыв, постеснялся Квинтовского и жены и решил не вмешиваться: пусть Сойка делает что хочет. И тут Квинтовский закричал:

— Прекрати, Сойка!

Молодой гураль выпустил корзину и покосился на нас исподлобья, как-то по-собачьи.

— Ты,— крикнула Питонька,— спроси у него, кто там в деревне палил?

Старый немец продолжал вести себя так, будто ничего не произошло: снова поднес руку к шляпе и пошел вперед тем же ровным шагом; когда он нас миновал, Квинтовский обратился ко мне:

— Ну и где же они, скажи ты мне?

В который раз я слышу от него этот вопрос? И хотя смысл вопроса мне понятен, я считаю, что Квинтовский неясно выражает свою мысль. С некоторых пор, с того самого дня, когда мы вместе с нашими, тогда еще не венчанными женами двинулись из Мейсена на восток, он внимательно всматривается в лица всех встречающихся на пути немцев, что-то в них ищет и повторяет одно и то же: «Где они?»

Старик с девушкой пошли вниз, к деревне Кунцендорф, гураль Ветер утер ладонью свою короткую апоплексическую шею и сказал, что пора уже идти, сколько можно, как дуракам, здесь торчать, но не всем хотелось трогаться с места, кое-кто, непонятно почему, медлил. Даже Сойка, минуту назад набросившийся на немца, не спешил в деревню Хайнцендорф, куда мы стремились с утра, от самого Клодско, называемого также Гляц. Возможно, нам приятней было смотреть в противоположную сторону, на растянувшуюся по долине деревню Кунцендорф, возможно, Сойка и Питонька предпочли бы остаться там, среди людей, более близких им по духу, говорящих по-польски. Сейчас-то я уверен, что именно такое они испытывали чувство,— сейчас, когда припоминаю, как Сойка не раз уныло стоял у порога предоставленного ему дома и ковырял в носу, пока в один прекрасный день не исчез из Хайнцендорфа. Видно, предпочел забрать то, что можно было утащить на себе, чем тащить весь этот воз: хозяйство вместе с прежними владельцами, немцами, которые неизвестно еще когда уберутся. А может, его загрызла тоска по обрывистым берегам Белого Дунайца, по родным скалистым горам. Питонька вот выдержала, осталась в каменном домике, куда вскоре перетащила и мужа, но у Питоньки не было другого выхода, на Подгалье у нее не осталось ни кола ни двора. А Ветер — поистине ветер, ему и на Подгалье не сиделось на месте, во время оккупации он торговал мясом от тайных убоев скота, исколесил вдоль и поперек все Татры, даже в Краков его заносило.

Колокола в Хайнцендорфе давно уже отзвонили, старый немец и девушка скрылись в ущелье за поворотом дороги. Над полями расстилалась пустота, пронизанная солнцем, отливающая зеленью, легкий ветерок ласкал колосистые травы, озорничал в хлебах, то покрывая ровное поле рябью, то удирая вверх трепать листву придорожных яблонь.

— Глядите, снова какой-то едет...

Действительно, со стороны Хайнцендорфа катит одноконная бричка, и мы все

спрашиваем себя, кто это: поляк или немец? Здешних немцев мы во множестве видели в Клодско и в поезде, но в деревне, в Кунцендорфе, они почти не показывались, видно, сидели по домам, и там вопрос Квинтовского: «Где они?» — имел иной смысл, нежели тогда, когда он задавал его, всматриваясь во вполне симпатичные лица встречавшихся нам немцев. Нет, Квинтовский не глуп, он просто неправильно формулирует свой вопрос. Я лично уверен, что о н и здесь есть. Может быть, в каждом доме, может быть, каждый встречный — один из н и х, даже эта рыжеволосая девушка, которую я не успел разглядеть, засмотревшись на старика. О н и есть. Так зачем же постоянно задавать себе вопросы и искать и х везде и всюду?

Посмотрим теперь, кто сюда едет. Я вижу, что в бричке двое: один правит, второй сидит сзади. Нет, тот, что сзади, не похож на немца. Чересчур непоседлив, вертится, привстает на сиденье, видно, заинтересовался нашей группой. О, даже подает нам знак рукой, будто приветствует. Нет, это не немец. Буйная рыжеватая шевелюра, лицо молодое, худое, открытое.

— Вы к нам? В Хайнцендорф? — кричит он издалека.

Мы догадываемся, что это солтыс. Bürgermeister, бургомистр. Тот самый Саранецкий, о котором мы уже слыхали в Клодско и в Кунцендорфе. Человек, который в будущем на пару с Поганеком впутает меня в скверную историю и сам из-за этого попадет в беду. Пока он кричал: «Вы к нам?», а какие-нибудь две недели спустя уже говорил прибывающим поселенцам: «Вы ко мне?»

Теперь же, высунувшись из брички, он радостно с нами здоровался.

— Идите в деревню, там мой секретарь Юрашко, обратитесь к нему и ждите меня. Если захотите есть, Юрашко вас покормит у Вольфа или у Дрешера. Я еду в комендатуру: там, в лесу, в верхней деревне,— он показал рукой на север,— вертятся какие-то типы в военной форме, наверно, власовцы: надо с ними наконец разделаться.

— А кто там давеча стрелял? — спросила Питонька.

— Да милиционер наш. Я говорю сопляку: это тебе не игрушка, а он знай палит из окна, никак не нарадуется, что получил пушку. Значит, договорились: идете прямо к Юрашко. В деревне уже кое-кто из наших есть, семь хозяйств занято, но и на вашу долю осталось. Только чтоб документы были в порядке: сами понимаете, всякие сюда лезут, в своих краях им, видите ли, места мало.

Вся наша группа стояла в некотором отдалении от повозки, один Поганек со свойственной ему то ли бесцеремонностью, то ли непосредственностью подошел к бричке, оперся локтем о грядку, ногу поставил на подножку и, понизив голос, стал что-то говорить Саранецкому. И тут мне почудилось, что во время оккупации, в разных местах, куда меня забрасывала жизнь, будь то Польша или Германия, я уже видел нечто подобное, и не однажды. Этот чернявый сутулый Поганек, эта «задушевная» беседа и мое как бы приправленное завистью ощущение, что речь идет о чем-то неслыханно важном, чуть ли не о смерти и жизни, и в то же время с каждой минутой крепнущая уверенность, что нет, совсем о другом, но о чем — я как раз-то и не знаю... И мне захотелось, чтобы Поганек и со мной так поговорил, и мне доверился, но пока этого не случилось. Он предпочел Саранецкого, который не остался в долгу, тоже что-то ему рассказывал, согласно кивал головою.

Наконец разговор подошел к концу, и Поганек крикнул жене:

— Марыся!

Пока женщина с бутылкой и фарфоровой, хорошо мне знакомой кружкой подходила к бричке, я присмотрелся к молодому немцу, который сидел на облучке. Толстый флегматичный парень, по-видимому добряк,— есть такой тип людей, не обязательно среди немцев, мне и французы подобные встречались. Я думал, Квинтовский тоже его разглядывает, однако нет, он смотрел на троицу, угощавшуюся из полной кружки; проказник ветер на этот раз решил подразнить меня: прямо в нос мне пахнуло приятным самогонным духом.

Возница причмокнул и натянул вожжи. Саранецкий поднял руку:

— Пока! Идите к Юрашко, а я часика через два вернусь.

Бричка покатила вниз, к деревне, пока называвшейся Кунцендорф, а в будущем — Нижние Здажицы. Я смотрел этим двоим вслед, но краем глаза видел, как Поганек прячет бутылку в чемодан, и слышал, как он вполголоса говорит что-то жене. Потом, сунув руки в карманы, он встал на дороге и, глядя на удаляющуюся бричку, проговорил, обращаясь скорее к себе, чем к нам:

— Свой мужик.

— Черт,— отозвался Ветер,— забыл у него спросить насчет мельницы.

Ужасно ему хотелось получить эту мельницу, и в конце концов он ее получил по распределению, но потом оказалось, что дело ему не по плечу, и после долгих стараний он не то ее перепродал, не то обменял на усадьбу с полем, где и хозяйствует по сей день.

Питонька опять кого-то увидела и откровенно обрадовалась:

— Ух ты, офицер!

Какой там офицер! Простой солдат. Шел со стороны Кунцендорфа, остановил на минуту Саранецкого, о чем-то с ним поговорил, а потом, ускорив шаг, направился к нам.

— Мое почтение! — еще издали крикнул он.— Солтыс мне сказал, вы в Хайнцендорф. Пошли вместе.

— Вот хорошо-то! — откликнулась Питонька; эта бабенка всякого готова была одарить своим расположением.

Солдат звался Захорчуком, у него было продолговатое, смуглое, как у цыгана, лицо. На днях он закончил службу в батарее, которую фронтовая судьба забросила сюда из Чехословакии и которая теперь стояла где-то в окрестностях. Его жена с ребенком якобы уже едут из Станиславова, а он пока подыскивает что-нибудь подходящее.

— Дали мне под Клодско домишко с садиком, а на кой мне этот садик? Цветочки, что ли, сажать? Мне нужна усадьба, клочок земли, пара лошадей. Я заслужил: от самого Тарнополя с фронтом прошел.

Он искоса на нас поглядывал, не сомневаясь, что мы его понимаем, и даже не ждал, чтобы кто-нибудь кивнул одобрительно. Сойка смотрел на него с восхищением, разинув рот, да и Поганек, я заметил, не прочь был навязаться к нему в приятели.

Совсем другим человеком показал себя Захорчук впоследствии, когда поселился в Хайнцендорфе! А еще позже, лет десять спустя, он снова поразительно изменился, но это произошло уже не здесь, а в той деревне, которую отсюда едва видно,— где-то она далеко-далеко, чуть ли не у чехословацкой границы... Как деревня называлась по-немецки, я не знал, а польское ее название — Едлинец — услышал впервые лишь через десять лет и именно потому, что туда перебрался Захорчук с женой и дочкой.

Извилисты, перепутаны были наши пути на этих землях. Не знаю, есть ли другой такой край, где дороги так же исхожены беспокойными людьми, неустанно чего-то ищущими, кочующими с места на место до тех пор, пока наконец к чему-то не привяжутся, где-то не пустят корней. Словно их влекли за собой могучие, прихотливо меняющие направление потоки.

Хозяин Кметик и я

Когда Кметик надул нас в третий раз, я сказал себе: хватит, в четвертый раз ты меня не проведешь.

Началось с того, что в один прекрасный день он пришел к нам и спросил, не поможем ли ему с женой вязать рожь.

— Не подумайте, что задарма, я вам пшеницы дам или муки. Знаю, у вас каждая копейка на счету; зачем покупать, когда можно у меня заработать. Все работают — жить как-то надо, нет, что ли?

Говорил он дело, да и сам — низкорослый, от горшка два вершка, с огромным носом и кривыми узловатыми пальцами — показался нам симпатичным.

В общем, мы пошли и проработали у него в самую жару три дня, поскольку оказалось, что вязать надо не только рожь, но и пшеницу, а потом еще грузить снопы на телегу. Кметики, люди деловые, чтобы не терять времени, обеда не готовили, приносили нам в поле молоко и хлеб. Мне было приятно, что Кметик доволен нашей работой, да и вообще этому мужичонке, видно, нравилось, как идет жатва,— он радостно покрикивал, весело орал на лошадей и на сына и даже если ругался, то как-то незлобиво, скорее для порядка, по старому доброму обычаю.

Только жена Кметика, лица которой я не помню, потому что оно всегда было закрыто платком, не разделяла его радости. По натуре молчаливая, она тем не менее

постоянно ворчала на мужа, вечно чем-то была недовольна, злилась; один раз я услышал, как она бормотала себе под нос:

— Эвон, опять задымил! Не может мужик без этой пакости — так денежки и вылетают с дымом.

Когда работа была сделана, Кметик предложил вместо пшеницы дать нам сорок килограммов муки. Но... не дал ничего. Да, да, ничего. Прошло лето, за летом — осень, а он оттоваривался, будто еще не привез муки с мельницы, потом стал обходить нас за три версты и, даже встречая на улице, делал вид, что не замечает.

На следующее лето он не осмелился позвать нас на жатву, но осенью опять меня облапошил.

Зная, что я пописываю для газет, он явился ко мне с бутылкой пива и попросил составить заявление в поветовый совет. Уселся на стул, широко, по-мужицки, расставил ноги и стряхнул пепел от сигареты на гортензию.

— Я б и сам мог написать, да вы поэт, у вас лучше получится. Они, сволочи, знают, что косилка моя. Ее у меня в пятьдесят четвертом забрали на машинно-тракторную станцию, а теперь пускай отдают, декрет такой вышел. Только позабористей напишите, чтоб их там проняло. Сперва напишите: «Прошу покорнейше, чтобы поветовый совет приказал машину мою вернуть, не то я до самого Гомулки дойду, и тогда посмотрим».

Я заметил, что так резко писать не стоит, потому что поветовому совету это может показаться обидным, и закончил заявление несколько по-иному: «Еще раз прошу разобраться в моем вопросе, поскольку мне бы не хотелось обращаться в высшие инстанции, как-то: министерство сельского хозяйства или Центральный Комитет ПОРП».

Заявление Кметику понравилось, он так был доволен, что пригласил меня на кружку пива. А мне это пиво так пришлось по вкусу, что я заказал бутылку водки. Мы выпили, и тут Кметик в порыве дружеских чувств предложил мне вместе заняться заготовкой дров.

— Мил человек, мне уже топить нечем, поехали завтра в лес. Наломаем два воза веток — один вам, другой мне. Я вам с верхом наложу, на всю зиму хватит.

Отлично! Я так обрадовался, что потребовал у буфетчицы еще водки и, кажется, потом обнимал Кметика, а Кметик — меня, точно не помню, поскольку уже совсем стемнело.

На следующее утро поехали в лес: я с женой и сыном и Кметик. Целый день рубили в молодняке тонкие сухие ветки и вытаскивали их на дорогу, к вечеру нагрузили полную телегу и н-но! — домой. Кметик весело покрикивал и щелкал кнутом, а когда подъехали к его дому, сказал:

— Этот воз пойдет нам — у меня в сарае хоть шаром покати, а завтра съездим и наберем телегу для вас. Только не проспите, чтоб мне с лошадьми понапрасну не ждать.

Сказав так, он щелкнул кнутом и свернул в ворота.

А я остался стоять на дороге в некоторой растерянности, помню только, жена меня ругала и клялась, что даст плюнуть себе в лицо, если он завтра поедет в лес.

Нет, не понадобилось мне плевать ей в лицо. Кметик так больше в лес и не поехал, а людям беззастенчиво врал: «Они мне чуток подсобили в лесу, а я им дровишек скинул. Лошади небось не дареные, и овес дорог, поставки опять же надо сдать, налог заплатить — очень нужно на поэтов спину ломать».

Всю зиму он с нами на улице не раскланивался — знал, что ничего хорошего от нас не услышит, весной при встрече еле приподымал шапку, но летом уже стал здороваться, а осенью опять к нам пожаловал. Я не удивился, потому что вся деревня как раз копала картошку и рабочих рук не хватало. Кметик по-хозяйски развалился на стуле, высморкался на пол и для приличия растер сапогом.

— Я знаю, у вас с деньгами не густо, детей обуть-одеть надо, купить то да се... Но картошку зачем покупать, когда можно у меня взять? Все мы люди, все должны жить и друг дружке помогать, нет, что ли? Приходите завтра ко мне картошку за машиной подбирать, а я вам насыплю четыре мешка и привезу домой. А хорошо дело пойдет, и моя чего-нибудь подбросит. Ну как, договорились?

Не знаю, почему на этот раз «моя» категорически ему не отказала. Может, подумала, как и я: третьего раза не миновать, а может быть, вся эта история с Кметиком ее забавляла?

Не исключено также, что ее соблазнила сама работа. Кажется, подбирать за машиной картошку проще простого, но нет — это потрудней, чем вязать снопы. Весь день не разгибаешь спины, спешишь как очумелый собрать картошку на отведенном тебе участке, и чем меньше людей, тем быстрей надо пошевеливаться, потому что не успеешь оглянуться, лошади уже поворачивают обратно и надо начинать следующий ряд. До полудня еще куда ни шло, но после обеда тяжеленько становится, особенно если пузо набьешь или начнется изжога. А к вечеру и того хуже: поясницу так ломит, что лучше совсем не разгибаться, чем каждую минуту распрямлять спину. Не все это выдерживают, иногда женщины — и в особенности молодые — бросают работу и уходят домой: мол, им скотину нужно обрядить или присмотреть за ребятишками.

Однако на следующий день все с охотой, даже с радостью, выходят в поле. Солнце пробивается сквозь утренний туман — может, это уже последний погожий день в нынешнем году? Кто-то развел на опушке леса костер, повеяло запахом дыма и печеной картошки. Где-то за горами затаилась зима, но кому она страшна, когда амбары полны зерна и скоро последние возы с картошкой съедутся в деревню, а потом в похолодевшем воздухе запахнет шинкованной капустой, без которой ничего не сготовишь из жирной свинины?

Иной раз машина заглохнет или лошадям потребуется отдых, тогда садишься на корзину, чувствуя приятную ломоту в костях, и глядишь на ярко горящие на склонах березы, на буки, точно облитые мрачным багрянцем, на долину, где теснятся дома под крышами, краснеющими в косых лучах солнца. Это, быть может, единственные минуты в году, когда люди в деревне от души прощают друг другу обиды, когда всем хочется жить в мире.

И если уж мы, наемная рабочая сила, испытываем такое блаженство, что и говорить о нашем хозяине Кметике. Уж как он за день накричался на радостях, как изощренно и ласково ругал лошадей, машину, своих помощников, скольких женщин развеселил незамысловатыми солеными шуточками.

Зато жену Кметика, угрюмую бабу в платке, неизменно повязанном по самые брови, ничто не тешило, физиономия у нее была, как всегда, злющая; раз я случайно услышал, как она говорила соседке:

— Опять, паразит, задымил! Не пойму, что мужики в этом куреве находят.

Во второй половине дня стало потрудней. Кметик бежалостно погонял лошадей, он хотел непременно сегодня выкопать всю картошку, чтобы не нанимать на завтра людей. Женщины, распрямляясь, кряхтели и считали ряды: еще тридцать, еще двадцать восемь, то и дело поглядывали на колокольню костела, словно в надежде, что там зазвонит колокол, возвещая конец работы и сзывая на вечернюю молитву. Я же ряды не пересчитывал и не ждал ни колокольного звона, ни фабричной сирены — надеялся только на солнышко, которое рано или поздно обязательно закатится.

И оно действительно закатилось, картошку в сумерках уже было не разглядеть. Осталось несколько рядов — пускай Кметики завтра сами кончают, нас позвали к Кудельским на другой конец деревни. И ужина мы дожидаться не стали, известно, у Кметиков ничем хорошим не накормят.

В течение трех последующих дней наши с женой разговоры сводились к одному: привезет Кметик картошку или не привезет? Жена утверждала, что нет, я говорил, что привезет,— в конце концов мы чуть не побились об заклад, хотя никакого смысла спорить не было: что толку перекладывать деньги из одного кармана в другой?

Но на третий день под вечер Кметик привез три мешка картошки и сбросил перед нашим домом. Я был растроган, благодарил его, приглашал зайти, выпить стаканчик смородинового вина, но он торопился домой, щелкнул кнутом и уехал.

Тем временем жена запустила руку в мешок, пощупала, поглядела и крикнула с каким-то непонятным мне ехидным удовлетворением:

— Говорила я!

Что же оказалось? Кметик насобирал в поле корявую, уже позеленелую картошку и привез нам. А ведь у него были четыре свиньи, которым он бы мог скормить эти отбросы. Не помню уж, что моя жена выкрикивала по адресу Кметика, да и лучше, пожалуй, ее слов не повторять. Я лично склонен был проявить больше снисходительности, так как не забыл, что этот наглый тип ошибочно причислил меня к категории литераторов, именуемых поэтами.

В ноябре мне выделили тонну угля. Надо бы радоваться, да я знал, что меньше чем за сто злотых никто не поедет за этим углем в Лёндек Здруй, потому как и далеко, и в гору, нужна крепкая телега и пара лошадей. Добрые люди посоветовали попытать счастья в среду — по средам на станцию сгоняли скот, и можно было, воспользовавшись случаем, уговориться с кем-нибудь подешевле.

Но поскольку в тот день уголь на складе, как нарочно, кончился, я подумал, что прав был человек, сказавший: «Суть жизни в том, что жить невозможно». В следующую среду я снова отправился в Лёндек. Мне повезло: накануне как раз привезли уголь, и я подумал, что тот мудрец, который сказал эту фразу, не был прав. Я заплатил за уголь в правлении гминной кооперации и с квитанцией в кармане отправился на базарную площадь — искать знакомых из нашей деревни. Стал протискиваться между возами и сразу же наткнулся на Павловского, который привез контрактового кабанчика, но оказалось, что Павловский забирает уголь для своего соседа Петровского. Пройдя два шага, я встретил Янковского с контрактовым бараном, но он мне сказал, что берет искусственные удобрения для Шиманского. Потом мелькнула было слабая надежда на Бартосика, который стоял возле своей телеги с контрактовыми фазанами, но когда он мне сообщил, что едет на лесопилку за досками для Якубика, я подумал, что все-таки прав был человек, который сказал: «Суть жизни в том, что жить невозможно».

Тут я увидел Кметика, и настроение у меня окончательно испортилось. Он шел в сопровождении незнакомого мне мужика и что-то крикливо ему втолковывал, энергично размахивая руками,— ни дать ни взять матрос-сигнальщик, передающий приказы со стоящего на рейде корабля. Вот уж с кем мне не хотелось встречаться, но Кметик, заметив меня, будто даже обрадовался, на его долгоносой физиономии появилось подобие улыбки.

— Вы куда? — крикнул он издалека.

— Никуда,— буркнул я.

— Тогда постойте, у нас кое-что есть,— и с этими словами он похлопал себя по туго набитым карманам.

Я догадывался, что у него там, но в душе решил: нет уж, дудки, я тебе не компания.

— У меня времени нет, с углем еще не разобрался.

— Получили уголь? А кто вам повезет?

— Пока что-то никого не вижу...

— Давайте я прихвачу!

Я слишком хорошо его знал, чтобы в очередной раз попасться на удочку: кто-то мне говорил, что за поездку в Лёндек он дерет сто пятьдесят злотых. Но, с другой стороны, отчего бы не поинтересоваться:

— Сколько попросите?

Он посмотрел на меня, не скрывая удивления, и ответил:

— Да вы что, ничего. Много у вас угля-то?

— Целая тонна.

— Аккурат поместится. Мы ж люди, надо как-то жить, нет, что ли? Эй ты, Франек! — крикнул он парню, стоявшему у возов.— Поди-ка сюда!

Я не знал ни Франека, ни того мужика, с которым Кметик разговаривал, они интересовали меня не больше, чем случайные прохожие на улице. Троица эта — и я следом за ними — направилась к незапертому сараю за ларьками, там Кметик выгреб из карманов все что имел, и началась пьянка и обжираловка под лозунгом: «Люблю повеселиться, особенно пожрать». Меня поразил не столько аппетит этих людей, сколько щедрость Кметика. Он послал Франека за второй бутылкой, а сам купил еще килограмм грудинки.

Вскоре к нам присоединился пятый собутыльник по имени Антек, я его когда-то видел у нас в деревне. Вовремя, надо сказать, принесло этого Антека: он помог нам погрузить уголь и почать третью бутылку водки, а потом и домой вместе с нами поехал.

Кметик с места пустил лошадей рысью, тяжело груженная телега затарахтела по булыжной мостовой, а когда выехали на асфальтовое шоссе, вскочил на ноги, выпрямился во весь свой невеликий рост и:

— У-у-у, ха-ха! Но, лошадушки, но-о!

Не знаю, как этот удалец удерживался на ногах: когда б я на него ни посмотрел,

все он подскакивал, изгибался, балансировал — точно птица, которая, раскинув крылья, сидит на качающейся ветке. Про тормоза он и не вспоминал: с горы съезжал со всего разгону, лошади, не в силах сдержать напор тяжелой телеги, пускались вскачь, и тогда Кметик весь напружинивался, готовый соскочить с телеги, прежде чем она развалится на куски и рассыплется вместе с углем по шоссе.

Так, галопом, мы обогнали несколько подвод из Радохова, а этот разгулявшийся мужичонка все сильней нахлестывал лошадей и заливался смехом, то и дело вытаскивая из кармана початую бутылку; запрокинув голову, он отхлебывал из нее и широким жестом протягивал нам:

— Пейте... вашу мать. У-у-у, ха-ха!

Мимо пролетали придорожные деревья, дома. Вдалеке виднелись вершины Судет, покрытые снежной плесенью, леса, чернеющие на склонах, гонимые ветром облака и опустевшие уже поля с купами верб, которые стоят и стоят, и все им нипочем.

В деревне Кметик умерил свой пыл, натянул вожжи, лошади теперь шли ровной рысью. Перед своим домом он внезапно остановился и спрыгнул с телеги:

— Вы посидите, я сейчас,— сказал он нам с Антеком и пошел, переваливаясь как гусь.

Антек заговорщически подмигнул мне, я не понял, что он имеет в виду, но тоже ему подмигнул, чувствуя себя круглым идиотом. Прошла добрая четверть часа, я гадал, зачем Кметику понадобилось заходить домой, когда вдруг из-за ворот донесся его скрипучий, сердитый голос. Антек снова мне подмигнул, и тут я вспомнил, что он приходится Кметикам не то родственником, не то свояком.

— Ну он ее и отчехвостил! — сказал Антек с явным удовольствием.

В самом деле, какая-то там закипела свара; я догадывался, что Кметик честит свою бабу, хотя и не разбирал, что кричит, чего ему от нее надо.

Возле нашей телеги останавливались люди — сперва двое, потом еще двое и еще один; мне казалось, вокруг собралась целая толпа, и все знакомые, все улыбаются; кое-кто мне подмигивал, точно я знал, что происходит во дворе и из-за чего сыр-бор загорелся.

Наконец показался Кметик. Быстрым шагом он вышел из ворот с мешком муки за спиной. Скинул мешок на телегу, посмотрел на стоящих посреди дороги людей и сказал мне:

— Это вам, чтоб не думали... Я не такой, за мной не пропадет. Все мы люди, должны как-то жить, нет, что ли?

Он опять посмотрел на зевак, потом покосился в сторону ворот, за которыми маячило лицо его жены, наполовину скрытое темным платком; голова ее походила на избушку под чересчур большой стрехой. И вдруг Кметик выхватил из кармана пачку сигарет «Спорт».

— Закурим, что ль? — спросил он нарочито громко и стал совать сигареты нам с Антеком: пристал, как с ножом к горлу, тыкал пачку прямо в нос, требуя, чтоб мы непременно взяли по штучке.

И мы закурили, сидели втроем и пускали дым — изо рта и из ноздрей, вперед и вверх, клубами и колечками, кто гуще, кто больше,— а сами то и дело поглядывали на ворота, из которых высовывалась голова, обмотанная платком. К кучке зевак присоединились еще два или три человека, их ухмылочки, хитрые подмигивания несколько меня смущали: ну, что у меня общего с семейством Кметиков, в их дела вмешиваться я не собираюсь, а если и курю сигарету, то лишь потому, что мне так хочется,— зачем же эти подмигиванья, усмешки?

К счастью, это продолжалось недолго: голова в платке высунулась раз-другой и скрылась за воротами; я знал, что эта баба долго не выдержит, что ей придется отступить перед превосходящими силами противника. И только тогда Кметик схватил вожжи.

— Можно ехать!

Слава богу! Хорошо, что уголь этот наконец попадет домой, да и мешку муки жена обрадуется. Но от Кметика все же лучше держаться подальше. Если весной позовет сажать картошку, я не пойду. Теперь я ему, разумеется, верю и не сомневаюсь, что он захочет со мной расплатиться,— ведь люди должны как-то друг с дружкой жить, нет, что ли? Но стоит ли ждать еще два года, терпеливо ждать покуда он выпьет, пока наберется решимости и рискнет взбунтоваться против этой бабы, этой темной силы, закутанной в платок?

Бойтесь коровы

С упорством влюбленного я возвращался на эти горные склоны, бродил по лугам и березовым перелескам, и уж не знаю, когда мне бывало лучше: в знойный полдень или на закате солнца, в пору цветения лугов или поздней осенью, когда жарко горят березы и пурпурным пламенем полыхают буки. Отправляясь туда, я говорил, что иду за грибами: летом — за белыми, осенью — за подберезовиками и рыжиками; впрочем, притащи мне кто-нибудь домой полную корзину этих грибов, я бы огорчился не меньше завзятого рыбака, которому сосед вдруг преподнес бы связку великолепных форелей со словами: «Скажи спасибо, что времени терять не придется».

Лишь в сенокос мне встречались там старые люди, а позже — одни дети. И коровы — вроде бы ничем не примечательные, как вербы, но при этом страшные со своими острыми рогами и непостижимые в своей кротости и глупости. Я видел их на краю лугов, на опушках березовых рощ, они стояли, уставясь на меня выпуклыми глазами, неведомо о чем думая. Я тоже всматривался в их морды, не мог чего-то понять и в конце концов ощущал беспокойство.

В горных местностях достаточно отойти от человеческого жилья на несколько сотен шагов, чтобы вдруг оказаться в диком урочище, за тысячу километров от цивилизации. Березы там не нуждаются в помощи человека, они буйно разрастаются, цепляются за камни, разбегаются по лугам, словно непоседливая детвора, сползают все ниже по склону — и растут, растут с быстротой, незаметной для глаза, но неизменно поражающей всякого, кто видел их год назад.

За коровами приглядывали ребятишки, которые не столько их пасли, сколько занимались своими делами. Это были дети Молодецких и Калуских, переселенцев из-за Буга. Я никогда не знал, сколько их всего: может быть, семеро, а может, гораздо больше. Осенью сосчитать ребят было проще, потому что они собирались возле костра, но летом для этого понадобилось бы прочесать березовую рощу и соседний лес. Любимым местом их забав был густо заросший склон, где порою бродил и я в поисках неизвестно чего, так как грибы там не росли. Шиповник развешивал колючие гирлянды на низкорослых дубках, гроздья черной бузины на фоне пламенеющей рябины казались глазами, с испугом взирающими на пожар, но особенно красиво там было поздней осенью, когда лещина стояла печальная, уронив на землю последние орешки, а березы, прощаясь с летом, стряхивали с веток ярко расцвеченную листву.

В горах так бывает: подымешься на какую-нибудь дюжину шагов — и вдруг перед тобой разворачивается великолепная картина, открывается долина, уходящая в синюю даль, вся в трепетных солнечных бликах. Однажды, заглядевшись на утопающие в этом мареве деревушки, разбросанные по дну долины, я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Кто-то стоял у меня за спиной, но я не испугался, только удивился: почему этот человек молчит?

А был это Юрек Молодецкий, мальчуган лет десяти, с серьезным лицом и озорными глазами. Я запомнил его имя, потому что часто слышал, как ребята на школьном дворе кричали: «Ю-рец! О-гу-рец!» Он стоял неподалеку от меня и перочинным ножом вырезал на ветке орешника не то кружочки, не то какие-то знаки.

— Ты что здесь делаешь?

Мальчик пожал плечами:

— Ничего...

Ничего! Эти сопляки всегда так отвечают на вопросы старших, но если их не спрашивать, могут — когда сами пожелают — рассказать кучу интересного. Что ж, ничего так ничего. Я и без того знаю, что ты пасешь коров. Чаще всего именно тебе приходится это делать, твои братья и сестры либо слишком малы, либо чересчур велики для такой несложной работы. И тебе скучно — дружков твоих сегодня не видно, вот ты и взялся чего-то строгать. А вообще с таким мальцом нечего даже затевать разговор, хотя мне бы хотелось показать кому-нибудь Быстрицу Клодскую, которая виднеется в глубине долины. Нагретый воздух дрожит, как желе, и каменные дома тоже дрожат, словно камушки на дне ручья.

— Глядите, какая смешная корова. Точь-в-точь опрокинутая буква «Е». Нет, скажете?

Корова в самом деле напоминает букву «Е» — заглавную «Е», щиплющую траву. Я прежде и не заметил ее за березками, рассыпавшимися по лугу, точно бессчет-

ная стайка цыплят, убегающих все дальше и дальше, теряющихся в траве. Корова была пестрая, вернее черная, с белой подбрюшиной. Верно, она и впрямь похожа на букву. Да и сам Юрек похож на какую-то букву, и разгуливающая по березовому листку божья коровка тоже, а я, точно неграмотный, гляжу и не умею сложить эти буквы в слова, которые бы мне наверняка многое объяснили.

— Ой, как я с ней намучился!

— С кем?

— Да с Красулей этой. Никак за ней не уследишь, чуть что — сразу в клевер. Другие-то нет, только она.

— Но сейчас она и не смотрит в ту сторону, щиплет спокойно травку.

— Как же! — возмутился Юрек,— она только притворяется. Щиплет, щиплет, а сама все ближе к клеверу. Хитрая! Видали, еще на два шага подошла. Зло берет...

— Тогда почему же ты здесь стоишь, а не возле клевера?

— Догадайтесь... Она притворяется, и я притворяюсь. Вроде бы стругаю и ничего не вижу, а по правде мне все видно, что эта зараза делает. Вон, смотрите, еще два шага прошла..

— Ага, понимаю... Ты хочешь ее выдрессировать, чтоб она наконец запомнила: глядишь ты на нее, не глядишь — а в клевер так и так не пустишь.

— Все равно она думает, что меня обхитрит. Иногда у ней получается. Сам не знаю как. Прямо соревнование — кто кого. Бывает, она меня... Отец говорит. корова умней человека, а меня зло берет. Умнее... Будешь тут умнее, когда делать нечего... Ну вот, опять чуток подвинулась.

Чуток. Вот она в чем проявляется, красулина мудрость. Что-то здесь неладно со временем. Красуля знает какую-то маленькую хитрость, благодаря чему иногда выигрывает в состязании. У этой коровы и у Юрека время обладает разной протяженностью. Лично у меня незаметное перемещение Красули в сторону клеверного поля никакой злости не вызывает, тягаться с ней я не собираюсь, но Юрека хорошо понимаю. Удивляет меня только старый Молодецкий, который сказал, что корова умней человека, а что березки умнее, не видит. Я-то помню, где они были шесть лет назад. А теперь? Уже добрались до середины выгона, уже дальше полезли, а человек отступает перед этим нашествием. Пройдет еще пять лет, березки заполонят все пастбище — вот тогда-то старый Молодецкий схватится за голову и подумает с досадой, что там, где он прежде свободно махал косой, теперь без топора не обойтись.

А что касается Красули, мне было ясно: Юрека ей не провести. По крайней мере сейчас: я видел, что мальчик глаз не спускает с коровы и, переступая нетерпеливо с ноги на ногу, готов в любую минуту сорваться с места и побежать. Не знаю только, когда это произойдет, в какой момент, но это уж его забота, его личное дело. Мне известно, к каким уловкам прибегают коровы, задумав полакомиться клевером, и, полагаю, Красуля не отступит от традиции. Будет подвигаться к полю шаг за шагом, терпеливо и незаметно — так движется солнце или часовая стрелка,— пока в одно прекрасное мгновение, примерно в десяти шагах от желанной цели, у нее не созреет решение: не оглядываясь, низко опустив голову, прямиком — на поле. Я бы очень удивился, поступи она иначе,— как не поверил бы своим глазам, увидев, что железные опилки скачут к магниту зигзагами.

Но все пошло по извечным законам.

— Красуля! — завопил Юрек так, что я вздрогнул. Минуту спустя в березняке уже сверкали его пятки.

Он опоздал на долю секунды — Красуля успела принять решение. Его окрик не остановил ее, магнетическая сила клевера уже действовала. Почему он не крикнул мгновеньем раньше? Не надо было тянуть до последнего, так корову ничему не научишь. Теперь он летит за ней со всех ног, догоняет уже только в клевере и принимается хлестать ореховым прутом по заду. Красуля бежит обратно на пастбище, ускоряет шаг, мальчуган не поспевает за ней, не может дотянуться до ее спины, колотит прутом по воздуху, а меня разбирает смех: уж лучше бы этот Юрец Огурец привязался к корове — вот бы и не отстал; впрочем, нет, тогда ему пришлось бы мчаться с такой скоростью, что лупить ее он вряд ли б смог. Ну конечно же, попробуй размахнись, когда несешься как сумасшедший.

Несколько недель спустя, когда Юрек трагически погиб, я с содроганием вспомнил свои недобрые мысли. Уверен, любой на моем месте испытал бы подобное чувство — что-то вроде угрызений совести: «А вдруг мои дурные мысли...» Нет, нет, это вздор, такие предположения нужно держать при себе. С равным успехом можно бы

было высказать другую глупейшую догадку: что Красуля отомстила Юреку, убила его сознательно. Не меньшую нелепость, однако с полной убежденностью, что так оно и есть, брякнула Юрекина мать перед похоронами:

— Нехороший был мальчик, нет, нехороший. Вырос бы бандит какой или великий грешник — уж лучше, что господь загодя его прибрал.

Так случилось, что в тот роковой день, незадолго до смерти Юрека, я перекинулся несколькими словами со старухой Молодецкой. Говорю «старуха», потому что она так выглядела,— на самом деле ей было лет пятьдесят, не больше. Встретил я ее неподалеку от дома, она копала раннюю картошку. Эта женщина всегда вызывала у меня уважение хотя бы потому, что произвела на свет и растила восьмерых детей. Притом знать не знала, что такое акушерки, больницы,— последнего ребенка, например, она родила в погребе. Просто спустилась в погреб, родила, завернула младенца в кусок холстины и принесла в дом. В костел, как и другие переселенки с востока, зимой и летом ходила в сапогах и толстом шерстяном платке, но, подозреваю, была поумнее иной деревенской модницы.

Я вечно мучился, не зная, как к ней обращаться: «пани Молодецкая» или просто на «вы». Смешно, скажет кто-нибудь, однако прошу учесть, что сейчас женщинам в деревне, особенно на западных землях, говорят «пани», я же опасался, как бы старуха Молодецкая не сочла такое «величанье» за насмешку. Беседа наша была краткой и, вероятно, не особенно содержательной, поскольку едва мне запомнилась. Поговорили насчет картошки, которая в том году обещала хорошо уродиться, и еще про грибы, во множестве высыпавшие в лесу и на лугу после недавнего дождя. Я уже отошел на несколько шагов, когда Молодецкая крикнула мне вслед:

— Может, вы там Юрека моего увидите, скажите, чтоб долго не канителился, засветло пусть пригонит скотину!

Хорошо, скажу: я наверняка его увижу, как раз туда ведет мой путь, там начинается моя грибная тропа. Она могла бы начаться в десятке других мест, в березовой роще или молодом ельнике, где тоже растут грибы, но я привязан к одному месту, потому что, как все старые грибники, суеверен, свято убежден, что за мою верность любимым чащобам лесные духи вознаградят меня крупными боровиками.

Дорога от дома Молодецких до леса на склоне явственно делилась на два отрезка. Первый, ведущий через ровное поле, был короткий и прямой, без единого деревца. Второй — гораздо более длинный и очень крутой — пролегал между двумя невысокими, поросшими лесом откосами и походил на дно высохшего ручья с глубокими рытвинами и торчащими из твердого грунта большими и круглыми, как голые черепа, камнями. Не нравилась мне эта дорога. Я уж не говорю о том, что на ней перевернулся не один воз с сеном или с пшеницей, да и люди, случалось, калечились, прижатые телегой к откосу. Мне она всегда казалась раной на живом теле горного склона. Отвратительная борозда, процарапанная тупым орудием... Только выше, в лесу, она обретала нормальный, приятный для глаза вид, но я свернул с нее на луг, на свою грибную тропу.

Дети Молодецких и Калуских только что пригнали скотину на послеобеденный выпас. Несколько ребят играли на пастбище, втыкали в землю ветки — их делом было охранять созревающий уже овес и посадки картофеля. Другие гоняли среди густых зарослей на склоне. А где Юрец Огурец? Да здесь он, где же ему еще быть? Держится в стороне со своей Красулей, верно, следит, чтоб не потравила ближнее поле овса. Мне пришлось свернуть, чтобы подойти к нему и передать просьбу матери.

Мальчик, по своему обыкновению, что-то строгал перочинным ножиком. Чтобы обе руки были свободными и чтоб не бегать за Красулей по пятам, он привязался к ней цепью. Неплохо придумано! Конечно, можно было, не снимая цепи, отпустить корову и стоять между нею и овсом, но Юрек, видно, предпочел спокойно заниматься своим делом, держа ее на привязи. Я, разумеется, мог издалека окликнуть его и повторить слова матери, но что мне мешало подойти ближе и завести с ним разговор?

— Ну, как ты там, Юрек, что поделываешь?

— Ничего... — буркнул он, не отрывая глаз от своей палочки.

Глупо было рассчитывать на иной ответ. Этим «ничего» выражалось глубокое безразличие к моей персоне; не презрение или неприязнь, а именно безразличие, я бы даже сказал: абсолютное безразличие. Не думаю, что мальчик был всецело поглощен изготовлением свистка или пугача,— у него наверняка были свои заботы, никак не связанные с этим пастбищем, о чем могли бы кое-что рассказать девчонки, сквозь

слезы кричавшие ему в спину: «Юрец Огурец». Так или иначе, мне нелегко было вторгнуться в его мир, проломить стену абсолютного безразличия.

— Юрек, мама просит, чтобы ты пригнал коров пораньше, не сидел бы здесь дотемна.

Он кивнул головой: мол, все понял. Красуля сделала шаг вперед и потянула его за собой. Опустив свою черную морду, она самозабвенно поглощала траву — хрум, хрум, хрум...— мне вспомнился недавно где-то виденный мощный экскаватор, который, по-моему, работал медленнее, ленивей, чем Красуля. В какой-то момент я заметил, что цепь, соединяющая корову с Юреком, натянулась, а мальчик, упершись в землю ногами, еще сильнее ее натянул — мне показалось, он делает это с удовольствием, давая понять корове, что сила на его стороне, что он — хозяин положения.

Не зная, что сказать этому угрюмому мальчугану, я повернулся, чтобы идти своей дорогой, и в эту минуту, отделившись от ближайшей группы детей, к нам побежал младший брат Юрека, шестилетний Стефек. Видно, его заинтересовал наш с Юреком разговор, и он решил послушать, о чем идет речь, но, увидев, что я ухожу, с явным разочарованием остановился на полдороге — бежать дальше не было смысла. Я решил, надо что-нибудь ему сказать: зачем без нужды огорчать человека?

— Знаешь, Стефек, что сказала мама? Чтобы Юрек сегодня пораньше пригнал коров. Не дожидался, пока стемнеет.

Мы с ним одновременно невольно поглядели в направлении дома Молодецких и ясно увидели на краю картофельного поля женщину, которая в ту минуту, прервав свое занятие, распрямилась и — я был в этом уверен — посмотрела в нашу сторону. Мне пришла в голову нелепая мысль помахать ей рукой и кивнуть, пусть знает, что просьбу ее я выполнил и сегодня Юрек пригонит коров домой раньше обычного.

— Что вы там строите? — спросил я у Стефека, указывая подбородком на кучу веток, возле которой возились ребятишки.

Мальчик поднял ко мне лицо — необыкновенно серьезное, как у всех Молодецких,— и ответил:

— Ничего... Так, домики.

Глаза у него были голубые, смотрели с жадным любопытством. Мне было трудно повернуться и уйти — сделай я сейчас так, у меня бы возникло ощущение, что я обидел этого малыша, пренебрег чем-то в данную минуту и в данном месте чрезвычайно для него важным. Я не очень-то люблю смотреть в глаза взрослым людям, не выдерживаю чужого взгляда, зато охотно гляжу в глаза ребенка. В них не прочтешь осуждения — доверчивый детский взгляд светится ожиданием чего-то хорошего.

— Молодцы, правильно! Будет куда прятаться от дождя.

Стефек наконец отвел взгляд, возможно, разочарованный моими словами: ничего интересного он не услышал. Теперь я мог идти своей дорогой в дикие урочища, куда еще не добралась цивилизация. Каждый знает, как приятно бродить по лесу, по лугам: тишина вокруг неземная, усталый глаз отдыхает, любуясь богатой гаммой всех оттенков зеленого, а грибы, грибы — им радуешься, как самому ценному, самому щедрому дару земли. Я всегда с неохотой ухожу из леса — внизу, в деревне, невольно попадаешь под обстрел недобрых взглядов, затаенных мыслей, и сразу становится как-то неспокойно, душно.

Миновав шумную стайку ребят, занятых сооружением домиков из веток, я стал не спеша взбираться в гору. Коровы деловито щипали траву, обходя горькую на вкус молодую березовую поросль. На одну из этих коров я чуть не наткнулся; впрочем, она соизволила уступить мне дорогу. Вздрогнув, отошла на шаг в сторону и, раскорячившись, пригнув морду к земле, ждала, пока я пройду.

— Ну и что? — буркнул я, обращаясь к ней, хотя прекрасно знал, что корова не поймет не только слов, но и доброжелательного тона. Меня иногда разбирает охота заговорить с такой вот животиной, установить с ней какую-то связь, и тогда я прибегаю к помощи слов, ошибочно полагая, что слова достигнут ее сознания.

— Ну и что? — повторил я прямо в выпученные коровьи глазища. Мне было любопытно, когда она наконец сдвинется с места и начнет щипать траву. Однако корова не шевелилась. По-прежнему низко опустив голову, раскорячась, она ждала, чтобы я ушел. Но я не собирался ей уступать, меня забавляла эта тупая морда с огромными, точно лисья нора, ноздрями, губы, похожие на резиновые подошвы, и эти глазищи, которые что-то ведь видели, что-то понимали. И тут мне стало не по себе — не такой уж бессмысленный был у коровы взгляд, что-то она им хотела сказать. Нет, напомнить!

Однажды я рассматривал модель атома, шарообразное ядро с электронными орбитами, и неожиданно почувствовал страх. То был страх наивного человека, которому показалось, что он поймал создателя за руку в момент творения, хотя на самом деле он лишь открыл для себя новую букву длинного алфавита — только букву, ничего больше.

Вдруг снизу донесся крик, вернее, несколько следовавших один за другим коротких гневных окриков, после чего наступила глухая тишина. Там что-то случилось — дети возле своих домиков примолкли. Я увидел их сверху: они стояли неподвижно, глядя все в одну сторону. Почти в ту же минуту где-то дальше и ниже, за ольшаником, между стволами берез мелькнула фигура Юрека, скрылась на мгновение и появилась вновь. Мальчик словно летел над кустарником, неся огромными прыжками. Что произошло, я понял чуть позже. Безумная скачка внезапно прекратилась. Юрек, вероятно, упал, зато я увидел черную тушу Красули, бешеным галопом тяжело мчавшейся вниз по дороге,— рядом с придорожными кустами корова казалась чудовищно, невероятно огромной. Иногда, будто в такт ее бегу, как мяч, подпрыгивало прикованное к ней цепью тело Юрека, но мне почудилось — за коровой по склону тянется что-то нескончаемо длинное. Продолжалось это ужасно долго — и в какой-то момент вдруг все словно началось сначала. Корова по-прежнему неслась вниз, волоча мальчика по земле, но мне казалось, она снова бежит по той же самой каменистой дороге между поросшими лесом откосами. Я понимал, что это какое-то наваждение, но не мог сдвинуться с места, в страхе ожидая, что так будет продолжаться до бесконечности. Потом случилось нечто еще более невероятное. Корова с Юреком должна была уже пробежать второй участок дороги, более ровный, без камней и деревьев, сверху видный как на ладони, но я, хотя иного пути у нее быть не могло, почему-то ее там не видел. А увидел лишь невдалеке от дома, когда она резко остановилась перед старухой Молодецкой и потом уже стояла спокойно, как бы с чувством выполненного долга.

Дальше уже ничего сверхъестественного не происходило. Дети сломя голову сбежали с горы, возле коровы и Юрека собрался народ, и я двинулся к деревне напрямик, не разбирая дороги, но и не особенно торопясь. Когда я подошел к картофельному полю, там уже не было ни Юрека, ни Красули. Мальчика перенесли в дом и положили на кровать — толпа людей заполнила горницу и сени, поминутно кто-нибудь подходил к кровати. Кто-то упорно и громко, чтобы все слышали, твердил, что мальчик, наверно, недолго мучился, так как при первом же ударе головой о камень потерял сознание. Кто-то другой допытывался, отчего корова взбесилась, что ее испугало. Старого Молодецкого вообще не было видно, лишь потом я узнал, что он чуть не обезумел от горя, словно Юрек был его единственным ребенком. Мать вела себя иначе — держалась спокойно, молчала. Я не видел ее возле кровати, один только раз заметил среди людей в коридоре — мрачная, как ночь, она показалась мне похожей на ведьму. Честно говоря, все, что происходило в доме — эти люди, эти пересуды, покачивание головами, дети, нахально лезущие к маленькому покойнику,— меня не очень интересовало, и я вышел во двор.

Было, наверно, около трех часов. Горы, в это время дня залитые солнцем, утратили всякую таинственность, как бы обнажили свое существо и от этого будто даже уменьшились. Я глядел на склоны, на свои любимые луга и березовые рощи, видел пасущихся на выгоне коров и подумывал, не вернуться ли мне на грибную тропу. Но в тот день никуда не пошел. Мне казалось, что теперь я буду избегать тех мест, обходить стороной Юрекино пастбище и этих глупых, тупых животных, но случилось обратное — именно туда меня тянет сильней всего. Красули я больше не встречал. Молодецкие не могли на нее смотреть, продали на следующий же день после похорон.

Дети после смерти Юрека никак не могли прийти в себя. Это я знаю по своему десятилетнему сыну, который долго еще ходил молчаливый, задумчивый. Наверно, сын мой вырастет хорошим человеком: я видел, как он горько заплакал однажды, услышав на склоне горы чей-то бессмысленный возглас: «Ю-рец! О-гу-рец!»

Who is who

До Бухчиковиц рукой подать — каких-нибудь двадцать километров от Вроцлава. Всем своим коллегам, которые захотят туда отправиться на встречу с читателями, рекомендую — при отсутствии собственных средств передвижения — воспользоваться

«кукушкой», идущей от Особовиц. Выехать лучше всего в воскресенье в три часа пополудни, чтобы к шести уже быть в Бухчиковицах.

На всякий случай я пришел на станцию за полчаса до отхода поезда. Кругом ни души, окошечко кассы закрыто. Постояв с минуту перед надписью: «Выход на перрон без билета строго воспрещается», я все же рискнул: просунул голову в дверь и окинул взглядом перрончик и тупиковый путь, слева от меня упирающийся в солидный забор,— чтобы поезд с разгона не въехал на соседний участок, разделанный под огород.

Появились попутчицы — три весьма словоохотливые особы, не поймешь, то ли деревенские, то ли городские,— потом кассирша открыла окошечко, и тут вышла серьезная неувязка: у нее не оказалось сдачи с двадцати злотых. Тем временем подали поезд — прямо к дверям станции; я заспешил, чтобы занять место «для курящих», но на ходу сообразил, что, поскольку поезд состоит из одного единственного вагона, в нем, очевидно, можно курить.

Подоспели еще две пассажирки, теперь их стало пять; все друг друга знают, один я как бы сбоку припека; впрочем, вскоре женщины и меня втянули в разговор, принялись расспрашивать, каковы мои литературные заработки, сколько у меня детей и умеет ли моя жена делать пельмени. Мне же был дан совет: если я захочу достать хорошее масло и свежие яйца, надо идти в гастроном, что рядом с универмагом,— они всегда там покупают.

В вагон вошли два железнодорожника, один очень старый, вероятно, уже пенсионер, второй очень молодой, должно быть, практикант, и завели с попутчицами шутливую беседу, обращаясь к ним по имени: «Ой, пани Марыся», «Ну-у, пани Ядзя».

Прошло десять минут сверх указанного в расписании времени, но я сижу спокойно, не сомневаясь, что в пути поезд нагонит упущенное и в Бухчиковицы приедем без опоздания. Наконец тронулись. Проехали метров сто, как вдруг старый железнодорожник срывается с места: «Тьфу, черт, забыл черную тетрадь!» Молодой человек не растерялся, мигом выскочил на площадку вагона, крикнул машинисту: «Сташек, останови на минутку!» и, не дожидаясь, пока поезд затормозит, спрыгнул и побежал на станцию за тетрадью.

Больше никаких происшествий не было, только перед Видавой какой-то вредный мужик, едущий на телеге по шоссе вдоль железной дороги, принялся так нахлестывать лошадь, что некоторое время катил с нами рядом, однако потом мы решительно его опередили, и только на остановке в Видаве он нас догнал.

Атмосфера в вагоне была приятная и непринужденная, две женщины курили, старый железнодорожник рассказывал о русско-японской войне. Потом две мои спутницы сошли на каком-то полустанке, затем две вместе со мной в Бухчиковицах, пятая тоже хотела выйти, но, уступив настойчивым уговорам железнодорожников, согласилась ехать дальше — как известно, правилами ПГЖД [1] запрещается следование дальних поездов без пассажиров.

Женщины проводили меня до деревни; наконец я добрался до сельского клуба, до отказа забитого публикой. Меня встретил молодой человек, завклубом, представил библиотекарше и еще нескольким своим коллегам.

— У вас всегда на авторских вечерах так много народу? — спросил я у него.

Публика, преимущественно женщины в шубах, рассаживалась, спеша занять передние места, какой-то паренек с магнитофоном в руке расталкивал сидящих в первом ряду: «Подвинься, Марыська!» Я видел устремленные на меня взгляды, приветливые улыбки — похоже, кое-кто уже готовился повеселиться. У входа еще теснились опоздавшие, и вдруг в толпе мелькнуло знакомое лицо. Захорчук! Вернее, не Захорчук, а Хрынчук; Захорчук — фамилия, которую я придумал для героя одного из своих рассказов. А тут на тебе: Хрынчук, мой бывший сосед из Скшинки, собственной персоной; в Скшинке я жил, еще когда крестьянствовал, и мы с ним не раз в поле по-свойски обменивались приветствиями: «Здорово, привет, как дела!» Потом оба оттуда уехали, он — в соседний повет, я — во Вроцлав, однако я его не забыл и использовал в качестве колоритного персонажа для рассказа «Нет больше в Здажицах Захорчуков». Но как его занесло сюда, за сто двадцать километров от Скшинки? До чего мир мал — «кукушка» в любой конец доставит. У Хрынчука, верно, здесь родные или друзья, устроившие гостю сердечный прием,— это видно по его пылающей физиономии и глазам, выражающим чрезмерный интерес к моей особе. Надеюсь, он не читал этого рассказа о Захорчуках:

[1] Польские государственные железные дороги.

насколько я помню, он вообще ничего не читает. А если читал? Тогда может завязаться любопытная дискуссия, я не удивлюсь, если, например, услышу вопрос: «А чего это вы себя не описали в книжке, вот бы интересно было!»

Я уже намеревался подойти к юному заведующему клубом и сказать: «Мы, кажется, договаривались, что я получу гонорар за встречу с читателями. Так или нет?» Он, разумеется, это подтвердит. А тогда я заявлю: «Отлично, но участвовать во встрече с героем собственной книги за эти жалкие гроши я не согласен. Надо было предупредить заранее».

Однако времени для объяснений не осталось; завклубом, наведя порядок в зале, уже стоял рядом со мной на сцене.

— Дорогие друзья, сегодня нам выпала честь принимать у себя известного литератора, Генрика Ворцеля. Это очень знаменитый писатель, во Вроцлаве его именем уже названа одна из улиц вблизи железнодорожного вокзала [1]. Пан Ворцель, вероятно, расскажет нам какие-нибудь смешные истории. Просим! — И, поклонившись, отошел в сторону.

Первым моим побуждением было исправить его ошибку, объяснить, что улица во Вроцлаве ко мне никакого отношения не имеет, а названа так в честь моего дальнего родственника, но я прикусил язык — исключительно из-за того, что в зале сидел «Захорчук», вернее, Хрынчук. Я заметил, как он вытаращил глаза,— вот и хорошо, пусть знает про эту улицу, пусть знает, кто такой теперь Ворцель, может, удержится от ненужных вопросов. Впрочем, публика, посещающая авторские вечера, в последнее время здорово распустилась, народ привык задавать вопросы, слушателей просто распирает от любопытства, как моих попутчиц, расспрашивавших меня насчет пельменей. А Захорчуку, или, вернее, Хрынчуку, есть о чем спросить, кроме пельменей, у нас там в Скшинке всякое бывало — не может же человек вести себя безупречно только потому, что когда-то в будущем напишет несколько книжек.

Я с места в карьер заговорил о высоких материях. О роли писателя в народной Польше. О его самоотверженной работе ценою в три тысячи злотых за печатный лист. И так далее, и тому подобное. При этом я наблюдал за тем, как на лицах слушателей сперва появилось разочарование, затем легкая заинтересованность и наконец, когда я раскрыл секрет, сколькими способами писатель может зарабатывать деньги,— явная симпатия. Я становился все более красноречив и окончательно распалился, когда принялся перечислять, какие гонорары получают мои коллеги.

В зале тишина, все заслушались, только, когда я назвал сумму, полученную одним поэтом, в заднем ряду вдруг кто-то громко зааплодировал. Потом я узнал, что это был местный поэт, который послал подборку своих стихов в газету «Жиче литерацке» с просьбой публиковать их постепенно, через небольшие промежутки времени, пообещав подписаться на этот еженедельник, как только ему сообщат, когда будет напечатано первое стихотворение. Но с поэтом мы познакомились позже, а пока, еще во время своего выступления, я успел заметить, что и Хрынчук глядит на меня иначе, более доброжелательно, пожалуй, даже одобрительно. Кто-то не удержался и задал мне каверзный вопрос:

— А машину поэт может себе купить?

— Конечно! При наличии большого трудолюбия и некоторых побочных талантов вполне можно заработать на автомобиль. Только поэты, как правило, побочными талантами не обладают.

Вижу, из этой публики не нужно вытягивать вопросы: вон уже поднимает руку какая-то старушонка:

— Скажите, а как вы там, у себя в городе, поросеночка можете завести?

Вопрос довольно неожиданный, но — таков уж удел писателя! — надо уметь отвечать на любые, самые непредвиденные вопросы.

— Разумеется, могу! Нужно только построить свинарник на Грюнвальдской площади, вернее, не свинарник даже, а бункер, прочный бетонный бункер со сложной системой замков и запоров. У нас условия для разведения скота несколько иные, чем в деревне.

Говоря это, я не спускал глаз с Хрынчука. И вдруг вижу, он тоже изъявляет желание взять слово. Мне, естественно, захотелось прежде узнать, читал ли он мою книжку или по крайней мере рассказ о Захорчуках.

[1] Имеется в виду улица Станислава Ворцеля (1799—1857), публициста, деятеля революционно-демократического движения.

— Скажите, пожалуйста, мне очень интересно, читал кто-нибудь мою книгу под названием «Провинциалы»?

Один только Хрынчук поднял руку, остальные вертели головами — смотрели, найдется ли еще человек, которому что-нибудь известно о «Провинциалах».

— Конечно, я понимаю,— поспешил я прийти своим слушателям на помощь,— деревню интересуют вопросы, так сказать, мирового значения, события, волнующие всю страну,— например, недавний Вселенский собор, тысячелетие Польши,— а в моей книжке описываются всего лишь повседневные дела и заботы, которыми вы и так сыты по горло. Ну, конечно! Слушаю вас,— обратился я теперь уже непосредственно к Хрынчуку.

— Читал я про этих Захорчуков. Вы меня описали, только неправильно. У вас там концы с концами не сходятся.

Я в полной мере оценил тот факт, что он обратился ко мне на «вы», а не на «ты», как привык обращаться в Скшинке, причем не только за работой в поле. Видно, упоминание о моей улице во Вроцлаве произвело на моего бывшего соседа впечатление, и он решил ограничиться чисто литературными темами.

— Хорошо, пан Хрынчук,— ответил я кротчайшим тоном,— но ведь там идет речь о Захорчуке. Исключительно о Захорчуке, и ни о ком другом.

— Да, но у нас в деревне каждая собака знает, что это про меня. Все говорят, Захорчук — это я. И еще говорят, вы на меня напраслину возвели: там написано, будто я по пьяной лавочке на кого-то с киркой полез, а такого не было вовсе.

— Не вы полезли, а Захорчук.

— Э, какой там Захорчук — я это.

— Но вы ж ни на кого с киркой не бросались!

— То-то и оно, что не бросался, а вы написали, бросался. И жену мою оговорили. Написали, что она себе дорогие полушубки покупала и золотые часы, а по дому ничего не делала. Правда это? Нет!

— Да я же писал, что это Катажина Захорчук покупала, жена Захорчука, а вовсе не ваша, Розалия Хрынчук.

— Ну да, но в деревне все сразу признали, что это моя жена. Говорят: чего это он ее опозорил? Написал, золотые часы покупает, а дома палец о палец не ударит, а это неправда, она золотых часов не покупала.

— Да не она покупала, а жена Захорчука!

— Э, какого там Захорчука — моя баба.

— Но она ведь не покупала!

— То-то и оно, что не покупала, а вы написали, покупала. И дочку мою тоже ославили. Будто она целыми днями баклуши бьет — стоит за домом и о чем-то мечтает.

— Да у меня ж там Геня, а не ваша дочка, не Ханя.

— Ну да, только в деревне сразу распознали Ханю. У вас написано: стоит и мечтает, а это неправда.

— Так ведь не она стоит, а Геня Захорчук.

— Э, какая там Геня — про мою дочку это.

Да-а, тут «без пол-литра не разберешься». Я был готов к встрече с читателями (каковых, впрочем, здесь не обнаружилось), а не с прототипами своих героев. Можно было, конечно, усмотреть в этом подвох со стороны организаторов вечера и обвинить их в злонамеренности — тогда б я имел право требовать более высокое вознаграждение; так или иначе, я поставлю этот вопрос перед правлением Союза писателей, пусть официально повысят авторам гонорары за встречи с героями их книжек.

— Пан Хрынчук,— попытался я мирно закончить дискуссию,— я понимаю, что́ вас задело. Конечно, существует некоторое сходство между Захорчуком и вами, но это может заметить лишь тот, кто вас знает, в данном случае жители Скшинки. А за пределами Скшинки ни одна душа этого сходства не уловит, хотя бы потому, что — слава богу! — никто моих «Провинциалов» не читал. Благодарю вас за интересное выступление, оно послужит мне уроком на будущее: впредь на страницах моих книг будут действовать только вымышленные персонажи. Собственно, уже в следующей книжке, которая называется «Самый трудный язык мира», я проявил больше осторожности и предусмотрительности: ее герои — те немцы, которых, уверен, я больше не уви-

жу. Честно говоря, именно эта уверенность, можно даже сказать, гарантия, что я никогда, ни на одном авторском вечере с ними не встречусь, и вдохновляла меня, когда я писал эту книгу.

Вечер в Паливодах

Тот мой авторский вечер пришелся на второе февраля, и только в Паливодах я узнал, что это церковный праздник, день Богоматери Сретенской. Такой уж из меня католик. Кое-кто может сказать: «Подумаешь, большое дело!» Это еще с какой стороны посмотреть — иной раз малое оказывается куда важнее большого. Пример? Пожалуйста: луна огромна по сравнению с микроскопическим живым существом туфелькой, но ведь инфузория туфелька важнее, чем эта мертвая громадина.

Когда мне сообщили по телефону, что я приглашен на встречу с читателями в Паливоды, я не сразу вспомнил, что в этой деревне уже побывал месяца три назад. Следует сразу объяснить, зачем я туда ездил,— этого требуют железные правила построения сюжета. Как известно, если в начале литературного произведения в стену вбивается гвоздь, в конце кто-то должен непременно на этом гвозде повеситься. У меня, разумеется, никто вешаться не станет, не те времена...

Так зачем же, спросите вы, я в эти Паливоды ездил? А вот зачем. Взбрела мне в голову одна идея, и поехал я посмотреть хозяйство в десять гектаров, предназначенное на продажу. Знал заранее, что не куплю, и все же поехал. Признаться, скорее под давлением жены, нежели по собственному желанию. «Съезди посмотри,— не давала она мне покоя,— вдруг что-нибудь подходящее». Я знал, что усадьбу оценили в семьдесят тысяч злотых, такой суммой мы, разумеется, не располагали, но можно было рассчитывать на обмен или на продажу нашей квартиры в центре Вроцлава. Сколько мы там живем, а к городскому шуму так и не можем привыкнуть, до сих пор он нас изводит. Особенно мучительны были первые недели после того памятного дня, когда грузовик вытряхнул нас вместе с небогатыми нашими пожитками на улице Склодовской-Кюри. Жена часами стояла у окна на четвертом этаже, заплаканная, ошеломленная враждебной стихией большого города, и тщетно высматривала что-то на Грюнвальдской площади. Если б можно было сбежать вниз, накопать картошки, срезать головку капусты... Но ничего этого на площади нет. Ни соседей наших там не увидишь, ни хлева их, ни коровы, каждый день снабжавшей нас молоком... Одни магазины, заваленные товарами, куда и заходить не стоило, так как денег у нас тогда не было.

Что же касается того хозяйства в Паливодах, с ним получилась такая история: у его владельцев, стариков Ивашко, было четверо детей. Было, да только в родительском доме ни один не остался. Все выучились, получили хорошую работу в разных городах Нижней Силезии — и никто не захотел вернуться в деревню. Даже в отпуск, помочь родителям хлеб убрать, не приезжают. Возможно, перегружены служебными и семейными обязанностями. Но родителей уважают, постоянно уговаривают: «Продайте вы наконец свою развалюху, поле и переезжайте к нам».

В общем, старый Ивашко уже целый год искал покупателя и каждый месяц снижал цену. Сложность заключалась в том, что местным крестьянам эта земля даром не нужна была, им своей хватало.

Из обеих поездок в Паливоды лучше всего мне запомнились две вещи: железнодорожный полустанок в Пенячьей Гурке и темные дождевые тучи, ползущие с запада на восток. И тогда, в октябре, и позднее, в феврале, совершенно одинаковые — клубящиеся, лохматые. Теперь я уже не могу представить себе эту местность иначе: она мне видится неким первозданным хаосом, смешением воды, туч и земной тверди. Хочется остаться здесь навсегда. Бродить по пустынным полям, окаймленным чернеющей на горизонте полосой леса, прислушиваться к монотонному шуму дождя и внезапным резким порывам ветра. А потом, в доме стариков Ивашко, глядеть из окна на мокрый сад, на дрожащие от ветра ветки, и думать о том, как бы хорошо было жить под этой крышей, чувствуя себя защищенным не только от злых капель дождя, но и от опасности остаться без хлеба, воды или топлива.

Но стоило мне оглядеться в кухне, в сенях, как я понял, до чего трудно живется старикам Ивашко. Грязь, беспорядок, помои в корыте, картофельные очистки на полу, мешки с отрубями, старое тряпье, старая обувь; где-то за стеной похрюкивают свиньи.

Ивашко называет до смешного низкую цену: уже не семьдесят, а шестьдесят тысяч — стоимость пяти телевизоров. Ни о каком обмене не может быть и речи: что де-

лать старикам в большой квартире на четвертом этаже дома на Грюнвальдской площади? Замужняя дочь зовет их к себе в Легницу, сыновья тоже от родителей не отказываются — пусть только продадут дом и землю.

Мы зашли за овин, и старый Ивашко показал мне длинную полосу поля, спускающуюся вниз к лугу и густому кустарнику,— там наверняка прячется ручеек, сулящий вкусную воду в горячую пору сенокоса, а осенью хорошо сидеть возле догорающего костра, где в золе печется картошка.

— По правде говоря,— сказал Ивашко,— нам не больно и хочется в этот город на старости лет. Здесь лучше. Легче помирать. Но жить-то как?

Вот именно! То же самое и я бы мог сказать: как здесь жить? Не у ручейка же рядом с пасущимися на лугу коровами, и не около костра, где печется картошка! Шутка ли — десять гектаров! Страшно даже глядеть на эти черные пласты вспаханной земли, на стерню — оставшаяся на ней картофельная ботва и сорняки так и будут торчать всю зиму и шуршать под порывами ледяного ветра. Как тут жить? Тут можно только постоять немного, прислушиваясь к шуму дождя, блуждая взором по мглистым окрестностям, по пустынным полям, по далеким лугам с зеркальцами воды, чтобы в конце концов сказать себе: «Нет, это уже не для меня» и вернуться в город.

Во второй раз я приехал в Паливоды в феврале; день был сумрачный, то и дело принимался моросить дождь. По дороге я гадал, какой сюрприз ожидает меня сегодня. В подобных поездках постоянно случаются неожиданности, отчего бы чему-нибудь не произойти и на этот раз? С какой стати именно сегодня все пойдет нормально, как задумано? Ведь я еду не в Соботу Силезскую, к завклубом Лемешу, у которого за редчайшими исключениями всегда все в порядке.

В Пенячьей Гурке с октября мало что изменилось. По небу ползли тучи, поливая землю холодным дождем, а из близлежащих карьеров, откуда прежде добывали глину для кирпичного завода, торчали голые метелки кустарника — время было препротивное, лишенное очарования осени, а весной еще не пахло. От полустанка Пенячья Гурка до Паливод двадцать минут ходу. Встреча с читателями была назначена на пять часов. До деревни я добрался в четверть пятого, но на дверях клуба еще висел замок. Зато был открыт и ярко освещен единственный в Паливодах магазин гминной кооперации, где я застал нескольких мужиков, потягивающих из бутылок пиво. Я далек от мысли, что крестьянам может быть известно что-нибудь о писателе, приезжающем к ним в деревню,— понятно, что их больше интересует агроном, который прочтет лекцию о разведении пожнивных культур, нежели я со своими рассуждениями о литературе,— поэтому при встречах с ними у меня не возникает желания представиться, назвать свою фамилию. Однако здесь, в магазине, пришлось это сделать. Я объяснил мужикам, зачем приехал, и назвался:

— Сенкевич. Генрик Сенкевич.

Все как один уставились на меня, бутылки с пивом повисли в воздухе, продавщица тоже замерла с поднятым вверх совочком. А один из мужиков, усатый, с круглым добродушным лицом, подошел и тоже назвал себя:

— А я Матько из Богданца.

Очень приятно, в самом деле очень приятно. А теперь скажите, почему клуб еще не открыт? Оказывается, заведующая живет в соседней деревне и приезжает на автобусе, который приходит сюда в половине пятого. Ладно, подождем. А что поделывает старик Ивашко? Продал наконец свое хозяйство?

Не успел я задать этот вопрос, дверь магазина отворилась и вошел Ивашко. Мужики мгновенно замолчали: мне показалось, что старик здесь — притча во языцех, хотя враждебности или неприязни по отношению к нему я не почувствовал. Однако в этом молчании была какая-то подоплека.

Ивашко сразу меня узнал, мы поздоровались, и я сказал:

— Вижу, вы все еще здесь.

— Что поделаешь... — развел он руками и весьма неопределенно ткнул пальцем в пространство — то ли на пьющих пиво мужиков, то ли еще на кого-то, о ком в ту минуту подумал. Впрочем, похоже, он все-таки имел в виду своих односельчан, а не каких-то там неведомых недоброжелателей, поскольку присутствующие живо откликнулись на его невинные слова «что поделаешь».

Первым заговорил самый молодой, чаще других прикладывающийся к бутылке:

— Эх, дедусь, отвалили бы по две тыщонки за гектар, мы б вам все поле обработали. Что, не потянете? — Он подошел к старику, приблизил свое темное, щетини-

стое лицо и повторил с вызовом: — Не потянете? Пускай тогда Михалек ваш, докторишка, свою «сирену» загонит — отцу помогать надо.

Другой мужик, назвавшийся Матько из Богданца, даже причмокнул от досады и обратился ко мне:

— Вон оно как получается. Выучил детей на докторов, на инженеров, а сам на бобах остался. Они уже зарабатывать начали, а он им все подкидывал! Лишнюю кружку пива в страду боялся выпить — для них деньги берег. А теперь деткам этим на него начхать. Хоть бы и жатва, а они носу не кажут. Может, я неправду сказал? — повернулся он к старику.— Не говорил ты: все для детей, пусть учатся, пускай в люди выйдут?! Ну и вышли. Город им, понимаешь, нравится. Цацки разные, бабы-свиристелки. Здесь жатва, а они — на курорт, на озеро, к морю. Ты им сам рюкзаки собирал: «Езжайте, деточки, отдохните, замучила вас учеба эта».

Тут Матько вынужден был прервать свою речь, потому что один из мужиков, поглядев в окошко, сказал: «Приехала». Я догадался, о ком он говорит, и направился к выходу, спросив у своих новых знакомцев:

— Увидимся еще, вы, наверно, придете в клуб?

— Мы сперва в костел,— ответил Матько. — Нынче сретенье, не придем на службу — ксендз в воскресенье при всем народе ославит.

— А в котором часу служба?

— В пять.

— Ну ничего, я со своими речами могу и до шести подождать.

На дворе темнота и проливной дождь, пришлось раскрыть зонт, хотя до клуба два шага. Большой зал, посередине столики, вокруг столиков стулья. Пока пусто, если не считать двух мальчуганов и девушки, разводившей огонь в кафельной печи Нет, я неверно сказал «девушка» — этакая барышня совершенно городского вида. Она мне с первого взгляда не понравилась, сам не знаю почему. Неужели потому только, что чересчур любезна? Уж такая сладкая, такая предупредительная... Небось делает вид, притворщица! Образованные барышни, которые ходят передо мной на задних лапках, мне доверия не внушают, я прекрасно понимаю, что уважение у них вызывает исключительно фирма «Ворцель», а назовись я своей настоящей фамилией, не псевдонимом, они в мою сторону даже не посмотрят. Здешней девице до того хотелось мне польстить, что она немедленно принялась восторгаться моими книжками, которые якобы давно все перечитала. И вдруг, обратившись к одному из ребят, сказала резко:

— Стефек, поди выкинь мусор!

Мальчик даже не пошевельнулся.

— Чего? — проворчал он. — А ты здесь зачем? Это твоя работа.

Такой ответ барышню не обескуражил, она только дипломатически сбавила тон:

— А что случится, если ты вынесешь? Сделаешь доброе дело...

Кажется, мальчик все-таки вынес ведро с мусором, точно не знаю, потому что я отвлекся — как раз в эту минуту открылась дверь и в зал вошел Матько из Богданца. И сразу ко мне:

— Вы не подумайте чего. Ивашко — золотой мужик, у нас его все любят. Только как вспомнишь про его деток... Эх, говорить не хочется! Три сына и дочка, а толку ни на грош. Ну, а у нас как-никак совесть есть, не бросать же стариков. Вот и подсобляем — то хлеб убрать, то картошку выкопать. Что поделаешь? Не глядеть же, как все разваливается к чертям? Помогаем, да все одно зло берет!

Только это он и хотел мне сообщить и сразу же ушел — должно быть, спешил в костел.

— Жаль, что так получилось,— сказал я барышне. — Придется ждать, пока кончится служба.

— Ох да,— вздохнула она со сладкой улыбочкой. — Они все здесь страшно набожные!

Я посмотрел на нее с затаенной неприязнью, и, возможно, это чувство побудило меня принять неожиданное решение.

— Пройдусь-ка я немного, загляну в ваш костел.

Дождь унялся, ветер стих, но темнотища — хоть глаз выколи! Хорошо, в отдалении виднелся освещенный костел, и я побрел на огонек сквозь тьму, словно по дну глубокого озера. Пришел, когда служба уже началась, и нет чтобы скромно стать среди мужиков у входа — полез вперед. Туда, где по освященному веками обычаю стоят женщины и дети. Полез, а сам думаю: куда ж это меня понесло? Однако отступать

было поздно, и дабы никто не заподозрил меня в нерешительности или, не дай бог, в трусости, я смело протиснулся дальше и пристроился на одной из передних скамей. Какая идет часть богослужения, я, конечно, не знал — мысли мои были заняты совсем другим. Я даже сердито упрекнул себя за то, что не могу сосредоточиться, верчу головой, поглядываю на женщин, которые тоже поглядывали в мою сторону,— меня так и подмывало им сказать: «Да, да, голубушки, у нас в городе так заведено — мужчины тоже сидят вблизи алтаря». Потом я стал смотреть на ксендза, на прислужников, но мысли по-прежнему разбегались, и почему-то хотелось нехорошо думать о сидящих рядом и позади прихожанках. Не нравился мне их благочестивый вид, и немного погодя я понял, что́ именно меня раздражает. Их набожность. Показная, чисто внешняя. Я даже начал произносить в душе монолог: «Все вы здесь верующие, потому что в деревне это легче легкого. А загнать вас в город, где земля скована бетоном и неба не видно за крышами, тут-то вашей вере и конец. Грош цена такой набожности».

Только перед вынесением святых даров, словно устрашась звона колокольчика, я сумел на мгновение сосредоточиться на том, что происходит у алтаря. А потом опять в голову полезло невесть что: бабы, мужики... Сестры и братья во Христе. Универсальная церковь. Любовь к ближнему. Что-то плоховато у меня с этой любовью, раз хочется видеть вокруг себя других прихожан, таких, что не поют пронзительными голосами, не молятся вслух.

Едва ксендз запел сакраментальное: «Ite missa est» [1], я автоматически перекрестился и, ни на кого не глядя, пошел к выходу. Мне было ясно, что сегодня на мой вечер соберется много народу, но в то же время появилось ощущение, что я сильно в этом храме нагрешил.

Клубная барышня встретила меня испытующим взглядом. Я понял, что она сбита с толку, но не почувствовал ни малейшего желания помочь ей разобраться в тайниках моей души.

— А теперь дайте мне, пожалуйста, кофе. Большую чашку,— сказал я ей.

Пока она хлопотала за буфетной стойкой, в зал начали сходиться по-праздничному одетые люди — одни садились на стулья, другие пристраивались у стены. Я не мог всех сосчитать, но на глаз прикинул, что народу в зале примерно столько же, сколько было в костеле. Барышня принесла мне кофе и чуть за голову не схватилась:

— Господи, да здесь вся деревня! Такого еще не бывало.

— А кто к вам приезжал в последний раз, какой писатель?

— Да у нас и было-то всего двое.

— Ну и как, много приходило народу?

— Да немало, но не столько, сколько сегодня.

Ну еще бы! В ожидании, пока кофе немного остынет, я прохаживался по узкому проходу, отделяющему столики от буфета и сцены. В зал еще продолжали входить люди, одним из последних явился Матько из Богданца. Ивашко тоже мелькнул среди публики. Я заговорил с женщинами, сидящими на лавке у стены и с интересом меня разглядывающими, а сам подумал: «Небось надеетесь услышать религиозную проповедь? Ошибаетесь» Впрочем, о литературе тоже неизвестно, что говорить. Надо как-то связать эту тему с моим деревенским прошлым, когда я целых пять лет обрабатывал поле в десять гектаров, зачастую только вдвоем с женой. Пожалуй, с этих гектаров и начну, пусть знают: в сельском хозяйстве я разбираюсь. Это им понравится. Обязательно надо рассказать, что, когда моя жена была на сносях, я один ездил за сеном, сам накидывал его на телегу, потом залезал наверх, уминал весь этот ворох, соскакивал и снова кидал, кидал... А подъехав с полным возом к овину, опрометью бежал в дом, к жене,— поглядеть, не пора ли уже впрягать в бричку лошадь и ехать в Тшебешовицы за акушеркой.

Заведующая ловко управлялась за буфетной стойкой, мужики заказывали кофе и медленно, неуклюже пробирались с полными стаканами к столикам — я терпеливо ждал, пока все рассядутся. Наконец я сказал барышне:

— Пожалуйста, представьте меня, только коротко: Генрик Ворцель, писатель из Вроцлава, автор нескольких книг. Остальное я сам.

Вот именно, остальное... Поскольку у меня при себе портфель и сидящие в зале, я заметил, на него поглядывают, нужно первым делом их успокоить.

— Не бойтесь, я ничего читать не буду.

---

[1] Идите, месса закончена *(лат.)*.

По залу как будто пролетел вздох облегчения, кое-кто, вижу, завертелся на стуле, усаживается поудобнее. Дорогой читатель, не опасайтесь — я не буду повторять всего сказанного в Паливодах. Скучно. Вечно одно и то же. Заученный текст, который, может быть, интересно послушать один раз, но мне лично он до смерти надоел. Помню, как я мучился, когда мы целой группой ездили в 1953 году на Опольщину. В группе было трое писателей и актриса варшавского театра. Ежедневно два выступления: одно в деревне, второе на фабрике, а у меня тогда тематика была весьма ограниченная и говорить я не умел, поэтому зазубрил какие-то слова и постоянно их повторял. Правда, аудитория каждый день была другая, но — представьте себе и войдите в мое положение! — спутники-то оставались те же самые... Адские мучения. Кое-как я эту пытку выдержал, утешая себя единственно тем, что вскоре получу гонорар, привезу домой деньги и скажу жене: «Видишь? А говоришь, я тебя не люблю»

Мое выступление здесь, в Паливодах, как доказательство супружеской любви недорогого стоило. Говорил я будто по-писаному. В свое время я, бывало, размышлял: что же, собственно, получается? В ту пору, когда вечера эти были для меня так мучительны, я выступал очень редко и заработок мой был ничтожно мал по сравнению с затраченными усилиями. Теперь же, когда публичные выступления для меня никакой сложности не представляют, их стало даже чересчур много и гонорары, соответственно, возросли. Значит, я лишь сейчас получаю вознаграждение за все прежние муки. Есть все-таки справедливость на свете!

Не знаю, от чего это зависит: на некоторых вечерах я не вижу лиц своих слушателей, не хочу на них смотреть, боюсь, что, если сосредоточусь на одном лице, нарушится ход моих мыслей, иссякнет поток красноречия. А иногда бывает наоборот. Обращаешься к одному из сидящих в зале или к нескольким, и легче становится говорить. Случается даже, чувствуешь себя прикованным к какому-нибудь лицу, только на него и смотришь, особенно когда хочешь подчеркнуть что-то важное. Лицо это — обычно женское — мне тогда здорово помогает, и я начинаю думать: «Вот внимательная, интеллигентная слушательница». А потом, уже после выступления непосредственно пообщавшись с этой слушательницей, сплошь да рядом убеждаешься, что внешность обманчива. Должно быть, оратор, поглощенный своими мыслями, занятый подыскиванием точных формулировок,— никудышный психолог. Увидал вытаращенные глазки — и попался.

В Паливодах я ни на какую такую приманку не клюнул. Лица женщин и мужчин, преимущественно немолодых, сливались; молодежь среди них терялась. Закончив выступление, я не стал вытягивать из публики вопросы, понимая, что этим людям сложно их формулировать. Но ведь вопросы висят в воздухе, нетрудно их угадать. И вот забавы ради я нагибаюсь в зал, приставляю ладонь к уху:

— Слушаю!

Ничего не слышу, но одобрительно киваю головой и говорю в ответ на гробовое молчание:

— Тут спрашивают, персонажи в моих книжках выдуманные или настоящие, какие мне на самом деле встречались в жизни?

Таким способом «дискуссию» можно продолжать до бесконечности. Но здесь этого не понадобилось: один из слушателей, собравшись наконец с духом, попросил слова.

Вы, наверно, без труда догадаетесь, кто в Паливодах решился подать голос. Ну, ну, кто же? Совершенно верно. Матько из Богданца... Видно, мои откровенные признания придали ему смелости. Я совершенно искренне говорил, что по сей день не люблю город, что скучаю по деревне, по сельским пейзажам и живой природе. Что во мне есть что-то от бессловесной твари, которая на лоне природы, в непосредственной близости к земле, никогда не знает скуки.

И Матько не выдержал — я еще не закончил, а он уже поднял руку, показывая, что хочет говорить.

— Пожалуйста...

— Насчет города, это все святая правда. Портит наших, деревенских, город. Вертихвостки тамошние, побрякушки, глупости разные за деньги... А молодежь бежит из деревни, им там больше нравится. Ну и что получается? В деревне мужик есть мужик, а в городе становится бабой. Видали мы таких, приезжают сюда на праздники. Сами из себя нежные, ручки белые. Задницами крутят, в зеркальце глядятся, голосочки как у воробушков. Это бы еще ничего, да они что делают? Эдакий, прости

господи, межеумок женится! Срамотища! Баба с бабой, две бабы в дому. Поживут самую малость и разводятся — разве ж две бабы друг с дружкой уживутся?

Матько на секунду умолк, хотя я чувствовал, он еще что-то хочет сказать. Но его опередила какая-то женщина, уже в годах, бросившая вполголоса явно в адрес моего знакомца:

— Эка! У нас зато мужики больно хороши — пока в постель не лягут...

Я сделал вид, что не расслышал, не понял, почему захихикали женщины,— да и что я мог сказать? Матько тоже пропустил обидный намек мимо ушей. Уж не помню, что я говорил дальше, как утихомирил развеселившихся баб.

На том вечер и закончился. Старики стали расходиться, кое-кто медлил, словно надеясь еще что-нибудь услышать, несколько человек подошли ко мне, среди них Матько и Ивашко.

— Вы в какой-то степени правы,— сказал я Матько.— Молодых действительно манит город со всеми его соблазнами. Но потом наступает время, когда, хочешь не хочешь, радости городской жизни побоку — надо браться за работу. Надо, и все тут. А насчет этих обабившихся юнцов, думаю, вы преувеличиваете. По-вашему, получается, настоящий мужчина тот, кто с лошадьми выходит в поле или на механического коня садится. Это не так. Можно жить в городе, работать только головой и тем не менее быть настоящим мужчиной.

Я поглядываю на часы, до станции путь не близкий, пора уже идти. Прощаюсь с восторженной барышней, но тут, оказывается, я еще зачем-то понадобился старику Ивашко. Он провожает меня до двери и говорит:

— Тянет вас в деревню, я-то вижу. Вам бы здесь хорошо было. Берите мое хозяйство. Я за него ничего не хочу, ни гроша. Берите, не пожалеете.

Я уставился на него, не сразу даже поняв, о чем он говорит. Как же так? Задаром? Столько строений, такое большое поле? Хотя... минуточку... Я вдруг со страхом сообразил, что получу только землю и голые стены. Лошадей, скотину, весь живой инвентарь надо будет покупать. Господи, а инструмент, а машины? Этого же Ивашко мне не оставит!

— Нет, нет, пан Ивашко, спасибо вам большое, но это не для меня. Понимаете, я теперь пишу книги, мне очень много нужно написать, а тут крутись без роздыху — то с лошадьми, то в поле... Конечно,— обратился я к Матько,— может, я и оказался бы мужиком что надо, но... Нет, нет, пан Ивашко, правда, не могу.

Мне не хотелось продолжать неприятный для нас обоих разговор, я поспешил распрощаться, открыл дверь и нырнул в этот «лучший из миров» — навстречу дождю, мраку и холодному ветру. И побрел, держась середины дороги, ориентируясь по светящимся окнам домов, пока дома еще были, но они скоро кончились, и я свернул на тропинку, бегущую вдоль железнодорожного полотна.

До Пенячьей Гурки с ее пустым неосвещенным вокзальным помещением было недалеко, но когда скорее плывешь, нежели идешь в густой тьме, разбирает страх, как бы не опоздать на поезд. Успокаиваюсь я лишь на станции, то есть в том месте, где между рельсами и крутым откосом стоит халупа, которую отыскать можно только ощупью и заходить в которую у меня нет ни малейшей охоты. Теперь я готов простоять здесь хоть целый час, поскольку знаю, что не опоздал к поезду. Хотя трудно поверить, что может случиться такое чудо: поезд придет и остановится на этом полустанке, чтобы забрать меня — одного только меня. Ровно в двадцать один ноль три. Кругом ни души, каких-нибудь два-три огонька мерцают далеко в ночи, где-то в стороне Паливод. Я могу долго стоять тут и слушать, как дождь барабанит по зонту, а темнота разбухает, окутывает меня целиком; могу прижаться к земле, как зверек, и ждать, ждать. И скользить мысленным взором по тому полю, по тем лугам, которые мне когда-то показывал Ивашко, вглядываться в затянутую пеленой дождя окрестность, провожать глазами тяжелые тучи, ползущие с запада на восток, и ждать, ждать. Но нельзя ждать вечно, я должен отсюда уйти, вернуться в город. Нет, пан Ивашко, я, правда, не могу, это уже не для меня.

ГЮНТЕР ГРАСС

С немецкого

Поэт Гюнтер Грасс

Гюнтер Грасс с нажимом проводит по моему носу. Чувствую, как нос вспухает и краснеет. Мне щекотно. Когда он заползает в ноздрю, хочется чихнуть. Вот он корябает по правой брови своим чистым, коротко срезанным ногтем. Продавленная им линия на щеке остается навечно.

Уже второй час Гюнтер Грасс рисует с меня портрет. Полуметровый рисунок приколот к доске. Сижу не шелохнувшись. Западноевропейская мысль середины века с напором упирается в мое лицо.

Мы знакомы с ним несколько лет. Странно, что этот добродушно-усердный рисовальщик тот самый Грасс, что бросил вызов филистерской морали, до тошноты вывернул наизнанку нутро современности, он, наверно, крупнейшая фигура европейской прозы, он политик, потрясатель устоев, противник гонки вооружений, но, главное, он художник, черт побери!

Лицо творящего всегда красиво. Чтобы чем-то заняться, мысленно делаю с него набросок. Портрет Грасса надо, конечно, решать в графике. Мысленно заливаю волосы черным. Когда-то иссиня-черная, крепкая, как конская, волосня его короткой стрижки начала седеть, крепкий горбатый нос поддерживают вислые усы, косые, как грачиное крыло. Все лицо и руки надо протонировать смуглой сепией, сморщив ее кистью у прищура глаз и на лбу, оставив белыми лишь белки глаз, и светлые блики на стеклышках очков с тонкой серебряной оправой, и, может быть, холодный блик на тяжелом серебряном перстне безымянного пальца. Обручальное кольцо он носит на мизинце.

Грасс — грач. Он и ходит-то важно, вразвалочку, склонив голову набок, как эта важная птица, когда она, едва поспевая за трактором, кося глазом, цепляет из свежей черноземной борозды блеснувшего жука или дождевого червя.

Он уверен в себе, несуетлив, полон тяжелого мужского обаяния, обстоятелен. Даже галантные забавы он вставляет в расписание наравне с работой и приемом пищи.

Вокруг него лежит инструментарий графика — граверные иглы, медные доски, грифели, скальпель, лупа. Он профессиональный художник и скульптор. Восемь лет назад он подарил мне свою грибную серию, резанную на меди, где идут войны грибов, справляются свадьбы грибов, где скрупулезно прорисованы эти колдовские пузыри земли, грибы-мужчины, грибы-женщины. Теперь он взялся за людские особи.

Он занимает меня разговором, рассказывает о сыновьях своих, как уже перестал их понимать, как они подались в натуральное хозяйство, сами своими руками построив ферму, как стали «зелеными», потеряв интерес к продажным политикам.

Сам Грасс беспощадно ясно видит катастрофичность мира. «Будущего может не быть. Художник раньше работал во имя будущего». Он страстный противник войны.

Это все происходит в мексиканском городке Морелии, где шумит табором фестиваль поэтов, где Гюнтер Грасс — поэт, где грунт — красный, а на зеленых мясистых листьях кактуса местными подростками нацарапаны известные формулы типа наших «Оля + Толя», написанных на заборах. Кактусы стремительно растут, надписи разрастаются до гигантских.

Гляжу за окно, где художником выбрана точка для моего зрачка. Зрачок упирается в беленькие трусики, развешанные на балконе. Это Аллен Гинзберг, непримиримый бунтарь и пророк мирового хаоса, еженощно устраивает постирушку и аккуратно развешивает на веревочке свое щемящее душу бельишко.

Каков он, поэт Грасс? Прозаические книги его фаршированы стихами. Вернее, стихи, как графические заставки, расположены на страницах среди прозы. Стих его сжат, плотен, графичен. В нем нет ничего от лукавого, от фальшивой сентиментальности или мистики. Это очень мужские стихи. Они — зрительны, их видишь.

Грасс — глаз. Его стихи—саркастическая геральдика, графические эмблемы времени. Он рисует не только лебедя времени, но и его крысу.

В нем сильна активная, решительная, антивоенная, антифилистерская плакатность. Сколько пространства между строками, какой пустынный ужас скрыт под иронией, простор опустевшей безлюдной земли.

До сих пор кружат в небе
ангелы и самолеты,
которым некуда приземлиться.

Он блестящий политический полемист. Из-за антифашистской «Детской песенки», дразнящей, как дудочка шута, подмигивает умная издевка. Он переворачивает мифы, библейские символы, притчи, наполняя их злобой дня. Сатурн, чистящий зубы пеплом поэта, пророки, питающиеся акридами, нынешняя цена первородства,— это все театральные маски сегодняшних проблем, их рисует Грасс, художник сцены. Это не классический театр Расина, а злободневные подмостки.

Наш читатель, уже знакомый с прозой Грасса по публикациям «Иностранной литературы», теперь сможет познакомиться с его стихами. По сути дела это первая обширная его поэтическая подборка в нашей печати. Переводчик Б. Хлебников перевел их экономно и точно. Это достоверные репродукции его графики.

За каждой лаконичной детально прорисованной эмблемой стоит свой мир, мир исторических событий и судеб, поэт с ним полемизирует, часто это стихи о «второй природе», о человеческой культуре, которая не менее реальна, чем дерево или птичка.

Попробуем попристальнее разглядеть одно из его стихотворений.

Вернемся в Морелию.

Сидя на сцене за его набыченной квадратной спиной и торчащим из-за щеки усом, я слушал, как Грасс неторопливо и буднично читал свою «Аннабел Ли».

Аннабел Ли? Не ослышались ли мы? Это было нашим паролем.

Вы помните, конечно, читатель, это классическое стихотворение «безумного Эдгара».

Оно было первым из англоязычных стихов, заученных мной наизусть. Думаю, что каждый из прикасавшихся к английскому пробовал его переводить. Но таинство его музыки неуловимо.

Это было у моря. Берег вымело набело.
Эти воды и годы прошли.
Но жила-была девушка, не пойму, кем она была?
Ее звали Аннабел Ли,—

гласит приблизительный перевод. Вроде ничего особенного, но магическая власть есть в этом раскачивающемся ритме английского. Он завораживает. Это самое магнетичное из стихотворений. Оно волновало не одно поколение российских поэтов. Его переводил Бальмонт. «Это было у моря, где волна бирюзова»,— вторил его мелодии влюбчивый Северянин. Может быть это была ностальгическая музыка гибнущих цивилизаций, умирающей культуры гибнущего века?

Даже у Блока в гениальном его «В ресторане» чудится этот отзвук:

Никогда не забуду (он был или не был...

(...Аннабел Ли... Аннабел Ли...)

Золотого, как небо, аи...
...ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: «Лови!.»

«Аннабел Ли, Аннабел Ли»,— как бы прорывается сквозь надрывную ресторанную музыку начала века.

Впрочем, может, это чья-то обмолвка за соседним столиком навязчиво и неосознанно залетела в блоковскую мелодию. Может быть, это один из тех, «с глазами кроликов», пробормотал. Это имя было у всех на устах. Для русской души и уха оно таило в себе неизъяснимую привлекательность.

«Аннабел Ли, Аннабел Ли»,— через тридцать лет бубнили мои товарищи по классу, завороженные непонятностью дальних созвучий, а может быть, неосознанно влюбленные в губы произносящей их нашей англичанки. «Аннабел Ли»,— шептал и Юра Кочеврин, сильный и красивый, чьи ноги под корень были обрезаны войной, и классный вратарь, примерявший под партой новенькие перчатки, как и в вашем, наверное, классе, читатель, вратаришка с остроумной кличкой Дырка, и сын генерала, и сын уборщицы, будущий дипломат и будущий физик, и отсутствующе улыбался второгодник, увлеченный чем-то своим на задней парте. «Аннабел Ли, Аннабел Ли...»

Как умел, тогда я попробовал перевести это на наш язык. Аннабел Ли хотелось сделать нашей. Это было первым моим переводом:

Ты жила среди неба, посреди безалаберной
гонобобельно-синей земли.
Вы встречались в Алабино с подмосковной сомнамбулой?
Но я звал тебя Аннабел Ли.

Ты не ангел была. У тебя были алиби.
Сто свидетелей в этом прошли.
Называли тебя отключенною падалью.
Но я звал тебя Аннабел Ли.

За твои альбиносово-белые бровки,
за небесные взоры твои,
и за то, что от неба была полукровкой,
я назвал тебя Аннабел Ли.

Жизнь достала ножом до сердечного клапана.
Девальвированы соловьи.
Но навеки в Алабино на дубу нацарапана
твоя кличка — Аннабел Ли.

Увы, Эдгар По во всем этом не был виноват, ему не снился наш гонобобель, эти синие водянистые северные ягоды, старшие сестры черники, с туманной поволокой, как на морской плашке Билибина. Но именно в них голубело имя.

Годы, годы прошли.

И надо же, с тем же именем на губах бродил по городу, тогда носившему название Данциг, полуголодный парень, потом ставший крупнейшим писателем, этот немецкий подросток, подумать только, и он тоже из клуба Аннабел Ли!

Я перевел эти его стихи.

Посмотрим, чем стала она, фрау Аннабел Грасс.

Дряблая вишня, падалица, стала под пером нашего поэта метафорой загадочной Аннабел Ли, одной из самых таинственных и влекущих теней прошлой культуры.

Эти стихи могли бы быть написаны сегодняшним Лопахиным. Это его счеты с вишневым садом. Так Достоевский породил капитана Лебядкина, а тот в свою очередь зазвучал в голосе раннего Заболоцкого, который в молодости полемически заявлял, что Лебядкин его любимый поэт.

Аннабел Ли! Гюнтер Грасс как черт ладана боится этого навязчивого имени, отмахивается от него, его тошнит от сентиментальности завравшихся отцов, от этой тухлой, залапанной, проституированной Аннабел Ли — прошлой культуры, прогнившей истории, он ненавидит ее. И не может отречься и вынужден повторять: «Аннабел Ли! Аннабел Ли!» Я хочу спросить его, что значит для него Аннабел Ли — захватанная красота? Мировая культура? Агония кончающегося века? Субстанция с пошлым названием «душа»?

Но гудит автобус. Нас опять куда-то везут.

Грасс ворчит и ставит точку. Убирает меня в планшет, больно спрессовывая между двумя металлическими пластинами.

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Аннабел Ли

Я подбираю палую вишню,
падшую Аннабел Ли.
Как ты лежала в листьях прогнивших,
в мухах-синюхах,
скотиной занюхана,
лишняя Аннабел Ли!
Лирика сдохла в пыли.
Не понимаю, как мы могли
пять поколений искать на коленях,
не понимая, что околели
вишни и Аннабел Ли?!.

Утром найду, вскрыв петуший желудок,
личико Аннабел Ли.
Как ты лежала чутко и жутко
вместе с личинками, насекомыми,
с просом, заглотанным медальоном,
непереваренная мадонна,
падшая Аннабел Ли!
Шутка ли это? В глазах моих жухлых
от анальгина нули.
Мне надоело круглые сутки —
жизни прошли! —
в книгах искать, в каннибальских желудках
личико Аннабел Ли.

Перевод АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО

Исправленный герб Расина

Геральдический лебедь
и геральдическая крыса
образуют — лебедь вверху,
крыса внизу —
герб господина Расина.

Расин часто думает
о символике герба и улыбается,
будто ему есть что сказать,
когда приятели спрашивают о лебеде,
чтобы разузнать о крысе.

Однажды Расин
загляделся на озеро
в предвкушении строф,
расчетливых и хладнокровных,
которые он собирался создать
из водной глади и лунного света.

Лебеди спали
на мелководье,
и Расину стала понятною та часть герба,
что была белой
и служила символом прекрасного.

В это время крыса,
которая была водяной,
по своему обыкновению,
принялась под водою
кусать спящего лебедя.

Лебедь закричал,
вспенил воду,
лунный свет померк, и Расин решил
вернуться домой,
чтобы исправить герб.

Он вытравил геральдическую крысу.
Однако на гербе ее теперь недостает.
Белый, немой, обескрысенный
лебедь проспал свой выход.
Расин бросил театр.

Морское сражение

Американский авианосец
и готический собор
потопили друг друга
посреди Тихого океана.
Молодой викарий
до последней минуты
играл на органе.
До сих пор кружат в небе
ангелы и самолеты,
которым некуда приземлиться.

Пища пророков

Когда саранча захватила наш город,
и молоко перестали носить по домам,
и задохнулись газеты,
то из тюрем выпустили пророков.
3800 пророков пошли по улицам,
безнаказанно вещая правду, питаясь
акридами, благо тех было вдоволь
(а мы-то считали бедствием
этот скачущий, серый налет).

Чего, собственно, от пророков и ждали.
Вскоре вновь понесли молоко,
облегченно вздохнули газеты,
а пророки заполнили тюрьмы.

Пугала

Не знаю, можно ли стать землевладельцем,
достаточно ли четырех столбов,
мотка колючки, саженцев десятка,
что воткнуты в песок, да слова «сад»?

Не знаю, что подумали скворцы,
взлетев, как горстка зернышек, над полднем
и сделав вид, что испугались пугал,
и ружей за гардинами, и кошку,
рассаду превратившую в засаду.

Не знаю, что разведали про нас
пиджачные и брючные карманы,
не знаю, что за мысль нашла приют
под шляпой, чтобы высидеть потомство,
которое ничем не отпугнешь,
хоть пугала надежно стерегут.

Похоже, пугала — живые существа,
способные ночами размножаться
посредством перекрестного обмена
поношенными шляпами; в саду
теперь их стало трое, и они
приветливо мне машут издалёка,
приятельски подмигивают солнцу
и треплются без устали с салатом.

Не знаю, что замыслил мой забор,
вон выставить ли, запереть ли здесь,
не знаю, тля несет какую весть,
чего бурьян и лебеда хотят.
Не знаю, для чего в свои жестянки
бьют рукавов дырявые останки,
к обедне ли, к вечерне ли звонят,
или в моем саду гремит набат
и пугала восстанием грозят.

Детская песенка

Этот смех — вредный смех.
Знать, шутник умнее всех.
Мы избавимся от тех,
кто затеял этот смех.

Этот плач — вредный плач.
Тех, кто плачет, ждет палач.
Если кто-то плачет, значит,
недоволен тот, кто плачет.

Этот спор — вредный спор.
Суд над спорщиками скор.
Но еще вреднее вздор
всех молчавших до сих пор.

От игры только вред.
Кто играл, того уж нет.
Помнить надо с малых лет,
что с огнем играть не след.

Смерть — вреднейшая уловка:
налицо перевербовка.
Нам не может быть не враг
тот, кто умер просто так.

Воскресное утро

Сколько внимания,
заботы, нежности
к царапине на капоте
и потускневшему бамперу.

Тур де Франс

Когда лидирующую группу
обогнала лимонница,
многие гонщики решили,
что продолжать борьбу
бесполезно.

Пунктуальность

Этажом ниже
каждые полчаса
женщина
бьет ребенка.
Поэтому
я продал часы,
целиком полагаясь
на карающую руку
внизу
и счет сигарет
из пачки рядом;
со временем —
полный порядок.

Из цикла «Будни куклы Нана»

Нана делает прически

Кукла дождиком играла,
струйки в косы заплетала,
делала прически
с помощью расчески.

Нана играет в грозу

Сделать молнию — пустяк:
сложим метр складной в зигзаг.
Метр легко сложить углом.
Как, скажите, сделать гром?

На память

Замечательный подарок,
стоит только восемь марок.
Где-то лучше есть, быть может,
но тогда уж подороже.

■ ■ ■

Сатурн

Живя в этом доме
— между подвальными крысами,
которым ведомы стоки,
и чердачными голубями, которым
ничего не ведомо,—
я догадываюсь о многом.

Вернувшись ночью домой,
я открыл ключом
входную дверь
и, пока искал ключ,
понял, что даже к самому себе
не попасть без ключа.

Я был голоден
и съел цыпленка,
разрывая его руками,
а пока ел, понял,
что ем холодное тельце
мертвого цыпленка.

Потом я нагнулся,
снял ботинки
и, пока снимал их,
понял, что надо
наклониться, чтобы
снять обувь.

Я лежал в темноте,
курил сигарету
и был твердо уверен,

что стряхиваю пепел
в подставленную кем-то
ладонь.

Ночью приходит Сатурн
и подставляет ладони.
Моим пеплом
он чистит зубы.
Когда-нибудь мы исчезнем
в глотке Сатурна.

Пятница

Нес домой
свежую селедку,
завернутую в газету.

День выдался
ясный, морозный.
Дворники рассыпáли песок.

Газета размокла
только в подъезде.
Пришлось

соскребать ее с селедок,
прежде чем начать
разделку.

Чешуйки отскакивали
и блестели на солнце,
светившем в кухню.

У семи селедок вынул икру,
у четырех молоку;
газета оказалась вчерашней.

Плохи дела были в мире:
банки не давали кредитов.
А я валял селедки в муке.

Положив их на сковородку,
угрюмый и мрачный, я хотел
сказать над ними пару слов.

Но кому охота
вещать о конце света
селедке?

Перевод Б. ХЛЕБНИКОВА

■

Рассказы французских писателей

По страницам журнала «Эроп»

В этом году ежемесячный парижский журнал «Эроп» отмечает свое шестидесятилетие. Группа французских писателей во главе с Роменом Ролланом и Жан-Ришаром Блоком в 1923 году решила основать журнал «Эроп» («Европа»), который ставил целью предоставить свои страницы писателям всего мира, как Запада, так и Востока, в том числе литераторам молодой Страны Советов, которую тогда окружал пресловутый «санитарный кордон».

Уже шесть десятилетий «Эроп» создает своеобразную летопись литературной и художественной жизни Франции (с сентября 1939-го по сентябрь 1946 года журнал не выходил).

«Эроп» выработал свой принцип подхода к освещению мировой литературы. Как правило, редакция выпускает специальные номера, посвященные великим художникам слова прошлого и настоящего, значительным литературным направлениям и отдельным национальным литературам. Более 650 номеров подготовила редакция «Эроп», и это — богатейшее собрание ценного историко-литературного материала. Трудно назвать имя писателя или деятеля культуры, о которых не писал бы «Эроп». Среди специальных номеров толстые книжки посвящены Монтеню и Шекспиру, Расину и Корнелю, Вольтеру и Дидро, Мольеру и Стендалю, Мопассану и Золя, Ромену Роллану и Анри Барбюсу, Элюару и Арагону. Великое наследие классики в истолковании «Эроп» — это не музейное достояние, а живая реальность современного литературного процесса, которая служит делу мира и взаимного познания народов, являя собой непреходящий урок гуманизма.

«Эроп» внес большой вклад в пропаганду во Франции русской и советской многонациональной литературы. В первую очередь здесь необходимо назвать специальный номер «Пятидесятилетие Октября», который стал событием во французской литературной жизни. Значительные по содержанию номера посвятила редакция «Эроп» Толстому и Достоевскому, Горькому, Есенину и Шолохову, много интересного и неизвестного открыла для французских читателей в вышедшем пять лет назад номере «Литературы Крайнего Севера», который имел большой успех.

Редакция «Эроп» всегда связывает литературу с социальной историей, рассматривая искусство слова в широком контексте современной общественной мысли. Назовем здесь специальные номера: «Женщина и литература», «Телевидение», «1914 год», «Литература для юношества», «Парижская Коммуна», «Документы о Коммуне», «Поэзия и революция», «Поэзия и Сопротивление», «Чили: культура и борьба едины», «Пролетарская литература» и многие другие.

Много делает «Эроп» для ознакомления читателей Франции с литературами стран социалистического содружества. Редакция выпустила в свет содержательные номера, рассказывающие о литературах Венгрии и Болгарии, ГДР и Югославии, Кубы и Вьетнама. Естественно, важное место отводит редакция публикации новых произведений современных писателей Франции — романов, новелл, стихотворений, критических эссе. Сдвоенный январско-февральский юбилейный номер этого года представляет собой превосходную антологию французской поэзии наших дней: со стихами выступают здесь 58 поэтов.

Ровно два года назад «Эроп» отвел три номера современной французской новелле. Во вступительной статье «Защита и прославление новеллы» председатель Редакционного комитета «Эроп» Пьер Гамарра пишет, что «живой традицией нашего журнала остается призыв к будущему», забота о французской литературе завтрашнего дня.

В последние годы французская критика все чаще говорит о «ренессансе», «новой весне» новеллы во Франции. Критик и прозаик Жан Фужер даже назвал новеллу «искусством будущего». Это суждение, разумеется, субъективно, и его легко оспорить, однако факт остается фактом: новеллистика сегодня действительно переживает расцвет. Писатели охотно обращаются к этой лаконичной, емкой художественной форме, которая позволяет быстро, живо запечатлеть пестрые события действительности и изменения в психологии людей.

О новых чертах в древнем искусстве новеллы интересно рассуждает литературовед Рене Годенн в статье «Французская новелла в XX веке». По его мнению, главная черта современной новеллы — это психологизм. Писатели реже обращаются к сюжету, к конкретному факту, а больше стремятся говорить о чувствах, ощущениях, состояниях души отдельного человека. Эту «новую» новеллу Р. Годенн называет «новеллой-мгновением». Образно-стилистическая система в ней усложняется, писатели стремятся полнее, точнее, подробнее передать усложнившееся восприятие человека. Отсюда — частое обращение новеллистов к условности, гротеску, фантастике, к передаче всех сложностей социально-психологической реальности.

Журнал «Иностранная литература» предлагает вниманию читателей подборку рассказов современных французских писателей, чьи произведения были представлены на

страницах журнала «Эроп». Эти рассказы могут показаться необычными, своеобразными, но они дают представление о новых чертах в развитии жанра новеллы и весьма характерны для литературы сегодняшней Франции.

Редакция журнала «Иностранная литература» поздравляет также своих коллег из журнала «Эроп» со славным юбилеем и желает им творческих успехов в их благородной работе на благо мира и взаимопонимания народов.

Ж. М. Г. ЛЕКЛЕЗИО

Орламонд [1]

Анна сидит в проеме большого сводчатого окна. Этот уголок нравится ей больше всего на свете. Она его любит: ведь нет в мире другого места, откуда так хорошо видны море и небо, только море и небо, и ничего больше, будто и не существует вовсе ни земли, ни людей. Девочка облюбовала это местечко потому, что оно такое уединенное, недоступное, укромное, что здесь никто ее не найдет. Кажется, что оно, подобно гнезду морской птицы, прилепившемуся к скале, парит над миром. Анна счастлива, что нашла это место. Нашла уже давно, года два назад, а может, и больше, когда мать после смерти отца вернулась из Африки. Пьер стоял внизу — у него тогда кружилась голова,— а она стала карабкаться по каменной стене и, цепляясь за расщелины и выступы, добралась, наконец, до портика. При каждом движении она замирала от страха, но все-таки сердце девочки билось так сильно, ее переполняла какая-то опьяняющая радость, удесятерявшая силы и толкавшая все выше.

Когда девочка поднялась на самый верх, нащупала пальцами край окна, как же ей стало хорошо! Затем она проползла через проем и, поджав по-турецки ноги, уселась, прислонившись спиной к каменной колонне, стала смотреть на небо и море, словно видела их впервые в жизни: четкая, слегка выпуклая линия горизонта и темная синяя гладь воды, на которой, казалось, застыли волны, отороченные гребешками пены. Это окно стало ее комнатой, ее домом, куда никому не было доступа. Она забиралась сюда, а Пьер шел к подножию утеса, нависшего над морем, прятался в кустах среди скал, стоя на часах. Время от времени она слышала его резкий свист, а иногда ветер доносил крик:

— О-го-го, э-ге-гей!!!

И она откликалась, приставив ко рту сложенные рупором ладони:

— О-ге-гей!!!

Им не было видно друг друга. Сидя здесь, в своем домике, Анна видела только небо и море.

Она смотрела, как прямо перед ней движется солнце, заливая светом всю комнату, как по морю бежит широкая дорожка, похожая на огненный поток. И это тоже было прекрасно! Здесь она могла ни о чем не думать, все словно стиралось из ее памяти. Не то чтобы она обо всем забывала, но люди и вещи из того, нижнего мира, обретали теперь иной смысл. Ей казалось, что она превратилась в чайку и парит над шумными улицами города, высокими серыми домами, напоенными влагой садами, над школами и больницами.

Иногда Анна думала о больной матери, которая лежала в большой больнице далеко на окраине города. И когда девочка попадала сюда, в свое убежище, на самый верх заброшенной, подступающей к морю стены, она могла думать о матери, не испытывая боли. Анна смотрела на голубое небо, искрящееся море, чувствовала, как в ее тело проникает солнечное тепло, которое она принесет с собой матери прямо в палату. Она изо всех сил пожмет ей руку, и свет солнца и голубизна моря перельются в жилы больной.

«Ты хорошо учишься?»

Мать неизменно задавала ей этот вопрос. Анна утвердительно кивала в ответ, сильно-сильно сжимая ее похудевшую, горячую ладонь, с тоской ожидая, пока на родном лице, наконец, появится слабая и хорошо знакомая улыбка. Никто не говорил матери, что Анна в последние три месяца почти не ходила в школу, а бегала смо-

---

[1] Всякое сходство с реальными лицами и событиями исключено. *(Прим. автора.)*.

треть на море и небо. Лицо девочки приобрело оттенок подгорелого хлеба, а глаза сияли странным блеском.

Один Пьер знал, где она прячется. Но он никому не открыл бы тайны, даже под страхом побоев. Он поклялся, подняв правую руку и зажав в левой теплую ладонь Анны. Каждый день после уроков он бежал по берегу моря к осыпавшимся скалам. Быстро прятался в зарослях и довольно долго выжидал — на случай, не заметил ли его кто-нибудь. Затем брал в рот два пальца — мизинец и указательный — и издавал пронзительный свист, который эхом отдавался в развалинах древнего театра. И с бьющимся сердцем ждал ответа. Через мгновение мальчик слышал ответный свист, приглушенный ветром, завывающим на вершине утеса. Это Пьер научил Анну свистеть в два пальца.

Все это началось так давно. И почему сегодня должно кончиться? Анна сидит в проеме высокого окна и, несмотря на теплые лучи зимнего солнца, дрожит, нервно стуча зубами. Она знает, что вокруг никого нет. Никого нет рядом с ней, и это похоже на ожидание смерти. Прежде она думала, что ждать смерти не тяжело. Нужно только стать безразличной, твердой, как камень, и страх не возьмет тебя. Но сегодня, одиноко сидя в своем тайном убежище, она дрожит всем телом. Хоть бы Пьер был рядом. Может быть, ей было бы не так страшно. Девочка пытается свистнуть, но дрожь так сильна, что свиста не получается. Тогда она подает условный сигнал: «О-ге-гей!»

Но крик ее заглушает ветер.

Девочка напряженно вслушивается, боясь пропустить момент, когда появятся разрушители. Ей неизвестно, кто они такие, но она знает, что они должны прийти, прийти сейчас, чтобы сокрушить стены Орламонда.

Анна напряженно вслушивается. И слышит странные завывания ветра, гуляющего в металлических конструкциях, в огромном пустом зале, под каменными аркадами. Она вспоминает, как впервые осматривала заброшенный театр. Шла по бетонному коридору. После залитого светом неба и моря темнота душила ее. Затем она очутилась в каком-то доме-призраке, поднялась по мраморным и отделанным под мрамор лестницам, постояла во внутреннем дворике, похожем на освещенный грот, оглядела осыпавшуюся лепнину, скорченные колонны, поддерживающие разбитые фонари, каменную раковину с иссякшим фонтаном и затрепетала от страха, словно человек, первым осмелившийся нарушить тайну этих заколдованных руин. Затем она повернула назад, идя на стонущую мелодию ветра, который шумел в металлических конструкциях на потолке заброшенного театра. И ей казалось, что этот размеренный, мелодичный скрежет уносится куда-то вдаль, в ослепительное сияние небес.

Но разрушители идут, они все ближе. Орламонд уже огорожен забором с колючей проволокой. Уже расставлены щиты, на которых написаны грозные, словно приказы, слова:

ВХОД НА ПЛОЩАДКУ ЗАПРЕЩЕН
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО
ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛУЧЕНО

Они пригнали желтые машины, кран с покачивающейся на ветру длинной стрелой, компрессоры, бульдозеры, а также машину с огромным металлическим черным шаром, свисающим на тросе. Пьер говорит, что это для разрушения стен, он видел такие в городе, машина раскачивает груз и ударяет по стенам, которые рушатся, как будто они из песка.

Уже несколько дней машины находятся здесь, а Анна сидит в своем домике на вершине стены и ждет. И уверена, что, едва она уйдет, рабочие заведут свои машины и начнут крушить все подряд.

У нее над головой слышатся их голоса. Они вторгаются в пределы Орламонда по большой дороге, проезжают по спускающимся террасам садов, где растет ежевика и живут бездомные кошки. Анна слышит топот грохочущих по цементной крыше сапог, отдающийся в коридорах заброшенного театра. Она думает о разбегающихся кошках, о ящерицах с трепещущим горлышком, замерших у расщелин. Сердце девочки бьется все учащеннее и сильнее, и она думает, что тоже могла бы убежать, спрятаться у подножия скалы, среди ее обломков. Но, опасаясь, что ее заметят ра-

бочие, Анна не решается шелохнуться. Она как можно глубже забивается в проем, поджав под себя ноги и спрятав руки в карманы куртки.

Время, которое несет разрушение, течет медленно. Анна, сощурившись, смотрит на небо и с удовольствием наблюдает, как на его фоне появляются птицы, мошки, паутина. Далекое море похоже на металлическую — твердую, гладкую, мерцающую — пластину. Дует сильный ветер, свежий ветер, от которого девочке становится холодно, а глаза наполняются слезами. Она ждет и дрожит. Ей хотелось, чтобы наконец раздался взрыв, чтобы заработали большие желтые машины, зашевелили своими щупальцами, стрелами, челюстями, обрушивая на старые стены свою грохочущую тяжесть. Но ничего не происходит. Только тихий, еле слышный гул мотора и треск отбойных молотков раздается где-то на террасах. Когда полуденное зимнее солнце достигло зенита, Анна снова стала звать своего друга. Она свистнула в два пальца и крикнула: «О-ге-гей!»

Но никто не ответил. Может быть, стало известно, что он должен прийти сюда, и его заперли в классе, за высокими школьными стенами. Может быть, его допрашивают, требуя, чтобы он рассказал обо всем, что знает. Но он поклялся Анне, подняв правую руку, а в левой держа ее ладонь, и она верит, что Пьер не выдаст.

На строительной площадке вновь воцарилась тишина. Полдень, рабочие-разрушители сейчас обедают. А может быть, они совсем ушли? Анну так измучило долгое ожидание, холод и голод, что она сползла еще пониже, склонив голову на правое плечо. Лучи солнца рассыпаются тысячами бликов на поверхности моря, прокладывают искрящуюся дорожку, по которой легко скользить, уйти отсюда.

Должно быть, ей снится сон. В конце искрящейся дорожки ее ждет мать, стройная, в бледно-голубом летнем платье, и солнечные лучи играют в ее черных волосах, на ее обнаженных плечах. Она преобразилась, стала такой же воздушной, как прежде, в те времена, когда она возвращалась с пляжа и сверкающие капли воды плавно стекали по ее коже. Она красива и счастлива, будто ей никогда не суждено умереть. Чтобы видеть ее такой, Анна и приходит сюда, в свое тайное убежище на вершине стены.

Почему они хотят все разрушить? Когда Анна сказала, что останется там, наверху, в своем домике, даже если ей придется умереть, Пьер не ответил. Тогда она заставила его поклясться, что он никому никогда не расскажет о ее тайном пристанище, даже если его будут бить, даже если будут жечь ступни пламенем свечи.

Это место принадлежит ей, только ей одной. Она уже так давно свыклась с каждым камнем, с каждым стебельком чебреца, с каждым терновым кустом. Вначале она боялась Орламонда, потому что это было дикое, пустынное место и древний, заброшенный театр напоминал замок с привидениями. Пьер ни разу не забирался внутрь. Он предпочитал оставаться внизу, на страже, прячась среди обломков скал. Это он сообщил Анне новость, когда рабочие пришли впервые. Он сказал это один раз, очень быстро, а затем несколько раз повторил, потому что девочка не понимала; но наконец она ощутила жуткий холод, голова у нее закружилась, и малышка чуть было не потеряла сознание. Затем она побежала к Орламонду, увидела ограду и колючую проволоку, надписи, а также большие, похожие на чудовищных насекомых желтые машины у обочины шоссе, там наверху.

Вдруг она услышала взрывы. Ужасные удары отдаются в каменной стене, засыпая песком ее волосы. На конце раскачивающейся стрелы висит черный шар, который бьет по стенам древнего театра. Анна была готова к этому и все же от страха не может сдержать крик. Изо всех сил она цепляется за подоконник, прижимается к стене. Но удары раздаются снова, размеренные, гулкие, такие сильные, что ее тело содрогается от испуга. Грохот первых разрушенных стен ужасен. Едкий запах пыли плывет в воздухе, появившееся серое облако скрывает небо и море, гасит солнце. Анна хочет закричать, чтобы все прекратилось, но страх мешает ей это сделать, а дрожащие стены подталкивают ее в бездну. На конце гигантской стрелы черный шар раскачивается, летит вниз, снова взлетает и обрушивается снова. Они, наверное, все уничтожат, все на земле: скалы, горы, а затем завалят небо и море обломками и пылью. Она лежит на краю подоконника, плачет в ожидании удара, который раздавит ее, разрушит ее любимый дом.

Удары все ближе, они раздаются так близко, что девочка чувствует, как в ее легкие проникает пыль и серный запах, она видит дождем летящие искры. Тяжелая масса бьет ее прямо в грудь, слепо обрушивается, сокрушая стены, пробивая по-

лы, с треском ломая металлические конструкции и постепенно подбираясь к той стене, что ближе всего к морю и небу.

Затем, непонятно почему, все прекращается. Вновь воцаряется напряженная, наполненная страхом тишина. Как после извержения вулкана, на землю оседает пыль. Слышатся крики, призывы. Разрушители спустились к подножию стены и смотрят на окно. Анна понимает, что Пьер предал ее. Это он рассказал, он привел людей к ее убежищу. И теперь они зовут, ждут ее. Но она не двигается.

Перед ней возникает какой-то человек. Он поднялся по лестнице и теперь смотрит на девочку, приникшую к подоконнику. «Что ты здесь делаешь?— спрашивает он тихо, протягивая к ней руку.— Ну слезай, здесь нельзя оставаться». Анна качает головой. У нее перехватило горло, и говорить она не может. Ужасный грохот разрушения смолк в ее душе, и ей кажется, что она никогда больше не сможет заговорить. Человек наклоняется, беря ее на руки. Он очень сильный, его голубая рабочая куртка засыпана пылью и землей, а желтая каска блестит на солнце.

На Анну наваливается огромная усталость, глаза ее закрываются сами собой, словно она вот-вот заснет. Спустившись вниз по той же лестнице, мужчина ставит девочку на землю. Вокруг неподвижно, молча стоят рабочие, их желтые каски ослепительно сияют. Пьер стоит рядом с ними, и когда она бросает на него взгляд, на лице его появляется странная, похожая на гримасу улыбка, и, несмотря на страдания, Анне хочется рассмеяться. Она пожимает плечами и думает: придется поискать какое-либо другое место.

Несмотря на солнечное тепло и сухую пыль, Анна дрожит от холода. Мужчина в желтой каске хочет набросить ей на плечи рабочую куртку, но она, отстранившись, отказывается. Среди собравшихся здесь людей находится человек в коричневом костюме, который ему явно велик; Анна узнает в нем одного из школьных воспитателей. Вместе они идут к вершине холма, туда, где на шоссе ждет их голубой полицейский автобусик.

Анна знает, что не заговорит, что ничего не скажет, никогда и ничего. Поднимаясь по тропинке к полицейской машине, она в последний раз на мгновение оборачивается, смотрит на каменную стену и искрящееся море. Орламонда больше не существует, теперь это только руины цвета слежавшейся пыли. Но отблеск солнца, освещающего море, сияет на лице и в темных глазах девочки, свет которых не может потушить даже гнев.

Перевод В. ЖУКОВОЙ

КЛЕМАН ЛЕПИДИС

Андалусец

Кончите и Мануэлю Монсорро

Пасха в Севилье. На подмостках авениды Хосе Антонио не протиснуться, и говор толпы сливается с гортанными распоряжениями capataces [1], приглушенным шумом pasos [2] — драгоценное дерево, воск, серебро и золото словно делают их более тяжелыми Внутри собора исступленные благословения и трепетное пламя свечей, меркнущих в ярком свете Королевской площади, когда богомольцы переступают порог храма под неусыпным надзором вооруженных полицейских. Аромат апельсинов, долетающий с уличек квартала Санта-Крус, дурманит и кружит голову. В этот последний день покаяния пасхальная Севилья уже готовится, по обычаю, к праздничной ярмарке и первой корриде сезона.

Для Диего Морильо Монтильи, по прозвищу Андалусец, Севилья уж не тот город кающихся грешников, каким была когда-то,— слишком много здесь, на его взгляд, чужеземных гостей, которые наверняка испортят этот праздник. На улицах, заполненных ордами туристов, поистине вавилонское столпотворение — от этих иностранцев Андалусии куда больше вреда, чем пользы. Они уже завладели Коста-дель-Соль и уродуют побережье, строя отвратительные ультрасовременные здания, в ко-

[1] Capataces *(исп.)*— здесь: распорядители религиозной процессии.
[2] Pasos *(исп.)*.— шаги.

торых нет ничего испанского. Немецкий, английский и нидерландский вытесняют андалусский говор и дразнят коренных жителей с рекламных щитов на улицах, с фасадов баров и отелей. Из музыкальных автоматов — этого сущего оскорбления культуры и традиций страны — несутся оглушительные американские мелодии; завывания электрогитар заглушают надрывные звуки исчезающей малагеньи. Колонизация досуга принесла с собой самое худшее, она оскверняет землю, которую веками обагряла кровь предков и воспевали coplas de tiento [1]. Жемчужина Андалусии тускнеет и трескается. Как бы эти чужеземцы совсем ее не растоптали.

Диего Морильо Монтилья, Андалусец, живет с женой Ампаро и двумя детьми в скромной квартире в Триане — старом квартале той Севильи, где еще звучит фламенко и все еще витает дух соле́а [2]. Андалусцу никогда не надоедает, закончив рабочий день, бродить без всякой цели по набережным Гвадалквивира, по площади Колумба или хотя бы в Сьерпес, зайти иногда выпить кофе с неожиданно встретившимся приятелем. Но Андалусец не забывает, что прежде всего он — человек деревенский. Ребенком вдыхал он аромат дикого дрока у подножия холма Вехер или гонялся за зайцем в густом кустарнике. Он пил из ручья, спал на чистом воздухе под луной, привалясь к каменному колодцу, хранящему еще солнечное тепло. Гимном земле, на которой он родился, звучали для него поднимавшиеся с campiña [3] шумы жизни, когда поутру люди и животные выходили трудиться в поле. Вместе с братьями он пел древние cantes [4] родной деревни, напоенные солнцем и молодым вином еще тогда, когда старые контрабандисты пробирались по горам и хребтам с грузом добычи на плечах. Земля — его родина — стала первой книгой Андалусца. По ней открывал он, в ритме времен года, природу и ее сокровища, благодаря ей прочел на лице труженика всю меру невзгод и страданий.

Хотя и став горожанином, Андалусец так и не сумел отряхнуть родную землю со своих башмаков. Деревня была хлебом насущным его ежедневных разговоров, точно о другом и говорить не стоило. Деревня! Владеть землей, чтобы его дети могли мять и растирать ее в руках. Видеть из окон дома сквозь дымку цветущих деревьев сверкающий розовый восход— и, кто знает, может быть, мельницу с уснувшими крыльями. Слышать рев разъяренного быка. Ощущать трепет земли. Слушать тихое пение птиц, которые славят своими трелями простую жизнь, претендующую лишь на то, чтобы время текло мирно и спокойно. Для воплощения этой мечты надо было найти место. Это всем доступно, если бы не деньги, которые диктуют свои волю и выбор. Но Андалусец дал себе слово, что добьется этого, даже ценою самых тяжких жертв.

— Я все время об этом думаю,— говорит он жене.

— Я тоже,— отвечает Ампаро.

И вот каждую неделю, в надежде отыскать место, где они обоснуются в будущем, Андалусец с женой ходят из деревни в деревню. Пуэрто-Санта-Мария! Сан-Фернандо! Чиклана! Кониль! Барбате! Не замечая зноя и пыли, Андалусец видит лишь деревья, ручьи, цветы. Стоит ему свернуть на тропинку и услышать журчание ручейка за изгородью, он замирает словно очарованный. Стоит найти домик с розами или гвоздиками, украшающими фасад, как сердце Андалусца колотится сильнее и он уже воображает себя хозяином этой усадьбы. Гражданином природы!

Рука об руку с Ампаро он обойдет Саара-де-Лос-Атунес, поросшую зеленью и кактусами холмистую местность, чей солнечный склон спускается к морю. Он услышит, как в воздухе, пропахшем смолой и тмином, среди сосен дрожат золотистые крылышки стрекоз. И его жадному взору откроется пейзаж с роскошными виллами, зелеными газонами, на которых, словно театральные декорации, возвышаются бутафорские колодцы и изгороди, украшенные бутафорскими фонарями. Место, конечно, сказочное, но, говорят, принадлежит оно швейцарским миллиардерам. Говорят, им принадлежит и побережье. И горы. И холмы.

Неподалеку отсюда Андалусец обнаруживает старый, заброшенный кортихо: дом среди бурно разросшихся трав, и сбоку квадратная башенка, где расположен старинный давильный пресс. Несмотря на запустенье, видно, во что мог бы превратить это место человек с выдумкой, терпеливый и трудолюбивый.

[1] Coplas de tiento *(исп.)*— андалусские народные песни-танцы.
[2] Soleá *(исп.)*— андалусская народная песня-танец.
[3] Campiña *(исп.)*— равнина.
[4] Cantes *(исп.)*— песни.

— Это же преступление — доводить жилье до такого состояния,— возмущается его жена при виде дома.

— А вдруг он продается?

Меряя взглядом дом, башенку и участок, Андалусец уже представляет себе план будущих работ. Придется быть и каменщиком, и плотником, и садовником. Дом растет и хорошеет прямо на глазах. Внутренний дворик превращается в патио. Амбар, примыкающий к башенке, он сделает жилым помещением, где будут удобные комнаты для друзей. Места, где могут играть дети, сколько угодно. Андалусец считает деревья в кортихо — двенадцать! У него, севильца, будет целая дюжина деревьев! Он смотрит на них, как будто они уже его собственность. Деревья плодовые, Андалусец соберет богатый урожай. Цветы в саду радуют глаз, и колодец — на сей раз настоящий — сверкает свежей побелкой. Здесь можно будет освежиться после долгого труда. В квадратной башенке он оборудует столярную мастерскую, где поставит верстак и разложит инструменты. Там будет пахнуть деревом и опилками. Вдали от безумной суеты города, в двух шагах от моря, Андалусец с женой и детьми будут счастливы.

— Чудесно, чудесно,— шепчет Ампаро, сжимая его руку.

Агентство по недвижимости, которому поручена распродажа земель в Саара-де-Лос-Атунес, находится в Кадисе. Андалусец с женой является туда за добрый час до открытия и не отходит от двери, чтобы быть первым клиентом. Он счастлив и в то же время обеспокоен. Счастлив надеждой, которая не покидает его с того момента, когда он нашел заброшенный кортихо. Обеспокоен, как бы другой покупатель не опередил его.

— Не волнуйся,— говорит ему Ампаро,— вот увидишь, все будет в порядке.

Служащий, который принимает их, родился явно не в Испании. Кожа у него нежно-розовая, и он беспрерывно отирает с лица пот — к жаре он совсем не привык. По-испански он говорит с цюрихским акцентом: так, наверное, бьют часы с кукушкой, вымоченные в пивной бочке! Над его головой рекламная афиша швейцарской железнодорожной компании приглашает совершить путешествие на берег озера Леман. Несколько оробевший, Диего Морильо Монтилья, Андалусец, ждет, пока тот кончит говорить по телефону и даст ему изложить суть дела.

Он сидит прямо, расправив плечи, всем своим видом бросая вызов этому чужаку... Сын Севильи, древнего города меда, он описывает покинутый кортихо, говоря на языке той холмистой местности, где он родился. И жесты правой руки подчеркивают каждое слово, так, как это делает исполнитель фламенко. Служащий слушает рассеянно, иногда с презрительным недоумением, будто посетитель домогается невиданной милости, будто Андалусец говорит с ним на языке, который он не желает понимать: для него характерны особое звучание слов, различные их оттенки, он сопровождается жестами, выражающими его достоинство и непреклонность. Глядя на них, сидящих друг против друга, можно подумать, что беседуют жители разных планет. Глядя на них, трудно вообразить, что все люди сотворены из одного теста! Швейцарец и Андалусец — две души, две вселенные.

Швейцарец раскрывает папку зеленого цвета — совпадение? ирония судьбы? — и вынимает план земельной описи. Он говорит, листая страницы, путается в своем испанском, который до того плох, что звучит едва ли не оскорбительно для языка.

— Этот кортихо уже закреплен,— говорит он, уткнувшись носом в бумаги.— Фирма, которую я представляю, купила земли, куда входит и интересующий вас кортихо. Он, впрочем, уже практически продан одному из наших соотечественников, как и было предусмотрено. Наше правительство заключило с вашим соглашение, дающее нам преимущественные права в купле и продаже земли. Мы тратим много денег на благоустройство этой местности. Миллионы песет, сеньор, затрачены, например, на Саара-де-Лос-Атунес. Десятки миллионов песет. Нам нужны гарантии, сами понимаете.

И Андалусец не нашелся что ответить этому голубоглазому человеку с озер Гельвеции, который отказывал ему в клочке родной земли. Он только сжал зубы, когда тот оскорбительно поднялся, чтобы проводить его до дверей. Выйдя за порог агентства под руку с Ампаро, он услышал, как швейцарец что-то пробормотал, на сей раз без акцента. По-немецки...

Вернувшись домой, Андалусец, Диего Морильо Монтилья, перебирает в памяти утренние события и не в силах сдержать гнев, когда перед ним встает голубоглазый и розоволицый швейцарец. По какому праву иностранная компания может присваивать себе чужие земли? Как и почему швейцарцы завладели целым районом и запрещают продажу земель коренным жителям страны? Конечно, испанское правительство дало свое согласие, следовательно, оно виновато в создавшемся положении. А если бы испанцы присвоили швейцарские озера, швейцарские горы, швейцарские леса — как повели бы себя тамошние власти?

— Мы поищем другой дом,— успокаивает Ампаро мужа.

Андалусец вышел на кухню и ударил кулаком по столу. Раз, два, три — это он отбивает ритм солеа. Сначал он пел для себя, совсем тихо, чтобы отвести душу, призвать на помощь сокровенные силы, напитаться соком той земли, которую никакому чужеземцу у него никогда не украсть. Земли солеа. Потом он запел громче, из его груди вырвалась старинная жалоба рожденного в густых зарослях фламенко, которое рыдало и истекало кровью. Забыв о своей злости, о своей погибшей мечте, Андалусец не слышал ничего, кроме голоса предков, которые подсказывали ему слова песни, сложенной самой природой и их многовековым упорством. Он слышал только солеа — свою золотую отчизну, сотканную из лунного сияния и усыпанную звездами. От виноградников к кипарисам, от мельниц к лимонным рощам, от олив к родникам шел он с травинкой в зубах на поиски утренней росы, и его баюкали рыдания родной земли, раскачивая, словно тростник на ветру. Солеа! — жалобно пел Андалусец, я твой благородный сын, отважный, преданный, мог бы воспевать тебя до тех пор, пока смерть тебя у меня не отнимет. По суровой сьерре провожу тебя в могилу под виноградный перебор гитары. Жасминовый мед, извечная солеа — разве сможет чужеземец заключить тебя в объятия, разве сможет он спеть тебя, рожденную из лона андалусской земли? Разве понять ему, из какой пряжи соткано хоть одно твое платье? Ни один из них никогда не поймет солеа! Солеа, плюнь в лицо тому, кто посмеет тебя оскорбить! Уничтожь его!

Не вняв советам Ампаро, Андалусец все же пошел в последний раз взглянуть на заброшенный кортихо, принадлежащий теперь какому-то швейцарцу. Он снова пересчитал деревья, обласкал взглядом квадратную башенку, утопающую в диких травах, где могли бы играть его дети. В последний раз у него сжалось сердце при виде этого крошечного кусочка андалусской земли, который на мгновение поманил его, но принадлежать ему никогда не будет. Сколько еще времени он будет оставаться таким, какой есть, пока не станет он похож на уродливые здания Саара-де-Лос-Атунес? Диего Морильо Монтилья, Андалусец, вернулся в Саара и там, окаменев от гнева и ужаса, он увидел, что этот недосягаемый рай уничтожило пламя. Он увидел обуглившиеся деревья и сожженные кактусы, черные от пепла склоны гор, опаленные огнем, покрытые копотью фасады роскошных вилл. Андалусский эдем обращал теперь к песчаному пляжу только невозделанную землю, лишенную света и красоты. В этом мертвом мире смолкли стрекозы. На обожженных крылышках они умчались, неся всем эту страшную весть, в края, где им будет легче жить. Стрекозы Саара-де-Лос-Атунес будут ждать возвращения лучшего лета.

«Это преступный поджог»,— говорили повсюду.

Забыв о грабителях-швейцарцах, Андалусец, стиснув зубы от ярости, обратил свой гнев на поджигателей. Но в соседней деревне не стеснялись в выражениях. Говорили, что пожарные и солдаты, призванные на помощь, не особенно торопились. Они прибыли только тогда, когда последние языки пламени довершили свое дело. Говорили... говорили... и гнев Диего Морильо Монтилья — чистокровного Андалусца с загадочной улыбкой на устах — сменился надеждой...

Перевод МАРИИ ЗОНИНОЙ

АЛЕН НАДО

Смерть в подземном гараже

Честно говоря, сам не помню, как здесь оказался, чего ради сунулся в эти подвалы. Не знаю: то ли захотел немного размяться, то ли вздумал лишний раз осмотреть свое хозяйство — в общем, начал я этот обход попросту оттого, что нечего было делать. Пройдясь по гулким лестницам, проверил, больше, правда, для виду, хорошо ли закрыты запасные выходы, просто для забавы несколько раз включал и выключал вентиляцию и добрался, наконец, до пятого подземного этажа. По пути приходилось отпирать своим универсальным ключом одну за другой бесчисленное множество дверей, которые медленно, с тихим шелестом закрывались у меня за спиной или вдруг защелкивались автоматически, и этот резкий, сухой щелчок еще долго отдавался эхом в вентиляционных трубах и шахтах лифтов. Так я прошелся по всему гаражу, но лишь когда спустился сюда, на нижний этаж, и вошел в коридор, который вел прямо к стоянкам, лишь тогда меня вдруг охватило какое-то неясное предчувствие опасности. Я сразу насторожился, ночную усталость как рукой сняло, но... было уже поздно! Откуда-то из-за угла выскочил человек, выхватил пистолет, щелкнул предохранителем и приказал не двигаться...

Да, крепко я влип. Подняв руки вверх, я сильно приуныл. Дьявол дернул меня забраться сюда! В самом деле, ну чего тебе не хватало: сиди себе в будке и не рыпайся, все равно никаких указаний о том, как охранять эти чертовы гаражи, начальство никогда не давало. Вообще-то работа у меня на редкость спокойная: водители сами прекрасно знают, куда ехать, так что проверять их незачем, а засекать время приезда и отъезда можно и не вставая со стула, по электронным часам. Единственное, что от меня действительно требуется,— так это охранять ворота. Значит, если неизвестный и смог пробраться в гараж, то только по моей оплошности, за которую я сейчас сам и поплачусь.

Человек по-прежнему не двигался. Стоя посреди коридора, он так удачно повернулся, что свет падал ему на спину. Лица не было видно совсем: он предусмотрительно поднял воротник плаща и надвинул глубоко на глаза шляпу. Что ж, позиция выбрана отлично: я был весь как на ладони и не мог даже шевельнуться...

Тревога моя росла с каждой секундой. Я уже давным-давно должен был подняться на лифте и вернуться на свое место к автоматическому шлагбауму. Если за это время хотя бы один человек позвонил или подъехал к пропускному пункту — все, мне конец, уволят завтра же. Остается надеяться лишь на то, что в столь позднее время вряд ли кто-нибудь появится. Кстати, между полуночью и двумя часами ночи в гараж, как обычно, вернулись почти все машины: кто-то приехал сразу после театра или кино, кто-то задержался в баре до закрытия. Я уже давно заметил, что возвращение машин в гараж — это своего рода ритуал, и с тех пор неукоснительно его соблюдал: стоило только увидать свет фар на угловой стене между Первой авеню и Пятьдесят третьей улицей, как я сразу же, заранее, давал зеленый свет. «Бьюики», «кадиллаки», «шевроле», одна за другой эти громоздкие машины с затемненными стеклами бесшумно скользили мимо; еще бы, движки у них хорошо смазаны, тарахтеть не будут. Обычно водитель поднимал в знак приветствия руку, я же просто кивал в ответ. Почему-то долго я не мог решиться закрыть шлагбаум за этими сверкающими чудовищами; друг за другом они въезжали каждый на свое законное место, и я ждал, пока погаснут их яркие сигнальные огни, которые, казалось, еще долго отсвечивали в темноте. Наконец и они исчезали, а я все представлял себе, как эти солидные мужчины и роскошные женщины, закутанные в меха, торопятся в лифт, чтобы поскорее попасть к себе, в тепло и уют шикарных апартаментов где-нибудь на 35-м или 36-м этаже, обязательно с видом на Ист-Ривер или мост Квинсборо.

После двух часов гараж пустел и все затихало... Да, попади сейчас сюда кто-нибудь из опоздавших, то-то будет сюрприз, если он окажется в этом коридоре. Но мне большего и не надо, только бы отвлечь внимание этого типа, а там уж я успею допрыгнуть до боковой дверцы справа, благо она совсем рядом, и... Правда, не исключено, что эта дверь тоже заперта, тогда мне точно крышка, словно крысе в ло-

вушке. Интересно, а куда она ведет? Раньше я ее не замечал. Может, там запасной выход? Пожарный кран? Или просто кладовка? Ладно, не все ли равно. Главное, сколько у меня будет времени, если, конечно, повезет,— три, четыре секунды? Но это последняя надежда: оружия при мне нет. А человек напротив наверняка знает это, иначе он обыскал бы меня. Ну и положеньице: стою перед ним как на витрине, дурак дураком, напялил форму, нацепил фуражку. Только вот без оружия. Скажете, это промашка фирмы по охране гаражей «Маттеоли и сыновья», где я служу? Ничего подобного! Мне прекрасно живется и так: безобидный карманный фонарик да свисток, что еще надо нашему брату.

Все очень просто: кому охота за гроши рисковать жизнью или играть в отчаянного парня из гаражных прерий. Каких только историй у нас, сторожей, не наслушаешься; правда, чаще всего это или треп, или выдумка самых ушлых ребят, которые ради того, чтобы урвать лишний кусок и получить премию, расписывают, не жалея красок, собственную храбрость и героизм. У нас любят травить байки на эту тему: один сторож, например, гонялся за грабителями аж по канализации, другой добился того, что его растерзали собаки, а третий, схлопотав не слишком приятный удар ножом в спину, кончил тем, что помер, прислонившись к трубе мусоропровода, причем его агония проходила под аккомпанемент льющейся воды, которую спускали в унитазы, а он, бедняга, слышал шум и все ждал, все надеялся, что это спешит подмога; напрасно, это автоматически включалась и выключалась какая-то далекая котельная.

Вот какие у нас бродили слухи. Раньше я почему-то думал, что такое может случиться только с другими, но теперь начал осознавать: на этот раз попался сам, так что лучше не трепыхаться. Вообще вся эта история нравилась мне все меньше и меньше. Человек напротив стоял не шелохнувшись. Что же он собирается делать: отпустить или избить меня? Небось стоит на стреме и ждет сигнала от своих дружков, а те наверняка обделывают какое-нибудь темное дельце или тихо чистят квартиры где-то по соседству. Ничего не поделаешь, у меня нет выхода. А может, успею отскочить и захлопнуть за собой дверь? Глупо, он тут же меня пристрелит. О господи! И чего сюда понесло? Так тебе и надо: суешь нос куда не следует — вот и подыхай теперь в этом гадюшнике! Этих мрачных бетонных подвалов я всегда боялся: стоило только попасть сюда и пойти осторожно, на ощупь, минуя темные закоулки, как пляшущий в руке фонарик вдруг выхватывал из темноты какие-то громадные, жуткие тени, которые начинали окружать, обступать меня так, что хотелось кричать от страха. А вокруг трубы, много труб. Обмотанные изоляцией или уже покрытые ржавчиной, они тянулись вдоль стен под холодным светом неподвижных зеленоватых ламп — каждая лампа освещает очередной запасной выход,— а повсюду стойкий тошнотворный запах жженой резины, машинного масла и выхлопных газов, от которого першило в горле и неудержимо хотелось кашлять; в конце концов удушливая атмосфера гнили и сырости пронизывала насквозь, и от этого становилось как-то не по себе.

Между прочим, здесь и работать-то никто не желает. А меня это место вполне устраивает, лишь бы начальство не приставало и не заставляло всю ночь напролет патрулировать по этому дурацкому гаражу. Когда у человека бессонница, не все ли равно, где коротать ночь. Зато здесь почти все время я читаю и даже иногда пишу, хотя раньше такого никогда не случалось. Желание писать пришло откуда-то из глубины, неожиданно, вдруг. Оно было, наверное, как-то связано со странными, беспокойными мыслями, которые меня все время одолевали. «Никому-то ты не нужен, хотя все еще существуешь. А может, в долгие часы ночного безмолвия ты единственный живой человек на всей планете? Но что толку: да, ты никогда не спишь, да, у тебя уйма свободного времени, но ты же ничего не делаешь, ничего. И вдруг озарение: твоя чистая, н е т р о н у т а я душа сгниет в этом душном подземелье, и никто никогда так и не вспомнит о ней!» А вокруг невозмутимо сверкали яркие кузова и никелированные ручки автомобилей, которые тяжело и бесстрастно взирали на меня из своих нумерованных боксов, куда их предусмотрительно поставили заботливые хозяева. Но присутствие этих машин лишь усиливало ощущение одиночества и тревоги, от которого — непонятно почему — еще больше хотелось писать. Я все яснее чувствовал, что где-то рядом, в черном углу притаилось какое-то жуткое привидение, призрак, который только и ждет, чтобы броситься на меня или промчаться стремглав по коридору. А еще эти странные звуки, которые доносились непонятно откуда

Можно сойти с ума! И все: придуманные кошмары, судорожные задержки дыхания: «Слышали? Кто-то крадется!», непонятные припадки, когда сердце готово выпрыгнуть из груди, минутная паника и даже самый обыкновенный страх — все это держало меня в руках под диким напряжением, заставляло переживать, нервничать в тревожном ожидании чего-то такого страшного и непонятного, что, когда я хватался за перо, все каким-то неведомым образом получалось наоборот: слова меняли первоначальный смысл, предметы теряли привычные очертания. Казалось, изображение, которое навсегда могло бы остаться темным и неясным, мгновенно проявлялось на белом листе, как на фотобумаге. И почерк получался каким-то неуверенным, торопливым; чернила поспешно впитывались в бумагу, как бы стремясь поскорее со всем покончить, любой ценой избавиться от чего-то такого, что не имело смысла, а значит, и права на существование.

А это невыносимое мерцание неоновых ламп? Оно отражалось, как от зеркал, от стеклянно-алюминиевых перегородок будки ядовито-голубоватым светом, таким ярким и резким, что каждая жирно выписанная буква как бы раздваивалась и рядом с ней появлялась ее крохотная тень. Казалось, этот ослепительный свет заливал всю будку, пронзал насквозь, рассекал, как скальпель, все, что попадалось на пути, и с неистовой беспощадностью вырубал из окружающей тьмы истинные очертания предметов. Таким безжалостно ровным — от него никто и ничего не скроется — свет бывает только в больничных лабораториях и операционных комнатах: белоснежная страница расползалась в самые разные стороны, и я чувствовал нестерпимую резь в глазах. Отражение чернил становилось дрожащим и ярко-фиолетовым, будто пишешь кислотой или купоросом, оно обжигало веки, и, чтобы хоть как-то облегчить боль, я тер их изо всех сил, а от этого из глаз такие искры сыпались, что потом совсем ничего нельзя было различить.

Впрочем, к утру я и так уже почти ничего не видел, слова беспорядочно прыгали перед глазами. Иногда, сидя за книгой, я прочитывал сразу, с одного маху, четыре строки, так сейчас читают какую-нибудь полифоническую партитуру хора на несколько голосов. Вообще я весь набит отрывками из книг, бессвязными репликами, бредовыми суждениями, пословицами и поговорками без начала и конца, похабными ругательствами, неоконченными бессмысленными предложениями, рекламными объявлениями и примитивными мотивчиками. Несмотря на такой солидный багаж, я так и не научился ясно и точно выражать свои мысли. Даже не знаю, почему: то ли от постоянного переутомления, то ли от монотонной жизни, когда уже не чувствуешь никакой разницы между ночью и днем? Наверное, все-таки потому, что свет неоновых ламп — а я ведь уже давно догадывался об этом — действовал как наркотик, вызывая у меня самые настоящие галлюцинации. Все представлялось в каком-то изломанном, уродливом виде. Со всех сторон на меня хищно бросались какие-то жуткие тени, и, чтобы уберечься, приходилось отскакивать в сторону или наклоняться. Я стал игрушкой собственного воображения. Неестественная белизна неоновых ламп доводила меня до того, что я начинал дрожать, как самый настоящий наркоман. Под этим мертвящим и нечеловечески ослепительным светом ночные дежурства превращались в настоящие припадки отчаяния. Меня всего трясло, задыхаясь, я открывал нетвердой рукой дверь будки, делал один-два шага навстречу темноте и орал что было мочи, бросая вызов некой невидимой силе, стараясь перекричать эхо собственного голоса, пытаясь дикими воплями и проклятьями заглушить звуки, которые я выдумывал сам: то мне слышалось мерное урчание двигателей, то пронзительный визг тормозов, то гудки автомобильных сирен. Я пугал сам себя, придумывая кошмарные сцены, которые заканчивались кровавыми побоищами. Да, я сходил с ума, меня переполняла холодная тьма; я мучительно жаждал настоящего света...

Рано утром я возвращался ощупью к себе, хватаясь трясущимися руками за стены и считая боксы. Бред уходил вместе с ночью, я успокаивался и, закрыв все окна, медленно вытягивался на диване. Перед закрытыми глазами еще долго мелькали длинные полосы света. Так в летний полдень через прикрытые ставни или опущенные шторы пробиваются лучи яркого солнца. Они понемногу уходили из меня, эти искрящиеся золотые брызги, но внутри, внутри я все еще был комок нервов. Я чувствовал себя таким опустошенным, таким разбитым, что даже не замечал, как засыпаю... И лишь во сне постепенно избавлялся от этих безмолвных и до боли реальных кошмаров. Моя душа, все еще не отмытая от глубоко въевшихся пятен яркого света, валялась рядом, как старая, дырявая тряпка. Потом я вновь приходил в

себя и забывал о жутком и очень странном сочетании матового сияния неона и ослепительного света электрических ламп...

— Руки вверх! Стой! Ни с места! Не двигаться, я сказал!

Слава богу, я вовремя опомнился, а то чуть было не заснул. Наверное, даже видел сон, правда какую-то секунду, не дольше. Но за эту секунду что-то во мне произошло, и, хотя поднятые вверх руки немели, наливаясь свинцовой тяжестью, вся эта история показалась мне совершенно нереальной или нарочно кем-то подстроенной. Конечно, меня разыгрывают,— должно быть, это действительно просто чья-нибудь глупая шутка или какая-то ошибка, в общем недоразумение. И тут мне смутно почудилось, что все предметы вокруг: двери, стены, провода — неожиданно засветились сочувствием и даже симпатией. Меня как будто осенило: где-то совсем рядом, стоит только руку протянуть,— путь к спасению, соломинка, за которую можно ухватиться; главное, не терять головы и все хорошенько обдумать. Должен же существовать хоть какой-то выход из этого тупика! Уверен, он настолько прост, что потом буду локти себе кусать от досады, что вовремя его не нашел. Может быть, сигнализация? Или ведро с песком? А если пожарный топорик там, под стеклом? Нет, слишком далеко! За мной бронированная дверь, благодаря которой я и попал в ловушку. Неужели, все пропало? Вентиляционная труба над головой? К ней не подступишься. А эти фонари через каждые десять метров? Нет, все бесполезно! Мимолетная надежда на быстрое и легкое спасение тут же улетучилась...

И в эту минуту, когда стало ясно, что все кончено, я сказал себе: хватит! От постоянного страха мне вдруг стало казаться, что эта сцена лишь плод больного воображения. Нет, это не я, я же никогда сюда не заходил, никогда не был сторожем. Сейчас, подождите: вот взмахну рукой— и весь этот бред исчезнет. Надо только сдвинуться с места, надо только заставить себя...

Не долго думая, я решил для начала опустить руки... Не колеблясь ни секунды, человек выстрелил. Раз! Два! Я почувствовал тупые удары в живот, все еще упрямо не веря, что это происходит со мной на самом деле. Правда, я сразу же упал, но не от этих ударов, а потому, что вдруг почувствовал какую-то непонятную, непреодолимую слабость, которая охватила меня всего изнутри, я не мог с ней ничего поделать. Во мне все кипело, я не хотел сдаваться — ну и вид же у меня будет, фу, как не стыдно! — но, увы, сил больше не было, и, безвольно соскользнув вдоль стены, я обрушился всем телом на каменные холодные плиты. Вдруг ощутил страшный жар в животе. Голова, как бы после долгих раздумий, ударилась наконец об пол.

В эту минуту погас свет. Послышался топот удаляющихся шагов, хлопанье дверей, отдаленные людские крики. Сначала я подумал, что потерял сознание. Черт, совсем забыл! Это же сработал автоматический выключатель. Ведь сам его поставил на пол-четвертого утра, как раз перед обходом. Что ж, теперь можно и не смотреть на часы.

Лежа в темноте, я думал о своей будке, которая осталась там, наверху, о чистых листах бумаги, в беспорядке разбросанных на столе и так ослепительно сверкающих при матовом свете неоновых ламп. Несмотря на кромешную тьму, в которую я провалился, я все это прекрасно видел. Страницы разрывали бездонный мрак, каким-то таинственным образом светились в темноте, возвращая мне всю белизну, которую когда-то в себя впитали. Но и эти блестящие вспышки становились все слабее и слабее. Они плавали в пустоте, как мерцающие призраки. Наконец, остановились, собрались вместе и медленно направились ко мне. Чем ближе они подлетали, тем лучше я видел какие-то расплывчатые строчки, написанные чьим-то сумбурным и неразборчивым почерком. Я узнал его. Это был мой почерк. Он извивался, как змея, перемешивал буквы, вытягивался во все стороны, но не мог оторваться от страницы, от своей опоры. Он корчился, как на дыбе,— несчастная жертва собственного уродства.

Я уносил ее с собой, эту невыносимую муку, эту безутешную печаль. И со мной навсегда оставались самые горькие сожаления — сожаления о собственном несовершенстве. До меня все еще доносились глухой шум города, крики детей, играющих где-то неподалеку. Наверное, там, наверху, уже начался новый день.

Перевод А. СУМБАТЯНА

ПЬЕР БУРЖАД

Мир снов

Заседание муниципального совета подходило к концу, и мы (одиннадцать советников нашей небольшой деревни) собирались закругляться, чтобы по традиции отправиться пропустить по стаканчику вина в кафе «Мэрия», когда господин мэр, спросив, согласно обычаю, не желает ли еще кто-нибудь высказаться, предоставил слово робко поднявшему руку Элии Деллевье, служащему социального страхования на пенсии. Все с удивлением оживились, потому что этот добрый человек, самый усердный посетитель наших заседаний, вместе с тем был невероятно молчалив. Деллевье нерешительно помедлил, откашлялся, прочищая голос, и совсем тихо, так, что мы едва его расслышали, предложил: «Но почему бы нам в конце концов не сделать общим достоянием наши сны?»

До сих пор я без всяких усилий представляю себе картину заседания, которое — сегодня об этом известно всем — имело столь большие последствия для жизни нашей маленькой коммуны: советники изумленно повернулись к Деллевье, тот опустился на стул, покраснев, как рак, а господин мэр — он был глуховат,— наклонившись через стол и поднеся к уху сложенную раковиной ладонь, спросил: «Сделать общим достоянием... что?»

Да, сцена эта всплывает передо мной сама собой, врезавшись в память, словно полотно Рембрандта. Тускло освещенный зал (уже совсем стемнело, а горела лишь одна лампочка), мертвенно-бледные лица участников заседания, устремленные на только что выступившего оратора, сам он, откинувшийся на спинку стула, и его лицо, наполовину скрытое в темноте. Мы даже отдаленно не представляли себе, куда все это нас заведет! Деллевье разъяснил свою мысль, состоялось обсуждение; все высказались, а затем перешли к голосованию, и предложение было принято большинством в 7 голосов (против 4), и мы разошлись... в пять часов утра.

Известно, что я голосовал против, но, подчинившись, следуя демократическому духу, мнению большинства, впоследствии принял участие в осуществлении этого предложения. Следовательно, я могу рассказать о нем в том виде, в каком оно было представлено на наше рассмотрение, совершенно объективно.

Деллевье исходил из мысли, в общем-то весьма банальной, что сны, которые представляют собой одно из главных проявлений активности человеческого разума, вместе с тем являются одним из самых бесполезных его проявлений. Быть может, даже самым бесполезным. Разумеется, игра, если воспользоваться общеизвестным примером,— тоже бесполезная активность, но человек сумел создать вокруг нее сеть прибыльных отраслей, а это привело к тому, что игра, сама по себе никчемная, в действительности приносит пользу многим: руководители спортивных обществ, управляющие светских клубов, владельцы бильярдных залов, хозяева казино охотно со мной согласятся.

Сны же, в противоположность игре, никак не используются. Более того — и это всего хуже,— сон, который представляет собой одно из наименее эгоистических проявлений активности человеческого разума (редко снишься только самому себе, часто, если не сказать всегда, мы снимся себе вместе с другими людьми), является также одним из наиболее эгоистических его проявлений. Быть может, даже самым эгоистическим. Миллиарды снов, которые рождаются и существуют, теряются навсегда. Разве не достойно сожаления подобное расточительство? Какой-нибудь сон, приснившийся Жану, смог бы развлечь, приободрить, принести счастье Пьеру. Отсюда следовал вывод: почему бы не сделать наши сны общим достоянием? Из этого могли бы извлечь пользу не только отдельные жители нашей деревни, но и, кто знает, вся наша община.

Таковы были доводы Элии Деллевье.

Маленькая деревня, о которой я рассказываю, называется Сор. Расположена она на юго-востоке департамента Ланд, в районе, некогда носившем название «гасконские ланды»,— обширной равнине, где царствуют песок, безлюдность и ветер. Населенная сотней жителей, в большинстве пенсионеров или лесников (сам я ушел на пенсию из министерства национального образования, тридцать лет проработав на дополнительных курсах для девушек в Монде-Марсане, главном городе департамента), деревня

раскинулась более чем на шести тысячах гектаров, которые поросли густым сосновым бором с просторными песчаными полянами.

На одной из этих полян, под сенью близлежащего леса, мы и решили по прошествии трех месяцев устроить «деревню снов», превратившуюся впоследствии — при обстоятельствах, которые всем известны,— в нечто совсем иное; но кто бы смог это предвидеть?

Обобществление снов (я расскажу обо всем по порядку) не поставило перед нами проблем. Жители деревни, которые были с ним согласны, а согласны были почти все, усвоили привычку собираться раз в неделю, по четвергам вечером, в зале муниципального совета, и каждый на свой лад рассказывал сны, приснившиеся ему за прошедшие семь дней. Потом наскоро проводили голосование, отбирая из них самые интересные, и секретарь мэрии, чья преданность делу заслуживает глубокого уважения, сразу же заносил их в большую книгу записей, которая предоставлялась во всеобщее распоряжение. Итак, отныне можно было наслаждаться снами других людей, и жители деревни себе в этом не отказывали. Так прошло два или три месяца.

Благословенное было время! Обобществление снов мгновенно оказало счастливое воздействие на жизнь нашей маленькой общины. Ознакомившись с тем, что видел во сне тот или иной человек, мы лучше его узнавали, чувствовали себя гораздо ближе к нему. Какая деревня не страдает от конфликтов и вражды? Теперь они поутихли. Мы увидели, как даже люди, которые годами не разговаривали друг с другом (например, Амбруаз Дюкасс, что держал кафе «Мэрия», и Фелисьен Толь, что торговал смолой в горшочках), заводили долгие беседы, став неразлучными друзьми... и все оттого, что им привиделся одинаковый сон. «Мне кажется, мой дорогой, сон, подобно музыке, смягчает нравы»,— сказал мне, выходя после собрания в четверг и нежно взяв меня под локоть (раньше он никогда не позволил бы себе подобного жеста), господин мэр, по складу ума склонный к назидательным сентенциям. Мне ничего не оставалось, как мягко с ним согласиться. В следующий четверг, когда секретарь мэрии заканчивал запись последнего рассказанного сна, Элия Деллевье, который на несколько минут, казалось, погрузился в раздумье, глубоко вздохнул и тихим голосом спросил: «Я не понимаю, почему нам, в конце концов, вместо того чтобы довольствоваться записью наших снов, не попытаться построить для тех, что населяют покой наших ночей, загон, где эти существа могли бы жить своей собственной жизнью?»

И возникла «деревня снов». Поначалу это был всего лишь загон площадью в несколько сот квадратных метров, который мы огородили сосновыми колышками, совсем близко от деревни, на уютной поляне, в месте, где еще оставалось несколько хижин лесорубов — следы того слишком далекого времени, когда деревня жила куда более активной хозяйственной жизнью. Первые персонажи из снов жили там мирно, без всяких происшествий, выходя на воздух в предрассветные часы или на закате дня, в сумерках, а в солнечное дневное время боязливо прячась в своих бревенчатых хибарках с крышами из сосновых веток. Не нуждаясь ни в еде, ни в питье, ни в развлечениях, они робко выплывали наружу незадолго до рассвета или с наступлением ночи и оставались в загоне, часто развалясь прямо на земле, и, прикрыв лицо руками, сквозь пальцы смотрели на жителей деревни, которые, не менее оробев (Деллевье советовал нам соблюдать величайшую осторожность), разглядывали их, укрывшись за стволами сосен или густыми кустами вереска.

Я голосовал против этого предложения; как известно, я никогда (из целомудрия? из страха?) не рассказывал своих снов, но, присоединившись к решению большинства, принимал участие в собраниях по четвергам, читал книгу записей, и теперь, когда существовала «деревня снов», мне тоже случалось с самого раннего утра подкарауливать этих мужчин и женщин, пришедших из такого далека (или из такой близи). Хотя, будучи определенным образом совсем похожими на нас (приснись я сам кому-нибудь, в одно прекрасное утро я бы с удивлением узнал среди них самого себя), они были невыразимо другими. В чем заключалось это различие? Вряд ли я сумею объяснить это. Тела их казались более бледными (может быть, я ошибаюсь), жесты совсем неуверенными, создавалось впечатление (истинное или ложное?), что при первом столкновении с чем-нибудь они могут рассыпаться в прах.

Я рассматривал их, лежа за кустом вереска, в тот неопределенный час, когда ночь начинает отступать под еле различимым натиском рассвета. Едва небо бледнело, они боязливо выскальзывали из хижин, молча расхаживали взад-вперед, похожие на образы, которые иногда проплывают перед нами, когда мы закрываем глаза, останав-

ливались, если замечали, что кто-то из нас смотрит на них, и разглядывали его во все глаза, потом, когда свет становился слишком ярким, уходили в хижины так же молча, как и появлялись. Что происходило в хижинах? Чем занимались они там целыми днями? Много я бы дал, чтобы это узнать. Спали ли они? Может быть, им тоже снились сны?

Жители деревни увлеклись этой забавой. Каждый хотел, чтобы его сон был занесен в большую книгу, и каждый желал, чтобы героям его снов разрешили поселиться в «деревне снов». Пришлось расширить загон, который через несколько месяцев превратился в настоящий город, заняв семь полян и несколько квадратных километров леса, где мы вынуждены были построить бараки из готовых конструкций, чтобы предоставить кров этому населению, что вскоре уже насчитывало немалые тысячи «душ». Об этом деле прослышали, оно вызвало невероятную шумиху, люди приезжали осматривать «деревню», или, точнее, «город снов», из соседних деревень и городков, со всей страны, со всего света. Осмотры были платными, наша коммуна менее чем за год сказочно разбогатела; «город снов» был уже огорожен не сосновыми колышками, а стеклянной, высотой в два метра стеной, сквозь которую из тщательно замаскированных наблюдательных кабин и с помощью сильных биноклей, предоставляемых в распоряжение экскурсантов за вполне умеренную дополнительную плату, каждый собственными глазами мог созерцать «мир снов».

«Мир снов»! Ведь речь теперь шла о целом «мире снов». С течением времени «город снов» распространился на огромной площади, кое-кто утверждал, что его территория столь же обширна, как и весь мир Зрелища, которые предлагал «город снов», изменились. Сперва жители нашей деревни проявляли сдержанность, в их снах фигурировало совсем немного персонажей, в большинстве своем всем известных. Но, войдя во вкус, жители нашей деревни стали смелее рассказывать свои сны. «Мир снов» заселился необыкновенными лицами (или событиями). Однажды папаше Уриё, моему ближайшему соседу, владевшему сапожной мастерской, приснилось, будто на охоте он убил тысячу кабанов. Сон сбылся, по ту сторону стеклянной стены мы увидели эту немыслимую бойню. На другой день Фелисьену Толю, старому холостяку, известному своим строгим нравом, привиделось во сне, что он — Сарданапал. На заре следующего дня мы увидели, как из бараков, на свет тусклых лучей восходящего солнца, выходят сотни полуобнаженных, убранных жемчугами женщин, которых поджидали у входа стражники с кривыми саблями.

С этих пор на газеты, кино или телевидение перестали обращать внимание. Какого труда стоило нам распределять билеты туристам со всех концов света, скопившимся здесь, у стеклянной ограды «мира снов»! Не могли же мы сами брать бинокли за деньги, уже давно мы вынуждены были отказаться от того, чтобы приходить туда и наслаждаться зрелищами, которых в действительности увидеть нельзя. Никто больше не работал, не читал газет, не сидел перед телевизорами! «Мир снов» предлагал людям ту привлекательную жизнь, которую не ограничивали ни пространство, ни время, ни запреты каких-либо законов, логики или морали! Правительства усмотрели в этом опасность и, съехавшись отовсюду, собрались в Париж, где решили совещаться до тех пор, пока не отыщут средства против этого смертоносного зла.

Они заседали уже десятый день, когда впервые с того момента, как все это началось, мне приснился сон, который я пожелал видеть внесенным в большую книгу и воплотившимся в действительность. Совсем простой сон. Мне снилось, что мне столько же лет, сколько сегодня, но, однако, я перенесся на сорок лет назад, в Монде-Марсан, в тот самый день, когда я приступил к своим обязанностям преподавателя на дополнительных курсах для девушек. Если быть совсем точным, я вновь увидел сцену, которая длилась не более десяти секунд. Я уже собирался войти в класс, куда меня назначили, как высокая девочка, должно быть лет десяти — двенадцати, которая опаздывала, пробежала по школьному залу к соседнему классу. Взявшись за ручку двери, она повернулась лицом ко мне, взгляды наши встретились, и она вошла в класс. До сих пор в моей памяти не сохранялось даже следа этой сценки, но стоило сну оживить ее, как я отчетливо вспомнил, что так все и было. Лежа в своей постели, я опять увидел глаза девочки-подростка, серые, с каким-то зеленовато-желтым отливом, и с удивительной ясностью ощутил, что эти глаза заставили меня вздрогнуть. Затем я вошел в класс, день прошел своим чередом, как потом и вся жизнь, и больше я никогда об этом не думал.

Сон приснился мне в четверг утром. Вечером, на еженедельном собрании, я коротко рассказал его, он был записан в большую книгу, проголосовали и решили, что он получит право на существование. В пятницу утром перед рассветом я направился в лес, на то место, куда, как мне было известно, мало кто приходил. Едва проникнув в лес и боязливо приблизившись к стене, я заметил, как из барака выскользнула девочка. На ней был черный школьный фартук с красной оборкой, а в руке она несла ранец. Я помахал ей рукой, она кивнула в ответ. Минут десять мы молча разглядывали друг друга, но тут рассвело, она губами шепнула мне «до свидания» и вернулась в барак.

Итак, мы встречались с ней три дня подряд, каждое утро и каждый вечер. Она усаживалась вплотную к стеклянной стене, я делал так же, и мы пытались общаться. Глаза у нее были серые, с легкими зелеными прожилками, которые, если она задумывалась, становились лиловыми, как чернила. Она смотрела на меня с жадностью и нетерпением, и я с болью в сердце предчувствовал (и она тоже, я думаю) мгновение, когда нам придется расстаться.

Правительства сообщили, что «мир снов» представляет собой неодолимое препятствие для мира людей» (так было сказано в коммюнике) и, следовательно, должен быть уничтожен посредством атомной бомбардировки послезавтра в полдень, в среду. (Это время было выбрано потому, объясняли комментаторы, что в этот час громадные массы населения «мира снов» находятся в бараках; летчикам не придется переживать неприятные ощущения от того, что они бросают бомбы по «человеческим» мишеням, и можно быть уверенным, что ни одно из этих порождений «снов» не уцелеет.) Вечером во вторник я передал девочке через стеклянную стену записку, где сообщал ей о принятом решении и писал о своем намерении спасти ее. На рассвете я выкопаю в песке, под стеклянной стеной, ход, через который она, покинув барак, сможет сбежать из «деревни снов». Она кивнула мне в знак согласия. Ее глаза сверкали от нетерпения и, как мне почудилось, любви.

Ночь была долгой. За сутки вокруг всей стеклянной ограды возвели прикрытые мощными стенами трибуны, которые должны были дать возможность миллионам собравшихся сюда туристам присутствовать при этом событии. Теле- и радиостанции без конца передавали военные гимны (о них, казалось, навсегда забыли), которые иногда прерывались заявлением какого-нибудь поэта, тщетно предостерегающего правительства от этого акта, чьи последствия трудно было даже вообразить.

Я не спал. Около четырех часов утра я уже находился у стеклянной стены и начал прорывать ход. Песок поддавался трудно, его скрепляли корни сосен, что меня удивило, и я продвигался гораздо медленнее, чем мне того хотелось. Но девочка была худенькой, не требовалось прорывать большой дыры, чтобы она выбралась наружу. В шесть часов десять минут ночь как-то незаметно прояснилась, затем послышалась трель соловья и небо посветлело. Из-за бараков появилась девочка. Черный фартук делал ее едва различимой. Она подошла к стеклянной стене, я разглядел ее лицо и глаза. «У меня почти все готово»,— сказал я, словно успокаивая себя. И чтобы показать, куда она должна лезть, я просунул свою руку в дыру. Она присела, пальцы наши сомкнулись, но вдруг все озарила ослепительная вспышка, и «мир снов» перестал существовать.

Перевод ЛЬВА ТОКАРЕВА

НЕЛЛИ СТЕФАН

Человек, который разучился читать

Это случилось однажды вечером, когда он читал газету. Вернее, когда, просматривая газету, он задремал. Был самый обыкновенный день, который, как всегда, принес уйму самых захватывающих и трагических известий: убийства и изнасилования, захваты заложников и смертные казни, землетрясения и цунами; самые разнообразные происшествия до краев заполнили последние сутки, не говоря уже о безработице, инфляции и повышении цен на нефть. Конечно, все эти злосчастья и кошмары происходили с разными людьми, но они повторялись изо дня в день, а это раздражало и давило на мозги точно так же, как давит на желудок плохо переваренная пища. В конце концов становилось противно и скуч-

но. Да, можно себе представить, как вешают человека: вот затягивается узел, вылетает табурет, начинаются судороги, трещат позвонки, вываливается язык, дергаются руки и ноги, но когда вешают десять, двадцать человек? Смерти следовали одна за другой, как на конвейере, и все быстро забывали об очередной жертве. Жизнь человека значила очень много и не значила ничего.

От жары ли, усталости или слишком плотного обеда — в общем, он закрыл глаза и даже не заметил, как начал думать о чем-то совершенно постороннем, а не о том, что писали газеты. Очнулся от резкого толчка: голова, что ли закружилась, даже газету уронил. Со стула не упал? Да нет, не похоже. В первую минуту он даже не мог понять, давно ли спит, и вообще, спит или бодрствует. Все забыл: число, день, месяц, год. Забыл, утро сейчас или вечер. Забыл даже, где находится: в постели или кресле. Наконец, понемногу пришел в себя. Итак, все-таки вечер, но что за вечер, откуда? Он что, уже поужинал? В комнате стало темнее. Прищурился, сел прямо и привычным жестом снова раскрыл газету.

Неужели это все та же? Но здесь какие-то непонятные буковки, очень странные, если не сказать больше — иностранные. Окажись перед его глазами любая другая газета: греческая или русская, арабская или еврейская, он удивился бы гораздо меньше.

Потянулся, потер затекший затылок, повертел газету в руках, перевернул страницу. Да, похоже, весь номер от начала до конца написан на языке, который ему совершенно неизвестен. А если ошибся и купил не ту газету? Нет, быть не может, ведь он только что ее читал безо всякого труда. Значит, это розыгрыш — пока он спал, кто-то взял да и подсунул другую газету. Рассмеялся, настолько эта мысль показалась нелепой. С тех пор как умерла жена, он жил совсем одиноко. Лишь изредка навещал племянник, но тот всегда предупреждал о своем приходе.

Может, он ее не так держит? Нет, все правильно. Наверное, стал просто хуже видеть: ведь уже вечер, совсем темно. Да, конечно, глаза утомились — но почему так резко? А вдруг ослеп? Спокойно, вот ладонь, плечо, ручка кресла — он все это по-прежнему прекрасно видит, и буфет, и картину напротив. На ней были изображены три чопорных, строго одетых господина. Картина осталась от родителей, и с ней были связаны ясные детские воспоминания. Нет, вокруг ничего не изменилось. Просто надо признать очевидное: он утратил способность читать. Да, разучился читать.

При этой мысли ему стало смешно. Потом страшно. Потом он просто ее отбросил: слишком это невероятно. Но другого объяснения не было. Разве можно отрицать то, о чем говорят тебе органы чувств? Хорошо, тогда согласимся. Пока согласимся. Еще несколько попыток и проверок — и он окончательно убедился в этом. Между прочим, величина букв была здесь совершенно ни при чем: с одинаковым успехом он не мог прочесть ни названия статей, напечатанные крупными буквами, ни сами статьи. Кстати, они смахивали на иероглифы, эти буквы. В общем, самая настоящая китайская грамота.

Странное увечье, если это, конечно, можно считать увечьем. Честно говоря, сначала он не придал этому событию ровно никакого значения. Так, временное недомогание, минутная слабость. Какие они нехорошие, не глаза, конечно, а буквы, которые все перемешались, перепутались, а в результате — пожалуйста, абракадабра какая-то. Ничего, нормальное зрение вернется завтра утром, с первыми лучами солнца, с наступлением нового дня, после глубокого целебного сна. Интересно, а сколько сейчас времени?

У него не хватило духу поднять глаза и посмотреть на часы. Мало ли, вдруг разучился определять время по стрелкам? Ладно, обойдемся и так. Он лег и быстро уснул. Спал долго и спокойно. Ничто не тревожило его сон: буквы не плясали перед глазами, ветер не вырывал газет из рук, и даже двери, открывать которые не разрешается под страхом смертной казни — «Посторонним вход строго воспрещен!» — не били его по лбу.

На следующее утро он спокойно встал, тщательно умылся, приготовил завтрак и без всякой спешки, с аппетитом съел его, стараясь как можно дальше оттянуть минуту, когда придется попробовать еще раз. Наконец убрал посуду и разложил газету на кухонном столе. Было светло и солнечно. Посмотрел. Фотография попалась не очень хорошая, не говоря уже о качестве самой бумаги, так что понять, что на ней изображено, было довольно сложно. Внизу подпись: г-н Картер. А, значит, все-таки прочитал? Увы, себя не обманешь. Конечно, он узнал президента Соединенных Шта-

тов по фотографии. А вот прочесть по буквам его имя и фамилии его собеседников уже не мог.

Все это, конечно, было очень странно, но отнюдь не могло помешать ему отправиться, как обычно, в магазин. Кочан капусты, полкило лука, десяток апельсинов — что еще надо человеку в его возрасте. Смотри себе на весы, считай сдачу, вот и вся забота. Кстати, продавец его никогда не обманывал. И потом, всегда можно сделать вид, что чего-то не расслышал, и переспросить. А деньги, деньги удобно различать по цвету и размеру. С этим нехитрым делом и ребенок бы справился.

Ребенок... когда-то он тоже был ребенком, которого окружали взрослые, постоянно что-то читавшие. Он так хотел быть похожим на них, что, не зная азбуки, хватал газету, вертел в разные стороны и громко, чтобы все слышали, цедил сквозь зубы слова: дескать, смотрите, сам читать умею. А на самом деле видел лишь маленькие черные пятнышки, рассыпанные по всему листу. Детские воспоминания остаются надолго. Тогда он буквально изнывал от любопытства: что же скрывается там, за этими строчками? Очень хотелось научиться читать. Читать и, как все, получать наслаждение, какая разница от чего. Читать. Ему же читали вслух разные сказки, значит, наступит день, когда он будет читать сам, без всякой помощи. Мальчик смутно догадывался, что они станут совсем другими, эти сказки. Конечно, их можно читать громко, во весь голос, но все равно уже не будет такого человека, который сидел бы рядом, переживал бы и радовался вместе с тобой. А потом и писать научится, будет сам выводить эти странные знаки, эти загадочные существа из чернил на бумаге, таящие в себе столько непонятного и опасного. Однажды попробовав, он завалил всю квартиру своими художествами, но окружающие не могли разобраться в этих каракулях, не могли понять его, поскольку не владели ключом и не знали шифра. А может, это он не мог понять их?

Интересно, а писать-то он еще умеет? Решил попробовать. Твердой рукой аккуратно и четко вывел сначала Ж, потом А и Н. Его так зовут — Жан. Вроде бы все буквы на месте, но как проверить? Конечно, эта волнистая линия значила Жан, ведь хотелось написать именно это имя. Но, увы, прочитать его не сумел: он сохранил ключ, но потерял замок.

Итак, временно он смирился со своим новым качеством. Что ж, надо прикинуть, чем все это может обернуться, и постараться что-нибудь придумать. С обычными делами он справлялся довольно легко: ходил в магазин, ездил в автобусе, гулял. Правда, это стало занимать чуть больше времени, но, извините, возраст уже не тот. В магазине делал вид, что рассматривает ценники, а сам тем временем ощупывал и трогал товары, до которых мог дотянуться. Он напоминал себе рабочего-иммигранта, плохо владеющего языком страны, в которой вдруг очутился. Кто-то из покупателей пытался помочь, кто-то, наоборот, отпихнуть — в общем, все было, как обычно.

Оказалось, на улице тоже бояться нечего. В городе у него были свои, годами выверенные маршруты. Правда, иногда в автобусе на него цыкал кто-нибудь из тех, что вечно торопятся, а однажды какая-то женщина безжалостно бросила: «Вы что, читать не умеете?» Не нашелся что ответить.

Специально делал крюк, чтобы обойти газетный киоск. Там был знакомый продавец, который ни за что бы не поверил его жалким объяснениям: дескать, старею, зрение уже не то. Чего там: обычный старый жмот, небось роется в урнах, ищет газеты, и все ради нескольких грошей. Тьфу! О последних событиях узнавал по радио. А в остальном старался больше разговаривать с людьми, только это и выручало.

Разумеется, никому не рассказывал о случившемся. Почему-то стеснялся, как какой-то постыдной болезни, которую подцепил по собственной глупости. Не хотел ничьей жалости, ничьих советов. Обратиться к врачу? Но ведь есть еще надежда, что способность читать вернется. Вернется так же неожиданно и таинственно, как исчезла. Большего и не просил. Ну а пока можно пофантазировать: я — странник, которого занесло на такую далекую землю, что выбраться оттуда очень трудно, если вообще возможно. Иногда он мог себе позволить поужинать в ресторане. Меню знал наизусть: еще бы, столько лет прошло. А в резерве всегда был спасительный ход: простите, очки забыл дома.

Так ли уж это необходимо — уметь читать? Читать афиши, разбирать счета... счета, которые, хочешь того или нет, все равно должен оплатить. Растения, животные, птицы читать не умеют. Некоторые жители нашей планеты тоже. Значит, таких, как

он, много. Что ж, ты отлично устроился, молодец! А как же радость, которую нам доставляют книги? Хм... Да, его голова буквально трещала от всяких образов и картин, от отдельных слов и целых предложений, подобранных неизвестно где, от поговорок, таблицы умножения, одной-двух басен Лафонтена да еще от каких-то отрывочных сведений по всем отраслям знания. Ничего надежного, прочного, полезного. А, что жизнь, какая от нее может быть польза? Кому он нужен с тех пор, как вышел на пенсию, как умерла жена, оставив его одного — назло статистике, которая утверждает, будто бы женщины живут дольше. Еще одна из тех глупостей, о которых без конца твердят газеты. Что ж, к счастью или к сожалению, но со всей этой мишурой покончено навсегда.

К счастью, потому что не будет больше пустых речей, предвыборных обещаний, новостей о катастрофах и прочих несчастьях. К сожалению, потому что не будет ни стихов, ни любовных писем (это ему, кстати, совсем не грозит), ни тех нескольких книг, что удалось собрать. Он редко покупал новые книги, а все больше перечитывал старые. Каждая имела свой собственный аромат, свое время года. Эту — лучше читать осенью, когда опадает листва, а эту — перед рождеством. А что, если попробовать просто перелистать страницы? Может, он вновь услышит голоса своих книг, вспомнит любимый цвет или запах?

Ничего, зима еще не скоро. А летом люди читают мало. Он, например, так и не читал вовсе. Море, пляжи, путешествия — это не для него: слишком дорого. Зато ему нравилось просто сидеть на лавочке в городском саду и наблюдать за людьми. «Свежая газета, не желаете?» — «Нет, спасибо». А вокруг — беготня, игры, крики, смех. От книг никогда не получаешь такого наслаждения. И молодая женщина, та, что сидела рядом, была так хороша. Он представлял ее в своих объятьях, чувствовал ласковые прикосновения маленьких рук — очнись, старый, ты что, она же замужем, вон ее ребенок. Достала из сумки книжку комиксов. Она умеет читать! Ребенок был тоже как раз в том возрасте, когда дети, заикаясь и мямля, учатся читать по складам. «Мама, а что здесь написано?» Пока что он увлеченно делал куличики и пересыпал песок из одной руки в другую, пропуская его сквозь пальцы. «А, собираешься стащить у мамочки несколько страниц из книжки и украсить свой пирожок? Молодец! Возьмика лучше камушек — будет вместо ореха».

Ребенок не понял. Женщина немного отодвинулась. Он встал, неловко поклонился. Ему тут не место. Наверное, надо было представиться, попросить извинения, попробовать объясниться? Ладно. Да, играть тоже разучился. Посмотрим, что будет дальше. Надо же, напугал ребенка.

Хотя нет, ребенок как раз не испугался. Испугалась мать. Ей показалось, будто им что-то грозит. Больше он никогда не сядет на эту скамейку возле песочницы. Никогда не придет в этот сад. И в другой — тоже.

Медленно вернулся домой, выбирая самые безлюдные улочки. Как ребенок старается научиться читать, так он старался разучиться. Что, проверим, насколько прочны только что полученные незнания? Гостиница «Бретань». Вывеска блестела на фасаде. Как же, прекрасно помню. А вдруг за ночь гостиницу переименовали, и она теперь называется «Нормандия»? Гараж. Прачечная. Ну, тут легче: достаточно просто взглянуть на машины и вдохнуть здешний воздух. А вот как быть с фамилиями врачей и адвокатов, красующимися на латунных и мраморных табличках? Ведь такие таблички — это целая инструкция для передвижения по улицам; она так же необходима, как, допустим, инструкция по пользованию любым бытовым прибором или лекарством.

Кстати, о бумажках: получил письмо. От кого — неизвестно. Несколько дней боялся открывать ящик. Но ярко-белый конверт как бы дразнил: «Возьми, возьми же меня скорее». Интересно, сумеет ли он, не зная содержания, только по почерку угадать, кто автор письма? А, конечно, племянник. Он наверняка предупреждал, что скоро зайдет в гости, и, похоже, рассчитывал остаться пообедать. Но когда его ждать, вот вопрос?

Распечатав конверт, взял письмо в руки, повертел, посмотрел на свет. Бесполезно. А где-то там обязательно указаны число и время. Можно представить, как он будет зол, когда увидит, что к его приходу ничего не готово. Сказаться больным и никого не принимать? Тоже не дело. И уж тем более делать вид, будто не получал этого письма. «Сами знаете, транспорт работает плохо, повсюду забастовки, почтальоны вообще ничего не делают». Жалкое извинение. Племянник обидится и больше

никогда не придет. Но как объяснить, что вот так, сразу... Он молод и не поймет. Еще подумает, будто над ним смеются. Решит, что дядя стал просто вредным старикашкой, впал, видите ли, в детство, голова-то совсем уже не варит.

И действительно, с головой что-то случилось. Увы, так бывает: стоит только появиться еле заметной трещинке в самом прочном сосуде, как из него тут же вытекает вся вода. А еще ему казалось, что дверь слишком крепко заперта. Да, да, она же заварена автогеном, дверь сейфа, в котором навсегда остались замурованными все буквы, слоги, слова.

Заполните этот бланк. Подпись клиента. Сколько раз автоматически, не задумываясь, он проделывал этот жест. Но как поступить сейчас: признаться в собственной беспомощности и попросить служащего заполнить бланк вместо себя? А подпись, подпись-то еще помнит, или придется ставить крестик? Кстати, как его зовут? Как правильно пишется его имя? Жан Русселье, два С и два Л, нет одно Л. Наверное, все-таки одно. Но как проверить?

Поискал глазами клочок бумаги, карандаш. В доме не осталось ни одной газеты: он в них заворачивал мусор. Наконец вспомнил: где-то там, на задней полке шкафа, хранится пачка старых писем и несколько конвертов. А ведь еще совсем недавно сам писал племяннику и благодарил за новогодние поздравления. Если хорошо поискать, то можно найти пузырек чернил и старую ручку.

Но почему-то он не спешил. Что-то подсказывало: не торопись, посмотри-ка лучше, что сейчас произойдет.

Глаза медленно, медленно опустились на руки. Десять пальцев с костлявыми фалангами. Десять кривоватых пальцев, слегка распухших от ревматизма. Те, что на левой руке, слабы и беспомощны, те, что на правой, сильны и ловки в любой работе: от самой грубой до самой тонкой.

Нет, это невозможно. Хотя почему нет? Отныне все возможно. Внимательно посмотрел на руки и увидел. С пальцами произошло нечто странное. Это были уже не пальцы человека, а когтистые лапы какого-то жуткого чудовища.

Перевод А. СУМБАТЯНА

РОБЕР АНДРЕ

Не ведая ни дня своего, ни часа...

Некоторые мои друзья в провинции нет-нет да начинают расспрашивать меня о новостях, как они выражаются, «парижской жизни». Они тоскуют. Их преследует чувство, будто они обречены на умирание, забвение.

Мне хочется возразить им, сказать, как они неправы, доказательством чему может послужить диалог, так часто всеми слышанный:

— Неужели? Умер! Невероятно! Но каким образом? Вы его видели в последнее время?

— Да нет, уже несколько месяцев не видел. По-моему, в последний раз мы с ним встретились у Х,, но я не уверен. Вчера были похороны.

— Вчера... Ну, прийти я все равно бы не мог...

Скорбное покачивание головой, гримаса сочувствия и все — пузырь лопнул, растворился в суетной болтовне. И вскоре никто об этом и не упоминает. В провинции, которую вы считаете косной, кончина по крайней мере происходит не столь скоропалительно и обставляется более достойным образом.

Так вот. Несколько лет я прожил в небольшом селении в департаменте Марны, и когда кто-нибудь умирал, не было случая, чтобы меня не уведомляли об этом способом, который, по размышлении, представляется несколько странным.

Накануне дня похорон как по волшебству появлялась женщина весьма преклонного возраста, она брела от двери к двери, стучала, объявляла о случившемся и для большей точности вручала извещение — листок в траурной рамке со всеми необходимыми указаниями относительно похорон. Я жил на первом этаже, и потому ее появление обычно выглядело весьма внушительно. Сначала лишь тишина и сонный городок за окном, потом шаги и постукивание палки о тротуар: ток-ток, а немного спустя в окне возникает черный силуэт — согбенная фигура еле ковыляет, за шумным

астматическим дыханием едва различим голос, почти без выражения, как автомат, он произносит: «Завтра все на проводы такого-то», и не останавливаясь, не удостаивая вас взглядом, словно и сама уже покинула сообщество живых, бормоча что-то себе под нос, посланница вынимает из ветхой корзинки извещение и бросает его в окно, если оно открыто, или подсовывает под дверь. Слышно, как она шебуршится еще с минуту, а потом «ток-ток» возобновляется, становится глуше, затихает, и никогда больше, вне подобных чрезвычайных обстоятельств, вам не встречается эта дряхлая вестница, на память о которой я долгое время сохранял ее извещения, прикрепляя их к столбу винтовой лестницы, ведущей в мое жилище,— список тех, кто ушел, пока я был там, а те, что остались, проводив покойников, и сами не преминули потом отправиться вслед за ними.

Я приветствую этот сельский обычай, ибо он выражает солидарность, понимание предначертанного нам всем удела, и тем более я приветствую его теперь — ведь если я пустился в подобные рассуждения, то лишь потому, что и мне, как многим другим, довелось недавно побывать на кладбище. Я счел своим долгом проводить в последний путь человека, скончавшегося по-городскому — совершенно незаметно, то есть той смертью, которая ожидает всех нас, живущих в больших городах, где и кладбище — целый город, в котором, чтобы отыскать могилу, необходимо свериться с планом, врученным вам за определенную мзду у входа — то есть у выхода с Пер-Лашез... Однако я забегаю вперед.

Человек, которому мне хочется воздать здесь как бы последний долг, был одним из тех, кого можно встретить на этих парижских сборищах, по которым вы так тоскуете, а подчас и в коридорах издательств.

Представьте себе — здесь я усилием памяти вызову к жизни нечто, что подхлестнет и одновременно разочарует ваше воображение,— все метафоры вертятся вокруг невидимого,— представьте себе в разгар солнечного июньского утра человека картинной наружности: большой, что, однако, не означает «тучный», но с солидным брюшком, нисколько не портящим его облика, а сообщающим ему внушительную величавость, которая, вкупе с немного старомодной изысканностью в одежде, лишь усиливает впечатление оригинальности. Это царственное брюшко облачено в пальто верблюжьей шерсти, почти всегда — лето ли, зима — наглухо застегнутое, под ним — костюм, как признавался он сам, сшитый на заказ, попеременно — темно-серый или коричневатый, рубашка, только белая — с слабонакрахмаленным воротничком и целый набор разноцветных галстуков, всегда красиво прихваченных булавкой с жемчужной головкой, лакированные черные ботинки, а если взгляд переметнется выше — трость в руке, затянутой в лайку или замшу, другая рука украшена массивным перстнем; еще выше грудь, шея, длинная и крепкая, примечательная плавным, без изгиба, переходом ее в череп. Говорят, что это анатомическая особенность характерна для евреев. Не стану спорить. Отто Брюкке и вправду был немецким евреем.

Представьте себе далее, как это вам ни утомительно, но тщательный портрет для меня в данном случае крайне важен,— представьте себе редеющие светлые, соломенного цвета волосы, посеребренные на висках, приглаженные и разделенные косым пробором, высокий лоб вздымается над прямым крупным носом, серо-голубые глаза с бровями и ресницами альбиноса, довольно густыми, румянец, черты правильные, тонкие, выражают чаще всего приветливость, которая лишь иногда уступает место гримасе гнева, сопровождаясь жестами, прорывающими броню обычной въевшейся в плоть и кровь благовоспитанности, как-то — яростно стучать о землю кончиком трости. Слишком долго копившаяся досада тогда переливается через край. А однажды я издали видел, как он гневно колотит по прилавку газетного торговца, не проявившего, по его мнению, достаточной расторопности.

Думаю, что я ничего не упустил, дав вам, хотя слова порой и бессильны заставить нас увидеть, достаточно точный портрет Отто Брюкке, как уже сказано, немецкого, или, чтобы быть совсем уже точным, берлинского, еврея. Позднее я не раз встречу на улицах его родного города этот тип внешности, который издали будет пронзать меня сходством, словно я вижу его двойника или призрак.

Отто был литератором и всегда стеснялся этого занятия, на которое его случайно толкнула жизнь. Оно казалось ему ниже его достоинства, и в разговорах он никогда не упускал случая подчеркнуть разницу между человеком и профессией.

Наша первая встреча произошла в ресторане, где он был постоянным посетителем. Мы должны были там пообедать в обществе писателя Анри Тома. Однако писатель не

пришел. Оказавшись со мной с глазу на глаз, Отто принялся меня развлекать описаниями своих многочисленных жизненных невзгод. По его рассказам он сразу же показался мне натурой неистовой и в то же время педантом. Он жил в небольшом отеле возле Люксембургского сада. Из медицинских соображений, а также соображений экономии он имел обыкновение пропускать все трапезы до самого обеда.

По утрам он читал, а послеполуденные часы отводил на поездки к издателям. Вечерами, между десятью и двенадцатью, он писал рецензии на прочитанное. Он разрешал себе лишь два излишества: элегантную одежду и поездки в такси.

Такое количество подробностей может показаться чрезмерным, и так оно и есть, однако сумма жизненных подробностей — это все, чем я располагаю, чтобы попытаться, насколько это возможно, определить, что же в них подтолкнуло его к принятию рокового решения. Так, поначалу я думал, что известную роль тут сыграли материальные трудности, но я ошибался. Впоследствии я понял, что деньги были для него скорее символом утраченного благополучия. Печальная цепь злоключений—вот истинная судьба немецкого еврея в эпоху между двумя войнами. Вам эти злоключения известны: как и большинству его единоверцев, Отто пришлось эмигрировать, его имущество было полностью конфисковано. В 1939 году угроза ареста заставила его покинуть Францию и обосноваться в испанском Марокко, где власти тут же поспешили исправить небрежность французского правительства, допустившего побег.

Жизнь, являющая собой с некоторых пор, с возраста, когда судьба уже во многом определилась, цепь катастроф, оставляет мало надежды избегнуть их в дальнейшем.

Завоевавший по прошествии всех этих несчастий лишь право на жизнь, Брюкке считал свое положение неудовлетворительным, почти постыдным, и в разговорах беспрестанно возвращался к счастливым временам, вспоминая исчезнувший Берлин эпохи Веймарской республики, общение с литературными знаменитостями, собиравшимися в кофейнях за столиками, которые по-немецки носят название Stammtische [1]. Несколько лет он ждал от нового германского правительства выплаты компенсации за утрату имущества — такая выплата была предусмотрена законами нового государства, но приходилось считаться с обычными чиновничьими проволочками, и снова он метал громы и молнии. Итак, обычными для немецкой администрации черепашьими темпами компенсация была выплачена, что выразилось в сумме, по утверждению Отто, никак не соразмерной причиненному ущербу.

Редко до того дня приходилось мне видеть человека в такой ярости, он призывал все возможные немедленные кары, вплоть до казни через повешение, на головы почтенных и исполнительных чиновников, которые обеспечили ему, впервые за много лет, сносное существование. Я уже не помню точной суммы, однако хорошо помню, что именно после того, как дело его было сдано в архив, а компенсация выплачена, Отто Брюкке стал поговаривать о смерти.

Мы носим ее в себе задолго до поры, когда приходится подводить итоги; в моем представлении, мы заключаем договор, как бы тайный союз, обращаясь к ней примерно в следующих словах:

«Дай мне хотя бы время окончить мои дела, завершить, что начал, выполнить доверенные мне здесь обязанности. А затем, клянусь, делай что хочешь. К чему мне противиться, когда мир сможет обойтись без меня и если я оставлю в нем свой след? Чистая радость жизни есть не что иное, как роскошь, своего рода дар. Отдаю его в твое распоряжение». И часто договор этот соблюдается. Смерть выжидает. С приближением же срока смерть в легком нетерпении шлет предупреждающие сигналы.

Вы, конечно, читали повесть «Деревня» другого экспатрианта, Бунина. Там упоминается об одном мужике — очень старом, но не желавшим смириться, поддаться смерти. Умирая, он просил невестку, если смерть постучится в дверь, сказать, что его нет дома. Он продолжал бунтовать до тех пор, пока не узнал, что родные уже купили ему гроб. Если упорствовать и отказываться умирать дальше, то чем оправдать трату? В конце концов он понял, что уловки бесполезны, если *вышел срок,* как говорили в старину мудрые люди. Правда, их отношение к смерти отличалось от нашего — они не столь противились ее могуществу, ведь их укрепляла вера, теперь пришедшая в упадок. Во всяком случае, немногие пытались оспорить срок. В этом отношении судьба Отто Брюкке отчасти сродни судьбе бунинского мужика: отнюдь не оспаривая срока, он сам укоротил его.

[1] Столы для завсегдатаев *(нем.).*

Вернемся же к ситуации, откуда он с безукоризненной логикой делал соответствующие выводы и подсказавшей ему заключительное решение. Деньги, пришедшие с таким опозданием, да и не бог весть какие деньги, видимо, ничего не меняли. Одинокий, немолодой, он ни перед кем не имел никаких обязательств и не имел будущего. Договор давным-давно был выполнен.

В каком-то отношении он был свободен и — редкая, примечательная особенность — мог потому распорядиться собственной смертью, пригласить ее, когда ему заблагорассудится! *Отныне ничто не изменится.* Оцените всю важность подобного открытия, непонятную снисходительность, которую проявила к вам жизнь, и останется лишь сделать знак, каким надзирательница объявляет конец перемены...

Однажды вечером, сидя в очередном кафе, из тех, где мы обычно встречались за кружечкой баварского пива, ожидая Анри Тома, который, как всегда, обещался прийти и не приходил, после очередных берлинских воспоминаний о столике *завсегдатаев* и очередных проклятий по поводу немецких чиновников, ответственных за выплату его компенсации, он вдруг вытянул руку с перстнем и, несколько раз ударив по столу ладонью, как бы призывая официанта, воскликнул: «Во-первых, я абсолютно ни во что не верю. Нисколечко не верю! — И, отвечая на мой недоуменный взгляд, добавил: — И потом, знаете ли, ожидает лишь ничто...— И косясь на свое брюшко:— Я всего только куча требухи, мешок с дерьмом и ничего больше.— И подняв по-апостольски указательный палец: «Но я делаю должные выводы. Все уже приготовлено».

Смущенный, я подыскивал вежливые слова утешения, но он провел по столу рукой — властным предупреждающим жестом:

— Можете говорить что угодно, я знаю, как поступить,— он опять забарабанил по столу, голос его окреп.— Я же не полный идиот! Мне шестьдесят с лишним, семьи у меня нет, без чего я, правда, и обхожусь отлично. Жизнь утратила для меня всякий интерес: номер в отеле, обслуживание неважное, даже воды горячей по утрам не бывает, как и повсюду во Франции. И беспрестанное чтение романов, предназначенных непросвещенному большинству. Вы можете по крайней мере тут же бросить такой роман в мусорную корзинку. Я же — нет! Я обязан читать все от корки до корки: роман, рецензия, роман... Ну скажите, разве это не дерьмо — такая жизнь? Я в полнейшем дерьме, в нем и останусь до скончания веков! — Вызывающе театральный удар кулаком привлек внимание посетителей и официантов.— А в конце — богадельня. Только я не намерен дожидаться недержания мочи. Когда-нибудь после ужина, не откладывая дела в долгий ящик, возьму снотворное и — хоп! Привет!

Он улыбнулся саркастической, несколько воинственной улыбкой, довольно потер руки, как будто ему удалось сыграть неплохую штуку со своими врагами, и жадно опорожнил кружку...

Подобным громким словам обычно внимаешь вполуха: тот, кто принял решение, не станет кричать о нем на всех углах. Ошибка! К ним надо относиться серьезно. Но что поделаешь? Такова среда — чувства, которых на поверку нет, их искажают нелепые обиды, размолвки, зависть, а главное — равнодушие, чудовищный эгоизм литераторской братии и, наконец, в случае с Брюкке, убеждение, что ничего нельзя изменить. Он был прав, тысячу раз прав, прав со всею очевидностью...

После того вечера и нашего разговора, о котором я вскоре забыл, мы некоторое время не видались. Я даже спрашиваю себя: а что, если бы мы увиделись раньше? Не знаю.

А позавчера мне позвонил наш общий знакомый, который никогда мне не звонит. Он сообщил, что Отто Брюкке сдержал слово и воспользовался накопленным снотворным, призвав к себе смерть и предав, таким образом, известную заповедь, которую все мы учили и обсуждали в лицее.

Знакомый назначил мне и Тома встречу у ворот кладбища.

Если жизнь Отто Брюкке была неудачливой, то — слабое утешение! — он сумел по крайней мере удачно умереть. Но тут я делаю оговорку, маленькую оговорку. Никакой могилы, никакого погребального шествия, никакой облаченной в траур посланницы, разносящей листки с того света,— ничего! Брюкке решил, втайне решил, обратиться в дым. Что, конечно, никак не противоречило его последним словам: «Потом — лишь ничто». Расплывающиеся завитки дыма. Его большому грузному телу, этой куче требухи, не суждено было ждать под плитой и несколькими кубометрами земли трубного гласа, который, если бы он и воспоследовал, несомненно вызвал бы у него ярость. Однако, повторяю, я делаю оговорку, особенно теперь, после того, как церемония соверши-

лась,— единственную оговорку,— как бы я хотел получить возможность описать ему эту церемонию, чтоб он взял свое решение обратно!

Это утро на Пер-Лашез было поистине восхитительным: начало лета, когда не слишком жарко, листва еще нежно-зеленая, повсюду полно зевак. Я опаздывал и, потому не углубляясь в лабиринт аллей, шел прямо к колумбарию, удивленный тем, что у входа никого не оказалось. Крематорий представляет собой массивное сооружение прямоугольной формы с куполообразной, как у мечети, крышей. Минаретами служат две трубы, через которые выходит дым — то черные клубы, то слабая струйка. Какое, однако, странное желание для еврея!

Оглядываюсь, медлю, наконец, ныряю под мраморные, хранящие зимний холод своды и спрашиваю у служителя, не видел ли он тут случайно двух мужчин — Тома и Бланза.

— Тома в столовой. Сейчас полдень. У нас, как и у всех людей на свете, обед.

Брюзжит, как швейцар в министерстве. Объясняю, что мы, несомненно, говорим о разных людях, а также цель своего прихода.

— А, понятно. Эти двое были здесь. Уже ушли. Странная семейка! Ну если пришли, входите. Думали уж не дожидаться никого, начинать. Сюда, пожалуйста.

Он проводит меня дальше, под купол, в глубь сооружения, тускло освещаемого красными оконными витражами.

На стене читаю:

Сейчас мы расстанемся.
Мой путь — это смерть, твой — жизнь.
Чья участь лучше?

Я не могу ответить на этот вопрос. На сводах дырки в форме звезд, вокруг барельефы, изображающие пламя. Перед возвышением ряды кресел — как в театре.

— Садитесь. Вас позовут.

Послушно усаживаюсь в первый ряд. Служитель по боковой лесенке спускается куда-то вниз и исчезает за кулисами. Остаюсь один, смущенно жду. Передо мной на возвышении — стрельчатая ниша, все дверцы которой закрыты, напоминает коробку, задняя стенка имеет выступ и выкрашена в голубой цвет с блестящими точечками — это, должно быть, звездное небо, ниже на стене — фреска: вид города. Небесный Иерусалим? Но почему Иерусалим? Должно быть, я ошибся. Раздаются приглушенные звуки органа, и тут же искусственное небо с искусственными звездами загорается огнями. После десяти минут такой *цветомузыки* все прекращается и сбоку возникает голова и туловище служителя.

— Все. Можете зайти.

Я спускаюсь по ступенькам в выложенный черными мраморными плитами полуподвал и какими-то извилистыми коридорами добираюсь до кирпичной с низким потолком клетушки, где меня ослепляет яркий свет. Очень жарко, и я чувствую странный запах штукатурки и горелой кости. Я вопросительно взглядываю на провожатого.

— Надо вам показать его. Так полагается.

Я едва успеваю недоуменно спросить себя, что же мне могут тут показать, как возникает второй служитель с урной в форме цветочного горшка. Руками в перчатках он держит ее за ручки. Горшок еще дымится. Внутри груда обуглившихся костей, в которых невозможно признать части человеческого скелета.

— Вот!— восклицает служитель деланно бодрым голосом, каким объявляют о начале спортивных состязаний.— Килограмм восемьсот.

— Килограмм восемьсот?— переспрашиваю я, будто мне это крайне интересно.

— Да. В среднем или немногим больше. Основной вес теряется, а весит лишь череп,— поясняет он, как видно, довольный тем, что может продемонстрировать свои познания.— Удивительно, правда? Что состоишь почти из одной воды?

Я вежливо поддакиваю. Я не могу отвести глаз от бесформенной груды останков, в которых вдруг различаю покореженный кусочек металла.

— А это? Что это?

— Ах, это... кольцо... Драгоценности, знаете...

Но он не заканчивает фразы и принимает фальшиво-скорбный вид, словно вдруг вспомнив о своих профессиональных обязанностях. И этот перстень, этот раскаленный

кусочек металла, вдруг вызвал в памяти моей — мгновенно, но четко и ясно образ: лицо, фигура, *требуха* — все то, что я так старательно пытался передать.

Ученый служитель с урной скрылся,

Второй пригласил меня подняться наверх. Я удивлялся солнцу, деревьям, пению птиц, безмятежности кладбищенских аллей. Немного спустя его коллега присоединился к нам, цветочный горшок в его руках сменился маленьким сундучком. Мы отправились теперь длинным, украшенным колоннами коридором, где гуляли сквозняки, а по стенам тянулись бесконечные ряды одинаковых ящичков, наподобие почтовых. Открыв один из них, мы поместили туда сундучок и закрыли его опять. На каждой ячейке имя, даты жизни, номер, иногда перед ней покачивалась ваза с цветами, чаще сухими или искусственными. Служитель выдал мне квитанцию, и я, не читая, сунул ее в бумажник. Я дал ему чаевые, которые были с готовностью приняты, и мы сердечно распрощались друг с другом.

Мое несогласие с усопшим, которое я хотел бы ему выразить, несомненно, имеет источником мою чувствительность и католическое воспитание, но это неважно. Я не согласен, и я высказал бы ему это, даже рискуя рассердить его. Вы не можете себе представить, до чего умиротворяюще действуют на меня старые могилы с их смешными, пышными памятниками. Среди них я чувствую себя как дома. Можно верить или не верить, поклоняться богу, дьяволу или святой деве, но Отто Брюкке, несомненно, совершил ошибку. Самый обычай, само это место, где владычествует сон,— а греки в своем представлении о смерти не случайно путали двух богов,— место, более всего напоминающее цветущий сад, влияет целительно на душу, может быть, потому, что сохраняет частицу души умершего. Я вспоминаю, что все время бормотал себе под нос какую-то бессмысленную фразу, что-то вроде *огонь — это холод*. Я находился возле памятника чудодею Алену Карадеку — украшенного розами святилища, молодая, приятного вида поклонница любовно поглаживала камень.

Я сунул квитанцию в ящик письменного стола. В ней значатся номер ячейки — 9136 и номер секции — 87. Вообще-то квитанцию полагалось бы отдать близким, но никто ее у меня так и не попросил. Кто-то должен же был позаботиться о его прахе. Но кто? Я никогда этого не узнал. И кто знает?

Свидетелями этого жизненного эпизода являются три человека, которых Отто Брюкке так и не сумел объединить, даже на своих похоронах — символичная деталь... Что же касается остальных, то, как вы догадываетесь, происшедшее было для них лишь поводом еще раз воспроизвести с незначительными видоизменениями диалог, образчик которого я привел вам в начале рассказа:

— Давно вы его не встречали?

— Да он же умер!

— Ах, вот как?

И тихий ангел, ангел молчания, пролетает над собравшимися. Мгновенье — и разговор заходит совсем о другом.

Перевод Е. ОСЕНЕВОЙ

Будучи в Париже, наш специальный корреспондент Е. СТОЯНОВСКАЯ обратилась к председателю редакционного комитета журнала «Эроп» Пьеру Гамарра и главному редактору Шарлю Добжинскому с просьбой коротко рассказать о деятельности журнала. Текст их ответов приведен ниже в качестве своего рода послесловия к нашей публикации.

ПЬЕР ГАМАРРА. Собственно говоря, журнал «Эроп» возник именно благодаря Советскому Союзу. Это не лесть, это — правда. Ромен Роллан, основывая в 1923 году журнал «Эроп», думал прежде всего о том, чтобы предоставить его страницы возможно большему числу писателей всего мира, представителям разных литературных течений. В том числе — русским и в ту пору уже советским писателям. Желание Ромена Роллана дать панораму русской литературы в будущем журнале было продиктовано тем, что молодое Советское государство в 20-е годы было окружено военным, политическим, идеологическим кордоном, литераторов Советского Союза не мог услышать никто.

Нас часто упрекают за название журнала. Я сам помню, когда мы с моим другом Шарлем Добжинским, главным редактором журнала, были в Алжире, группа молодых писателей дружески, но довольно настойчиво спрашивала: почему, собственно, «Эроп», а не, скажем, «Третий мир»? Или как-нибудь иначе? Мы ответили, что название журналу дал Ромен Роллан, и мы не считаем себя вправе что-либо менять.

Но Ромен Роллан не ограничивался публикацией в журнале только европейских писателей. Один из номеров, к примеру, был посвящен литературе Индии. У него и в мыслях не было сужать горизонт журнала. Мне кажется, идея создания журнала родилась у Ромена Роллана потому, что он считал необходимым разрушить стену молчания, воздвигнутую вокруг Советского Союза. С тех пор мы всегда старались сохранять верность этой традиции дружбы и мира.

Сегодня редакционный комитет «Эроп» состоит из двадцати человек, придерживающихся различных убеждений. В его составе — коммунисты и некоммунисты, социалисты, беспартийные, католики. Конечно, я не говорю о фашистах, реакционерах — для них у нас нет места. Литературные вкусы членов комитета «Эроп» очень разные. Свидетельство тому — выбор произведений для публикации. Но все это — литераторы, писатели, они объединились, чтобы вести разговор о литературе. И чтобы открыть журнал для писателей всего мира. В этом, на наш взгляд, заключается верность идее мира и сотрудничества.

Десять лет назад мы выпустили номер, посвященный 50-летию нашего журнала. Шарль Добжинский, главный редактор журнала, пересмотрел все выпуски «Эроп» с 1923 года и подготовил для читателей своего рода антологию — далеко не полную, разумеется. Это была замечательная идея. В антологию вошли произведения многих выдающихся писателей мира: Горький, Томас Манн, трудно перечислить всех, лучше перелистать этот номер журнала.

Кое в чем мы расширили поле деятельности по сравнению с нашими предшественниками. Журнал посвящал свои страницы важным политическим событиям — к примеру, войне в Испании,— причем мы не только освещали эти события, но и предоставляли возможность печататься писателям стран, о которых шла речь.

Во время войны журнал не выходил: нацисты запретили его. После 1946 года, по инициативе Луи Арагона и Жана Кассу, «Эроп» возобновляет свое существование. И мы решили продолжать традиции основателей журнала. Во-первых, выпустили четыре специальных номера, посвященных Вьетнаму, номера, посвященные Чили, Пабло Неруде, и др. В то же время мы открыли наш журнал для новых имен современной французской литературы. Многие сегодня хорошо известные писатели дебютировали на страницах «Эроп».

Еще до войны выходили специальные номера «Эроп», посвященные Горькому, Ромену Роллану, Льву Толстому, Гюго, но их было сравнительно мало. Мы же сделали это системой и сейчас в основном ориентируемся на специальные выпуски.

Во главе журнала всегда стояли крупные писатели — Ромен Роллан, Луи Арагон, Жан Геено, Жан Кассу. Нынешний редактор — Шарль Добжинский — талантливый поэт, новеллист, романист. Такова традиция, это не обязательно, конечно, но так получилось, что и наши молодые сотрудники — Жан-Батист Парра, секретарь редакции, и Франсис Комб, ответственный секретарь,— тоже начинающие писатели. У Ф. Комба вышел сборник стихов, а Ж.-Б. Парра заканчивает сейчас роман, очень интересный, по-моему.

ШАРЛЬ ДОБЖИНСКИЙ. Я хотел бы подчеркнуть, что со дня своего основания журнал «Эроп» боролся с шовинизмом — политическим и идеологическим, который часто тормозил культурный обмен между Францией и соседними государствами. Наш журнал показал, что его интересы не ограничиваются только европейскими странами. Если просмотреть каталог «Эроп» со дня его основания, можно увидеть, что мы в равной степени интересовались и литературой стран «третьего мира», в частности многие выпуски были посвящены латиноамериканской культуре. В том числе и странам, литература которых была почти неизвестна во Франции,— например, Парагваю и Колумбии. У нас вышел специальный номер, посвященный литературе Пуэрто-Рико, причем испаноязычной, хотя остров этот является колонией Соединенных Штатов. Там существует сейчас движение интеллектуального сопротивления духовным поработителям. С другой сторо-

ны, мы выпускали номера, посвященные малоизвестным аспектам литературы США, например, поэтам-«объективистам» тридцатых годов.

В силу экономических трудностей мы не можем увеличивать размеры специальных номеров, как то было прежде, поэтому особенное значение приобретает отбор материала. В ближайшее время должен выйти важный и интересный номер о Поле Клоделе. Пьесы его до сих пор широко исполняются на французской сцене; нам удалось привлечь к участию в работе над номером режиссеров, ставивших его пьесы, начиная с Жана-Луи Барро.

Журнал широко читается, в первую очередь студентами и даже лицеистами. На «Эроп» подписываются многие лицеи. Читают его также учителя, молодые университетские преподаватели, много подписчиков у нас и за рубежом. Специальные выпуски журнала мы посвятили детективному жанру, фантастике, научной фантастике, приключенческому роману, классикам этих жанров — Гастону Леру, Эжену Сю, известному в СССР в основном по роману «Парижские тайны».

Конечно, авторов детективных романов нельзя ставить в один ряд с Бальзаком, Стендалем и Гюго, но все же мы считаем, что шкала ценностей должна время от времени пересматриваться — в зависимости от того, что особенно важно в наши дни.

Гамарра уже говорил, что с первых дней своего существования «Эроп» уделял большое внимание литературной жизни Советского Союза. Мы и теперь продолжаем эту традицию: выпустили номера, посвященные Октябрьской революции и советской литературе, а также специальный номер, посвященный национальным литературам Советского Союза (я уже не говорю о таких писателях, как Гоголь, Чехов, Достоевский — русских классиках).

Когда возникла идея специального номера, посвященного Советскому Союзу, мы с Пьером Гамарра приехали в вашу страну, в частности, побывали в Ленинграде, встречались с работниками Института народов Севера; у нас были поразительно интересные беседы — мы собрали материал почти о двадцати народах Сибири и Севера, о которых во Франции практически ничего не было известно.

Сейчас готовим номер, посвященный писателям Грузии. Тут есть свои трудности, но мы надеемся, что в итоге все тексты будут собраны и номер выйдет в свет. Это же касается и произведений прибалтийских авторов. Ведем также переговоры с украинским Союзом писателей. Это пока, конечно, только планы. Мне кажется, что, если во Франции и существует журнал, сделавший действительно много для пропаганды советской литературы, это, безусловно, «Эроп».

Я надеюсь, что «Иностранная литература» видит в «Эроп» друга, который всегда и неустанно интересуется литературным процессом в СССР.

Париж, март 1982 г.

Перевод МАРИИ ЗОНИНОЙ

■

Е. СТЕПАНЯН
К. СТЕПАНЯН

РОБИНЗОНАДЫ ОДИНОКОГО СОЗНАНИЯ

Когда идете, нужно взяться за руки.
Р. П. Уоррен. «Август».

Сейчас, быть может, особенно важна способность литературы научить каждого из нас думать о другом, как о самом себе.
Ч. Айтматов. «Все касается всех».

В наши дни, когда угроза существованию человечества предельно реальна, уже не надо напрягать воображение, чтобы придумать те или иные варианты конца света: он у порога [1]. Вот почему в современных произведениях многих зарубежных авторов — при том, что описывают они обыденную действительность и происходящее почти не выступает за грань реального,— явственно слышен «подземный гул»:

«Мир охвачен страхом... конец близок. Наступило... всеобщее вырождение... и на свет вот-вот явится Антихрист... Изо дня в день все расширяется страшная трещина в почве. Озеро, рыжее от глины озеро, мало-помалу заполняет долину... По мере того как уровень воды в нем изо дня в день поднимается, это безымянное озеро сливается с вздымающимися озерами других долин, пока Альпы не превращаются всего лишь в архипелаг — группу островов и глетчеров, нависающих над морем... Склоны поползли... Долины наполнились бурлящей пеной... Вокруг падают булыжники... ползут змеи, бегут кролики... и ветер дует туда же, унося с собой листья, кастрюли, жестянки, телефоны, оконные рамы, печные трубы, стальные конструкции и канцелярские скрепки... Через час начнется последняя мировая война... и тогда остановится Время».

В этом абзаце соединены цитаты из многих рассматриваемых здесь произведений. Назовем их все: повести швейцарца М. Фриша «Человек появляется в эпоху голоцена» (1979) и западного немца М. Вальзера «По ту сторону любви» (1976), колумбийца Г. Гарсиа Маркеса «Хроника объявленной смерти» (1981) и француза Ж.-Л. Кюртиса «Сады Запада» (1976), романы японца К. Оэ «Объяли меня воды до души моей...» (1973) и «Записки пинчраннера» (1976), норвежца К. Фалдбаккена «Страна заката» (1974) и шведа С. Арнэра «Стать другим человеком» (1972), три американских романа: «Осенний свет» Дж. Гарднера (1977), «Второе пришествие» У. Перси (1980) и «Отель «Нью-Гэмпшир» Дж. Ирвинга (1981) [2]. Как видим, книги эти созданы в последнее десятилетие; за исключением романов У. Перси и Дж. Ирвинга, все они переведены у нас и впервые опубликованы — кроме произведений Дж. Гарднера и С. Арнэра — в «Иностранной литературе».

Конца света люди ожидают уже много веков. Только в новое время провозвестниками конца — Антихристами — назывались поочередно: Наполеон, Гитлер, Киссинджер, Садат, Рейган. Но теперь возник претендент, чьи претензии не могут быть оспорены никем: ядерная бомба в руках безответственных политиканов.

Существует и «запасной» вариант конца человечества — экологический кризис. Согласно мнению буржуазных ученых (тех, кто не учитывает возможности коренной перестройки общества потребления на более разумных началах), если рост населения, индустриализации, загрязнение природы и истощение ресурсов продолжатся сегодняшними темпами, то предельные потенциалы развития будут исчерпаны уже в ближайшее столетие.

В подобных условиях все большее число мыслящих людей на Западе начинает сознавать, что для предотвращения глобальной катастрофы чрезвычайно важно изменить культивируемый капиталистическим миропорядком тип человеческого мышления, основанного на принципиальном различении «я» — «они» (остальные, другие люди). Человек существует лишь благодаря другим людям — это верно и в философском (гносеологическом) плане, и в реально-практическом, и в самом глубинном, бытийном — в плане сохранения жизни на Земле. Но понять это рассудком недостаточно. Осознать, постичь, почувствовать, что «я» — это и есть «они», а «они» — это и есть «я» и иначе принципиально невозможно бытие,— такая задача встает ныне перед каждым.

Закономерно, что минувшее десятилетие стало в общественном сознании — и, следовательно, в литературе — временем особенно напряженного внимания к коренным проблемам бытия. Где основы человечес-

[1] Мы не рассматриваем здесь произведения, трактующие тему «конца света» в русле научной (или ненаучной) фантастики, а также антиутопии, такие, как, например, «Колыбель для кошки» К. Воннегута, «Мальвиль» Р. Мерля. *(Здесь и далее — прим. авторов статьи.)*

[2] В скобках указан год выхода в свет.

кого существования? Насколько прочны связи людей между собой? Что Жизнь может противопоставить Смерти? Никогда еще так остро и беспощадно не обнажалось на Западе всеразъедающее воздействие индивидуализма, не делались попытки найти ему противоядие.

Утверждается понимание важной истины: индивидуализм бессмыслен и губителен прежде всего для самой личности — и не только потому, что, отстранившись от борьбы с грозящей миру опасностью, подписываешь смертный приговор и себе, но и потому, что бес индивидуализма способен покончить с человеком еще до наступления мировой катастрофы. Как проницательно заметила писательница из Великобритании Э. Смит: «*...понятие достоинства и ценности каждой человеческой личности, непомерно разросшееся, превратилось в свою противоположность*... Человек оказывается в замкнутом круге... Индивидуалистическая доктрина таит в себе семена отчаяния...»

Именно эту утрату реальности собственной личности, мира внутри себя и одновременно — как следствие и как причина — мира вне себя и зафиксировала западная литература еще в двадцатых годах нашего века.

> Предполагается... что все существующее ложно.
>
> *С. Арнэр. «Стать другим человеком».*

Два произведения двадцатых годов — новелла «Гриджия» Р. Музиля [3] и роман Г. Гессе «Степной волк» [4] — с разных сторон отражают процессы, разворачивающиеся в одиноком сознании человека Запада: бесконечное дробление человеческого «я», взаимоотражение и взаимоотрицание частиц этого «я», его неокончательность, нестабильность. Без всякого сомнения, человек и должен быть незавершен, с какой-то долей изменчивости, живой непоследовательности в каждый отдельный момент своего бытия. Но в то же время необходимо постоянно соотносить себя и все окружающее с чем-то устойчивым, неизменным — иначе говоря, нужен некий духовный стержень, скрепляющий человеческую жизнь и соединяющий человека с жизнью вокруг, с человечеством. Индивидуалистическое мироощущение предоставить личности подобную скрепу, основу существования не может.

Гомо, герой «Гриджии», едет работать в горы; оторванный от семьи, от привычных условий существования, он переживает изменение всего своего человеческого состава, утрату всех — внешних и внутренних — опор собственной жизни: «...его неотвязно преследовало ощущение, что здешняя жизнь, ясная и пряная не в пример любой прежней, вовсе не реальность, а легкая, воздушная игра...

Меж деревьев с ядовито-зелеными бородами опустился он на колени, раскинул руки, чего никогда не делал прежде в своей жизни, и на душе у него было так, будто в это мгновение у него из рук взяли его самого». Поразительна вариативность описываемого состояния: оно не разделено на «легкую, воздушную игру» и на выход из себя, слияние с чем-то бóльшим, чем сам Гомо. Но *так* смешивать разные стороны бытия очень опасно: они не уживаются вместе, и, в конце концов, игра все захлестывает и самые высокие состояния окрашивает собой, делает отчасти шуточными. Затянувшаяся игра, испытание самого себя и новых условий жизни, связь Гомо с крестьянкой Гриджией кончаются: Гомо умирает мучительной смертью от руки мужа Гриджии.

Ту же психологическую текучесть, бесконечное дробление самого себя и бесконечный поиск возможностей своего «я» видим мы и в «Степном волке» Германа Гессе. Этот роман не дает нам никакого, в сущности, окончательного и положительного знания о герое. Он ищет себя везде — и везде находит. Одинокий, «высоколобый» интеллектуал, он находит себя (но окончательно ли?) и в мире своей подруги Гермины — мире чувственной любви, карнавального травестирования, музыки и танцев. Все, в сущности, относительно в системе ценностей «Степного волка», — правда, выше всего вознесено искусство (сонм «небожителей», среди которых упоминаются Бетховен, Гёте, Моцарт). Гарри — героя «Степного волка» — преследует страшный и прекрасный смех небожителей, но этот смех поражает холодом. Характерно, что в финале романа образ, полный для Гессе несомненного величия, — Моцарт — идентифицируется с образом джазового трубача Пабло, красавца и героя-любовника всех танцевальных площадок города. (Кстати, не случайно в «Гриджии» также мелькает имя Моцарта: некий Моцарт Амадео Хоффенготт устраивает поездку Гомо в горы, являясь как бы его деловым антрепренером, а по существу — вершителем его судьбы.)

Все это робинзонады одинокого сознания, идущего от себя и возвращающегося к себе же. Оно переживает самые различные перипетии и приключения — в себе, и только в себе самом. Ценно для него лишь искусство как наивысший результат самовыражения личности (знаменательна трактовка образа Моцарта на страницах «Гриджии» и «Степного волка»: Моцарт — не только гений, воплощающий собой мир искусства, но и в чем-то абсолютное выражение личности, развившей свои творческие возможности до мыслимых пределов; Моцарт присутствует тут как символ великого искусства, в котором, однако же, индивидуалистическое сознание находит способ увидеть собственное отражение).

Возможности личности очень широки. Но есть ведь вещи более высокие, чем даже личность, вещи, превосходящие своей ценностью то, что добыто искусством, — например, милосердие, братская порука человечества, стремление к добру? Для отображенного Гессе и Музилем эгоцентричного сознания это уже понятия во многом трансцендентные.

Роман шведского писателя С. Арнэра «Стать другим человеком» [5] и повесть

[3] См. «ИЛ», 1980, № 9.
[4] См. «ИЛ», 1977, № 4, 5.
[5] Сивар Арнэр. «Стать другим человеком». М., «Прогресс», 1977.

М. Вальзера «По ту сторону любви» [6] как бы замыкают окружность, исходной точкой которой мы приняли «Гриджию» и «Степного волка». Описание выхолощенного «безлюбого» существования суперменствующего шведского этнографа Гернера и служащего мюнхенской зубопротезной фирмы Хорна на совершенно другом уже уровне воссоздают самоопустошение одинокой личности в буржуазном обществе.

«Будь самим собой!» — советует один из персонажей романа С. Арнэра другому и получает в ответ: «Конечно; только быть-то *нечему*».

Вся атмосфера общества потребления ориентирует личность на собственное «я», только на него. Индивидуалистическое сознание начинает критически переосмыслять, а затем и отвергать «устаревшие» моральные нормы и духовные ценности. Но лишенный основ подлинной личности — чести, веры, любви, сострадания, надежды — и не обретший новых, человек утрачивает в итоге реальность собственного существования. Глухая стена одиночества не пропускает сигналы из окружающего мира, который поневоле тоже начинает представляться тенью, миражем.

Герой известного романа М. Фриша «Назову себя Гантенбайн» [7], постоянно видя вокруг себя маски вместо лиц и полностью утратив критерии реальности, в отчаянии восклицает: «...я жажду предательства. Я хочу знать, что я существую. Все, что меня не предает, подозревается в том, что живет оно только в моем воображении...» Квинтэссенция утраты собственного «я» — та сцена в романе, когда герой присутствует на собственных похоронах и не может вмешаться: доказательств своего бытия он представить не способен. Стремясь «пробить» стену фальши, преодолеть иллюзорность существования, Гантенбайн решает притвориться слепым. «Быть собой — это все равно что быть слепым» — так сформулирована сущность одинокого отчаяния в недавно опубликованном у нас романе Р. П. Уоррена «Потоп» [8] (написанном в один год с «Гантенбайном» — показательны закономерности искусства!). Но и ложная слепота не спасает Гантенбайна, в мертвой тоске перебирающего свои «роли».

Тем же занят младший современник Гантенбайна — Гернер из романа С. Арнэра, примеряющий маски то Сократа, то Иисуса, то рыбы, то женщины, то лягушки,— при полной невозможности остановиться. В постоянной сменяемости масок-ролей — при полной «атрофии личностного начала» — живет Уилл Баррет, герой «Второго пришествия» (как и его предшественник Ланселот из одноименного романа У. Перси) [9].

Страшный мир — страшный именно обыденностью человеческого вырождения — рисуют нам Арнэр и Вальзер, Фриш и Перси. Это мир — в котором человек склонен поверить в существование бога лишь потому, что несколько раз подряд успевает вовремя добежать до туалета;

— в котором человек, узнавший, что через год ему предстоит умереть, думает в первую очередь о женщинах — «обо всех, которых «упустил», и «мысли его только об их лоне, в их лоне»;

— в котором деловая поездка за границу приобретает смысл лишь потому, что в гостиничном номере человек не воспользовался ванной и тем обеспечил живущему в ней пауку «несколько спокойных деньков».

Пустотелость героя в современной западной литературе, отражающей кризис индивидуалистического сознания (и в известной мере порожденной им), влечет за собой то, что мы назвали бы пустотой конфликта. В первую очередь — в философском, бытийном смысле.

Так, все приметы острого психологического столкновения, коллизии между свободной волей и властью есть в романе Х. Кортасара «Выигрыши» [10]. Пассажирам теплохода под предлогом заразной болезни воспрещен вход на корму. Отчего? — негодует одна часть пассажиров. Оттого, что это опасно, резонерски отвечает другая, заранее соглашаясь на все условия комфортабельного морского круиза. Напряжение нагнетается, стремление бороться против запрета все сильнее — и вот несколько героев ценой жертв и потерь пробираются к корме. Один из них — ему-то, единственному, и суждено подняться на корму, а потом быть убитым — видит, что корма пуста. И именно вокруг этой пустоты кипели страсти, сталкивались самолюбия. Увидеть эту пустоту означает для героев Кортасара снять запрет и стать свободными хотя бы и ценой смерти. Конфликт налицо, но сомнительна ценность того, что отстаивают герои. Они, в сущности, настаивают на своем праве на пустоту.

Конечно, на этом сравнительно давнем романе Кортасара сказалось влияние экзистенциализма. Но много разительнее и ярче пустота конфликта в повести Вальзера, где душа героя мечется между любовью-ненавистью к верховной карающей и милующей силе — своему директору — и стремлением освободиться из-под его влияния посредством «бунта»: неограниченного потребления пива. И в романе Арнэра, чьи персонажи, играя в любовные треугольники, на деле вовсе не нужны друг другу. Даже попытки каких-либо конечных выводов, положительных решений — уж не говоря о том, что Достоевский именовал «указующим перстом, страстно поднятым»,— не найдем мы в этих произведениях. И наивысшей оценкой, которой они заслуживают, были бы слегка перефразированные слова Паулы из «Выигрышей»: «И все же нам — грустней, но не мудрей». (Более того, в этот ряд можно было бы — с известными оговорками — включить даже такие шедевры литературы XX века, как «Степной волк» или «Сто лет одиночества»; ведь и Гессе, и Гарсиа Маркес всячески подчеркивают *относитель-*

[6] Опубликована в «ИЛ», 1979, № 6.
[7] Опубликован в «ИЛ», 1975, № 4—6.
[8] См. «Новый мир», 1982, № 4—8.
[9] Walker Percy. The Second Coming. New York, Farrar, Straus &Giroux, 1980.
Walker Percy. Lancelot. New York. Farrar, Straus & Giroux, 1977.
[10] В книге: Хулио Кортасар. «Избранное». М., «Прогресс», 1979.

ность своих выводов, не указывая ясно и прямо путей выхода из кризиса.)

И уж подлинно «холостым выстрелом» завершается роман «Страна заката»[11], повествующий об отчаянной попытке нескольких жителей большого европейского города найти спасение от экономического спада и экологического мора — на городской свалке. Смысловой центр романа как будто составляет идея объединения и очеловечения людей перед лицом катастрофы. Но и в финале, после сложных испытаний, сплотивших враждовавших прежде экс-горожан в товарищество, герой ощущает освобождение от гнетущего чувства одиночества лишь после того, как у него побыла проститутка (с которой он никак не решится сойтись окончательно).

Романы С. Арнэра и его северного соседа К. Фалдбаккена знаменательны еще в одном аспекте. Скандинавии в буржуазной системе ценностей отведено место «земного рая», образца благоденствующего общества, где у людей есть все, чего душа пожелает (сейчас вернее было бы говорить: «тело»). Но, читая эти романы, трудно отделаться от ощущения, что действующие лица их — дикари, с недоумением вертящие в руках обломки бывшей цивилизации с ее «духовными ценностями». Вот их рассуждения:

« — А что значит «предать все то, во что верил»?

— Это как-то связано с «честью». Понимаешь, считалось, что, если человек что-нибудь сказал или пришел к какому-то убеждению, он уже не имеет права отступаться от этого. А то он перестанет себя уважать. *Или что-то в этом роде.*

— Как странно,— удивилась Лиза, *тщетно пытаясь понять, в чем здесь дело.*— Нельзя же говорить и думать всю жизнь одно и то же — ведь все изменяется так быстро...» («Страна заката»).

По мнению ряда западных теоретиков, колоссальное распространение индивидуализма вызвано тем, что человечество в целом и каждый в отдельности оторвались от древнего, дородового чувства коллективизма, покоящегося в подсознательных глубинах человеческого «я». Достаточно вспомнить, оживить его — в том числе и с помощью искусства,— и наступит искомая общность.

Но, во-первых, отнюдь не панацея — бессознательный коллективизм. Вспомним новеллу Х. Кортасара «Южное шоссе»[12]. Сообщество людей, непроизвольно возникшее в результате дорожного затора,— общая беда на какое-то время заставила людей объединиться. Но как же иллюзорно и недолговечно это неосознанное изнутри, насильственное объединение эгоистов! Они и называют-то друг друга не по имени, а по маркам машин — Таунус, Флорида, Форд-Меркури, Порш, Четыреста четвертый — и мгновенно бросаются врассыпную, стоит только вырваться из затора (то же происходит с пассажирами теплохода в «Выигрышах»). Есть большая доля правды в словах циника Смайли из романа «Страна заката»: солидарность «обесчеловеченных людей»— фикция. Людям надо сначала вернуть человеческий облик. И тут тоже искусство — не универсальный рецепт.

Обращаясь к «Степному волку», мы уже упоминали о том, что искусство порой возносится на вершинную и главную ступень в иерархии человеческих ценностей и как бы стремится заменить собой распавшиеся человеческие связи, заполнить психологический вакуум между людьми и в каждом человеке в отдельности. Но искусство само по себе не восстанавливает распавшихся связей, более того, оно может быть даже губительно, когда его человеческая ценность и содержание забываются, а есть только восхищение и преклонение зрителя перед формальным великолепием произведения. Так, нервозные восторги меломанов из рассказа Х. Кортасара «Менады»[13] страшно и гротескно завершаются убийством исполнителей; концерт превращается в нечто среднее между оргией и черной мессой.

Другой аспект полнейшей уязвимости культурной брони выявлен М. Фришем в повести «Человек появляется в эпоху голоцена»[14]. Небольшое наводнение, на несколько дней отгородившее героя повести от окружающих, обнаруживает абсолютную ненадежность его связей с миром и цивилизацией: вспомнить ему практически нечего и не о ком, душа пуста. Накопленные предшествующими поколениями знания, с помощью которых г-н Гайзер пытается спастись от космического одиночества и надвигающегося безумия, переписаны или вырезаны им из энциклопедий и расклеены по стенам квартиры. Но стоит подуть сильному ветру — эти лоскутки слетают со стен. И тогда респектабельный швейцарский буржуа — при полном продуктов холодильнике,— свернув голову любимой кошке, кидает ее в огонь, чтобы зажарить и съесть... Как пророчески писал Достоевский: «Цивилизация есть, и законы ее есть, и вера в них даже есть», но если не «сдирают сейчас с людей кожу», то потому, «что еще пока запрещено, а... за нами, может быть, дело бы и не стало, несмотря на всю нашу цивилизацию».

Но все, о чем шла речь выше,— это поиски и тупики западноевропейской общественной и художественной мысли (отнесем сюда и Х. Кортасара, и не только потому, что большую часть творческой жизни он прожил в Европе, но потому, что своим мироощущением он, на наш взгляд, гораздо ближе к Европе, чем к Латинской Америке). Может быть, как уверяют приверженцы модных ныне геополитических и этнических доктрин, гуманистическая мысль Европы просто-напросто истощилась, а другие культуры (Латинская Америка, Восток) дают нам более верные «рецепты спасения»?

> Дело в том... что мир понемногу идет к концу и такие вещи больше не случаются.
>
> *Г. Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества».*
>
> Спасти себя мы должны сами.
>
> *К. Оэ. Из интервью.*

Латиноамериканский роман казался и кажется многим свежей кровью, вливаемой в

[11] Опубликован в «ИЛ», 1980, № 3, 4.
[12] Опубликована в «ИЛ», 1970, № 1.
[13] В уже упомянутой книге: Хулио Кортасар. «Избранное».
[14] См. «ИЛ», 1981, № 1.

вены уставшей цивилизации. По справедливым самооценкам латиноамериканских писателей, вызвано это было тем, что роман выполнял — на первых порах — в духовной жизни народов континента роль эпоса, творимого писателем, не утратившим еще соучастия в общественном бытии.

Однако миросознание «огненного континента» в условиях буржуазного строя не может долго оставаться заповедным. Г. Гарсиа Маркес понял это и выразил еще в романе «Сто лет одиночества» [15].

Кризис индивидуалистического сознания — процесс, бесспорно, зависящий от географических и этнических условий, но в основе своей неизменно социальный. Интересно, как роман Гарсиа Маркеса отразил это,— интересно в том особенно отношении, что автор описывает робинзонады сознания совсем другого типа, чем перечисленные выше. Рисуемому им сознанию чуждо сухое европейское отчаяние. Его мир так естественно управляется фантазией оттого, что это мир, еще погруженный в фольклорную стихию или, во всяком случае, не вознесшийся над нею окончательно, омываемый ею. Но характерно, что действие романа, вначале заполненного перемещениями целых людских толп, странствиями и открытиями новых земель, к концу, по мере втягивания Макондо в орбиту буржуазной цивилизации, редуцируется до жизнеописания влюбленной пары среди обезлюдевшего города. Одиночество этой пары полно обаяния и во многом фантастично; однако их любовь недейственна и бесплодна: ребенка (родившегося с атавистическим поросячьим хвостиком) пожирают муравьи.

Удивительно, что многие критики, писавшие о «Ста годах одиночества», будто не хотели заметить, что роман Гарсиа Маркеса не о прошлом, а о будущем: это роман-предсказание, роман-предупреждение, в отличие от «пергаментов» старика цыгана Мелькиадеса (где с помощью таинственных знаков была изложена грядущая история семьи Буэндиа), не зашифрованный, чтобы люди имели возможность это будущее предотвратить.

В семидесятые годы большой интерес читателей и критики вызвали романы японского писателя К. Оэ, ориентирующегося на основные «болевые точки» буржуазной цивилизации.

Молодые герои романа К. Оэ «Объяли меня воды до души моей...» [16] — выброшенные из общества подростки, отрицающие весь окружающий миропорядок, проклинающие его конвейерную, машинизированную жестокость, протестуя против зла, совершают новое и новое зло. Бесконечно ужасен суд над Коротким: страшна жертва, страшны и судьи, протыкающие ее колом. Стремление спровоцировать автокатастрофу, стремление умертвить и умереть — в подростках из романа Оэ, в сущности, живет дух камикадзе, непреклонно и неукоснительно ведущий их к смерти. Смерть, разумеется, откликается на такой настойчивый зов. Лишь в финале романа намечается некое просветление, и связано это с темой Времени: погибают те из образованного подростками Союза свободных мореплавателей, которые «считают, что будущего нет, и поэтому не делают ничего, чтобы подготовиться к нему»,— Бой, Короткий, Красномордый, их заложник и наставник Исана, но уходят в будущее поверивший в возрождение Союза Такаки и обновленная любовью Инаго, унося с собой трехлетнего Дзина (имя это повторяет звучание иероглифа «человечность»).

Здесь мы подходим к еще одной проблеме, которая сейчас остро встала перед человечеством, а значит — и перед литературой.

> Человек... не может быть заменен в своей ответственности.
>
> *Р. Гвардини. «Конец нового времени».*

Индивидуалистическому сознанию существование во времени неведомо: для него нет прошлого, ибо нет памяти, и нет будущего, ибо нет ответственности. Но люди, живущие по принципу «после меня хоть потоп!», все больше приближают реальность этого потопа. Впервые возникает возможность исчезновения Времени.

«Потерять память — вот что было бы страшно»,— записывает г-н Гайзер на стенах своего разрушаемого катастрофой жилища. Но герой Фриша имеет в виду лишь накопленные человечеством знания, которые, как мы видели выше, в апокалипсической ситуации могут превратиться в мертвый капитал. Речь же должна идти о Памяти как нравственной категории: об ощущении себя неотъемлемым звеном в цепи поступательного движения человечества, звеном, чье существование оправдано и искуплено миллионами предшествующих жизней. Если же понимать Историю как путь из «ниоткуда и в никуда», как выражается «преуспевающий» писатель Бредуэлл Толливер из романа «Потоп»,— страшно одиноким и бездомным сразу становится человек.

С ощущением своего места в потоке Времени, в Истории неразрывно связаны *ответственность* и *готовность* — понятия, для индивидуалистического сознания непостижимые. «Быть готовым — вот что важно»,— без конца повторяет в своих записях г-н Гайзер. Но в момент катастрофы выясняется, что даже к мини-потопу он абсолютно не готов, ибо «господин Гайзер не верит во всемирный потоп» — то есть не приемлет саму идею наказания за неправедную жизнь. Да и никто из земляков г-на Гайзера «не ждет всемирного потопа». «Мы, люди XX века, больше ни во что не верим»,— заявляет герой повести Ж.-Л. Кюртиса [17] — эстет Иоганнес, успокаивающий себя мыслью, что «кто-то там» продлит «отсрочку перед концом света» ровно настолько, чтобы хватило на жизнь самого Иоганнеса, позволяя ему жить маленькими удовольствиями тела и невинными забавами духа.

Повесть Кюртиса неспроста названа «Сады Запада». Одна из давних — со времен вольтеровского Кандида и даже еще раньше — концепций «спасения» западного человека: если нет сил сражаться с мировым

[15] Опубликован в «ИЛ», 1970, № 6—8.
[16] Напечатан в «ИЛ», 1978, № 3—4.
[17] Ж.-Л. Кюртис. «Сады Запада» (в кн.: Ж.-Л. Кюртис. «Парадный этаж». М., «Прогресс», 1980).

злом, нужно «возделывать свой сад», не вмешиваясь в смуту за его пределами. Но вдумаемся хотя бы в один факт: в мире *ежедневно* (а это значит и сейчас, когда мы пишем, и сейчас, когда вы читаете) 40 000 детей умирают от голода и болезней. Возделывание сада все чаще оборачивается преступной созерцательностью. И не случайно позиция пассивного созерцания становится ныне врагом номер один человечества и, естественно, литературы. Лишь понимание *каждым* человеком своей решающей роли в борьбе с опасностью ядерной войны, экологическим кризисом, голодом, войнами поможет спасти мир. А поэтому каждый должен считать себя «ответственным за все, что происходит вокруг»,— заявил в одном из выступлений К. Оэ. Герой романа «Объяли меня воды...» Исана обновление своей человеческой природы испытал лишь тогда, когда понял собственную «вину перед детьми всей Земли, начиная от Индии и кончая Европой». Но такое глобальное понимание вины не должно исключать конкретной ответственности конкретного действия. Об этом — роман Оэ «Записки пинчраннера»[18]. Роль пинчраннеров[19] одной команды — человечества — принимают на себя герои книги — Мори и его отец, спасающие людей от глобальной ядерной катастрофы, замышленной «могущественным господином А.».

Именно активным призывом к действию интересен и важен новый роман японского писателя, созданный с четко сформулированной задачей: «взорвать воображение третьих лиц», тех, кто в битве человечества за выживание склонен считать себя болельщиком, третьим лишним. Ведь пассивным чувством вины за исполняемые ими «роли» нежат остатки своей совести даже такие индивидуалисты-созерцатели, как Гантенбайн или Иоганнес. Но для спасения мира сегодня необходимо только действие.

> Нужно понять, что... все мы братья и сестры в коротком путешествии, имя которому—жизнь. Если каждый осознает это, тогда никому не придет в голову причинять вред другому. Подлинная литература как раз об этом и должна говорить с людьми.
>
> *Патрик Д. Смит. Из ответа на вопросы анкеты журнала «Иностранная литература».*

И с точки зрения отдельного индивида, и с точки зрения человечества справедливо следующее: пока существует Жизнь (взаимосвязь и взаимная ответственность всего живого, память) — не существует Смерть (распад, забвение). И наоборот. Битва эта, достигшая ныне невиданного накала, происходит как в мировом масштабе, так и «в каждом отдельном «я» (М. Фриш).

Разными путями приходит к этой мысли литература западного мира, о чем свидетельствуют три последних произведения, которые предстоит нам здесь рассмотреть,— произведения, вышедшие из-под пера Г. Гарсиа Маркеса, Дж. Ирвинга, Дж. Гарднера.

Одному из авторов статьи уже доводилось писать, что в повести «Хроника объявленной смерти»[20] Маркес создал запоминающуюся метафору теснейшей взаимосвязи людей. Кульминация произведения — убийство братьями Викарио, во исполнение требований чести, молодого Сантьяго Насара. Но парадокс в том, что о приближении смерти к Насару знают все и никто не желает ее, даже сами убийцы. Однако стоит на какой-то миг случайно оборваться взаимной ответственности людей (а в основе «случайности» каждый раз лежит незначительная поблажка собственной совести) — как смерть незамедлительно проникает в образовавшуюся брешь.

Но мир этой повести, над которым рок тяготеет неминуче и в котором между людьми словно стоит таинственный психологический заслон, предстает неомрачненным, полным жизни. Утро убийства светло. В это утро зарождается упорная страсть Анхелы Викарио к навязанному и немилому ей прежде жениху. Сантьяго Насар умирает в белых одеждах. Он оплакан и не забыт.

Дело в том, что мир, в котором разворачивается эта драма,— живой. Жизнь в нем не иссякает, не пасует перед смертью. Смерть не господствует над мыслями героев *духовной недостаточностью*. Смерть — всего лишь тень, которую отбрасывают предметы этого мира.

«Отель «Нью-Гэмпшир» Дж. Ирвинга[21] не контрастирует, а во многом совпадает по мироощущению с «Хроникой...». Хотя это произведения разных культур и литератур, с резко отличными персонажами и обстоятельствами места действия.

Но главное — книга Ирвинга, казалось бы, оснащена полным набором «красот» модернистского романа: глубокая «закомплексованность» главного героя — молодого Джона; маниакальная страсть его отца — главы небогатого американского семейства — иметь собственный отель, завершающаяся тем, что он, уже слепой, становится хозяином «отеля»... в котором никто не живет (однако близкие уверяют его, что комнаты полны постояльцев); инцест и самоубийства; постоянное присутствие смерти, воплощенной в чучеле любимого пса, всюду сопровождающего семью героя; живущие бок о бок леваки террористы, намеревающиеся взорвать Венскую оперу,— и «артель» проституток, чей быт воссоздан во всех подробностях. И вместе с тем в атмосфере романа царствует юмор — не сумрачный юмор воннегутовского или хеллеровского толка, а иной, светлый, настоящий юмор жизни (чего стоит хотя бы друг семьи, старый еврей Фрейд, прозванный так потому, что, бродя по пляжам с ручным медведем, «излечивал» тоску и скуку у курортников!).

Роман стойко оптимистичен, несмотря на звучащие в нем эсхатологические мотивы. Мы все — пассажиры большого корабля, находящегося в кругосветном плавании, говорит патриарх семьи, старый Айово Боб, и в любую минуту нас может смыть с палубы. «Но несмотря на эту опасность — вер-

[18] Опубликован в «ИЛ», 1981, № 11—12.

[19] Пинчраннером называется в бейсболе игрок, который в момент критического положения своей команды должен стремительным рывком выправить положение.

[20] Печаталась в «ИЛ», 1981, № 12.

[21] John Irwing. The Hotel New Hampshire. A Henry Robbins Book. New York, E. P. Dutton, 1981.

нее, из-за нее — нам нельзя быть подавленными или несчастными. То, как устроен мир, не должно служить основанием для безудержного цинизма или инфантильного отчаяния». Кульминация романа такова: террористы, начинив автомобиль взрывчаткой, захватывают семью Джона и, угрожая оружием, требуют, чтобы кто-нибудь из пленников сел за руль и на полном ходу врезался в здание оперы. Взять на себя эту миссию вызывается старик Фрейд, который, ни минуты не колеблясь, взрывает автомобиль вместе с собой и террористами во имя спасения сотен ничего не подозревающих венцев, собравшихся на открытие оперного сезона.

И, наконец, роман, о котором писать и радостно и печально. Радостно потому, что он убедительно свидетельствует о неистребимости великих традиций подлинной литературы. Печально потому, что никогда уже не возьмет в руки перо его автор — Джон Гарднер.

Последний роман Гарднера «Осенний свет» известен советскому читателю [22]. Действие его разворачивается в маленьких фермерских поселениях, в одном из «нестоличных» американских штатов — Вермонте, где живут и тяжко трудятся те, кого принято называть простыми американцами.

Здесь имеется в виду основной роман, ибо в произведении есть еще роман «вставной» — пародия на псевдоинтеллектуальные авангардистские боевики. Слишком легким решением для писателя было бы противопоставить и этому «роману», и потоку изверившейся западной литературы вообще патриархальную идиллию, в которой пребывают чуждые миазмам американской цивилизации Филемоны и Бавкиды. Но какая уж тут идиллия! Конфликты в мире Джеймса Пейджа и его земляков не менее остры и драматичны, чем на самых магистральных перекрестках современной цивилизации (разве что менее эффектны): взять хотя бы «душераздирающую» вину и муку отца, своими руками толкнувшего сына на самоубийство! Главное различие между литературой безумствующего общества (представителем которой в «Осеннем свете» служит «вставной» роман «Контрабандисты с утеса Погибших Душ») и произведениями Гарднера в другом: там царство мертвых, здесь, у Гарднера,— мир живых. Среди героев основного романа (в отличие от персонажей «Контрабандистов...») такие понятия, как долг, честь, справедливость, «абсолютная честность», даже не подлежат обсуждению или тем паче рефлексии — поступать в соответствии с их требованиями так же естественно, как жить: «Джеймс был ветераном войны, ушел воевать на вторую мировую, хоть и был уже далеко не молод, да и не полагалось ему как фермеру. «Долг»,— сказал он». Органичная, глубинная связь с бытием, друг с другом присуща этим людям. Душевное здоровье (что вовсе не равнозначно идиллической безмятежности), сохраненное и в старости, позволяет Джеймсу Пейджу и его сестре Салли и на склоне лет чувствовать себя молодыми людьми, лишь по недоразумению заключенными в старое тело.

Джеймс Пейдж, вспоминая свою трудную, скупую на радости жизнь, приходит к выводу: «Жизнь была когда-то хороша, ну, конечно, была, она и теперь прекрасна...» А сравнить предсмертные страх и сожаления Эндерлина из романа «Назову себя Гантенбайн» (об упущенных женщинах и их лоне) и предсмертный монолог друга Джеймса, старого Эда Томаса,— подлинное слово о жизни! Если старый Томас о чем и жалеет, то лишь о том, что не сможет уже принять участие в великом обновлении природы от зимы к весне. Так могут существовать и мыслить лишь те, кто живет *в союзе с жизнью.*

Еще один показатель душевного здоровья героев Гарднера — названный А. Зверевым «светом совестливости»,— неизбывная ответственность за совершающееся вокруг зло, понимание своей вины и за то, к чему впрямую не причастен. Даже маленький Дикки приходит к выводу: это я во всем виноват, я обронил у тети Салли в комнате ту «грязную книжку», с того дня все и началось (имеется в виду цепь конфликтов в семье Пейджей, завершившаяся ранением приемной матери Дикки). И потому даровано персонажам Гарднера «чистое Время — прозрачное, свежее Время, упоительные, избыточные дни». А в конце романа — повторим, отнюдь не безмятежно-идиллического — «солнечно-солнечно»

Мир героев Дж. Гарднера, в сущности, очень тесен и мал, но они живут в этом своем мире по законам жизни и совести среди зла, захлестнувшего души и искусство западного общества в наши дни. А из таких островков складываются континенты. И торжество основного закона бытия (добро — сущностно, смерть и зло — конечны) в этом романе весьма наглядно: смешны в своей эфемерности «посланцы» безумного мира: «грязная книжка» о наркоманах, телепередачи, писатели-декаденты из столицы.

Когда из передач последних известий узнаешь, что в штате Вермонт, находящемся, по заявлению одного из гарднеровских персонажей, «в стороне от мира», 156 из 175 городских общин приняли резолюцию, призывающую президента США заморозить ядерные арсеналы, думаешь, что среди подписавших резолюцию (а возможно, и инициаторов ее) наверняка были Джеймс Пейдж или его земляки. Ведь, по справедливому утверждению самого Гарднера, «искусство соприкасается с жизнью, воздействует на нее, а жизнь, в свою очередь, входит в искусство».

Жизнь, к сожалению, истребима. Однако человек, ее высшее порождение, освобождаясь постепенно, но неуклонно от мора индивидуализма, перестраивая свое сознание на «для-всех-бытие», будет все более сжимать вокруг очага смерти кольцо жизни. С надеждой на это вступили люди в предпоследнее десятилетие века.

[22] Джон Гарднер. «Осенний свет». М., «Прогресс», 1981.

СОПОСТАВЛЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Феномен австрийской литературы — проблема, которая широко обсуждается в последнее время как в самой Австрии, так и в мировом литературоведении. В начале 80-х годов состоялись два международных симпозиума, посвященных этой проблеме: в Бонне встретились австрийские и западногерманские специалисты, в Вене — австрийские и советские ученые.

Не стоит в стороне от столь важной темы и журнал «Иностранная литература». Не так давно в нем была опубликована статья советского германиста С. Рожновского, в которой основное внимание уделено критике лингвоцентристской концепции истории немецкой литературы и опровержению пангерманской идеи включения австрийской литературы в так называемую «единую немецкую литературу». Статья получила обстоятельный отклик австрийских литературоведов. Сегодня мы предоставляем возможность высказаться по кругу проблем, связанных с понятием «австрийская литература», австрийскому писателю Дьердю Шебештьену и советскому ученому, члену-корреспонденту АН УССР Дмитрию Затонскому, заметив, однако, что общепринятых концепций в этой области литературоведения пока нет, германисты лишь очерчивают поле, на котором должны вестись систематические исследования. И нынешняя публикация представляет взгляды, сходные в главном — в признании самобытности австрийской литературы, но расходящиеся порой в частностях, впрочем, весьма важных. Каждый из них имеет свои основания, ни один не претендует на окончательность решений, но, мы надеемся, оба будут интересны читателю как два подхода к находящейся пока в процессе изучения важной проблеме современной германистики.

ДЬЕРДЬ ШЕБЕШТЬЕН

АВСТРИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕЕ СВЯЗИ С ЛИТЕРАТУРАМИ ДУНАЙСКОГО РЕГИОНА

Я не ученый. Я писатель. Занимаясь этой темой, я всегда испытывал большую радость и сделал для себя много открытий. То, чем мне хочется поделиться с вами, будет скорее напоминать путевые заметки. Это — путешествия по определенному географическому пространству и сквозь столетия из древности в наши времена. Проплывают картины ландшафта, группы людей и отдельные лица. На некоторых из них наш взгляд останавливается несколько дольше, другие проходят расплывчато и мимолетно.

Уже заглавие наших заметок чревато трудностями, ибо оно обязует нас определить сущность австрийской литературы и ее особенности в общих границах немецкоязычной письменности. На вопрос о том, существует ли вообще австрийская литература, разные авторы отвечают по-разному. У меня есть друзья, в том числе и крупные писатели, которые считают, что существует только одна немецкая литература. Я не могу согласиться с такой точкой зрения. Убежден, что отношение австрийской литературы к немецкой можно сравнить с отношением американской литературы к английской. Драматург Фриц Хохвельдер называет другой пример. Он считает более уместной параллель с англоязычными ирландскими авторами, например, Шоном О' Кейси или Джеймсом Джойсом. Во всяком случае, факт остается фактом: мы в Австрии — и особенно в восточной Австрии — находимся в пограничных землях, где иконы сливались различные культуры. На широкий слой кельтской культуры накладывались влияния этнических групп разных кочевых народов. Славянские поселения прослеживаются вплоть до Боденского озера. Славянский характер носила Великоморавская держава. Лишь во времена Карла Великого, благодаря франкским и баюварским поселениям, немецкоязычный элемент становится преобладающим, но и после этого здесь появляются, частью объединенными группами, выходцы из других народов: хорваты, греки, венгры, армяне и, само собой разумеется, чехи, словаки, словенцы. Многократно структурированное население придает и немецкому языку особый

облик, соответствующий общему историческому опыту народов региона. Три исторических явления оказали здесь решающее, формирующее воздействие: влияние Рима и латинской культуры, столкновение с турками и своеобразие Габсбургской монархии. Собственный набор лексики, специфический синтаксис и интонация решительно свидетельствуют о языковой самостоятельности: у австрийской литературы, говоря словами немецкого философа и литературного критика Вальтера Беньямина, есть «своя собственная духовная аура».

Это осознается постепенно. Различия начинают ясно прорисовываться к концу XVIII века. Лессинг, которого приглашают в Вену на пост директора «Бургтеатра», отказывается от предложения, ибо считает этот город чужеродным. Немецкое Просвещение очень существенно отличается от духа австрийской просветительской литературы, которая остается в определенной мере приверженной барокко и склонной к наивной игре.

Наслаждение игрой, подменами, маскарадом, из ряда вон выходящим, частично объясняется теми влияниями, которые пришли в Австрию из Средиземноморья. Драма вырастает из комедии ситуаций «commedia dell'arte» и долгое время остается сказочной и импровизированной. Драматурги начинают записывать свои пьесы лишь тогда, когда к этому принуждает их цензура, стремящаяся поставить под контроль характер изображаемого в спектакле. Так возникает та самая австрийская драматургия, которую мы связываем с именами Фердинанда Раймунда и Иоганна Нестроя. А от Нестроя путь ведет к Карлу Краусу и Гельмуту Квальтингеру. Именно в это время в Вене, а также в Граце начинают публиковаться первые представители пробуждающихся национальных литератур словаков, венгров, сербов и словенцев.

Слово «барокко» уже сказано. Этот стиль соответствует совершенно определенному отношению к жизни, которое сформировалось в Австрии под воздействием социально активных сил. Я имею в виду структуру феодального государства со слабой буржуазией. Затем влияние двора с его догмой о правах и обязанностях Священной римской империи на умы людей — а подобные догмы могут временами становиться действенными, самодовлеющими силами. В-третьих, я имею в виду контрреформацию и противостояние протестантскому Северу, которое по необходимости должно было проявиться и в философии.

Воздействие подобных элементов, конечно, противоречиво. Но они создают совершенно своеобразную атмосферу и формируют то творческое сознание, которое затем проявляется в литературе. Игривость, запутанность положений, уход в мир сновидений или в гротеск, неспособность на такую бескомпромиссность, какой пронизано, например, творчество Иммануила Канта, склонность к меланхолии, отказ от больших трагических конфликтов, стремление избежать пафоса — вот формы его литературного воплощения. Многие австрийские писатели пытались мистифицировать даже трагедию самоубийства. Фердинанд Раймунд стреляет в себя якобы из страха перед бешеной собакой. Адальберт Штифтер утверждает, что случайно перерезал горло во время бритья. Иоганн Нестрой сказал по этому поводу примечательную фразу: «Самая благородная нация — это резигнация». Ганс Вайгель, описывая этот феномен (который, благодаря «Человеку без свойств» Роберта Музиля, вошел и в современную мировую литературу), называет его «бегством от величия». Не удивительно, что следствием названных особенностей становилась и бóльшая склонность к утонченности художественной формы: особое внимание к ритму, мелодии речи, изяществу композиции. В этом отношении такие австрийские авторы, как Петер Хандке или Петер Розай, и сегодня отличаются от немецких коллег.

То, что именно «бегство от величия» порождает специфическое величие, что это бегство при определенных социальных обстоятельствах само оказывается своего рода величием, соответствует, по-моему, внутренней диалектике творческого духа. Вы не осудите поклонника русской литературы, если он по ограниченности своих знаний назовет в качестве аналогии лишь фантастические новеллы Гоголя и великие романы Гончарова.

Связи между своеобразной австрийской литературой и литературами дунайского региона осуществлялись и осуществляются на многих уровнях.

Не следует забывать в этом контексте о взаимовлиянии кочующих мотивов народной поэзии. Репертуар сказителей невозможно ограничить сферой их языковой принадлежности. Еще несколько лет назад, например, в самой восточной провинции Австрии, Бургенланде, они рассказывали на немецком, хорватском и венгерском языках по существу одни и те же сказки. Исследования профессора Венского университета Кароя Гаала обнаружили здесь совершенно однозначную картину и попутно опровергли один из тезисов националистической этнографии прежних времен.

Восточнодунайская сфера примерно с VIII столетия является темой и местом действия австрийской литературы. Автор найденной в Хоэнэмсе в Форарльберге рукописи «Песни о Нибелунгах» описывает, хотя и в легендарной форме, на сказочно-отчужденном уровне, но по ощущению очень точно поход бургундов вдоль Дуная на восток и их встречу с отмеченной азиатскими элементами культурной сферой восточнее крепости Пёхларн, затем в Вене и Гран(вач)е.

У меня недостаточно знаний, чтобы привести здесь все важнейшие примеры взаимодействия культур. Но я не могу не вспомнить о том мире впечатлений, с которым читатель встречается в произведениях Николауса Ленау, или о новелле Адальберта Штифтера «Бригитта». До сих пор не освещен в литературоведении и такой пример этого ряда, как творчество Франца Михаэля Фельдера, представителя крестьянско-реалистической новеллистики из Бретенцкого Леса. Ту же тенденцию можно проследить и дальше, в новом австрийском романе, например, в книгах Жоржа Зайко «На плоту» и «Человек в камышах» или в «Демонах» Хаймито фон Додерера.

Для писателей восточнодунайского региона Австрия — это совершенно определенный комплекс представлений, литературное отражение которого можно проследить на протяжении длительного времени. Великий венгерский лирик XVI века, любитель застолий и женщин, а также отчаянный дуэлянт, Балинт Балашши, посетив Вену, описал ее в шутливо-восторженных стихах. Однако она оставляла и впечатления не столь приятные. В вековой борьбе за сферу господства Габсбурги в конечном счете обеспечили себе гегемонию над всей той частью дунайского региона, которая не была оккупирована турками. А после окончания турецкой войны еще расширили границы своей власти, которую народы восточно-дунайского региона справедливо воспринимали как угнетение. Это засвидетельствовано в стихах и прозе конца XVIII — начала XIX веков у многих авторов, описывавших свои злоключения в различных тюрьмах австрийской монархии.

Однако в юго-восточных литературах встречается и другой тип представления об Австрии, который можно назвать амбивалентным. Как нечто чуждое, вызывающее замешательство, но в то же время и заслуживающее внимания воспринималась жизнь австрийского поместного дворянства, приобретшего усадьбы в этих землях. Оно отличалось от местных помещиков тем, что следило за порядком в своих владениях, использовало передовые аграрные методы и в других отношениях проявляло бо́льшую цивилизованность. Здесь со всей ясностью обнаруживало себя различие фаз общественного развития. В противоположность местным представителям полусредневекового феодализма этот тип был отмечен большей мерой буржуазности, соответствовал более высокому уровню капиталистического развития, накопления денег, знаний и форм городской жизни. Примером амбивалентного отношения к австрийскому дворянству могут служить произведения венгерского писателя Мора Йокаи.

Сказывается оно и в театральных жанрах юго-восточных европейских литератур. Австриец представляется в них менее импульсивным — зато более рациональным, менее героичным — но более ловким, менее непосредственным — однако хорошо знающим этикет. И Вена предстает в этих произведениях как город тихого мещанского благополучия и придворных церемоний. В революционной лирике, однако, образ Вены сформирован страстью. Здесь австрийская столица — воплощение тирании.

Определенная общность, которая еще в конце XVIII века проявляется, например, в единообразии репертуара небольших частных театров, разрушается впоследствии процессом национального возрождения: дух барокко в значительной мере утрачивает свое влияние на возвышающиеся литературы дунайского региона. В то же время движения, возникающие в национальных литературах, часто имеют своим источником Вену или Грац. И это соответствует социальной роли австрийской столицы. Тесные связи центробежных сил с Веной упомянуты не для прославления города, они просто являются фактом.

Мне хочется привести несколько примеров. Крупнейший представитель хорватского литературного движения Людевит Гай учился в университете Граца, основал газету «Новине хрватске» с литературным приложением «Даница» и стал провозвестником так называемого «иллирического движения». Его единомышленник граф Янко Драшкович воплощает переходную стадию этого движения. В одном из произведений 1838 года он обратился к «великодушным дочерям Иллирии» с призывом говорить по-хорватски. Но сам призыв этот был написан по-немецки. Такие парадоксы были, очевидно, не редкостью. В 1835 году в Загребе во время немецкого театрального представления в качестве вставного номера была исполнена песня «Еще Хорватия не погибла», которая являлась вариацией на тему: «Еще Польска не сгинела». А первые венгерские профессиональные труппы актеров начинали свою деятельность в 1790 году с постановки пьес, представлявших собой адаптацию немецкоязычного репертуара.

И литературное движение Сербии было связано с Веной. Просветитель Досифей Обрадович в период своих скитаний долгое время жил в Вене. Здесь появилась в 1814 году сербская грамматика Вука Стефановича Караджича, узаконившая сербский диалект Герцеговины как литературный язык. Священник Петар Петрович Негош опубликовал в 1847 году большую черногорскую поэму «Венец гор».

Первая румынская книга, напечатанная латинским шрифтом, тоже появилась в Вене, в 1777 году. Словенский поэт Ерней Копитар был смотрителем венской придворной библиотеки. В Вене Франц Миклошич, с 1849 года профессор славистики, написал «Сравнительную грамматику славянских языков». В Вене Джуро Даничич издал свою имевшую большое значение книгу «Борьба за сербский язык и правописание». С Веной был тесно связан хорватский лирик и австрийский генерал Петар Прерадович, который в стихах призывал к национальному освобождению. Кстати, внучка генерала, поэтесса Паула фон Прерадович, является автором исполняемого с 1946 года австрийского государственного гимна.

Возрождение венгерской литературы вообще происходило в Вене, в так называемом кружке лейб-гвардейцев. Мария Терезия создала себе венгерскую лейб-гвардию, состоявшую из молодых дворян. Здесь, в Вене, они познакомились с идеями Просвещения. Образцами для них были два таких разных мыслителя, как Руссо и Вольтер. Из этого же кружка вышел впоследствии лирик Дьердь Бешшеньеи и еще целый ряд молодых философов и памфлетистов, ставших в Венгрии центром масонства. И в других странах Юго-Восточной Европы продолжателями дела Просвещения выступали масоны. Я позволю себе свести цели этих людей к трем пунктам, отмеченным в высказывании Ленина о «буржуа-просветителе» из работы «От какого наследства мы отказываемся?»: они боролись против крепостного права, за дальнейшее развитие Просвещения, выступали в защиту интересов народных масс. Крах йозефинства вместе со смертью императора Леопольда II

(1792) положил конец этой публично осуществляемой деятельности, однако само движение, как можно судить по приведенным примерам, именам и датам, подавить было невозможно. Кстати, именно Просвещение родило термин, получивший с тех пор всеобщее употребление. В 1826 году словацкий ученый Ян Геркель издал в Буде работу, в которой предпринял попытку сконструировать единый славянский язык. В этой работе впервые появилось слово «панславизм».

Новая эпоха в истории связей между народами дунайского региона началась вместе с возвышением буржуазно-империалистической Вены во времена грюндерства во второй половине XIX века. Центробежные силы национальных движений не ослабли, но всеохватывающий государственный аппарат, стремящийся к крупным объединениям капитализм и к тому же появление ценителей искусства в кругу крупной австрийской буржуазии создавали довольно сильное духовное притяжение. Размышляя и предаваясь наслаждению, наполовину погибая — наполовину возвышаясь надо всем, более ярко выражаясь в эмоциях музыки, чем в точных высказываниях литературы, почти ориентальная в своей резиньяции и условностях, но несущая печать установлений основательной и корректной йозефинистской администрации, Вена была точкой пересечения многих устремлений. Двор пытался и после роспуска Священной римской империи оставаться верным ее идее, в том числе и по соображениям политическим — чтобы подчеркнуть связующее и наднациональное. Империя насчитывала немногим более 52 миллионов жителей, в австрийском имперском совете в 1911 году были представлены тридцать три партии, кроме того, имела свой парламент венгерская половина империи. Стали очевидны последствия либерального законодательства, в особенности эмансипации евреев. Такие имена, как Карл Краус, Петер Альтенберг, Артур Шницлер или Зигмунд Фрейд, показывают, чем обязана австрийская культура этим новым силам. Время от времени австрийскими писателями становились поляки или венгры, как это было с психологически тонким драматургом Тадеушем Ритнером и незаслуженно забытым лириком и драматургом Людвигом фон Доеци.

На рубеже веков время пышного цветения было для города позади. Уже вырисовывались, как костный скелет на рентгеновском экране, жесткие контуры будущих конфликтов, смертельных для Австро-Венгерской монархии. Социальное противоречие между выросшим численно рабочим классом, а также жившим по-прежнему большей частью в нищете крестьянским населением, с одной стороны, и окаменелыми формами власти — с другой, неизбежно вело к открытому столкновению. В это напряженное и духовно плодотворное время культурно-историческая роль, выпавшая Австрии, была действительно уникальной. Вена приобрела решающее значение в культурной истории дунайского региона в том смысле, что объединяла литературы различных народов по принципу противопоставления: распад империи породил в различных литературах по существу сходные явления. За фазой бегства от действительности последовало общее отрицание, а затем и общий бунт.

Сравнительное литературоведение еще почти не занималось этой увлекательной проблемой. Проходит мимо нее и германист из Триеста Клаудио Магрис в интересном исследовании «Габсбургский миф в австрийской литературе». Магрис привлекает многие аналогии. Но что удивительно, так это отсутствие у него четкой формулировки взаимосвязи, которая существует между крахом Австро-Венгерской монархии и возникновением сюрреалистической литературы, которая превращает смертельное в жизнеутверждающее, то есть корректирует действительность методами видения. Это великая антитеза распаду. На различных языках она обретает свой единый облик. Само собой разумеется, каждый из этих авторов является порождением собственной литературы и связан с ней традицией, но их общность оказывается сильнее различий. Я хочу обратить внимание на глубокое единство произведений Франца Кафки в Праге, Дьюлы Круди в Будапеште, Итало Звево в Триесте и того литературного направления в Австрии, характернейшим представителем которого можно считать Герцмановского-Орландо. Эти связи ведут, с одной стороны, в пражский мир духов Густава Мейринка, с другой — через Триест Итало Звево — в Дублин Джеймса Джойса.

Для всех этих писателей характерно сходство жизненной позиции. Они отрицают действительность своего времени настолько радикально, что просто не принимают ее во внимание. Они не критикуют свое время, а как бы заменяют его другой действительностью. То, что Итало Звево еще связан с великим социальным романом французского реализма, играет роль лишь в генезисе его творчества. Приемы его искусства напоминают скорее метод Марселя Пруста, который в ту же пору в Париже пытался преодолеть утраченное время посредством воплощения его. Строгие параболы Франца Кафки заостряют действительность до такой степени, что ей не остается в этой заостренности ничего, кроме, так сказать, сублимации. Круди оркеструет свои загадочные аллегории чарующей чувственностью. Смысл возникает из настроения, и мечта о никогда не существовавшем прошлом предстает пьянящей утопией. Бруно Шульц, этот незаслуженно мало известный писатель из Кракова, убитый нацистами, создает своей книгой «Коричные лавочки» еще одну вариацию на эту большую тему.

Взрыв национального самосознания первой половины нашего столетия, очевидно, помешал увидеть эту крупную общую черту. Каждая литература дунайского региона восхищалась своим сюрреалистом и не могла осознать двойной соотнесенности: во-первых, безусловной реакции собственного духа на общий кризис и, во-вторых, своей связи с очагом этого кризиса — Веной. Но этот момент был, если можно так сказать, началом новой литературы во всех придунайских странах. Новой не в смысле какой-нибудь скоротечной моды, а в смысле преодоления художественной формы, которая исчерпала свои возможности. И здесь литература опередила действитель-

ность. Разложение массивного, как бы отлитого из металла и движимого слоноподобными паровыми локомотивами порядка произошло прежде всего на бумаге. Если бы государственные мужи прочли в молодости Итало Звево, Кафку, Круди и Герцмановского-Орландо, им бы не пришлось на старости лет удивляться распаду своего мира. «Не смейтесь над фантастами, ибо в царстве явлений грядет та же революция, которая свершилась в сфере духа. Мысль предшествует деянию, как молния грому»,[1] — писал Генрих Гейне еще в 1834 году.

Национальные государства, узаконенные около 1920 года Версальским и Трианонским мирными договорами, именовались на принятом тогда языке «государствами-преемниками», а именно преемниками Австро-Венгерской монархии. Однако прошло еще достаточно много времени, прежде чем и в Австрии убедились, что новая Австрийская республика тоже является одним из этих «государств-преемников» и что метаморфоза ее, ускоренная экономическим кризисом, проходит в бурной форме. Для писателей новой эпохи империя, которая рухнула на глазах, либо вовсе не была проблемой, либо становилась объектом язвительной аналитической сатиры. Назову лишь два примера. В романе «Танцующая дура» Альберт Парис Гютерсло в стаккато своей прозы рисует жизнеощущения загнанного, одинокого, борющегося с порывами страстей жителя большого города так, как будто проблематика старой империи вовсе никогда и не существовала. Роберт Музиль, напротив, создает в «Человеке без свойств» грандиозную ретроспективную панораму, увиденную, однако, в кривом зеркале.

Дунайский регион как тема, идея и жизнеощущение продолжает жить в традиционно ориентированной австрийской литературе, например, в творчестве Гофмансталя и многих книгах Йозефа Рота.

В свою очередь, Вена остается местом действия, а тем самым темой для многих крупных авторов других стран дунайского региона.

Дунайский регион как место событий играет существенную роль и в произведениях современных писателей старшего поколения — как воспоминание, как личный опыт или как свободная от старых эмоций и устремленная в будущее идея единства народов. Назову Франца Теодора Чокора, Александра Лернет-Холения, Хаймито фон Додерера, Жоржа Зайко, Элиаса Канетти и Манеса Шпербера.

Родившиеся около 1900 года постепенно уходят от нас. За последние 10—15 лет умерли Чокор, Лернет-Холения, Додерер, Зайко. Они еще живы в памяти, но поколение, к которому они принадлежат, покидает нас, и вместе с ними мы теряем живую, органическую связь с миром их впечатлений. Для нас, более молодых, была ценна живая связь и с лириком Гуго Гуппертом, который важные годы жизни провел в Советском Союзе и которому мы обязаны, наряду с немецким переводом всех произведений Маяковского, еще и ценными открытиями, советами и воспоминаниями. Из старшего поколения у нас остаются еще два писателя, которым есть что сказать в этом отношении: Элиас Канетти и Манес Шпербер, которые, эмигрировав, в Австрию больше не вернулись. Лишь временами появляясь на родине, они, однако, делятся с нами своими воспоминаниями.

Привязанность к совершенно определенному духовному миру, связанное с ним побуждение действовать во имя единения народов можно проследить и в австрийской литературе наших дней. Прежде всего здесь должны быть названы австрийские авторы, пишущие на родном им хорватском и словенском языках, например, Августин Блазович, Ана Шоетич и Юрица Сенар, а также издатель бургенландско-хорватского журнала по вопросам культуры «Покус» Петер Тюран.

Более многочисленная группа словенцев в Каринтии обладает и более разносторонней литературой. Центром ее является журнал «Младе», издатели которого Флорян Липуш и Янко Месснер как раз в последние годы опубликовали свои важнейшие книги.

Затронув эту тему, я обязан сказать и о добрых друзьях, знакомых, и о самом себе. Это особенно трудно. Поэтому хочу лишь упомянуть, что новеллистка Барбара Фришмут изучала венгерский язык и уже сейчас многое сделала для перевода и распространения венгерской лирики в Австрии. Писатель и теоретик музыки Петер Даниэль Вольфкинд, имя которого, собственно, Петер Вуйика, в своей проникновенной прозе передает силу южнославянской поэзии. Лирик Алоис Хергоут ищет связи с соседними славянами. Мило Дора — неутомимый пропагандист югославских авторов, который очень много сделал и как переводчик. Упомяну в этой связи и журнал «Паннония» (его подзаголовок «Журнал европейского сотрудничества»). Около десяти лет он регулярно знакомит читателей с венгерскими, южнославянскими и польскими авторами и информирует о примечательных явлениях в других литературах. Вышло, в частности, и посвященное СССР приложение — «Пятнадцать окон». Нами, людьми, создающими журнал, движет единственно лишь намерение в современной форме конкретно проводить идеи интернационализма с помощью печатного слова.

Я думаю, что в этих бегло очерченных процессах мы можем разглядеть нечто вроде модели. Живой поток идей и тем, преодолевающий языковые границы, служит гуманизму и противодействует слепому национализму. Мифические предубеждения, засевшие в коллективном сознании той или другой нации, подвергаются проверке на истинность и частично устраняются. Одновременно даже малые культурные очаги попадают в культурный резонанс, который усиливает их звучание. Это способствует сохранению самостоятельности и в конечном счете свободы тех литератур, которым угрожает тенденция униформирования и нивелировки — тенденция, порождаемая в высокоиндустриализованных странах промышленным производством продуктов культуры (телевидение, радио, изготовление грампластинок и магнитофонных кассет, многие

[1] Перевод С. Рожновского.

массовые газеты). Стандартизация подобного рода усиливает товарный характер литературы. Стремление к максимальному сбыту является его следствием. Делается попытка и литературу подчинить законам рынка и ограничить самостоятельность малой творческой единицы не политическими, а экономическими резонами.

Естественно, мыслящий человек старается подобной ситуации противостоять, в частности, и посредством внедрения в сознание общественности мысли о том, что литературам дунайского региона нет оснований — или же более нет оснований — стыдиться сравнения с литературами более многочисленных народов. Неравномерности экономического и социального развития стран Европы в прошлом породили определенную неравномерность и в развитии их литератур. Сто, даже пятьдесят лет тому назад люди в поисках образцов устремляли взоры к Лондону и особенно Парижу. Страшная интермедия фашистского господства создала после освобождения дополнительную потребность наверстать упущенное. Но отказ от плодотворного влияния великих литератур в этой ситуации был бы глупостью. Все мы движемся в том силовом поле, которое Гёте первым обозначил простым и убедительным выражением «мировая литература». Неравномерности развития не вечны. Они не являются порождением некоего константного «национального гения», который оделяет одну нацию бóльшими, а другую меньшими творческими потенциями. Движущей силой творческих деяний являются в конечном счете личности писателей и художников, которые при стечении особенно благоприятных социальных обстоятельств временами объединялись в духовные центры. Например, живописцы и скульпторы в городах-государствах Италии эпохи Ренессанса; многие писатели в Веймаре в первой трети XIX столетия; ряд композиторов примерно в то же время в Вене и т. п. На Париж эпохи fin de siecle мы смотрим с тем же восхищением, как и на Москву двадцатых годов или на тот период американской литературы, который связан с именами Фолкнера, Хемингуэя и Карсон Маккаллерс. Односторонне ограничивать свой кругозор нет никакого резона. Литературы малых народов дунайского региона не отстают от литератур других народов. То тут, то там в этом регионе рождаются новые образцы, которые становятся примером для писателей других наций. Я имею в виду, скажем, произведения Иво Андрича, Томаса Бернхарда, Владимира Голана, Ференца Юхаса, Васко Попа.

Венгерский мыслитель Ласло Немет с большой прозорливостью говорил еще в тридцатые годы о «восточном Гольфстриме» духа. Этот «восточный Гольфстрим» дает о себе знать в наши дни. Надеюсь, что этими скромными замечаниями я прояснил свою позицию в отношении истории возникновения и сущности этого потока.

Перевод с немецкого С. РОЖНОВСКОГО

Д. ЗАТОНСКИЙ

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ СТАТЬИ ДЬЕРДЯ ШЕБЕШТЬЕНА

Австрийских авторов — новых и старых — ныне читают, пожалуй, больше, чем прежде: в 30-е, 40-е, 50-е годы. О них сегодня особенно много пишут. Не только в Австрии, что разумéется само собой. Не только в Венгрии, Чехословакии, Югославии, Польше, Италии, что тоже понятно, ибо страны эти некогда были частями сгинувшей Австро-Венгерской империи или вобрали в себя ее обломки. Об австрийской литературе много пишут и в Англии, и во Франции, и в США, и в Советском Союзе.

Лишь за последние несколько лет наши издательства и журналы познакомили читателей с романами Йозефа Рота, Хаймито фон Додерера, Барбары Фришмут, повестями Петера Хандке, пьесами Эдена фон Хорвата и Фердинанда Брукнера, стихами и прозой Ингеборг Бахман, рассказами Роберта Музиля. В 1981 году вышел объемистый том «Австрийская новелла XX века». На подходе и другие книги: например, знаменитый роман Музиля «Человек без свойств».

Внес свою лепту и журнал «Иностранная литература». Не только переводами из Музиля, но и обстоятельным разговором об особенностях австрийской литературы, о ее природе. В номере девятом за 1981 год помещена статья С. Рожновского «Прошлое и настоящее австрийской словесности. Не совсем академические раздумья», в номере, который читатель держит в руках,— эссе Дьердя Шебештьена «Австрийская литература и ее связи с литературами дунайского региона».

С. Рожновский отстаивает самобытность австрийской художественной культуры и стремится свою точку зрения научно обосновать. Д. Шебештьен как бы наполняет его доводы живой исторической и литературной плотью. Взгляд Шебештьена — это взгляд изнутри литературного процесса. Всплывают не только не самые еще обиходные у нас австрийские имена (Г. Квальтингер, Ф. Фельдер, Л. Гай, П. Прерадович, Л. фон Доеци, А. Лернет-Холения, М. Шпербер, Ф. Липуш и др.), но и не слишком знакомые слагаемые австрийского культурного становления (исконность славянской почвы «дунайского региона», барочная, игровая стихия, влияние итальянской народной «commedia dell'arte » и т. д.). Заключенное в свободную, личностную и в то же время дисциплинированную форму изложения, все это позво-

ляет заглянуть в сферу «австрийского духа». «Я не ученый. Я писатель»,— так начинает Д. Шебештьен свое эссе. И сквозь писательский подход к материалу, к теме проглядывает австрийская специфика. Он — этот подход — высвечивает ее реальность, ее бессомненность, быть может, осязаемее, чем логическая система шебештьеновских доказательств.

Скажем, автор эссе ставит в вину триестинскому германисту Клаудио Магрису, сочинителю книги «Габсбургский миф в австрийской литературе» (1963), «отсутствие у него четкой формулировки взаимосвязи, которая существует между крахом Австро-Венгерской монархии и возникновением сюрреалистической литературы, которая превращает смертельное в жизнеутверждающее, то есть корректирует действительность методами видения». В этой связи Шебештьен называет Кафку, венгра Д. Круди, итальянца Итало Звево, австрийца Ф. фон Герцмановского-Орландо, польского прозаика Б. Шульца. И говорит, что все они «отрицают действительность своего времени настолько радикально, что просто не принимают ее во внимание. Они не критикуют свое время, а как бы заменяют его другой действительностью».

Здесь далеко не все точно. Верно, что сюрреализм не столько критиковал свое время, сколько заменял его «другой действительностью», но в высшей степени сомнительно, был ли этот заменитель «жизнеутверждающ». Я не уверен и в том, что названные Шебештьеном художники вообще могут быть отнесены к сюрреалистам. По крайней мере, некоторые из них: Герцмановский — сатирик, спору нет, порой несколько макабрический, однако высмеивавший под видом страны Тарокании вполне реальную Габсбургскую монархию и этого никак не скрывавший (и Вену, и Меттерниха он называет по имени); Итало Звево в романе «Самопознание Дзено» изобразил жизнь Триеста в начале века, жизнь зыбкую, подчас призрачную, смещенную мирочувствованием героя; он, Звево, близок к Джойсу, но ведь и Джойс не был сюрреалистом. Казалось бы, писателем, подменявшим социальную действительность некой иной, вымышленной, был Кафка. Но и это не так. Он ее мистифицировал, мифизировал, бывало, искажал, однако не «снимал» (кстати, если только в «снятии» реальности видеть единственную родовую примету сюрреализма, то даже Бретона, не говоря уже о раннем Арагоне или раннем Элюаре, пришлось бы числить по какому-нибудь другому ведомству).

Во всех трех кафковских романах — в «Процессе», в «Замке», даже и в «Америке» — «плоть» лежащей в их основе и все в них между собой связывающей метафоры, в сущности, едина. Это противостоящая индивиду бюрократическая машина: судебные присутствия, канцелярии замка, «чудовищная иерархия» (слова самого Кафки) третьеразрядного отеля «Оксиденталь». Но почему же, если метафора выражает — по мысли разных толкователей творчества писателя — нечто теологическое или экзистенциальное, или, наконец, просто «духовное», одето оно именно в такую «плоть»? Конечно, страхи Кафки, его неуверенность в себе и окружающем не раз принимали и иные зримые образы. Например, в одном из кафковских новеллистических фрагментов они оборачиваются зеленым драконом, в другом — зарослями, из которых человек не находит выхода, в третьем — старым мечом, вонзенным между лопатками, а в четвертом — даже длинным, тощим субъектом, притворившимся, будто он — перила театральной ложи. Но есть у Кафки новелла (она называется «Как строилась китайская стена»), вырастающая из той же метафоры, что и романы. Той же, только более прозрачной. Это — метафора власти. И власти пережиточной, абсурдной, однако еще сильной, еще неизбывной именно своею немощью, своею мифичностью. Подданные на далекой окраине империи не знают, какая династия нынче правит в Пекине, путают живого богдыхана с давно умершими. Перед нами типично австрийская власть. И по сути своей, и даже по форме: ведь еще Маркс называл Габсбургскую монархию «немецким Китаем» [1].

Итак, можно не соглашаться с теми или иными конкретными оценками Шебештьена, не принимать те или иные его резоны. Но при этом нельзя отрицать, что, нащупывая связь между распадом Дунайской империи и характером ее литературы, он прикасается к самому нерву проблемы. Дело в том, что наиболее, пожалуй, общим и наиболее показательным признаком австрийской литературы является как раз эта связь с тем анахроничным, аномальным, ни на что другое (особенно в XIX и XX веках) не похожим государством, которое столетиями было просто «наследственными владениями дома Габсбургов», с 1804 года стало именоваться Австрийской, а с 1867-го — Австро-Венгерской империей. Однако речь идет по преимуществу о связи обратной. То есть, чем в больший упадок приходила империя, чем более шаткими становились ее основы, тем большую значительность, яркость, глубину приобретала ее литература. И совсем уже, казалось бы, неожиданное: «звездный час» этой литературы наступил после того, как империя рухнула.

Все, впрочем, не так уж таинственно. Сила австрийской литературы (я, естественно, имею в виду ее крупнейшие имена и явления), можно даже сказать, ее социальная миссия определяется тем, что Шницлер и Рильке, Музиль и Кафка, Краус и Гофмансталь, Брох и Рот, Цвейг и Додерер были среди самых первых художников в Западной Европе, а может быть, и во всем западном мире, которые ощутили, что человечество оказалось у порога великих перемен, что приближается, что уже начинается новая эра его истории. И ощутили они это особенно остро именно благодаря связи с таким государством, как Австрия — отсталым, полуфеодальным, но и «обогнавшим» многие прочие империалистические державы по части антагонистических противоречий — явственных, выплеснутых на поверхность и оттого не оставляющих сомнения в неизбежности, в близости летального исхода. В этом смысле сгинувшая монархия — «пример», даже «символ». И сегодня еще живой, и сегодня еще актуальный.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 9, с. 100.

«Каждая литература дунайского региона восхищалась своим сюрреалистом,— пишет Шебештьен,— и не могла осознать двойной соотнесенности: во-первых, безусловной реакции собственного духа на общий кризис и, во-вторых, своей связи с очагом этого кризиса — Веной». Вена, конечно же, не была центром сюрреализма, да и вообще не о сюрреализме речь (я уже пытался это как-то объяснить). Речь о художественном опредмечивании кризиса целой общественной системы. И Вена, старая Австрия, была если и не его «очагом», так, во всяком случае, его впечатляющей «моделью». Шебештьен это хорошо чувствует и, повторяю, по-своему выражает.

Габсбургская держава с давних пор была образованием странным, величиной неустойчивой. Однако она не всегда являлась чем-то анахроничным, чем-то кризисным. Некогда она складывалась, как и всякая феодальная империя, из пестрых, разноплеменных лоскутьев, путем захватов, счастливых наследований и удачных брачных союзов. А к XVI веку, когда другие подобные ей империи постепенно стали уступать место государствам национальным, «наследственные владения дома Габсбургов» оказались полезными в качестве оплота против турецкой экспансии: народы Центральной Европы — каждый в одиночку — не смогли бы противостоять полчищам Оттоманской Порты. Затем турки перестали быть силой столь грозной, столь устрашающей. Но великая держава на Дунае, к тому же представлявшая собою «домен» наследственно-выборных кайзеров Священной Римской империи германской нации (тоже один из австрийских парадоксов!), существовала уже слишком давно, чтобы ее исчезновение с географической карты не сказалось на европейском политическом status quo. В ее сохранности были заинтересованы не только собственные ее властители, но и хозяева других великих держав: распад Габсбургской монархии непоправимо нарушил бы равновесие сил. И дальновидный Талейран отсоветовал скорому на руку Наполеону выгонять из Вены императора Франца. Наполеон послушался совета: Священную Римскую империю германской нации упразднил, но Австрию как таковую оставил. Совершенно то же произошло и после австро-прусской войны 1866 года: король Вильгельм порывался расчленить побежденную страну, но Бисмарк его отговорил. И Габсбургская монархия продолжала жить, ведя существование во многом искусственное, «музейное» (по словам писателя Германа Броха), пока не рассыпалась окончательно в 1918 году. Ее уже ничто не могло спасти. Однако «вакуум», крушением этим созданный, столь остро ощущался консервативными буржуазными политиками, породил в их глазах ситуацию столь нестерпимую, что и по прошествии доброй четверти века (уже под конец второй мировой войны) Черчилль носился с планами воссоздания некой «дунайской федерации» со столицей в Вене.

Говоря об австрийской литературной самобытности посреди общегерманского контекста, Шебештьен замечает: «Различия начинают ясно прорисовываться к концу XVIII века». Это не только верно, но и понятно. Ведь существеннейшим фактором, так или иначе лепившим австрийскую художественную самобытность, было ощущение непрочности основ всего старого, традиционного миропорядка. В формах явственных, в виде наиболее завершенном оно присутствует в «Марше Радецкого» Рота, в «Человеке без свойств» Музиля, в «Смерти Вергилия» Броха, то есть в вещах, написанных после крушения Габсбургской монархии, как бы подводящих итог всему этому «тысячелетнему царству». Однако предчувствие надвигающихся, близящихся перемен просматривается и в творчестве раннего Рильке, раннего Шницлера, раннего Гофмансталя, раннего Стефана Цвейга. Более того, оно проглядывает и сквозь самоотверженность грильпарцеровского служения «австрийской идее», и сквозь штифтеровские идиллии. Ибо уже в те времена, в первой половине XIX века, когда Франц Грильпарцер сочинял «Распрю братьев в доме Габсбургов» и ратовал за пассивность государства и безликость правителя, когда Адальберт Штифтер формулировал свой «мягкий закон», утверждавший бытовое, частное, малое и отвергавший буйное, красочное, великое, уже в те далекие времена Австрийская империя вела некую «жизнь взаймы» у мировой истории. Боль утраты и сознание, ожидание неизбежных перемен — словом, то социальное чувство, которое в большей или меньшей мере формировало австрийскую литературу на всем ее протяжении,— чувство раннее (этим она и отличается во многом от прочих литератур, и в первую очередь от немецкой). Но оно никак не «изначальное», не «врожденное» чувство. Породила его историческая бесперспективность (естественно, когда сама проявилась) того государства, с которым австрийская литература была связана — связана тесно, органично, хотя и в высшей степени сложно, вопиюще противоречиво. Так вот, историческая бесперспективность Габсбургской монархии воочию проявилась на переломе XVIII и XIX столетий, когда свершения Французской революции создали для нее фон, фон с нею контрастирующий, оттеняющий ее анахроничность. А вместе с этим «прорисовались» и черты австрийской литературной самобытности.

Впрочем, есть еще одно обстоятельство, побуждающее вести отсчет именно с этого времени. Столетиями Габсбурги успешно боролись за главенство в общегерманских делах. Внешние по отношению к Священной Римской империи мадьярские, польские, хорватские, словенские, украинские, итальянские владения рассматривались лишь как козырь в этой главной игре, как средство к достижению цели. Поражения, которые Вена стала одно за другим терпеть от своего нового немецкого соперника — Пруссии, волей-неволей отбрасывали ее к делам «домашним», к заботам о тех разноязыких землях, что никогда прежде и не виделись ей единым государством, да и не были им на деле. Корона германского кесаря, отнятая Наполеоном, даже еще красуясь на голове Франца II, была не более чем знаком уже утраченного величия. Бонапартов жест лишь освятил свершившееся — то, что Франц перестал быть немецким государем. И он переименовал себя в 1804 году, за два года

до Бонапартова жеста, во Франца I, императора Австрийского, сюзерена страны, где немцы составляли меньшинство населения, хоть и сохраняли за собой позиции господствующие...

Конституирование «новой» державы совпало с ее проявившейся исторической никчемностью. Идеологически она родилась не как реальность, а сразу как миф. Для литературы все это, однако, имело значение не только в смысле установления (или усиления) «обратности» ее связей с государством. Ничто на свете — ни хорошее, ни дурное,— особенно если ему была уготована долгая жизнь, не проходит бесследно. Собранные под габсбургской властью нации и народы, сосуществуя вынужденно, а под конец даже насильственно, тем не менее вступили за долгие столетия в некое общение, взаимодействие — экономическое, духовное, культурное,— частью не покидавшее официального русла, частью же им пренебрегшее. Обращение габсбургской политики, габсбургской идеологии к делам собственного дома, ознаменовавшееся возникновением Австрийской империи, явилось своеобразным толчком — толчком к размежеванию и толчком к объединению. Некоторая часть австрийских немцев увидела себя национальным меньшинством, островом посреди разноплеменного, по преимуществу славянского «моря» и потянулась к фантомам пангерманства. Другие, напротив, лишь сейчас посчитали себя вполне австрийцами, то есть людьми единой с этим «морем» исторической судьбы. В их среде и сложилась австрийская литература в собственном и лучшем смысле этого слова. Она могла быть только немецкоязычной (включение в ее сферу национальных литератур империи научной критики не выдерживает), но никак не немецкой. Ибо она,— пожалуй, приблизительно до 1945 года — не национальна, а, так сказать, «наднациональна»: она — литература страны, государства. Не в том смысле, что непременно отстаивает его интересы (хотя и такое, конечно, бывало), а в том, что занимается его общими проблемами, болеет его болями, даже вскрывает его «музейность», мертвенность, абсурдность. И немецкий язык играет здесь роль, аналогичную той, что выпала в средневековой Европе на долю латыни: пользоваться им — это единственный способ быть услышанным разноязыкими подданными империи. Более того, немецкий язык австрийских писателей не просто выполнял иную, чем в Германии, функцию, он имел и иное художественное наполнение. Творчество этих писателей потому и обращается ко всем народам страны, что оно и само открыто навстречу их национальным чаяниям, что вобрало в себя и по-своему интегрировало, сплавило разнообразные элементы их культуры. И такая открытость (второе имя которой — интернационализм) становится еще одним примечательным признаком австрийской словесности. Обстоятельства сделали ее мостом между германским и славянским мирами. Еще шире: между Западной и Восточной Европой. Она — мост, переброшенный от Испании и до России...

Д. Шебештьен подробно и увлеченно рассказывает о том, что немецкая Австрия и прежде всего Вена дали литературам «дунайского региона». Многие из приведенных Шебештьеном фактов меня убеждают вполне, иные — не очень. Скажем, он пишет: «Возрождение венгерской литературы вообще происходило в Вене, в так называемом кружке лейб-гвардейцев». Какова в данном случае роль Вены? Она в самом деле тот единственный духовный центр, где эти венгерские гвардейцы императрицы Марии Терезии могли приобщиться к вольтерьянству и руссоизму, или лишь место, в котором они волею судеб тогда оказались? Меньше всего Шебештьен говорит о том, что австрийская литература от «дунайского региона» получила. Между тем без этого, полученного, ее бы просто не было. То есть была бы, разумеется, какая-то другая, но не та австрийская литература, которую мы знаем и высоко ценим; не было бы литературы столь яркой, столь самобытной, столь на другие непохожей. Главное даже не в конкретных вкладах чехов, хорватов или украинцев, а в самом принципе их наличия, в скрещении, в переплетении традиций — своих и чужих, германских и негерманских — в скрещении, в переплетении, давшем какое-то совершенно новое, именно австрийское качество. Одна из его примет — исконная, даже узкообластническая фольклорность (тирольская, верхне- и нижнеавстрийская, бургенландская), которая, однако, не препятствует широте, всеохватности, разомкнутости, напротив, с ними сосуществует, более того, как бы их предполагает.

Все это, конечно, возникло не сразу, не вдруг, но накапливалось постепенно, созревало исподволь, веками. Шебештьен пишет: «Восточнодунайская сфера примерно с VIII столетия является темой и местом действия австрийской литературы». Следовательно, он полагает, что литература эта существует уже столь давно? Однако, по его же собственным словам, ее существование становится по-настоящему видимым лишь тысячу лет спустя. Нет ли здесь противоречия? С. Рожновский, статью которого я упоминал в начале этих заметок, тоже склонен относить к австрийской словесности и «Песнь о Нибелунгах», и «Кудруну», и сказание о Дитрихе Бернском. Свое с этим несогласие я уже высказал в работе «Австрийский литературный феномен» («Вопросы литературы», 1983, № 2) и повторяться не стану. Скажу лишь, что, кроме всего прочего, следует, наверное, договориться, какой смысл вкладывается в понятие «австрийская литература». Если под этим понимать совокупность немецких поэтов, проживавших в географических пределах нынешней Австрии и сродненных со своим краем, то такая литература существовала и в XIV, и в XII, и в VII столетиях. Вопрос лишь в том, кардинально ли она отличалась от других областнических литератур вечно раздробленной Германии — от какой-нибудь вестфальской или швабской (вот ведь и по Шебештьену выходит, будто она «невидимкой» просуществовала целых десять веков). Спору нет, различия были, но те же примерно, что и между диалектами единого языка. Вполне самостоятельной, самобытной, хотя по причине парадоксальности своего развития и ненацио-

нальной (я уже об этом говорил), австрийскую литературу сделали те особенности, речь о которых шла выше. И они не просто «прорисовались», но и по-настоящему сложились во времена Марии Терезии и внука ее, Франца.

Английская писательница Вирджиния Вулф однажды отнесла начало модернистской «литературной революции» к... осени 1910 года. Я не последователь ее странной практики и не хотел бы быть понятым так, будто настаиваю на жесткой датировке возникновения австрийского искусства: дескать, вторая половина XVIII века — это время рождения венской классической музыки, 1804 или 1806 год — время рождения литературы. Даты эти для меня не более чем условные точки отсчета. Когда мы займемся историей австрийской литературы, нужно же будет ее с чего-то начинать. Думается, что начинать следует с Раймунда, Грильпарцера, Нестроя, Штифтера. Разумеется, предпослав всему обширнейшее вступление, через которое красной нитью проходили бы слова «традиция» и «постепенность».

Д. Шебештьен указывает на три исторических явления, формировавших австрийский духовный климат: «...влияние Рима и латинской культуры, столкновение с турками и своеобразие Габсбургской монархии». Два последних так или иначе уже рассмотрены, на первом стоит еще остановиться. С. Аверинцев в работе «Римская идея» и средневековая реальность» (она является послесловием к русскому изданию исторического романа поляка Т. Парницкого «Серебряные орлы» [1]) интересно поведал о том, какую удивительно громадную роль играла Римская империя в сознании не только варваров, которые ее же и уничтожили, но и их сравнительно далеких потомков. «Власть Рима над душами,— констатирует Аверинцев,— одно из самых поразительных явлений средневековой жизни». Вне этой власти жизнь средневековья и правда не понять. Германские короли короновались в Риме в качестве его императоров. И не просто ради пустого престижа. Они и видели себя главами «всемирной», «единственной» державы, которая в идеале призвана собрать все народы земли и тем покончить с войнами, раздорами, утвердить мир и счастье. Бытование этой средневековой утопии С. Аверинцев ограничивает самой эпохой средневековья: «...в Европе перед 1914 г. ...титул «император» означал не более чем «особо значительный монарх», и одновременно существовали Австро-Венгерская, Британская, ну и Российская империи». Сказанное справедливо касательно Британской империи, быть может, Российской, но никак не Австро-Венгерской. Здесь старый-престарый миф как-то прижился; он в некотором роде даже пережил катастрофу 1918 года. Франц-Иосиф — внучатый племянник последнего из «предстоятелей» Священной Римской империи германской нации. Но не это главное. Живучесть мифа обусловлена характером Габсбургской монархии, собравшей разноплеменные и разноязыкие народы. Она сама — уже независимо от унаследованных знаков римской власти — казалась прообразом «всемирной державы».

«Я думаю,— пишет Д. Шебештьен под конец своего эссе, подводя итог всему сказанному,— что в этих бегло очерченных процессах мы можем разглядеть нечто вроде модели. Живой поток идей и тем, преодолевающий языковые границы, укрепляет человечность и противодействует слепому национализму». Такой Шебештьен, мне кажется, видит «миссию» современной австрийской литературы. Нетрудно заметить ее производность от утопии «всемирной державы», только «державы», разумеется, уже сугубо духовной. Консервативность исторических истоков «австрийской идеи» сама по себе смущать не должна: в основе своей она продуктивна. Тем не менее известные оговорки были бы здесь желательны. Хотя бы потому, что утопия из эры отношений, так сказать, донациональных переносится в совершенно иную действительность, посреди которой реальной целью становятся неантагонистические отношения между нациями.

И новейшая австрийская литература в лице И. Бахман и Т. Бернхарда, П. Хандке и Г. Айзенрайха, Ф. Кайна и М. Шаранга, кстати сказать, наконец превращается в литературу национальную. Но превращается лишь тогда, когда делает непременное различие между «австрийской идеей» взаимодействия культур и политическим «габсбургским мифом»...

Еще многое можно бы сказать. Я, однако, ограничен и местом и жанром. Ведь я пишу лишь заметки на полях статьи Дьердя Шебештьена. То есть высказываю мысли, пробужденные его мыслями, уточняю, быть может, где-то и развиваю сказанное им.

◆

[1] Т. Парницкий. Серебряные орлы. М., 1982.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА: ПЕВЕЦ В БОРЬБЕ

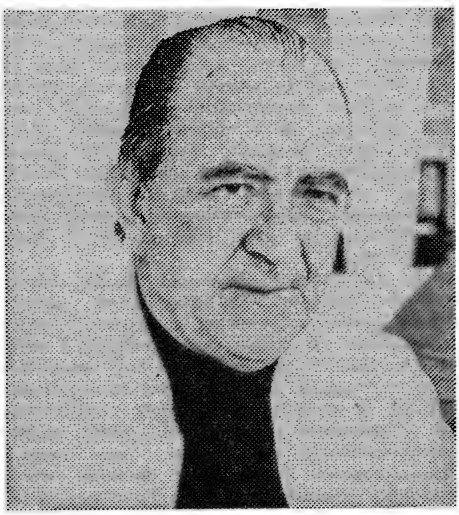


Фото автора статьи

Где-то в подполье, скрываясь от преследований царившего и тогда в Чили антинародного режима («Ты спросишь, где же я? Тебе отвечу,— хоть сведения об этом правительство так ищет,— что я на побережье с дикими камнями, где море слилось с полем, с прибоем рядом сосны, морская пена — с зеленью пастбищ, а в небе буревестники с орлами...»), писал в 1948 году Пабло Неруда стихотворное «Письмо Мигелю Отеро Сильве, в Каракас».

В отклике на полученные от венесуэльского друга вести Пабло Неруда, поделившись с ним раздумьями о долге поэта в годину схватки с реакцией, поведал: находясь среди бастовавших горняков на чилийском Севере, он неожиданно услышал от маленькой и бледной девчушки, дочери шахтера, «в голоске болезненном которой хрусталь со сталью сочетались», давнее стихотворение Мигеля Отеро Сильвы, «звучавшее пред впалыми глазами рабочих, пахарей моей страны и всей Америки Латинской». И строфы эти, по словам Неруды, «как будто вспыхнули пурпурными цветками, вторглись в кровь мою и радость жизни возродили». Взволнованно, с чувством любви к собрату и соратнику Пабло воздавал должное Мигелю, «не покидающему своего поста в борьбе и воспевающему радость». С тех пор, когда писал Пабло, прошло тридцать пять лет...

Свое семидесятипятилетие Мигель Отеро Сильва встречает на боевом посту, вновь и вновь подтверждая, что ныне, как и десятки лет назад, он не устает «воспевать радость» и бороться.

Воспевать веру в жизнь, веру в народ — зажигательно и призывно. Бороться против врагов человечества — мужественно и страстно.

«Моими действиями и моим пером неизменно руководило добровольно взятое мною обязательство: служить трудящимся моей родины, достойно утверждать верность делу мира и справедливости»,— заявил Мигель Отеро Сильва на торжественном акте в Каракасе при вручении ему международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

В тот майский день 1980 года лауреат Ленинской премии говорил:

«Я был ребенком, когда одержала победу большевистская революция, но по мере того, как мое миропонимание развивалось, я все более и более сознавал величайшее значение этого потрясшего весь мир события...».

Далее он добавил: «Сбылось поэтическое пророчество Николая Гоголя: Россия понеслась будто горячая тройка, и другие народы и государства посторанивались и давали ей дорогу.

Сначала любопытство наших детских глаз, затем энтузиазм нашего юношеского сердца, наконец — приверженность нашего зрелого мировоззрения следовали непосредственно за Советским Союзом на протяжении всего его исторического пути».

«Сначала любопытство наших детских глаз...»

Несколько лет назад пишущему эти строки довелось побывать в венесуэльском городе Барселоне, где 26 октября 1908 года родился Мигель Отеро Сильва, и в сосед-

нем Пуэрто-ла-Крус, где прошли первые годы его детства. Конечно, нельзя сравнить нынешнюю шумливую Барселону, столицу нефтеносного штата Ансоáтеги, с захолустным городишком тех лет, после ожесточенных боев национально-освободительной войны прошлого века дремавшим на берегах скромной реки Неверú, как трудно представить себе вспоминаемое Мигелем «рыбацкое селение из двадцати лачуг и одной часовенки» там, где теперь неугомонно грохочет большой торговый порт Пуэрто-ла-Крус, слившийся с Барселоной и другими окрестными городками и растянувшийся по побережью Карибского моря на добрых два десятка километров. И все же, несмотря на достаточно напряженный ритм жизни родного города Мигеля, резко контрастировавший с безмолвием саванны, которую мы только что пересекли, отправившись от берегов Ориноко, невольно хотелось здесь вообразить первые шаги будущего писателя, даже увидеть под черневшими на фоне огненного заката пальмами старую негритянку Марколину, страшными историями которой о призраках и колдуньях заслушивался маленький Мигелито (свидетельствует об этом стихотворение «Детство»), чтобы спустя годы, будучи студентом, ринувшись в первое революционное выступление, написать такие строки: «Нет, не остановят меня ни черная ночь, ни ветер, что приносит хохот и белых призраков полет... Ведь мужчинами мы родились» (стихотворение «Призраки»).

С именем Мигеля, кстати, ассоциируется многое увиденное в Венесуэле. Так, Матурúн и Сьюдад Боливар напоминали о романе «Пятеро, которые молчали» [1]; при виде покинутого жителями селения или непрестанно работающих нефтепромыслов мысль тотчас же обращалась к романам «Мертвые дома» или «Город в саванне», а на улицах и площадях Каракаса в памяти живо воскресают эпизоды романа «Когда хочется плакать, не плачу» [2]; на острове Маргарита обнаруживаешь следы главного персонажа романа «Лопе де Агирре, Князь Свободы» [3]; там и тут встречаешь что-то знакомое по стихотворениям, по пьесам, по другим произведениям Отеро Сильвы, поэта и прозаика венесуэльского народа.

Однако вернемся на побережье Карибского моря — к тому, кого называли просто Мигелито.

Раскроем последние страницы первого романа Отеро Сильвы «Лихорадка» — произведения в известной степени автобиографического, начальный вариант которого создавался автором более полувека назад.

В финальной главе, скорее эпилоге — своеобразном обращении героя романа, студента Видаля Рохаса, к «старику Достоевскому»,— автор, отмечавший в беседе со студентами столичного педагогического института, что «...в «Лихорадку» вошли элементы автобиографии... многое из того, что произошло с Видалем Рохасом, случалось у меня в действительной жизни», вспоминал, как в далекие годы детства его отец читал вслух матери «страницы из книги русского писателя Достоевского. Русского, который рассказывал о муках своего народа в бескрайних белых просторах Сибири». Мать, заметив, что сынишка безотрывно слушает отца, увела ребенка в спальню, чтобы уложить в постель, но, как только она погасила свет и ушла, «я все еще дрожал от рассказа русского писателя и в полутемном дворе, на который выходило окно моей комнаты, мне мерещились лица его героев».

Чем же был вызван столь острый интерес к «Запискам из Мертвого дома»? Эта книга, изданная на испанском языке в Мадриде в последнем десятилетии прошлого века, была приобретена отцом будущего поэта и прозаика, Энрике Отеро Вискаррондо, в поисках заработка менявшим профессии и местожительство, но не скупившимся из скудных в ту пору средств тратить деньги на книги.

Видаль Рохас, он же, по многим признакам, Мигель Отеро Сильва, поясняет:

«Эх, как бы я хотел привести тебя сюда, старик Достоевский, чтобы ты увидел страдания моего народа и поведал бы о них миру! Пусть бы ты рассказал языком правды то, что я не в состоянии рассказать!»

Мигель был очевидцем чудовищных преступлений генерала Хуана Висенте Гомеса, захватившего с помощью Соединенных Штатов власть в стране — как раз в год рождения писателя — и вскоре установившего жесточайшую диктатуру, которая просуществовала более четверти века. Оба деда Мигеля — по отцовской и материнской линии — долго мучились в кандалах в застенках тирании, еще до правления Гомеса, и лишь на пороге смерти были освобождены. Поэтому легко понять автора и героя романа:

«Пойдем со мной, старик Достоевский, и ты увидишь, как умирают люди. Пойдем со мной, и ты увидишь, как четвертуют живого человека. Послушай, как трещат кости под ударами топора. Посмотри на искаженное от страха лицо и скажи мне, можно ли выразить словами этот ужас. Пойдем со мной, учитель! Вот бредет, волоча кандалы, человек. Он не чувствует штыка солдата, шагающего за его спиной. Смотри, штык блеснул, словно рыба на солнце, и вонзился под тощие ребра... Старик Достоевский! Тот, которого зарывают в землю, еще не умер. Слышишь, он кричит, но его голос заглушается стуком лопат. Он жив! Он жив, а на него бросают землю, нашу бедную, сухую, несчастную землю...»

Полная драматизма картина, однако, не приводит в отчаяние героя произведения, alter ego автора, и свое обращение к Достоевскому он заканчивает на другой, очень характерной для него ноте:

«Я хорошо знаю, что мой народ не может умереть. Народы никогда не умирают. Не так ли?.. Я знаю, что когда-нибудь мой народ проснется. Проснется, как уже проснулся твой, старик Достоевский, как проснутся все народы, прошедшие через тяжкие испытания».

«Энтузиазм юношеского сердца», очевидно, помог Видалю Рохасу — в романе «Лихорадка» — пройти путь от буржуазного либерализма к восприятию марксистской

[1] Опубликован в «ИЛ», 1965, № 3.
[2] Опубликован в «ИЛ», 1972, № 7.
[3] Опубликован в «ИЛ», 1981, № 9, 10.

идеологии, а такой путь в условиях диктатуры Гомеса был крайне трудным, если учесть, что в страну не допускалась литература о марксизме-ленинизме, не пропускалось слово правды об Октябрьской социалистической революции в России, о Советском Союзе (по воспоминаниям друга Мигеля Отеро Сильвы, венесуэльского журналиста Франсиско Хосе Дельгадо, только в тюрьме Кастильо Либертадор в те годы он и другие арестованные за политические выступления впервые услышали от томившегося в заключении революционного поэта Хосе Пио Тамайо, одного из первых пропагандистов марксизма в Венесуэле, «о классовой борьбе, о том, что большевики взяли власть в России, что повсюду народы борются против угнетателей... Нас как громом поразило: настолько смог Гомес изолировать Венесуэлу, что даже мы, студенты университета, о многом ничего не знали»). И позднее, согласно шестой поправке к 32-й статье реакционной конституции, пропаганда коммунистических идей приравнивалась к государственной измене, коммунистов осуждали на двадцать лет каторжной тюрьмы.

Эволюцию в мировоззрении как Видаля Рохаса в романе, так и Мигеля Отеро Сильвы в жизни, ускорили февральские события 1928 года. «Неделя студента», провозглашенная Студенческой федерацией Венесуэлы, вылилась в массовые волнения, отразившие недовольство разных слоев населения режимом Гомеса. На стихийных демонстрациях поднимался голос за демократизацию жизни страны — ораторы вначале, правда, прибегали к эзопову языку, потом говорили более открыто. Слышались призывы бороться во имя идеалов свободы и социальной справедливости. В руководстве движением активно действовали девятнадцатилетний Мигель Отеро Сильва, Хосе Пио Тамайо, другие литераторы, представители интеллигенции. Аресты студентов привели к крутому обострению обстановки. Повсюду распространялись антигомесовские листовки. В поддержку молодежи объявлялись забастовки в учреждениях, на предприятиях. Строились баррикады. Вспыхивали стычки с полицией и войсками. Мигель и его товарищи попытались было захватить военную тюрьму Сан-Карлос, но там их встретил огонь сторонников режима. Были убитые и раненые. Диктатура разгромила движение, начатое студенчеством и всколыхнувшее венесуэльское общество, хотя лидерами выступления не ставился вопрос о радикальных политических переменах, о борьбе против империализма, иностранных монополий. Большинство участников было арестовано, брошено в концлагеря, обречено на каторжные работы. В реестре препровожденных в Кастильо Либертадор, в городе Пуэрто-Кабельо, числился также Мигель Отеро Сильва, студент инженерного факультета Центрального университета в Каракасе,— навсегда он распрощался со студенческим синим беретом, не получился из него инженер, зато позднее выиграет литература.

Выйдя из тюрьмы, два месяца спустя, Мигель опять устремился в бой: он участвует в заговоре, поставившем своей целью поднять восстание армейских частей.— и этот замысел также потерпел неудачу, диктатура бросила против повстанцев крупные силы. Были жертвы. Руководитель военных повстанцев, капитан Альварадо, умер под пыткой. Мигелю на сей раз посчастливилось избежать ареста, но пришлось покинуть Венесуэлу.

Юноша покинул Венесуэлу, однако мысль о родине, истерзанной, замученной, не оставляла его в покое.

В следующем же году, 1929-м, Мигель включается в новую антидиктаторскую боевую операцию. Подготовлял ее и руководил ею Густаво Мачадо, уже к тому времени известный деятель латиноамериканского коммунистического и рабочего движения, сподвижник Хулио Антонио Мельи и Рубена Мартинеса Вильены, основателей Коммунистической партии Кубы, соратник Аугусто Сесара Сандино в Никарагуа, ветеран борьбы против тирании Гомеса (еще в 1914 году он, шестнадцатилетний, закованный в тяжелые кандалы, был заключен в самую зловещую из гомесовских тюрем, Ла Ротунда, за смелые высказывания против диктатора).

План был тщательно разработан. В соответствии с планом революционеры июньским днем должны были взять штурмом принадлежащий Голландии остров Кюрасао, расположенный не так далеко от Венесуэлы, и, используя его как опорную базу, высадиться на венесуэльскую землю, развернуть вооруженную борьбу за освобождение родины. Четырнадцать рабочих и студентов, среди них Мигель, вооруженные главным образом мачете и топорами, неожиданной атакой захватили на Кюрасао форт Виллемстад, разбили и обратили в бегство его немногочисленный гарнизон, арестовали губернатора и военного начальника острова, которых взяли с собой в качестве заложников, заняли нефтеперегонный завод англо-голландской монополии «Ройял Датч-Шелл», перерабатывавший венесуэльскую нефть. Отряд уже в двести пятьдесят человек — к нему присоединились добровольцы — завладел американским судном и высадился на побережье венесуэльского штата Фалькон, неподалеку от города Коро, где в 1806 году национальный герой Франсиско де Миранда декларировал независимость Венесуэлы... Отряд, оказалось, подстерегали правительственные войска. В итоге напряженных боев, понеся большие потери — не только в сражениях: гомесисты немедля казнили попавших в плен революционеров,— после изнурительных преследований и из-за тропических заболеваний через три недели отряд насчитывал всего восемь человек. У спасавшегося от полиции Мигеля Отеро Сильвы не было иного выхода, как уйти в подполье...

Пятидесятилетие со дня штурма Кюрасао прогрессивные круги Венесуэлы отмечали в 1979 году. На торжественном заседании поделились воспоминаниями, в частности, доктор Густаво Мачадо, председатель Центрального Комитета Коммунистической партии Венесуэлы [1], и ныне всемирно известный романист и поэт, академик Мигель Отеро Сильва. Оба они подчеркивали, что эта акция носила не только антидиктатор-

[1] Скончался в июле 1983 г.

ский, но и антиимпериалистический характер. От прежних выступлений против Гомеса, говорил Отеро Сильва, боевая операция в Кюрасао отличалась тем, что политически направлялась прогрессивной Венесуэльской революционной партией, созданной коммунистами в эмиграции, непосредственно руководилась таким испытанным марксистом, как Густаво Мачадо, ядром ее были организованные рабочие. Удар наносился и по антинародной диктатуре, опиравшейся на США, с конкретной задачей ее свергнуть, и по империалистической монополии, обогащавшейся за счет Венесуэлы.

Многие месяцы жизни в условиях подполья натолкнули Мигеля на мысль написать о студенческом выступлении 1928 года. «На страницах какой-то приходо-расходной тетради, попавшейся под руку, появились первые пометки,— вспоминал не так давно Мигель,— но я еще не был писателем, да и сама история еще не вылупилась из яичной скорлупы. Года два спустя попытался что-то напечатать с помощью разбитого «ремингтона», одолженного мне портным, моим кумом... тогда я находился в эмиграции, писал под африканские ритмы на антильском острове, принадлежавшем англичанам: вторая попытка и второй тупик...»

На последней странице романа «Лихорадка» помечены годы — 1931 и 1935. Годы «попыток» и «тупиков». Работа то и дело прерывалась — изгнаннику, прорвавшему окружение полицейских агентов и снова покинувшему родину, пришлось пройти немало дорог в эмиграции: остров Тринидад, Бельгия, Франция, Испания...

«Мы, группа венесуэльских студентов-эмигрантов, столкнулись во Франции со своего рода шовинистическим угаром,— рассказывал Отеро Сильва,— на улице даже оскорбляли того, кто осмеливался говорить громко не по-французски... настолько отталкивающей была обстановка, что мы решили оставить французов с их антипатиями и комплексами и на Лионском вокзале в Париже сесть на первый поезд, уходящий за границу,— поезд мог нас увезти и в Копенгаген, но, к счастью, привез в Каталонию, в Барселону. Почти все мои товарищи поступили в Барселонский университет, а я — единственный — не записался, мне только что исполнился 21 год, и прежде всего я считал себя революционным агитатором, предпочел устанавливать контакты с марксистскими группами, с рабочими профсоюзами, вечерами дискутировал с анархистами под арками на площади, до рассвета теоретизировал насчет политических проблем в барах, и даже выступил на митинге, где главным оратором была Долорес Ибаррури. Случилось это в городе Лериде, Пасионария уже не помнит о таком событии, но мне запомнилось. И, в частности, не забылось потому, что через несколько дней иностранца, набравшегося храбрости пойти на столь дерзкую выходку, арестовали и два испанских жандарма из «гражданской гвардии» доставили в наручниках на границу, к Перпиньяну, именно тут почти год назад я переезжал французско-испанскую границу. Двенадцать последних месяцев оставили неизгладимый след в моей биографии».

В обширной венесуэльской эмиграции тех лет (очень многие бежали от зверств тирании либо были высланы диктатурой), рассредоточенной по разным странам, раздробленной на различные группы и группировки, подчас с диаметрально противоположными установками в том, что касалось методов борьбы с Гомесом и будущего Венесуэлы, естественно, не существовало единства.

Примечательно в этом свете письмо Мигеля Отеро Сильвы, датированное в Париже 21 апреля 1931 года и адресованное Ромуло Бетанкуру, буржуазному деятелю, тогда еще игравшему в «левизну», а по возвращении из эмиграции, в 1936 году, занявшему открыто реакционную, антинародную позицию, в 1959—1964 годах — на посту президента республики — яростно преследовавшему коммунистов и всех демократов. В письме (заметим — еще в 1931 году!) Отеро Сильва подверг серьезной, принципиальной критике предложенную Бетанкуром, находившимся в Колумбии, реформистскую «программу» для Венесуэлы: «Объективно говоря, программа убога... Речь не идет ни о безвозмездной экспроприации латифундий крупных землевладельцев, ни о наделе землей бедных крестьян, ни о сокращении рабочего дня, ни о праве на забастовки. О пролетариате, в общем, нигде не упоминается. Я утверждаю: лишь радикально — с четкой и революционной программой, работая с массами и для масс, — только так мы сможем добиться чего-то... На ум приходит замечательный пример: русская революция. А программа посредствующая, богобоязненная приведет к противному — мы будем приносить пользу эксплуататорам. Это — важнейшее, важнее всего...» Высоко оценивает автор письма «руководство в руках сознательных коммунистов, революционеров безукоризненной честности, не способных на оппортунизм» и весьма нелестно отзывается о социал-демократах в Европе. Небезынтересно добавить, что письмо Мигеля, перехваченное полицией, было опубликовано в 1936 году в книге под сенсационным названием «Правда о коммунистической деятельности в Венесуэле», более известной как «Красная книга генерала Лопеса Контрераса», изданной правительственной «Секретной разведывательной службой» (так гласит гриф); в виде «документа эпохи» этот опус не так давно переиздавался в Каракасе.

Вспоминая о своих скитаниях в эмиграции — зачастую осложнявшихся конфликтами с властями, как это было и на Тринидаде, где британские колониалисты видели в Отеро Сильве идейного противника,— писатель рассказывал: «Обитал я на Антильских островах, выжидая, когда генерал Хуан Висенте Гомес умрет естественным образом, поскольку считал, что нам так и не удастся его свергнуть. Гомес умер незадолго до испанской — абсурдно называемой гражданской — войны, ведь гражданского в любом толковании этого слова в ней ничего не было». Отеро Сильва имел в виду итало-германскую интервенцию в Испании и англо-французское пособничество фашистским агрессорам и Франко.

В эти годы Мигель сотрудничал в прогрессивной прессе Франции, Испании, Ла-

тинской Америки, возобновив журналистскую работу, как это бывало в студенческую пору в популярном венесуэльском еженедельнике «Фанточес», пока издание не закрыл Гомес, в журнале «Карикатурас». В Барселоне — разумеется, каталонской, а не венесуэльской — с его предисловием вышла книга Густаво Мачадо «Штурм Кюрасао». И продолжал работать над рукописью романа «Лихорадка», первый вариант которого завершил в 1935 году,— однако произведение увидит свет только четыре года спустя.

Умер диктатор Гомес — изгнанник тотчас же нелегально возвращается на родину, и тотчас же его арестовывают по приказу нового президента генерала Лопеса Контрераса, высылают на Тринидад, однако через каких-то три месяца Мигель снова в Венесуэле.

В стране кипела политическая жизнь, сложная, противоречивая. Избавившись от гнета гомесовского деспотизма, все как будто лихорадочно спешили вздохнуть свободно, рассчитывая, что пришедший к власти генерал Элеасар Лопес Контрерас, бывший военным и военно-морским министром в кабинете Гомеса, изберет курс на либерализацию, к тому же была принята новая конституция, легализованы профсоюзы. Возникло около сорока политических партий. А Коммунистическая партия, созданная в глубоком подполье еще в марте 1931 года, продолжала действовать и в 1937 году провела свою первую конференцию (среди семнадцати ее участников был Мигель Отеро Сильва) в условиях полной нелегальности.

Мигель работает в демократической печати: в газете «Аора», где под псевдонимом Микки ведет стихотворную колонку «Глупые симфонии», откликаясь на актуальные темы (под таким же названием впоследствии он выпустил книгу юмористических произведений в прозе и стихах), заведует редакцией газеты «Эль популяр». Литературный труд — прежде всего боевые стихи, призывающие к борьбе против фашизма и реакции, написанные в защиту обездоленных, позднее они войдут в сборник «Вода и русло»,— сочетается с интенсивной общественно-политической деятельностью в прогрессивных организациях; очень часто, днем и ночью, динамичного оратора слышат на митингах и демонстрациях, на собраниях.

Отбросив маску «либерала», Лопес Контрерас свел к нулю новую конституцию — за исключением антикоммунистической поправки, о которой упоминалось ранее, запретил деятельность Конфедерации трудящихся, открыл «крестовый поход против коммунизма». Распространялась пресловутая «Красная книга» явно провокационного характера, на многих страницах которой фигурировало имя Мигеля Отеро Сильвы наряду с именами других патриотов. Поднялась новая волна массовых арестов. Воцарился реакционный террор...

О дальнейшей работе над романом «Лихорадка» Мигель писал:

«В 1936 году, правда, меня опять преследовала полиция — уже не генерала Гомеса, а генерала Лопеса Контрераса, и надо сказать, не для того, чтобы убить меня, а лишь изгнать из моей страны. Все же я успел собрать все написанное прежде, сложить и связать вместе — примерно двести страниц, переплел их в виде книги, будь что будет, даже не стал задерживаться с правкой, ни с кем предварительно не посоветовался — просто отстукал на машинке неумелыми, неопытными руками. Так и вышло в свет первое издание «Лихорадки».

В который раз автору романа пришлось скитаться за пределами родины — Мексика, Соединенные Штаты, Куба, Колумбия. В его отсутствие в Каракасе печатается «Лихорадка» с подзаголовком «Роман венесуэльской революции», сразу же после появления в 1939 году вызвавший большой читательский интерес. В следующем году роман издается в Мексике, где еще до выхода «Лихорадки» был опубликован первый поэтический сборник Мигеля «Вода и русло» со стихами, написанными в Венесуэле, обложку для книги сделал известный мексиканский революционный художник Леопольдо Мендес.

Многолетняя эпопея «Лихорадки» на этом не закончилась.

Сорок лет спустя Мигель решил «сделать то, чего не сделал в должное время», когда набросал первые наметки будущего произведения, первого прозаического в творчестве поэта. Автор сделал тщательную редактуру текста, «очищались» главным образом язык и стиль, несколько изменена была структура частей, нетронутыми остались образы персонажей и сюжетное построение книги (в значительной степени, как известно, автобиографической; по словам писателя, «та часть, где действие развертывается в Паленке,— это эпизоды пережитого моими университетскими товарищами, заключенными в концентрационном лагере... Я предпочел довести до конца повествование не на чужой земле, хотя самому удалось выехать из страны, а в этой тюрьме, схожей в чем-то с тюрьмами Достоевского, но расположенной в льянос штата Гуарико»).

Каждый, кто читал «Лихорадку», издававшуюся и на русском языке, быть может, обратил внимание на то, что в романе нет окончательной развязки и произведение обрывается как бы на полуслове, далее следует многоточие. Автор преднамеренно это сделал, пояснив: «...«Лихорадка» кончается неопределенностью — и наше выступление так называемого «поколения 1928 года» было нечетким, не единым, ничего общего мы, участники, не имели между собой, если не считать самого мятежа против Гомеса и последующих страданий, арестов, изгнания. Потом все мы рассеялись по разным дорогам, во многих случаях антагонистичным. Роман завершен в тот момент, когда началась разобщенность в нашем движении».

Уже в этом дебюте в прозе поэт Мигель Отеро Сильва показал себя талантливым художником-реалистом, не отступающим от правды жизни. Говоря о своих первых романах — «Лихорадка», «Мертвые дома», «Город в саванне»,— писатель подтвердил: «Мои романы — отражение венесуэльской действительности».

А персонажи? В той же «Лихорадке», кроме студента Видаля Рохаса, очевидно, особо запоминаются рабочий-революционер

Иларио Фигерас, его считают одним из первых в венесуэльской литературе образов коммунистов (автор не уточняет партийную принадлежность героя — в описываемое в романе время Коммунистическая партия Венесуэлы организационно еще не оформилась), и его антитеза — «генерал» Уррутия, авантюрист, вклинившийся ради собственных интересов в антигомесовское движение. «В романе,— свидетельствует автор,— я показываю рабочего вожака, возвышающегося как символ пролетарской идеологии — в плане контраста с мелкобуржуазными мечтателями из среды студенчества. Мой персонаж явился плодом литературного «симбиоза» двух людей — испанского рабочего по имени Хосе Тостон, жившего в Каракасе двадцатых годов и на свой страх и риск стремившегося организовать профсоюз, и инженера-механика Мариано Фортоуля, создававшего первые революционные ячейки, марксистско-ленинские, в Венесуэле тридцатых годов». «Рисуя образ Робледильо,— добавлял писатель,— я думал о моем друге Гильермо Принсе Ларе, безвременно умершем, и о самом себе, и у Робледильо даже больше моих характерных черт того времени, чем у главного персонажа Видаля Рохаса, однако передуманное Рохасом в те дни большей частью передумано было мной».

Что же касается Уррутии, то, по словам Отеро Сильвы, он «хотел написать конкретный портрет «генерала» Рафаэля Симона Урбины, реакционного каудильо, злодеяния которого пришлось видеть». Этот самозваный «генерал», между прочим, примыкал к штурмовавшим Кюрасао, а затем оказался предателем. И в других персонажах романа, дал понять писатель, можно найти что-то взятое от товарищей по совместной борьбе, от знакомых по тем бурным дням.

Роману «Лихорадка» мы уделяем столько внимания потому, что сам автор, как подтвердили и многие беседы с ним, придавал и придает особое значение своему первенцу в прозе, считает его «принципиально главным произведением»: этим романом писатель открыл новый этап в истории венесуэльской литературы, весьма четко определив собственные творческие, эстетические концепции, политические взгляды. Этому произведению писатель отдал очень много сил и времени, заботливо его отрабатывая, даже лелея, и оно по сути стало своего рода «корневым», от которого «отпочковались» многие другие его романы и бóльшая часть его поэтических произведений.

Еще в 1925 году поэт Фернандо Пас Кастильо, некогда преподававший историю литературы в каракасском лицее, директором которого был знаменитый романист Ромуло Гальегос, сердечно приветствовал своего ученика Мигеля Отеро Сильву, опубликовавшего первое стихотворение:

> Будто желая пуститься в полет,
> из аллегории индеянка встает...

С тех пор к горизонтам мировой литературы пустился в полет и автор символически прозвучавших, пусть безыскусных строк.

А в 1972 году, почти через полвека, маститому ветерану литературы дону Фернандо Пасу Кастильо довелось приветствовать Мигеля Отеро Сильву, выпустившего «Лихорадку» в новой редакции: «Это — свидетельство эпохи и ее людей, но прежде всего — счастливое рождение романиста, прозаика и поэта, который умеет видеть, любить или бичевать то, что его окружает... Верность Мигеля принципам своего дебюта восхищает».

Избранным в юности принципам, идеалам борьбы за демократию Отеро Сильва остается верным на протяжении своей жизни и в своем творчестве.

Вернулся из нового изгнания он в 1941 году, когда в Венесуэле президентом был избран генерал Исайас Медина Ангарита, проводивший в общем противоречивую политику, но все-таки к концу второй мировой войны легализовавший компартию, а также установивший дипломатические отношения с Советским Союзом.

Не теряя времени, писатель основывает юмористический, но не обходивший острых политических вопросов еженедельник «Эль моррокой асуль», заведует редакцией еженедельника «Аки эста» («Ввиду того, что реакционная шестая поправка к 32-й статье конституции еще сохранялась и Коммунистическая партия не могла открыто выступать под своим названием, то «Аки эста» нельзя было объявить коммунистическим изданием, хотя никто не сомневался, что еженедельник представляет идеологические, политические интересы партии»,— отмечалось в центральном органе КП Венесуэлы, газете «Эль популяр», в феврале 1982 года).

Журналистика захватывает Мигеля еще более после того, как в 1943 году вместе со своим отцом, ставшим видным предпринимателем, и поэтом Антонио Арраисом он начинает выпускать газету «Эль насиональ» (в одной из недавних бесед Мигель сказал: «Ведь я родился журналистом и вся моя жизнь — журналистика. В моем писательском труде нетрудно обнаружить влияние журналистики, и наоборот — в моей журналистской работе проглядывает литератор. Мне уже говорили, что мои стихи, поэмы — это интервью, репортаж или передовая. И правда. Мне стоит много усилий, чтобы создать литературное произведение, не могу освободиться от мании улучшать и улучшать, а журналистскую работу делаю достаточно быстро и еще быстрее, легче импровизирую юмористическую вещь. Юмор и поэзия всегда были частицей моей природы, моего «я». И никогда от этих двух жанров не отказывался. Быть может, когда закончу роман, над которым работаю и который отнимает у меня много труда [так говорил Мигель в конце прошлого года.— *Юр. Д.*], опять вернусь к поэзии и юмору. В мои годы нельзя терять десятилетие на другой роман». К слову сказать, в журналистике он трудился абсолютно во всех жанровых областях, кроме... светской хроники).

Пятнадцать лет после выхода первого издания «Лихорадки» в венесуэльской литературе не появлялось имя писателя Мигеля

Отеро Сильвы, вернее, прозаика Отеро Сильвы.

В 1955 году в Буэнос-Айресе издается его роман «Мертвые дома», удостоенный в Венесуэле двух национальных премий — по литературе и по жанру романа. «Мертвые дома», по суждению Фернандо Паса Кастильо,— «один из самых прекрасных романов, написанных в Венесуэле». В трагедии маленького городка Ортиса, брошенного было жителями, отражена трагедия сельских районов страны при правлении Гомеса, поглощенного распродажей национальных богатств американским нефтяным монополиям (спустя многие годы после выхода в свет «Мертвых домов» в Ортисе побывал венесуэльский буржуазный писатель Артуро Услар Пьетри и в очерке «Утро в Ортисе» подтвердил, что перемен там не произошло, наблюдалась прежняя картина разрухи, упадка, опустошения). И, как знамение времени, через Ортис, запечатленный Отеро Сильвой, проходит желтый арестантский автобус с заключенными студентами, участвовавшими в событиях в Каракасе 1928 года и отправляемыми под конвоем на каторжные работы в концлагерь Паленке. И слышится голос солидарности с ними, голос протеста против тирании в медленно агонизирующем Ортисе.

Бежавшая из Ортиса молодая девушка Кармен Роса, героиня романа «Город в саванне»,— вышедшего в 1961 году также в Буэнос-Айресе и составляющего дилогию с «Мертвыми домами»,— собственно не обретает желанного счастья и на «земле обетованной» в штате Ансоатеги, где американцы открыли нефть и бесцеремонно хозяйничают. Зато встретила здесь людей, продолжающих бороться за дело рабочего класса (венесуэльский поэт Али Ламеда в поэме «Глосса Мигелю Отеро Сильве и его песне» писал: «Первым Мигель в нашем бедном, горестном мире воспевает наш рабочий класс»). Весьма лаконично, но выразительно Мигель Отеро Сильва определил свою дилогию: «Мертвые дома» — обличение дурной смерти города, уничтоженного малярией, каудильизмом, насилием. «Город в саванне» — обличение дурного рождения города в разгар империалистической эксплуатации наших естественных богатств».

Летописцем — но не равнодушным — драматической жизни Венесуэлы при диктатурах Маркоса Переса Хименеса и Ромуло Бетанкура писатель выступает в романах «Пятеро, которые молчали» (1963, вначале задуман им как рассказ) и «Когда хочется плакать, не плачу» (1970). Трудно представить себе, что эти книги можно читать спокойно — они написаны словно кровью сердца автора, сопереживающего своим героям.

Как и в прежних произведениях, Отеро Сильва многих персонажей берет из действительности, лишь, по его выражению, их «литературно обрабатывая». Таковы Беренисе, Картайя, Лусиано Мильян, Тейлор, священники, Тони Робертс (его прототипом был недавно умерший Дж. Мак Спейден, уроженец Техаса, участник первой мировой войны, перебравшийся в Венесуэлу после начала «нефтяной лихорадки», первый буровой мастер нефтепромысла «Контора № 1»,— кстати, в оригинале так и называется роман «Город в саванне»).

«Работая над романом «Пятеро, которые молчали»,— рассказывал Мигель,— я искал в качестве основных действующих лиц трех политических заключенных, подвергавшихся пыткам в застенках диктатуры Переса Хименеса, но не проронивших и слова. Я обратился к партиям, находившимся в оппозиции к диктатуре, с просьбой назвать мне имена трех кандидатов. О пытках, издевательствах, мучениях мне сообщали бывшие политические заключенные Эдуардо Гальегос Мансера, ныне член Политбюро и секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Венесуэлы, а также Луис Микилена и Салом Меса Эспиноса — для меня это стало основным «сырьем» романа. Что же касается предыдущей жизни, психологических переживаний персонажей романа и самого сюжета, то это плод моего творческого вымысла и в точности не соответствует биографии и характеру моих трех собеседников». Равным образом для романа «Когда хочется плакать, не плачу» автор искал прототипа Викторино Переса и нашел молодого парня, отбывавшего наказание по уголовному делу; беседы с ним Мигель записывал на магнитофонную ленту в тюрьме. Очевидно, в поле зрения писателя попадали прототипы и Викторино Пэрдомо и Викторино Перальты, настолько они жизненны. А насколько жизненно насущны поднятые в романе проблемы молодого поколения капиталистического Запада! Индивидуальные конфликты персонажей Отеро Сильвы обычно исходят или зависят от общих конфликтов социального порядка.

Рамки статьи не позволяют подробнее остановиться на анализе других книг писателя, посвященных Венесуэле нашего времени (не затрагиваю исторический роман «Лопе де Агирре, Князь Свободы», опубликованный с моим предисловием в «ИЛ»), все они переведены у нас в стране, печатались большими тиражами — так, скажем, общий тираж романа «Пятеро, которые молчали», увидевшего свет на русском языке в «ИЛ», неоднократно переиздававшегося, достиг трех миллионов экземпляров.

В чем своеобразие творческой манеры, мастерства Отеро Сильвы?

Прежде всего, на мой взгляд, в новаторстве, неугасающем новаторстве. Мысленно перебрав его произведения, без труда представляешь, что к каждому из них автор подступает как к впервые осуществляемому литературному эксперименту, отсюда — всегда иные композиционные приемы, иные изобразительные средства, иной стиль, нет повторений. Оригинальное художественное решение в каждом случае мотивировано, органично связано с авторским замыслом, убедительно. В недавней дискуссии с американским писателем Уильямом Стайроном в Каракасе Мигель отметил: «Настоящий художник, творец, постоянно озабочен тем, чтобы создать произведение, отличающееся от ранее им созданных, следовательно — быть оригинальным. Иногда действительно творческая вольность и половодье оригинальности отдаляют, отчуждают от массы читателей. Осмелюсь пре-

дупредить, что для меня самое важное в художественном творчестве — быть правдивым и искренним».

Талант писателя поразительно многогранен. Читатели знают Мигеля Отеро Сильву как поэта и романиста, как юмориста и драматурга, как журналиста, автора литературоведческих и искусствоведческих работ. Наконец он широко известен как виднейший общественный деятель, трибуна которого не только Венесуэла, не только Латинская Америка.

О мире поэзии Мигеля следовало бы говорить отдельно и много, этого он заслуживает, но, к сожалению, у нас еще недостаточно переводились и печатались его поэтические произведения (в № 10 «ИЛ» за 1969 г. публиковались лишь фрагменты его философской поэмы «Море — это смерть», в которой автор как бы ведет перекличку и полемику с великим поэтом испанского средневековья Хорхе Манрике, затрагивая актуальные проблемы современности). Обширен диапазон его поэзии — от стихов обличения и протеста, составляющих сборник «Вода и русло», о котором упоминалось выше, до шутливых сонетов, до впечатляющей «Хоральной элегии Андресу Элою Бланко» (памяти венесуэльского поэта, ушедшего из жизни в изгнании), до страстных призывов бороться против империализма и войны, прозвучавших в его поэмах, собранных в книге «Начало». Красной нитью в его значительнейших поэтических произведениях проходит идея борьбы против реакции, фашизма, в защиту интересов народа. Певец всегда находится в борьбе.

Острым, порой озорным юмором сверкают его произведения, вошедшие в сборники «Глупые симфонии», «Моррокой[1] на небе», антиклерикальные четверостишия-«кóплас» с комментариями в. книге «Небесные создания» (издана была под псевдонимом «падре Иньяки де Эррандонеа из ордена иезуитов»), пьесы «Дон Мендо» («пародия на пародию» — по мотивам испанского юмориста-драматурга П. Муньоса Секи) и «Ромео и Джульетта» («вольная версия» по Шекспиру о соперничестве двух крупнейших буржуазных партий Венесуэлы, оспаривающих власть в стране) и многие другие.

Несомненным вкладом в литературоведение и искусствоведение считаются, в частности, его работы о венесуэльском писателе Хосе Рафаэле Покатерре (авторе нашумевшего в свое время повествования о пережитом в тюрьме диктатора Гомеса «Мемуары венесуэльца эпохи упадка», изданного у нас еще в 1930 году под названием «Венецуэльские мученики»; после войны он был первым послом Венесуэлы в СССР), о поэте Андресе Элое Бланко (цикл стихов его «Рифмы гнева» впервые на русском языке печатался в «ИЛ» № 5, 1964), о венесуэльских художниках Армандо Реверроне, Алирио Родригесе, Мануэле Кабрэ, Экторе Полео, его содержательнейшее эссе «Флоренция, город человека», посвященное искусству итальянского Возрождения.

Человек действия, Мигель не покидает линии огня в антиимпериалистической, антидиктаторской битве. Как во времена диктатур Гомеса и Лопеса Контрераса, так и при диктатурах Переса Хименеса и Бетанкура. Изданная в Каракасе «Черная книга — Венесуэла под знаком террора» (о периоде 1948—1952 гг.) содержит списки брошенных в тюрьмы и концлагеря при режиме Переса Хименеса. Среди тысяч арестованных, подвергнутых допросам в «национальной безопасности» — имя Мигеля Отеро Сильвы (именно тогда Пабло Неруда направлял «Письмо Мигелю Отеро Сильве, в Каракас»). В этой книге приведены факты, как часто запрещалась газета «Эль насиональ», а ее руководителей, в том числе Мигеля, вместе с сотрудниками отправляли в тюрьмы.

Народ освободил Мигеля из застенков «национальной безопасности» в январе 1958 года, в дни, когда диктатуру Переса Хименеса смело общенародное восстание. Но враги не переставали его преследовать: за поддержку революционной Кубы промышленные и коммерческие фирмы и компании отказались помещать объявления в «Эль насиональ», поставив газету на грань финансового краха, и Мигелю пришлось оставить пост главного редактора, однако это не означало капитуляции. Писатель не выпускал перо из рук, а слово его разносилось и в стенах Национального конгресса, куда его, как независимого, не входящего в какую-либо политическую партию, избирали сенатором и депутатом, и на массовых митингах и собраниях, куда его приводило веление сердца. Он был одним из основателей и руководителей Венесуэльского комитета защиты мира, возглавлял делегации своей страны на конгрессах сторонников мира в Париже и Мехико. Он призывал помогать народам Доминиканской Республики и Вьетнама — жертвам агрессии империализма США, народу Чили — жертве пиночетовского фашизма. Ныне он выступает — столь же горячо, страстно — в защиту Кубы и Никарагуа, народов Сальвадора и Гватемалы. Американского агрессора — врага народов Латинской Америки — он гневно заклеймил в пламенной речи, выступая вместе с Генеральным секретарем ЦК КП Венесуэлы товарищем Хесусом Фариа на открытии в Каракасе памятника «генералу свободных людей» Аугусто Сесару Сандино в июле нынешнего года (на сооружение памятника Мигелем Отеро Сильвой была передана полностью денежная часть международной Ленинской премии мира). «Центральная Америка сегодня — это не зона стонов, как называл ее Пабло Неруда, а огромная траншея, созданная народами, сражающимися за свою независимость и за право быть свободными»,— заявил он кубинской газете «Гранма», а поэтому долг писателя — находиться в одном ряду с теми, кто сражается против империалистических хищников, угрожающих человечеству, «деятели культуры, писатели обязаны сделать все, что в их силах, чтобы отстоять мир на земле».

С огромным вниманием, с искренней симпатией Мигель следил и следит за строительством нового общества в Советском Союзе. Примечательно, что почти в каждом из его романов кто-нибудь из геро-

[1] В Венесуэле слово «el morrocoy» (черепаха) означает и «тугодум».

ев вспоминает — добрыми словами — нашу страну, наш народ.

Вернемся еще раз к его речи при получении международной Ленинской премии:

«Сначала любопытство наших детских глаз, затем энтузиазм нашего юношеского сердца, наконец — приверженность нашего зрелого мировоззрения следовали непосредственно за Советским Союзом на протяжении всего его исторического пути».

Задолго до своего первого приезда в нашу страну (в 1965 году) Мигель в венесуэльской печати выражал солидарность с нашим народом в самые тяжелые моменты Великой Отечественной войны. Популярностью пользовались среди читателей и его полные гневного сарказма стихи, своим острием направленные в адрес главарей гитлеровского рейха. Осенью 1942 года, когда еще решалась судьба битвы на Волге, Мигель опубликовал гротесковую картину в стихах «Падение Сталинграда», в которой не только беспощадно изобличал геббельсовскую пропаганду, но и высказывал непоколебимую уверенность в том, что «Сталинград никогда не падет!».

Уже первый визит Мигеля в Советский Союз произвел на него огромное впечатление — им он поделился со своими коллегами в Ассоциации венесуэльских писателей по возвращении в Каракас (не со всеми его суждениями — то наивными, то поверхностными — можно согласиться, с писателем можно спорить, но и это объяснимо: он делал первые шаги по советской земле). Самое главное заключалось в том, что он высоко оценил вклад нашего государства в борьбу за мир. С тех пор он несколько раз бывал в нашей стране — и каждое его пребывание, по словам писателя, вселяло в него все большую и большую уверенность в правоте того дела, которому он отдает свои силы.

В Советском Союзе его интересует все — и, конечно, особенно наша литература. Мы вместе как-то, по его желанию, провели целый день в Музее В. В. Маяковского, где он подробно знакомился с архивными материалами, касавшимися творческого труда, революционной деятельности, личной жизни нашего поэта. Мне подумалось, что Мигель, зачинатель социальной поэзии в Венесуэле, откликавшийся в своих произведениях на все, чем живут, о чем мечтают, за что борются его соотечественники и его современники в других частях света, в Маяковском чувствует некую духовную близость. Позже, в Каракасе, он читает лекцию «Маяковский и будущее поэзии», в которой на первый план выдвинул значение творчества советского поэта для мировой поэзии.

Приобщившись еще в юности к Достоевскому и Пушкину, к Гоголю и Чехову, к Льву Толстому и Леониду Андрееву, он знакомится с Горьким и Блоком, с Шолоховым и Есениным... Литература пробуждала стремление лучше узнать Советский Союз. А чтение трудов Ленина «вызвало полную трансформацию» взглядов писателя на историю и человека, и этот поворот, по признанию Отеро Сильвы, соответственно изменил мировоззрение и творческую манеру.

Памятен такой факт. Лет шесть назад, работая над весьма сложным историческим романом «Лопе де Агирре, Князь Свободы», поглощавшим все время Мигеля, он посчитал возможным и нужным выйти из «глубокого творческого подполья» лишь один раз, чтобы выступить в Центральном университете с докладом о юбилее Великой Октябрьской социалистической революции. «Уже ни одно мыслящее существо на свете не осмелится оспаривать, что революция 1917 года была и остается величайшим свершением XX века... — говорил Мигель. — История должна была признать ее началом самых глубоких преобразований, которые знало человеческое общество во всей своей жизни... Революционный порыв, коему предстояло изменить лик и сердце всего мира, оказался возможным благодаря творческому гению и созидательной энергии одного человека, которого звали Владимир Ильич Ленин, благодаря неодолимой стойкости одной партии, которую организовал и которой руководил лично Ленин, благодаря непреклонному героизму рабочих и крестьян страны, в которой родился Ленин».

Принимая международную Ленинскую премию мира, Мигель Отеро Сильва подчеркивал: «Мы, писатели, можем сделать значительно больше для того, чтобы предотвратить угрозу новой войны. Наша проза и наши стихи — как нескончаемый зов горна — должны повседневно призывать к бдительности, осуждать войны, в том числе и «холодную войну», наши голоса должны обличать гонку вооружений... наше слово должно звучать с трибун и в печати...»

Для Мигеля Отеро Сильвы это не фраза, не риторика. Это — действие.

Публицистика

Намеченное на конец этого года размещение в пяти западноевропейских странах новых американских ракет, курс Вашингтона на наращивание вооружений и подготовку к ядерной войне, отражающей интересы военно-промышленного комплекса и наиболее реакционных кругов Соединенных Штатов, вызывает растущее возмущение во всем мире. В последнее время и в самих Соединенных Штатах все громче звучат голоса, требующие избавить человечество от угрозы ядерной катастрофы, принять срочные меры обеспечения мира на земле. Среди множества книг, посвященных этой самой актуальной для человечества проблеме, особой популярностью пользуются две американские публицистические работы 1982 года — видного политического деятеля Джорджа Кеннана «Ядерная иллюзия: советско-американские отношения в ядерном веке» и журналиста Роберта Шиэра «Если хватит лопат: Рейган, Буш и ядерная война». Мы предлагаем читателю размышления об этих книгах двух публицистов — английского и советского.

Известный ученый-естественник лорд Солли Зукерман — главный ученый советник правительства Великобритании по вопросам безопасности и обороны, член Британского королевского общества и ряда зарубежных академий, лауреат многих национальных и международных наград. Публицистическая деятельность лорда Зукермана началась в 1925 году. Сегодня ученый широко известен как общественный деятель и автор книг: «Общественная жизнь обезьян и человекообразных» (1932), «Новая система анатомии» (1961), «Ученые и война» (1966), «Вне башни слоновой кости» (1970), автобиографии «От человекообразных к крупным милитаристам» (1978) и других.

Юрий Георгиевич Ярцев — советский журналист-международник, обозреватель «Литературной газеты».

СОЛЛИ ЗУКЕРМАН

ЯДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: РЕАЛЬНОСТЬ И ИЛЛЮЗИИ

Европейца, взявшего в руки эти книги в надежде самому разобраться в ядерных разногласиях, омрачающих отношения между Востоком и Западом, можно легко простить, если у него сложится впечатление, что Джордж Кеннан вырос в совсем иной культурной среде, чем персонажи книги Роберта Шиэра. Невольно задаешься вопросом, как такой политически тонкий анализ советско-американских отношений, который представлен нам Джорджем Кеннаном, мог появиться в той же стране и в то же самое время, что и призывы шайки убежденных милитаристов, претендующих на то, чтобы представить рациональные обоснования противоречивой политики Рональда Рейгана и Каспара Уайнбергера в области обороны. Как могло случиться, что ответственные и опытные американские военные руководители до сих пор не удосужились отвергнуть смертельно опасное бахвальство кучки гражданских, предлагающих руководства по ведению тотальной войны, как будто ее последствия чуть страшней нескольких засух кряду?

Каков бы ни был ответ, воинственные голоса, доносящиеся из Вашингтона, определенно усиливают беспокойство рядовых граждан в тех странах Западной Европы, где общественное мнение все еще оказывает влияние на правительственную политику. Люди напуганы разговорами о затяжной ядерной войне; они напуганы безудержной гонкой вооружений; их путает отсутствие прогресса на переговорах по сокращению стратегических ядерных средств и по «оружию ТВД». И, как это ни жаль, даже независимо от различий точек зрения на экспорт стали в США или на торговые отношения с СССР, напряженность внутри атлантического союза будет возрастать по мере того, как правительствам Западной Европы будет становиться ясно, что они не в состоянии повлиять на военную конфронтацию между Востоком и Западом.

Недавние официальные признания в отношении того, что Пентагон, с благословения президента, занимается подготовкой мероприятий, которые якобы обеспечат США средствами для ведения «затяжной» ядерной войны против СССР, вызвали новую волну беспокойства и немалое удивление в тех европейских кругах, где уже поднимались вопросы, затрагивающие и другие аспекты ядерной стратегии. Попытки Уайнбергера приглушить беспокойство и уменьшить недоумение, кульминационным моментом которых было «открытое

письмо», направленное в редакции примерно семидесяти газет, не принесли успеха. «Открытое письмо» Теодора Дрэйпера показало, что письмо Уайнбергера скорее усилит, чем успокоит страхи тех европейских союзников Америки, территория которых, случись война, стала бы полем боя.

Однако сама концепция ядерной войны — просто бессмыслица, и цель книги Шиэра — показать, до какой степени она бессмысленна. Не будь сам предмет таким серьезным, главы книги могли бы читаться как пародия на внешнюю политику администрации Рейгана и ее политику в области обороны. К сожалению, однако, это не пародия. Все, о чем пишет Шиэр, основывается на магнитофонных записях его бесед с Рейганом, вице-президентом Бушем, Юджином Ростоу, директором Агентства по контролю над вооружениями и разоружению, а также с членами группы, называющейся Комитетом по существующей опасности. Входящие в эту группу Ростоу, Ричард Пайпс, Ричард Перл и ряд других в настоящее время занимают или совсем недавно занимали официальные посты в администрации Рейгана.

В высшей степени проблематичным в доктрине Рейгана (и таким оно определенно представляется информированной европейской общественности) является предположение, что русские могли бы сознательно пойти на риск вторжения на территорию НАТО при почти полной уверенности, что такая агрессия скорее всего приведет к ядерной войне. Тем не менее люди Рейгана, похоже, верят в это. Теперь они говорят, что Америке пришлось разработать план для ведения «затяжной» войны, потому что русские считают, что они могут вести и выиграть такую войну. В качестве доказательства рейгановцы кивают на разработку русскими новых ядерных боеголовок и пусковых установок. Но если это и служит доказательством, то остается необъяснимым, почему советские руководители, оснащая свои вооруженные силы ядерным оружием, публично заявляют, что любой обмен ядерными ударами невозможно будет ограничить и что его начало приведет к десяткам миллионов жертв с обеих сторон. Это не просто пропаганда; это не больше пропаганда, чем предсказания физиков-ядерщиков в отношении количества энергии, заключенной в атоме.

Тем не менее, по мере того как гонка ядерных вооружений продолжается, СССР продолжает, как утверждают в Пентагоне, разрабатывать все более и более точные баллистические ракеты с целью уничтожения столь же точных американских баллистических ракет наземного базирования и, следовательно, уменьшения мощи уничтожающего ответного ядерного удара. В качестве еще одного доказательства агрессивных намерений СССР рейгановские стратеги указывают на программу эвакуации, которую, как они говорят, СССР разработал для крупных городов, а также на предположение о том, что значительная часть его промышленности размещена под землей. Они также говорят, что в СССР выделены средства на широкую программу строительства убежищ. Для тех, кому хочется истолковать эти события определенным образом, все это значит, что Советский Союз замышляет «первый удар». При таких толкованиях, однако, упускается из виду то обстоятельство, что независимо от числа американских ракет наземного базирования, которые могли бы быть уничтожены, СССР все же был бы подвержен разрушению с помощью боеголовок воздушного и подводного компонентов ядерной триады США.

«Сценарий» первого советского удара представляется тем, с кем беседовал и кого цитирует Шиэр, необходимым основанием американской политики. Следовательно, ядерная гонка вооружений должна продолжаться как в качественном, так и в количественном отношении. США должны также принять программу строительства убежищ. Эти люди признают, что нельзя гарантировать абсолютную неуязвимость для наземных пусковых установок, даже для системы «МХ». Также не может быть никакой гарантии, что не будет человеческих жертв, если дело дойдет до обмена ядерными ударами, даже если основными целями будут так называемые «военные» цели. Но при нынешней гражданской обороне русских потери СССР могут быть сведены до 20 миллионов — до уровня, который профессор Ричард Пайпс считает допустимым. Он также считает, что даже если все советские города с населением в миллион и выше «будут стерты с лица земли, при условии, что основные кадры будут сохранены, он (то есть Советский Союз) выйдет из войны менее пострадавшим в смысле потерь, чем это было в 1945 году».

Джек Руйна, профессор электротехники из МТИ, рассказывает нам на страницах книги Шиэра, что Пайпс — приятный человек, но он «мало сведущ в технике и в ядерном оружии». Без сомнения, сам Джек Руйна хорошо знаком и с тем и с другим. Он явно слишком снисходителен, ограничивая невежество Ричарда Пайпса только областями техники и ядерного оружия. Шиэр характеризует Пайпса, эмигрировавшего из Польши в США, как «известного антисоветчика и сторонника жесткого курса». Каждому, кому, как и мне, пришлось видеть, как это было, ясно, что Пайпс мало представляет или совсем не представляет, как выглядит город, разрушенный даже обычными бомбами во время бомбардировок, по интенсивности подобных тем, которым подвергался Лондон в разгар блицкрига. Гамбургу, Дрездену и Токио досталось еще больше. Если СССР пострадает при обмене ядерными ударами, то пострадают и США. Мне, признаться, становится не по себе от мысли о том, как бы реагировала Америка или же Великобритания и Советский Союз, если бы, например, шесть их крупнейших городов подверглись одновременному удару ядерных бомб мощностью в одну мегатонну. Каждый удар привел бы к мгновенной смерти примерно четверти миллиона человек. По данным американского правительства, для борьбы с последствиями удара боеголовки в одну мегатонну, например по Детройту, теоретически потребуется привлечь все до единой медицинские службы Соединенных Штатов. Я говорю «теоретически», поскольку эти

службы невозможно мобилизовать. Неужели ни у кого из бывших или нынешних руководителей Комитета по существующей опасности не хватает воображения перевести число боеголовок, пусковых установок и мегатонн в человеческие реалии?

Согласно подсчетам американских правительственных экспертов, отсутствие программы строительства убежищ, которую имеет в виду профессор Пайпс, привело бы в тотальном ядерном конфликте к потерям в десятки миллионов с каждой стороны. Что же представляет собой программа, о которой он говорит?

Тут мы обратимся к Т. К. Джоунсу, занимающему в нынешнем правительстве пост помощника заместителя министра обороны по вопросам исследований и инженерного обеспечения стратегических ядерных сил театра военных действий. По словам Джоунса, для того, чтобы пережить ядерное нападение, советским гражданам, эвакуированным в пригородные зоны своих городов, рекомендуется якобы вырыть щель, накрыть ее жердями и сверху насыпать слой земли в три фута толщиной. Этого будет достаточно для защиты от радиоактивных осадков. Американцев следует научить делать то же самое. «Если хватит лопат,— так Шиэр пришел к заглавию своей книги,— то построит себе такую щель каждый». По самым приблизительным расчетам, как считает сам Т. К. Джоунс, слова которого приводятся в книге, время восстановления — при отсутствии защиты от тотального ядерного нападения — «займет два поколения, возможно больше. Потери составят половину населения страны. При защите только населения время достижения уровня довоенного объема производства, вероятно, составит шесть—восемь лет. Если мы последуем программе русских по защите как населения, так и средств производства, время восстановления будет сокращено до двух—четырех лет».

Читая этот пассаж, я не мог избавиться от мысли, что Джоунс просто дурачит Шиэра. Но нас уверяют, что это не так. В таком случае действительно ли стоит дальше комментировать, какие соображения стоят за представлениями администрации Рейгана о «стратегическом ядерном столкновении»?

Равным образом мне трудно понять, что стоит за концепцией затяжной ядерной войны. Как она может начаться? Как можно определить понятие «затяжная»?

Основной догмат политики западного союза состоит в том, что война в Европе начнется только в том случае, если русские двинутся на запад от своих теперешних границ. Тогда будет предпринято все возможное с целью остановить их с помощью обычного оружия, и только если эти усилия не увенчаются успехом, придется прибегнуть к ядерному оружию. Следующим актом этого сценария является «ограниченная ядерная война» — концепция, которую ни один из представителей высшего военного командования в Европе не в состоянии как-нибудь связать с реальностью. С другой стороны, Шиэр напоминает нам, что среди американских военных стало модным говорить о «командовании, управлении, связи и разведке» (в американском военном жаргоне представлено в виде аббревиатуры C^{3}I) как системе, посредством которой ядерной войне можно придать рамки ограниченной или затяжной с помощью мер, которые позволили бы военным кругам США начать и контролировать войну с применением ядерного оружия и при этом выжить, как бы велики ни были разрушения.

Все это ерунда. Какой бы характер ни приобрела война, в ее концепции отсутствует один элемент — здравый смысл. Только политический здравый смысл может предотвратить ядерную войну, и только ясное видение картины мгновенного уничтожения может остановить ее. Тактическое ядерное оружие в состоянии уничтожить деревни и небольшие города, так называемое «оружие ТВД» — крупные города. А как будет развиваться затяжная ядерная война? По принципу «зуб за зуб»? И как же ее можно сдерживать?

Как может процветать школа мышления, к которой относятся Т. К. Джоунс, профессор Пайпс и Перл, в то время как взгляды таких людей, как Джордж Кеннан, не смогли оказать влияние на политику? Не потому ли, что рейгановские стратеги-любители действительно представляют американцев? Действительно ли рядовые американцы настолько охвачены ненавистью к русским и настолько смутно представляют размеры разрушений, что готовы поставить под угрозу западную цивилизацию в угоду своим собственным предрассудкам и фантазерству в отношении ядерной войны? Если это действительно так, то, видимо, совсем забыли о том, какую роль сыграло ядерное оружие в истории отношений между Западом и Востоком, что нелишне вернуться к этому снова.

Месяц спустя после разрушения Хиросимы и Нагасаки тогдашний военный министр Генри Стимсон рекомендовал президенту Трумэну не прибегать к использованию секрета ядерного оружия, которым обладала Америка, в качестве военного средства для изменения коммунистической системы. Вместо этого он призвал американское правительство, проконсультировавшись с англичанами, предоставить полную информацию о нем русским и таким образом предотвратить «секретную и довольно бессмысленную гонку вооружений». «Я считаю,— писал он,— что вопрос о наших удовлетворительных отношениях с Россией не просто связан, но и подчинен проблеме атомной бомбы... Если мы не сумеем наладить отношения (с русскими) сейчас и будем просто продолжать с ними переговоры, демонстративно держа под рукой это оружие, это только усилит их недоверие и подозрительность в отношении наших целей и мотивов». Это было написано 11 сентября 1945 года. Четыре месяца спустя, в январе 1946 года, государственный секретарь Бирнс назначил Дина Ачесона председателем небольшой комиссии, целью которой было представить план для установления международного контроля над атомной энергией. В результате был подготовлен доклад, который, как поведал нам Ачесон в своих мемуарах, в основном был подготовлен Робертом Оппенгеймером, работавшим в тесном контакте со своими кол-

легами-физиками С. С. Лауритсеном, И. И. Раби и Джорджем Заккариасом.

Несмотря на совет Стимсона, русские не были привлечены к этому делу, так же как и англичане. В июне 1946 года назначенный Трумэном Бернард Барух представил доклад Лилиенталя и Ачесона только что созданной Комиссии ООН по атомной энергии. Назначение Баруха было холодно воспринято как Ачесоном, так и Оппенгеймером, у которых он, по-видимому, не пользовался доверием. В декабре 1946 года доклад был одобрен десятью членами Комиссии при двух воздержавшихся (Советский Союз и Польша) и затем, как и следовало ожидать, на него было наложено вето в Совете Безопасности. Как уверяли злые языки, такие результаты голосования не огорчили ни Трумэна, ни Баруха.

Теперь, с дистанции времени, советское вето не удивляет: русские в тот момент уже были близки к завершению работы над изготовлением собственной бомбы. Позиция Великобритании была двусмысленной. Великобритания была среди тех десяти держав, что проголосовали за американский план «интернационализировать» применение атомной энергии в мирных и военных целях, но недавно стало известно, что за два месяца до голосования в узких правительственных кругах кабинета премьер-министра Эттли было принято решение работать над созданием английской атомной бомбы. Решающим был голос министра иностранных дел Эрнеста Бевина. Как утверждают, он сказал своим коллегам: «Я не говорю о себе, но я не пожелал бы другому министру иностранных дел этой страны оказаться в том положении, в котором оказался я на переговорах с госсекретарем США Бирнсом, который мне выговаривал, не слушая меня. Нам самим нужно создать бомбу, во что бы нам она ни обошлась». Совершенно очевидно, что русские были не одиноки в своих опасениях в отношении американского ядерного господства.

Немногие из наиболее дальновидных ведущих ученых, участвовавших в «Манхэттенском проекте», отдавали себе отчет с самого начала, что, поскольку не существует теоретического предела разрушительной силе ядерных боеголовок, они не могут рассматриваться просто как новый вид вооружения. Среди неспециалистов, пришедших к такому же выводу, был и Джордж Кеннан. Стимсон высказал свое мнение в 1945 году. В 1946 году Генри Уоллес, бывший вице-президентом при Франклине Делано Рузвельте, направил Трумэну открытое письмо, в котором предостерегал его от точки зрения представителей «школы военного мышления», которые защищали идею «превентивной войны» против СССР прежде, чем он обретет ядерное оружие.

Были и другие противники бомбы. В 1947 году вышла книга «Абсолютное оружие» под редакцией Бернарда Броди. В ней четко была выражена мысль о том, что появление «бомбы» стало водоразделом в международной политике. Первоначальная негативная реакция Кеннана на применение бомбы была естественной и основывалась на соображениях морали — то есть была почти такой же, как и у чикагских физиков во главе с Лео Сцилардом, работа которых сыграла решающую роль в создании бомбы, но которые, в отличие от Оппенгеймера, призывали президента Трумэна не применять бомбу еще до того, как это оружие было применено против Японии. Если русские также овладеют этим оружием, считал Кеннан, «то его тогда следует рассматривать как оружие самоуничтожения, применение которого в войне бессмысленно; в таком случае нам следует искать пути его скорейшего изъятия из арсеналов всех стран. Если нам удастся достичь его ликвидации — хорошо. Если нет, то тогда мы могли бы придержать несколько таких бомб на тот маловероятный случай, если кто-нибудь когда-нибудь поддастся искушению использовать это оружие против нас».

Последнее соображение насчет средства сдерживания по сей день продолжает оставаться основным и логичным аргументом против концепции одностороннего ядерного разоружения.

В 1949 году русские взорвали свою первую атомную бомбу. Президент Трумэн решил приступить к разработке водородной бомбы. Подобно Оппенгеймеру, Кеннан был против этого решения. Он выразил свое отношение в письме, направленном в январе 1950 года Дину Ачесону. Как, спрашивал Кеннан, следует рассматривать это оружие? «То ли как неотъемлемый и жизненно важный компонент нашей военной мощи, которую мы намерены применить намеренно, без промедления и колебаний, если окажемся втянутыми в военный конфликт с Советским Союзом или же иметь его в качестве средства сдерживания? Тогда нам не следует полагаться на него при разработке наших военных планов. В таком случае наша официально заявленная позиция должна быть следующей: мы сожалеем о существовании этого оружия, и нам отвратительна мысль о его использовании; у нас нет намерения применить его первыми против кого бы то ни было; мы применим его с величайшим нежеланием и только если нас вынудят к этому методы ведения войны против нас и наших союзников. Другими словами, нам следует воздерживаться от применения такого оружия первыми, а также следует довести до сознания других, что это оружие никогда больше не должно быть использовано.

Я не оставил никаких оснований для сомнений Ачесона в отношении выбора, который я предпочел. Если бы нам пришлось остановиться на первом варианте, то есть если бы нам пришлось основывать нашу военную стратегию на применении ядерного оружия, тогда, писал я, было бы трудно «определить ему должное место в качестве инструмента национальной политики». Особое психологическое воздействие этого оружия является изъяном его как инструмента политики. Оно внесет «определенную неустойчивость» в наше военное планирование. В конце концов оно собьет с толку наш народ и приведет нас к злоупотреблению военной мощью и к ее распылению. Во всяком случае, прежде чем вступить на этот путь, нам следует еще раз попытаться выяснить, нельзя ли создать какой-нибудь механизм международ-

ного контроля и принять его всем международным сообществом».

Сомнения Кеннана не были приняты во внимание. С тех пор произошло то, чего он и другие боялись. С тех пор Запад и Восток стоят друг против друга, имея на вооружении на десятки тысяч стратегических ядерных боеголовок больше, чем необходимо для взаимного сдерживания. Боеголовки разработаны специально или для тактического, или для так называемого «оружия ТВД». Их развертывание, по крайней мере на бумаге, стало частью тактической доктрины несмотря на то, что ни один ответственный командующий не имеет ни малейшего представления о том, как, даже при условии принятия соответствующего политического решения, можно вообще контролировать применение такого оружия. Только кабинетные вояки, никогда не видевшие боя, только специалисты по ЭВМ, уничтожающие миллионы в ходе военных игр, имитирующих столкновение между странами НАТО и Варшавского пакта, могут выдумать ирреальный мир, в котором ядерное оружие может играть роль в активных военных действиях, как бы опровергая то, что такое ядерное оружие благодаря своей неограниченной и самоубийственной мощи удерживает государства, обладающие им, от военных действий друг против друга. Ядерное оружие сдерживает, оно не может защитить.

И вот тут европейцу предстает вся ирония нынешней американской политики. В 1947 году, в то самое время, когда Европа с трудом поднималась на ноги, пытаясь преодолеть огромные экономические, социальные и политические трудности, США великодушно пришли на помощь Европе со своим планом Маршалла.

Тогда, к сожалению, и началось искажение военного планирования, та самая «определенная неустойчивость», которая, как предвидел Кеннан, привнесет бомба в военное планирование. Европейские члены НАТО были слишком ослаблены даже для того, чтобы выполнить решения Лиссабонской конференции 1952 года в отношении обычных вооруженных сил. Федеративная Республика Германии, армия которой является самым крупным контингентом в НАТО, в то время даже еще не была ее членом. Во всяком случае, тогда стала укореняться мысль о том, что неравенство в численности войск могло бы быть компенсировано внедрением тактического ядерного оружия,— мысль, которую, заблуждаясь, поддерживал Оппенгеймер и которую по политическим мотивам отвергал Кеннан.

Двадцать лет назад, задолго до прихода Рейгана к власти, эта концепция подвергалась открытой критике в кругах НАТО по чисто военным соображениям, но безуспешно. Поскольку это соответствовало экономическим и политическим условиям на Западе, европейские члены НАТО на протяжении многих лет были более склонны разглагольствовать на ядерные темы, чем видеть реальное положение, когда чем больше они говорили и чем больше игнорировали слабость НАТО в области обычных вооружений, тем более беззащитными мы по существу становились в случае возникновения войны со странами Варшавского пакта. Конечно, можно сделать смехотворное предположение, что русские настолько неразумны, что могут прибегнуть к обмену ядерными ударами, который невозможно остановить, результатом чего было бы полное разрушение Европы, территории Восточной Европы к западу от Урала, так же как и Соединенных Штатов и, возможно, Канады. Но какой в этом смысл?

До середины 70-х годов ни один из военных руководителей, имеющих отношение к планированию в НАТО, не высказывал своих сомнений публично. Адмирал флота и на протяжении шести лет начальник британского генштаба лорд Маунтбеттен сказал, что мысль о том, что можно применить ядерное оружие на поле боя, не вызвав всеобщей ядерной войны, которая приведет к полной катастрофе, становится все более и более невероятной. Один из его преемников, адмирал Хилл-Нортон, сказал, что он не знает ни одного информированного наблюдателя, который бы верил в возможность ядерной войны. Сменивший его фельдмаршал лорд Карвер отметил, что ни один разумный и ответственный военный не верит, что в Европе можно вести войну с применением ядерного оружия, не вызвав стратегического ядерного столкновения.

Во второй половине 50-х и начале 60-х годов общественное беспокойство в отношении ядерного оружия в основном было вызвано страхами перед опасностью, которую несут здоровью радиоактивные осадки, последствия ядерных испытаний в атмосфере. Это беспокойство утихло после того, как такие испытания были запрещены договором 1963 года. Политические и военные круги НАТО продолжали основывать стратегию и тактику на ядерном оружии.

На протяжении многих лет все заявления для общественности насчет того, что НАТО постоянно совершенствует свою военную политику, заканчивались одним и тем же: если русские совершат нападение, которое нельзя будет сдержать обычными средствами, НАТО прибегнет к ядерному оружию. Более того, при таких обстоятельствах НАТО первой применит ядерное оружие. С другой стороны, что бы тогда сделали русские? Очевидно, если войска НАТО двинутся против них и если НАТО первой применит ядерное оружие, СССР, наиболее вероятно, ответит тем же, даже если это сопряжено с риском вызвать обмен ядерными ударами, который приведет к миллионам убитых. В таком ядерном конфликте не будет победителей. Результатом будет взаимное самоубийство.

Джордж Кеннан предвидел все это с того момента, когда понял, что русские, что бы там ни случилось, создадут свое ядерное оружие. К 1949 году, когда они взорвали свою первую бомбу и начались дебаты о «супербомбе» или водородной бомбе, у Кеннана не оставалось сомнений. Год спустя еретические взгляды Кеннана заставили его уйти из государственного департамента. Его возражения против тактического ядерного оружия звучали анафемой для военных технократов и тактиков-любителей.

Популярности идей Кеннана не способствовало то обстоятельство, что, когда он

выступал с этими предложениями, с подобными предложениями выступали русские, а также и то, что следствием его рекомендаций было бы требование увеличить средства на обычные вооружения и вооруженные силы.

В введении к своей книге Кеннан пессимистически замечает, говоря о ядерных стратегиях и спекуляциях вроде тех, которые развенчал Шиэр, что «они так глубоко и широко внедрились в общественное сознание, что, вероятно, независимо от того, что бы ни говорил он или другое частное лицо, их не искоренить. Только государственный деятель и политический лидер, выступающий с высокой правительственной трибуны (в нашей стране, надо полагать, президент), мог бы иметь шансы успешно модифицировать общественный климат, но в настоящее время нет ни малейших оснований надеяться на такой поворот».

Это, безусловно, справедливо, если нынешняя американская администрация будет продолжать идти по пути, на который она встала два года назад. Но, думаю, Кеннан забывает, что в мире есть и другие страны помимо США и СССР. Я чувствую, что сила антиядерного движения в Европе, о котором Кеннан говорит в предпоследней главе, может быть больше, чем он или кто-либо из нас предполагает. Без сомнения, о чем говорит и название книги, «ядерный обман» — или «иллюзия» — существует. Но существует также и ядерная реальность, которая, без сомнения, лучше понимается в Европе (включая, я бы сказал, страны Варшавского пакта), чем в Соединенных Штатах, просторы которых никогда не опустошались современной войной. Помимо американских президентов есть также и лидеры западноевропейских государств. Я не исключаю полностью возможности того, что однажды один из них положит начало процессу, который избавит сегодняшний день от угрозы, что завтрашний день может не настать. Совершенно очевидно, что до тех пор, пока между Востоком и Западом сохраняются политические различия в том виде, какие они сейчас есть, концепция, выдвигаемая любой стороной об одностороннем разоружении любой из сторон, лишена логики. Но равным образом нет и логики в гонке ядерных вооружений между США и СССР, которая продолжается благодаря ускорению, придаваемому ей техническим прогрессом, гонка, которая неизбежно увеличивает опасность того, что из-за небрежности или по чьей-либо злой воле это оружие когда-нибудь может быть применено. Мгновенное высвобождение колоссальных сил, удерживающих вместе невидимые частицы, составляющие атом, создает возможность в одно мгновение стереть с лица земли все, достигнутое человечеством за века. А это не способ разрешения политических разногласий.

Перевод с английского О. ЮРЬЕВА

ЮРИЙ ЯРЦЕВ

ПРОПОВЕДИ И ОТПОВЕДИ

Как ни странно, а вся бесперспективность рейгановского курса на «перевооружение» Америки и вся лживость тех проповедей, с какими сам Рейган обращается к американцам, умещаются в остроте некоего Т. К. Джоунса: «Если всем хватит лопат, то все уцелеют».

Эти семь слов, прозвучавших сладчайшей музыкой для поклонников ядерного оружия, обошли весь мир, а скромный, казалось бы, и до того просто неприметный помощник заместителя министра обороны приобрел всемирную известность. О нем заговорили.

Из Лондона по прочтении книги американского журналиста Роберта Шиэра, описавшего свои беседы с Джоунсом в Пентагоне, откликнулся английский ученый лорд Солли Зукерман, который в журнале «Нью-Йорк ревью» с сожалением заметил: увы, все-таки это не острота.

На жаргоне бывалых репортеров Джоунс — хороший экземпляр. Газетчикам-то что? Была бы сенсация. А он неужели и в самом деле готов нагородить всякой чепухи, лишь бы попасть на первые полосы газет?

Не единственный ли он в своем роде эксцентричный чудак, иронически вопрошает Шиэр, каким-то непонятным образом проникший в Пентагон?

Посмеивается над доверчивыми? Изгаляется над запуганными? Советует им в случае ядерной войны рыть себе ямы, щели, норы? Да если накрыть их парой старых дверей, уточняет он, и сверху как следует присыпать землей, то будут уже... надежные убежища (его слова!).

А может, все-таки могилы для заживо погребенных? И что выглядит особенной издевкой — вырытые собственными руками. Но три аршина земли, как замечено еще у классика, нужны трупу, а не человеку — человеку нужен весь земной шар...

Если вспомнить знаменитую фразу Херста времен испано-американской войны, то Джоунс взялся и готовить войну, и участвовать в пропаганде войны, внушая американцам, что у русских все на мази, в то время как Америка не имеет в достатке даже лопат, и когда Советский Союз нападет на Америку, уцелеют лишь те, кто не поленится покопаться в земле. Но поверит или нет человек с улицы, будто бы ощущает «советскую угрозу» кожей

ладоней, прикасающихся к черенку лопаты, а все равно будет ловко обманут. Вереницы-то людей с лопатами, потянувшихся из Нью-Йорка, Вашингтона или Лос-Анджелеса за городскую черту, могут послужить верным признаком готовящегося американского первого удара, а не советского. Тот, кто досуже рассуждает про лопаты, о нем и думает, к нему готовится. Доказательство, признаваемое специалистами абсолютно бесспорным.

И когда Шиэр помимо джоунсовских лопат вынес в заголовок своей книги еще и президента с вице-президентом и сразу обозначил главную проблему, вытекающую из нынешней рейгановской политики, то все и встало на свои места: «Если хватит лопат: Рейган, Буш и ядерная война».

Не вчера замечено, что Рейган как человек не очень, мягко говоря, чувствителен к угрозе такой войны. Эдакий вполне реальный, во плоти, а не хрестоматийный Дэйви Крокетт, слывший драчуном и забиякой, у которого вечно чесались руки и которому сам черт не брат и море по колено. Но если идея военного превосходства становится прямо навязчивой, как отделить человека от политика?

В жизни-то все связано — большое с малым, грустное с веселым, серьезное со смешным, острополитическое с бытовым, текущим, каждодневным. И даже малопочтенная публика, собирающаяся вокруг зеленых столов где-нибудь в Лас-Вегасе, оказывается вдруг причастной к главному. Тоже ведь люди, тоже человеки.

Сказать, что в начале этого года на всеамериканскую столицу игорного бизнеса едва не опустилась бледная тень Хиросимы, будет слишком сильно. Но вместо точного месяца и дня вполне уместно сверить то, что могло случиться по календарю ядерного полигона, созданного в той же Неваде еще по приказу Трумэна. Получится где-то между 603 и 604 подземными испытательными взрывами. Такая вот хронология.

Носился как очумелый шарик рулетки, ложились на стол карты, а жизнь людей висела на волоске. Подтвердилось чеховское наблюдение: люди пьют чай, а в это время решаются их судьбы. Бомбы, подложенные в казино, были, конечно, неядерные, зато сами злоумышленники не просто превзошли издерганных страстями, опустошенных неудачников, зачастую ставящих на кон последнее, что у них есть, — собственную жизнь, а на порядок, на два уже приблизились по духу, по цинизму, по безрассудству к тем, кто и всему миру готов сказать: пан или пропал.

Но если, несмотря на слух о бомбах, разыскиваемых полицией, никто не закричал: «Русские идут!» — а как играли, так и продолжали играть, уже, кажется, хорошо. «Советская угроза», выходит, — надоедливая выдумка, и только шарик, отказывающийся лечь в счастливое гнездо, вот и вся неприятная реальность. Что может быть лучше?

С другой стороны, сколько лет столице казино, столько и соседствующему с ней ядерному полигону. Почти ровесники, они друг другу вроде не мешают. И людей, желающих забыться и отвлечься от всего и вся, ничто, кроме шарика и шелеста карт, похоже, не тревожит. Сжились? Свыклись? Примирились? Притерпелись? Что может быть хуже?

Пентагон-то никуда от них не делся, вот он рядом, где, изрытая на глубине тоннелями и шахтами, вздрагивает изнутри та самая земля, какую Джоунс предлагает им считать единственной спасительницей. И если тут зеленый стол, где трын-трава все подлинные ценности мира, а там ядерная преисподняя, которая в один миг пустит их на распыл, то связь напрашивается и такая. Некто в любой момент возьмет да и решит: все дозволено (что опасно и в жизни, и в политике). А экономические трудности, промывание мозгов, психические отклонения, личные амбиции, имперские претензии тому только поспособствуют.

На первый-то взгляд есть все-таки разница — отомщу ли за ночной проигрыш, отправив на тот свет и покалечив несколько десятков человек самодельной взрывчаткой, или взалкаю такого выигрыша, что всему человечеству, отказывающемуся подчиняться воле современных крестоносцев, не взвидеть белого света. Но близко, очень близко от одного до другого. В принципе и разницы-то никакой. Ведь один маньяк родит другого, как банкир родит бандита, по горьковской формуле. Так было, так есть.

«Моральное важнее материального».

Сентенция принадлежит Рейгану. Но ракета «МХ» превратилась в символ правления, и когда потребовалась хоть какая-то мирная инициатива, он с легкостью переименовал ее в «страж мира». Опять жест, и опять в который раз игра. Язвительных насмешек как не слыхал. От критики общественности отмахнулся. Сказал — быть посему. И как ни в чем не бывало отбыл к себе на ранчо в Санта-Барбару.

Что же важнее — первое или второе? Если тут обманули, а там словчили то и вся политика пахнет уже не тем. Мораль уступает дорогу выгоде, силе. Недаром, по общему мнению, ответственность за то, что правительство считается воинственным ложится прежде всего на него. А он не отрицает. Повторяет, по примеру Трумэна, фразу, ставшую традиционной: «Я сам несу ответственность».

Если же вспомнить, что он обещал избирателям укреплять мир и предотвратить сползание к ядерной войне (это после того, как Картер назвал его поджигателем войны), почему тогда за первые сто дней, считающиеся испытательным сроком, совет национальной безопасности официально ни разу даже не обсуждал вопрос об ограничении и сокращении вооружений? Разве не красноречивый был сигнал? А сколько и не менее красноречивых последовало потом — от «нулевого варианта» до «войн звезд», пока что удававшихся Америке только в голливудских боевиках про скайуокеров — небопроходцев.

Для Рейгана нормальные времена — это когда Америка прибегала к ядерному шантажу, выкручивала руки, диктовала свою волю другим странам и даже предпринимала неприкрытые военные акции с демонстрацией флага и высадкой морской пехоты. Не одному ему казалось, что благодаря подобным силовым приемам величие

Америки растет, тогда как на самом деле оно все убывало, словно шагреневая кожа, с чем он теперь столкнулся и о чем скорбит, а само величие хочет во что бы то ни стало — хоть силой — вернуть. Возможно ли это?

Отповедь деятелям, обрисованным Шиэром, тому же Джоунсу, оказавшемуся, как говорится, из молодых, да ранним, и Пайпсу, Перлу и другим, все не бог весть каким важным должностным лицам, но с ведома самых «больших шишек» прибравшим к своим рукам такое важнейшее дело, как контроль над вооружением, дал в своей последней книге патриарх американских советологов, историков, публицистов и бывших дипломатов Джордж Кеннан. Если расшифровать ее название, «Ядерная иллюзия: советско-американские отношения в ядерном веке», то главную иллюзию — что ядерную войну можно и в е с т и и в ы и г р а т ь — как раз и питают перечисленные лица во главе с президентом. Это заставило Солли Зукермана предупредить читателей: «Может создаться впечатление, что Джордж Кеннан сформировался в совсем иных культурно-политических условиях, чем персонажи книги Роберта Шиэра».

А лоно у них общее. И Кеннан не всегда был таким, каков он сейчас. Вслед за фултонской речью Черчилля, вслед за объявлением антикоммунистической доктрины Трумэна в журнале «Форин афферс» он призвал к «сдерживанию» Советского Союза, чем способствовал и развязыванию «холодной войны», и ухудшению советско-американских отношений.

Тот Кеннан, укрывшийся за псевдонимом «Х», действительно в чем-то близок к персонажам Шиэра. Этот от них далек. Та статья и нынешняя книга — крайние точки. Разделяют их три десятка лет с большим лишком. По существу, дистанция такая, что непосвященный и правда может удивиться: та ли рука водила его пером тогда и та ли водит теперь?

Та, да не та. Сколько утекло воды-то. Но что было, то было и быльем не поросло. Ошибок кто не делает; смотря, конечно, каких. Самое худшее, когда из них не извлекаются уроки. Человек не стоит на месте. Личная эволюция важна. Для Кеннана она была тем труднее, что в молодые годы, шутка сказать, первую порцию антисоветизма, как бокальчик с ядом, он принял из рук небезызвестного Буллита. Наставил на ум, однако, более серьезный учитель — жизнь.

Западная Европа тогда скандировала: «Янки гоу хоум». В Тихом океане не прекращались ядерные испытания. Супербомба делалась. В Голливуде на шельмовании «красных» начинал свою карьеру нынешний президент. Сформировалась даже особая субкультура «холодной войны», в которой рядом с сексуальными откровениями д-ра Кинси, хулахупом, Бикини, бикини (название купальника пошло от далекого атолла, уничтоженного водородной бомбой) и Элвисом Пресли оказалась статья мистера Х, позднее потянувшая за собой самую, пожалуй, опасную провокацию тех лет, полет «У-2», когда героем дня стал «тихий американец» по имени Фрэнсис Гэри Пауэрс. А главное, приказала долго жить атомная монополия Америки; факт, отрезвивший многих. Почему бы и не Кеннана?

У него есть алиби. Он признается, что всерьез (хотя, видимо, не сразу) воспринял необходимость международного контроля над ядерным оружием, в отличие от Трумэна, Баруха и прочих, цеплявшихся за атомную бомбу и мечтавших о водородной. Вспоминает, что за кулисами, в четырех стенах кабинетов на Фогги-боттом, убеждал в том и верхушку госдепартамента, лично Ачесона, которому принадлежит авторство термина «позиция силы», и настолько, конечно, безуспешно, что вскоре покинул дипломатическую службу практически навсегда.

Трумэну принадлежит фраза: «Когда речь заходит об этих парнях в полосатых брюках, нужно проявлять осторожность».

Имел ли он в виду мистера Х? Если да, то как в воду глядел. Все-таки у бывшего галантерейщика был нюх на ненадежных поставщиков, и вряд ли случайно, что Кеннана заменили Полем Нитце и что сочиненную последним директиву совета национальной безопасности № 68, настоящий апокалипсис времен «холодной войны», соответственно содержанию, на вечные времена пометили грифом «сверхсекретно», хотя из авторства секрета не сделали, и ни Y, ни Z в качестве псевдонима не потребовался.

Кошмары всех войн, разыгрывавшихся в нашем веке, территорию Америки миновали. За двумя (или даже тремя) океанами американцы чувствовали себя как в крепости; так, привыкли думать, будет всегда. А ядерное оружие все изменило и всех уравняло. Недаром основой безопасности стал военно-стратегический паритет. Не все, однако, желают с ним считаться.

То, что Джоунс оказался без меры лжив, нагл и циничен, за это разве взыщешь; каждый остается при своих родимых пятнах. Зато безответственность подобных субъектов в наше время приближается почти что к безумию. Что «ястребы», когда на уровне Белого дома о ядерной войне говорят как о возможной, а при некоторых обстоятельствах даже и ц е л е с о о б р а з н о й? И удивляться не приходится. Взгляды таких людей, как Джоунс, стали взглядами правительства, а не наоборот. И роли не играет, кто из лиц, определяющих политику, знает о ядерном оружии больше, а кто меньше.

Помощник заместителя министра обороны Джоунс явно больше, а экс-консультант совета национальной безопасности Пайпс, принадлежащий, по отзыву одного авторитетного специалиста, к числу н а и б о л е е б е з у м н ы х и д е о л о г о в, явно меньше. По-своему уравновешивал того и другого заместитель министра обороны Перл. Можно назвать других высоко летающих и даже, по образному американскому выражению, стреляющих с бедра «ястребов». Дело не в именах.

Важнее общая оценка. Это не команда, а стая. И нельзя сказать, чтобы Рейган назначил их случайно. Для него это свои люди. Просто при нем настал их час. Почти родовое имя у них — л о б б и к а т а с т р о ф ы. Оно уже вошло в жизнь, из

жизни — в политический словарь. Всех их сближает одержимость антисоветизмом. И все они выпорхнули из гнезда, называвшегося Комитетом по существующей опасности. Входил в него и Рейган, по словам которого деятельность Комитета «помогла придать определенное направление обсуждению важных проблем в стране». Какое направление? Каких проблем?

Простое перечисление — мирное сосуществование долой; разрядка не принесла пользы; договор ОСВ-2 порочный — упирается в доктрину прямого противоборства с Советским Союзом по всем линиям — экономической, политической, военной, вплоть до психологической войны, включая сюда телешоу на всю Европу и усиление подрывной радиопропаганды против социалистических стран. И скачок-то вон какой был сделан — от одного картеровского триллиона на вооружение сразу к двум рейгановским да еще с порядочной добавкой. Но мир не баскетбольная площадка. Прессинг тут не к месту. Что на всей «площадке», что на части ее — приемлемы, полезны только баланс интересов, невмешательство, уважение прав других.

Опасное в доракетный период стремление к военному превосходству стало вдвойне и втройне опасным сейчас. От «упреждающего» удара до тотальной войны, в сущности, один только шаг. Кеннану это яснее ясного. Иначе к порогу своего 80-летия он не пришел бы с тем, о чем пишет сейчас.

Социализм не нравился ему и раньше — с тех пор вряд ли понравился. Признает он и глубокие исторические и идеологические разногласия, разделяющие обе страны. Но видит и конструктивные возможности советско-американских отношений, заложенные в них самих и сулящие надежду на улучшение. Дополнить и даже, по его мнению, обогатить друг друга Америка и Советский Союз могут по следующим направлениям, требующим совместных усилий: охрана окружающей среды, исследования Арктики и Антарктики, океанография, здравоохранение, мирное использование ядерной энергии, космос... И потому довольно уж давно и очень последовательно Кеннан убеждает своих соотечественников в необходимости «наладить с Советским Союзом реалистичные и разумные отношения», как он особо подчеркивает, без «ошибочных преувеличений и чрезмерных упрощений».

Заодно с ним та часть правящей элиты, которая смотрит на мир иными глазами, нежели Рейган и Джоунс. Это Гарриман, Макнамара, Уотсон, Вэнс, Клиффорд, Болл... Сбить с занимаемой позиции их трудно. На своем они стоят прочно. Рот им не заткнешь. Задают тон и они — не только Белый дом.

Не белые вороны, они видят главную задачу внешней политики иначе, чем рейгановцы. Одни — в разумном компромиссе, а наиболее последовательные — в разрядке и сотрудничестве, прекрасно понимая, что и Советский Союз готов искать и находить общий язык с американской стороной по всем линиям — вплоть до культурных связей, образцовских кукол и Большого балета. И все-таки Солли Зукерману кажется, что «сложившаяся ситуация не в пример лучше и трезвее оценивается в Европе, чем в Америке».

Еще бы, первое-то слово о превращении Старого Света в ядерный ТВД осталось за Рейганом: «Ограниченная война в Европе не обязательно переросла бы в мировой ядерный конфликт...»

Сказал не подумав? Сгоряча? Распалившись? В азарте? Не заглянув в карточки, каждый раз запасаемые в кармане на случай трудных или каверзных вопросов? Но сказал же. Ответом ему было антиядерное движение. И Гринэм-Коммон (в Англии), Комизо (в Италии), Флоренн (в Бельгии) превратились в символы борьбы против новых американских ракет, несущих Европе смерть.

А в самой Америке настроения каждого дня действительно переменчивы. Сегодня в ходе опроса люди отвечают — разумеется, «фриз», то есть замораживание ядерных арсеналов двух стран; разумеется, и сокращение военных расходов; разумеется, и подход к советско-американским отношениям совершенно иной, чем сейчас; разумеется, и Рейгану лучше бы не претендовать на второй срок, пускай возвращается в свою Калифорнию, рубит дрова для камина и ездит верхом, а то уж больно смахивает он опять на поджигателя войны, как бы не втравил в конце концов Америку в войну — по весне-то думающих так набиралось до сорока процентов, очень немало, хотя за «фриз» высказывались все 80.

А назавтра подул холодный ветер, нет удачи в делах, помахала крылом какая-нибудь антисоветская «утка», взыграл слепой фанатизм, спровоцированный очередным выступлением Рейгана, и все по-другому, все иначе, куда девался здравый смысл, могут бездумно повторять навязанную профессиональными человеконенавистниками формулу: лучше быть мертвым, чем красным, и ядерного пожара уже не так боятся, как вчера, помирать — так с музыкой, лишь бы не попасть на удочку этим русским, призывающим Америку разоружиться, и вообще русские — они того, за ними нужен глаз да глаз... А у бензоколонок и не то услышишь — для самых инфицированных пропагандой Советский Союз вроде Кинг-Конга с другого континента, угрожающего ихнему.

Кеннан как будто склоняется к тому, что настроения второго рода «глубоко и прочно въелись в общественное сознание».

А не безоговорочна ли такая констатация? Соответствует ли реальному положению вещей на сегодняшний день? Кто будет спорить: раз возникнув, человеческие заблуждения долго о себе напоминают. И всем, кто доказывает абсурдность рейгановского курса, приходится нелегко. Сколько речей произнес Кеннеди, сколько статей написал Болл, сколько интервью дал Уорнке. Однако вода камень точит, и понемногу общественное сознание приобретает характер общественной силы.

В прошлогодних референдумах по замораживанию участвовали миллионы избирателей. Нарастающую активность проявля-

ют сейчас церковные деятели. Католические епископы устояли перед форсированным нажимом Белого дома и в третий раз подтвердили свое отрицательное отношение к ядерной гонке. Кеннан их поддержал. Это все сила или не сила? Белому дому приходится с ней считаться. Иначе зачем было Рейгану обрабатывать сенаторов и конгрессменов в связи с той же резолюцией о замораживании? А он забрасывал их личными посланиями и одолевал телефонными звонками, как ни один президент до него. Зачем ему, и опять с оглядкой на общественность, изворачиваться и лгать про «окно уязвимости»? А он все еще доказывает, что необходимо добиваться не просто военного превосходства над русскими, а значительного.

Нет, что ни говори, а официальный курс никогда еще так резко не расходился с общественным мнением. По мнению Кеннеди, народ оказался прозорливее своего президента. Прибавилось тех, кто отказывается верить в «советскую угрозу». Еще больше сомневающихся. Так уж устроены люди — перестают верить в то, что не сбывается. Все угроза да угроза, и год, и два, и три, и десять, и пятнадцать лет назад, а кто постарше, помнит, что и 20 и 30 лет назад Пентагон проезжался все на ней же. При демократах и при республиканцах, без разницы. Между тем ни русских бомб, ни самих русских как не было, так нет. А кто-нибудь и вспомнит — славные были парни, по рассказам тех, кто встречался с ними на Эльбе, и надо быть круглыми дураками или родившимися вчера, как говорят американцы, чтобы не вести с ними дела... Такие вот настроения дают себя знать тоже. Потому и «фриз» в почете.

А кому-то открывает глаза и Кеннан своими статьями и книгами. Не вода же сквозь пальцы. Просто книги пишутся медленно; жизнь их опережает. Возникают фигуры неожиданные. Раздаются голоса, которые вчера еще никто не слыхал. Кто мог ждать, чтобы бывший директор ЦРУ Колби выступил в пользу замораживания. Или чтобы такой признанный «ястреб», как адмирал в отставке Замуолт, очутился в одной компании с Макнамарой, Банди и Вэнсом, высказавшись вместе с ними против небывало раздутого рейгановского военного бюджета.

«Это не какие-нибудь хиппи». С позиций собственной элитарности автор редакционной статьи в «Бостон глоб» волен смотреть на участников антиядерного движения сверху вниз — волосатики, горлопаны, оборванцы, нищеброды. У кого-то и с языка срывается нечто похожее. А Рейган приклеил им ярлык «агентов Москвы». Все равно убедительнее не прозвучало.

Но Макнамара-то, в прошлом «человек-компьютер», как его называли, возглавлявший Пентагон, а еще раньше компанию «Форд», а в последние годы Всемирный банк, сейчас действительно в ужасе от собственных стратегических прикидок двадцатилетней давности.

Сдержанный, даже академически надменный Банди опирается на опыт работы с двумя президентами в качестве помощника по национальной безопасности.

А рассудительный Вэнс, юрист с Уолл-стрита, а в картеровское время государственный секретарь, рассудительным и остался.

Словом, что угодно, только не хиппи. Тем более что Колби остается Колби, а Замуолт — Замуолтом. И все-таки невозможное стало возможным. Кое-что, и на сегодняшний день не второстепенное, до них дошло. Конечно, споры вокруг военных расходов, увеличивать ли их на 10 процентов, как того хотелось Рейгану, или только на 5, на 4, или даже еще меньше, не отменили главного — колоссальное наращивание американского военного потенциала все равно продолжается. Но важен сам факт. Трезвый подход подсказывается жизнью даже отдельным «ястребам». Без последствий он не останется — отзовется. Да уже отозвался. Вон сенатор Хамфри, на что, кажется, правый, на что твердолобый, а поднялся с места и положа руку на сердце сказал:

«Я «ястреб», как у нас говорят. Но я должен согласиться с тем, что боеголовок у нас более чем достаточно».

А это называется — смотреть правде в глаза. Не все могут и не все хотят. Те, кто и в ядерной войне видит что-то вроде насморка или плохой погоды, на худой конец засухи, как иронизирует Солли Зукерман, они ведут себя так, словно им выдан сертификат на вечную жизнь, по меньшей мере стопроцентная гарантия, что смерть их минует, обойдет стороной, в то время как всем остальным, простым людям, суждено будет самым элементарным образом исчезнуть — сгореть, улетучиться, раствориться, обратиться в пыль и прах; кому что написано на роду.

Впечатление такое, что люди Рейгана будущего не ведают, а прошлое забыли. Ну, была когда-то война. Ну, некоторые «наши парни» не вернулись домой. А Солли Зукерман был очевидцем гитлеровского наступления на Англию с воздуха. По тому времени напоминало ад. А еще ждали, не накроет ли Британские острова своим крылом «Морской орел» (как назывался план броска через Ла-Манш, подготовленный германским генштабом). Впереди же были «Фау», наводившие на англичан ужас в конце войны; прообразом крылатых ракет, угрожающих Европе, вот чем они являлись; перекличка тревожная.

Если Лондону досталось, Ковентри разве нет? Тоже общеизвестный факт. Откуда было и неологизму взяться — ковентрировать.

А между тем, как пишет Солли Зукерман, Токио, Гамбург и Дрезден пострадали еще сильнее.

Верно, но то была уже «работа» американцев. Один из налетов на Дрезден пережил старый Герхарт Гауптман и описал его. Море огня, ночь, переходящая в день, непередаваемый ужас людей и ни малейшего намека на военную необходимость.

А сейчас имеются не просто бомбы и боеголовки — обширный комплекс ядерных средств, различных по назначению, разнообразных по мощности, измеряемой любым количеством кило- и мегатонн, и неодинаковых по способу доставки к цели. Значит, если до того дойдет, все будет

не так, иначе. Хотя не дай-то бог. Вот и возникает вопрос, как пишет Солли Зукерман, пробовал ли кто-нибудь из членов Комитета по существующей опасности хотя бы в воображении перевести все эти боеголовки, пусковые установки и мегатонны в конкретные человеческие жертвы?

Определенно пробовали; и не только в воображении. Считали и пересчитывали не на бумаге, столбиком. Горячими были клавиши микрокалькуляторов. А чего, на войне как на войне. Еще несколько лет назад приводилась вычисленная пентагоновскими стратегами сводная цифра глобальных потерь — 500 миллионов человек. С появлением ЭВМ решение подобных задачек сильно облегчилось.

Значит, все знают и все понимают. Точно так же, как Черчилль сорок лет назад, когда получил сообщение о предстоящем налете «люфтваффе» на Ковентри. Сразу все понял, в задумчивости даже покатал в зубах сигару и все-таки со спокойной совестью — военная же необходимость! — решил жителей не предупреждать; пусть себе погибают той смертью, к какой приговорили их гитлеровцы, лишь бы британская разведка сохранила свои тайные источники информации. Хороша мораль — совпадает с нынешней рейгановской. Для кого-то кровь людская навсегда останется водицей.

Хиросиму видели немногие. Да и кто какой урок извлек из появления ядерного оружия, это целиком зависело от человека. Трумэн, тот велел подать шампанское. «Джентльмены, мы сбросили на Японию бомбу, которая называется атомной».

Ударило в голову сильно. Думал ведь, что получил «дубину против русских парней», а пришлось удовольствоваться спекшимися камнями, доставленными специально для него из эпицентра т о г о взрыва.

А вот совсем другой взгляд на ядерное оружие, начавший складываться в ту же пору: в военном плане оно бесполезно.

«И чем больше о нем узнаешь,— честно признается отставной адмирал Ноуэл Гейлер,— тем меньше оно по душе».

А ему ли не знать? Хиросиму видел, а сверх того, по долгу службы, был еще причастен и к испытательным взрывам, в последующие годы превратившим тихоокеанские острова в отравленные пустыри. Уверен, что никакие книги и никакие фильмы не дают об этом ни малейшего представления.

Бросает камень и в нынешних творцов американской политики — сами мало смыслят в том, о чем болтают с чужих слов. Имел в виду не только Джоунса или Пайпса — многих и повыше; последних, пожалуй, прежде всего. Обвинения в антипатриотизме отметает: «Быть противником ядерного оружия еще не значит быть противником Америки».

А выход? Замораживание, а затем разоружение. Конкретно? Пусть Америка и Советский Союз н а ч н у т отказываться от ядерного оружия, заряд за зарядом, используя взрывчатку для мирных целей. С чего-то же и когда-то же начинать реальное сокращение ядерных арсеналов надо.

Гейлер не свой брат Замуолт. На него зашикали так, как будто он никогда не был ни командующим вооруженными силами на Тихом океане, ни директором сверхсекретного Агентства национальной безопасности и вообще полез не в свое дело. Но такие заявления с бухты-барахты не делаются. Тогда и Кеннан тоже не в свое дело лезет. А ведь оба входят вместе с Гарриманом и Макнамарой в состав Комитета за согласие между Востоком и Западом, оба выступают и за улучшение советско-американских отношений, «на протяжении последних лет ухудшившихся, по оценке Кеннана, в такой мере, что их нынешнее состояние внушает страх».

И не случайно именно Кеннан охарактеризовал предложение Гейлера как смелое, решительное и очень хорошо продуманное. Опять, выходит отповедь да к тому же двойная, от заслуженного адмирала и от бывшего дипломата. Разве не показательно?

Сравним. Через месяц после первой атомной бомбардировки, после Лондона, после немецких городов разрушенных американской авиацией, по горячим следам прилетел в Хиросиму и Поль Нитце. Бывшему банкиру, компаньону и другу Форрестола, тогда изучавшему эффективность воздушной войны на разных театрах, а теперь возглавляющему американскую делегацию на переговорах об ограничении ядерных вооружений в Европе, ничего не стоило подсчитать: один самолет с атомной бомбой заменил 220 бомбардировщиков (в Нагасаки — 120). Игра стоила свеч. Удобно, экономно, эффективно. Вообще — чистая работа. Но один самолет или два — детская игра, простительная для начала, пока еще неясно обозначилось, какое все-таки сверхужасное заимели оружие, и пока не появились межконтинентальные баллистические ракеты с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Да один самолет с одной ядерной бомбой тоже может послужить детонатором войны — и еще какой. Все в руках людей, от них и все зависит.

У Стенли Кубрика в фильме, не потерявшем актуальности, д-р Стрэйнджлав, консультант вашингтонской верхушки, преисполненный ненависти к Советскому Союзу, не портрет, а разновидность Пайпса, в конце концов добивается своего, и на базе ядерных бомбардировщиков генерал отдает приказ: «Курс — советская граница». Добела накаляется линия «горячей связи» Вашингтон — Москва. Вдогонку бросаются свои же истребители. Пока президент и его окружение суетятся и гадают, как быть, командир одного бомбардировщика, плюгавый с виду майор, продолжает полет. Отказывает радио — ему наплевать. А если первоначальный приказ отменен? А если н а д о возвращаться на базу? Плевать, все равно...

Когда дело доходит до особого ключика — ну все, момент решительный, осталось заглянуть в самые секретные инструкции, как обращаться с бомбой,— майор извлекает из сейфа техасскую шляпу с загнутыми полями. До чего же злая деталь. От таких вояк, послушных воле «ястребов», иных движений души ждать не приходится и сегодня. К черту летит пилотка.

Блаженная улыбка расправляет его сухое личико. Ура, Техас! Заодно ура и Калифорния!

А Техас — это Буш. Калифорния как раз Рейган и есть. Конец трагикомический: бомбу заело, майор лезет в отсек, колдует над зажимами и где-то над Ледовитым океаном, верхом на бомбе, с гаечным ключом в руке, в заломленной на затылок шляпе, отправляется в тартарары. Но гриб во весь экран — кому объяснять, что за ним?..

У Джоунса в Пентагоне стены кабинета увешаны снимками Хиросимы и Нагасаки — по молодости лет того, что было, не видел. Возможно, есть среди них и тот, обошедший весь мир, с одним-единственным уцелевшим зданием торгово-промышленной палаты, вернее сказать, голым остовом и скелетом купола, а возможно, и другой — с одним-единственным деревом, почерневшим и мертвым. Что, страшное притягивает? Да ничего подобного, Джоунсу вовсе и не страшно. Он указывал на них пальцем и, как свидетельствует Шиэр, не выражал ужаса. Смотрите, что было. А знаете, что есть?

«Примерно через 30 дней после взрыва люди уже разгребали обломки и восстанавливали дома».

Но современное стратегическое ядерное оружие в сотни раз мощнее бомб, сброшенных на японские города. Не будет ни обломков, чтобы их разгребать, ни домов, чтобы их восстанавливать. А Джоунс знай себе повторяет: «Земля — отличная вещь».

Он, конечно, позволяет себе так много, как, пожалуй, мало кто другой. Но за ним вся сила, заключенная в портфеле военных заказов компании «Боинг», где он возглавлял важнейший отдел производства; в том и отгадка. А рядом с ним Перл, один из архитекторов рейгановской военной программы, а еще раньше главный помощник сенатора Джексона в сенатской комиссии по делам вооруженных сил. Это официально. Неофициально же его называли «военным министром Джексона». А уж последнему без надобности, кажется, и табличка на груди: «Сенатор от «Боинга». Кем он вспоен и вскормлен, и без того известно. Вот и замкнулся круг.

И это лишь кажется, будто Джоунс болтлив. Верно, коллеги его молчаливы и, как ни странно, в большинстве своем даже анонимны, бесцветны, безлики и если не острят и не делают, подобно ему, никаких сногсшибательных заявлений, то практически неслышны. Милитаристы в пиджаках на трех пуговицах — такая у них отличительная черта; не сказать чтобы очень уж яркая. А они, кстати, и не стремятся блистать. Реклама? А зачем?

Велика тайна, в которой рождается война, говоря ленинскими словами. Не менее таинственной стала сейчас и сфера создания новейших видов вооружения. В новой программе американских коммунистов военно-промышленный комплекс назван подлым миром. Пока что во многом он остается и неведомым. Не терра инкогнита, конечно, но белых пятен хватает. Надстройка-то видна. Это неподвластное избирателям «невидимое правительство», как говорится в том же документе, «в которое входят совет национальной безопасности, ЦРУ, ФБР, Пентагон, специальные комиссии конгресса и Белого дома, чья организация и деятельность скрыты от контроля и наблюдения со стороны общественности».

А на что похоже остальное? Самое-то главное то, что в основании, в фундаменте. На антикоммунистическую мафию? Или на масонскую ложу? Или на орден иезуитов? Но с кем, с каким Игнатием Лойолой во главе?

Многие ли наслышаны о Р. Андерсоне? Это председатель совета директоров «Рокуэлл интернэшнл». О Д. Льюисе? Это президент «Дженерал дайнэмикс». О С. Рамо? Это хозяин фамильной фирмы «Томпсон — Рамо — Вулдридж». Один только раз Джордж Кистяковский, известный химик и специалист по вооружениям, указал персонально на Рамо: «Он просто глава военно-промышленного комплекса. Более того, один из его основателей». Не преувеличение ли? Не ошибка ли? Ныне покойному Кистяковскому эта публика была знакома достаточно хорошо. Рамо и способный инженер, и научный руководитель военно-космической программы ВВС, и военный подрядчик. Сейчас как раз занимается лазерами. А кто создает оружие завтрашнего дня, тот лидирует; одновременно и задает тон в сегодняшней политике. Это главная характеристика, а вообще-то он един во многих лицах— даже меценат.

И все-таки на многие вопросы ответов пока нет. В чьих руках сейчас конкретно «Хьюз эйркрафт»? А тот же «Боинг»?

Другие фирмы?.. Кто его знает. А знать важно. Связи же нащупываются с трудом. Фигуры, имена и те всплывают ненароком. С прошлым никакого сравнения. Ни наследственных династий, ни семейных кланов. В полном смысле слова — порождение послевоенного империализма, и по своей агрессивности, алчности, безрассудству совершенно новая формация представителей бизнеса. Играют с ядерным огнем — куда дальше.

И если Джоунс таков, каким его показал Шиэр, что представляют собой те, кто над ним, на ступеньку, на две, на три выше его? Определенно еще циничней, беспощадней, даже остервенелей. Уверовали в хитроумные системы ядерного оружия. Вообразили, что всесильны. Самовнушение? Самообольщение? Да еще какое. Запамятовали или, по причине собственной провинциальности, никогда не слыхали предупреждения — на штыках невозможно сидеть. На ядерных боеголовках тем более нельзя жить.

Кеннан предпочел сказать: иллюзия. Сразу стоило бы и прибавить: очень опасная даже на той стадии, пока только объявляют разного рода «бойкоты» и «санкции», прибегают к силовым приемам и угрозам, накаляющим обстановку, и могущая стать поистине катастрофической, если все-таки вздумают «восторжествовать с блеском» над Советским Союзом (как в Белом доме говорят и, очевидно, планируют). Здесь и надо искать причину тревожного взгляда на современную американскую действительность, сформулированную Кеннаном так: «Как случилось, что в стра-

не появился такой важный элемент нашей системы — а именно военно-промышленный комплекс со всеми его разветвлениями политического и социального характера,— который представляет собой такую силу, является таким невосприимчивым к общественному мнению, таким неподдающимся воздействию извне и способным отвлечь такую большую часть общенациональных ресурсов на борьбу за такое бесплодное и безнадежное дело, как военное соперничество по всему фронту в наш ядерный век».

Вопрос-то хотя и риторический, но поставленный публично и тем важнее кем, насколько авторитетным деятелем, что прямо указывает американцам — вот откуда надвигается «туча, несущая опасность». Кстати, так и называлась предыдущая книга Кеннана. Значит, предупреждение уже повторное.

А ведь было время вдуматься хотя бы в предостережение, высказанное еще Эйзенхауэром. Так нет, до сих пор раздаются с крайнего фланга голоса — страдал недержанием речи старый фразер. Это генерало?! Это президент-то?! Не церемонятся даже с ним. Милитаризация мышления, по определению Кеннана, распространилась подобно эпидемии. Кто-то спохватился, но поздно. А чего ждать от тех, кто благоденствует иждивением военного бизнеса? От значительной части научно-технической элиты? От ученых мужей из мозговых центров? От тех, кто оправдывается — для нас будут какие-нибудь бункера, правительство позаботится? Иные уверовали, что Америка ни при каких обстоятельствах не станет ТВД. Малодушные и вовсе отмахиваются: «От нас мало что зависит, а папаша знает лучше» (так приучены думать американские Джоны). Ничего более желательного «ястребам» не требуется. А скольких людей, как будто успокаивая их, смутил Джоунс и скольких «успокоил», сбив с толку, обманув и запугав.

Если сейчас, как никогда, близко к тому, о чем 34-й президент сказал, прежде чем покинуть Белый дом, то есть о влиянии военно-промышленного комплекса, политическом, экономическом и даже духовном, которое ощущается в каждом городе, в каждом штате и каждом федеральном учреждении, то уж мощь его тем более достигла гибельных масштабов, подсказанных Эйзенхауэром. И прошло-то всего ничего с того дня — два десятилетия с небольшим; по исторической мерке, сущий пустяк. Да сейчас и пустяк — день, час, минута — может оказаться роковым.

В проповедях на тему «Америка превыше всего» предпочитают распространяться о руководстве миром и мировом лидерстве — эвфемизмы самые расхожие. Но высказываются и о порядке, совместимом с идеалами Запада. Не химера ли он? В свое время о новом порядке в мире мечтал некто, называвший себя еще художником и архитектором, кроме того что был он Гитлером. Забыли, что ли?

Рейган-то убежден, что Америка осенена какой-то особой благодатью, что ниспослана ей свыше миссия — нести крестом и мечом свободу и демократию. Но страны и народы разные, благодать понимают неодинаково и мечу американскому могут противопоставить свой меч. Губернатор Калифорнии когда-то грозил:

«Каждую ночь потенциальный противник должен засыпать в страхе, что Америка применит ядерное оружие».

Разве не разухабисто было сказано? Не безответственно? И разве не о первом ударе шла речь? Именно о нем. С губернатора какой спрос? Меньший, нежели с президента. Но вот уже и в своем нынешнем качестве Рейган честит нашу страну «империей зла» и «средоточием греха»— каждый говорит тем языком, каким умеет. Советские люди для него «монстры-безбожники». И развяжи он ядерную войну — на то будет почти господня воля. Сомневаться же в боге нельзя. А не верить президенту — упаси бог. Да это чистое мракобесие. Этика в основе своей чисто черчиллевская. Хочу казню, хочу милую. Не хватает еще, чтобы при слове «культура» тянулись к ядерной кнопке. Чего доброго, до того дойдет. Но то ли требуется в переживаемое время? Торная дорожка напряженности, конфликтов, конфронтации к добру не приведет. Что в конце — известно всем.

Рейгановским проповедям, сеющим нетерпимость и вражду между народами, Кеннан дал определение: шельмование Советского Союза. В нем много кто еще участвует: и комментаторы ТВ, и правые обозреватели в газетах, чего стоят один Уилл и один Бакли, если называть, как говорится, «самых-самых», да и Джоунс тоже ведь свою лепту внес.

Очень точное слово — шельмование. Кеннану ли не знать, как это делается. Для всего мира тоже никакого особого секрета давно в том нет. Но все равно в атмосфере антисоветской риторики и запугивания людей несуществующей советской угрозой даже американцу кеннановского ранга и положения делает честь то, как горячо он призывает —положить конец ставшим систематическими шельмованиям народа и правительства другой великой державы — шельмованиям, которые в итоге могут сделать войну неизбежной.

Все же очень просто. Оба народа живут на одной планете; никуда от этого не денешься. Так суждено. Системы разные. Если не смешивать идеологические различия с межгосударственными отношениями, ужиться можно. А если помнить, что «крестовый поход» против коммунизма (в сущности, призыв к агрессии) ни к чему другому, кроме ядерного конфликта, не приведет, то и нужно уживаться. Это в общих интересах. В обозримом будущем только мирное сосуществование может послужить основой для развития советско-американских отношений. Одновременно и дать верный шанс всем уцелеть. А кто кого — покажет время. В процессе мирного соревнования в сфере производства, повышения благосостояния населения, развития образования и культуры.

«В конце концов советский народ,— убеждает своих соотечественников Кеннан,— один из великих народов мира. Он внес огромный вклад в мировую культуру; я

имею в виду науку, искусство, музыку, театр, религию и литературу».

И все-таки на что надеяться? Гонка-то вооружений получает гигантское ускорение от развития науки и техники. Растет угроза использования ядерного оружия по небрежности или злой воле.. А на то, что в Америке и Западной Европе рано или поздно придут политические лидеры, способные повернуть руль так, чтобы, по мысли Солли Зукермана, над сегодняшним днем не висела угроза того, что завтрашний день может никогда не настать.

В общем — верно. Если устранить угрозу войны и сберечь жизнь могут только активные и целеустремленные действия народов, то и личности по нынешнему времени тоже призваны играть совершенно особую роль. А играют разные — разную.

Да лишь бы не опоздать. Хотя и жить, глядя на мир сквозь черные очки, тоже нельзя. Иначе пришлось бы отказаться и от исторического оптимизма, присущего народам, и от оптимизма индивида, смириться с фатальной неизбежностью всемирной катастрофы и на всякий случай только запастись, по совету Джоунса, парой лопат — для себя и своих близких.

От руководителей же американского государства, всецело поглощенных «советской военной угрозой», а ее, как замечает Кеннан, надо еще доказать, больше всего требуется, по его же словам, р е а л и з м, о с т о р о ж н о с т ь и с д е р ж а н н о с т ь. Мало или совсем почти не обнаруживал их Картер. Ни того, ни другого, ни третьего не проявляет и рейгановская администрация. Вместо реализма — авантюризм, вместо осторожности — опять авантюризм и вместо сдержанности — опять и опять авантюризм. Вседозволенностью не заменить уравновешенности. Или к ней придется вернуться, или... Особых надежд Кеннан не питает:

«Только государственный деятель и политический лидер, выступающий с высокой правительственной трибуны (в нашей стране, надо полагать, президент), мог бы иметь шансы успешно модифицировать общественный климат, но в настоящее время нет ни малейших оснований надеяться на такой поворот».

Увы, да. Самой высокой в Америке трибуной всегда был и остается Белый дом: выше нет. Речь Эйзенхауэра о военно-промышленном комплексе была исключением. Правило иное. Подходящей кафедрой для проповедей объявил Белый дом еще «Тедди» Рузвельт. Но самые мягкие слова он же советовал подкреплять самой большой дубинкой. Обещал: «И вы пойдете далеко». Куда Америка теперь зашла — видит весь мир.

Картер, правда, вот был моралист так моралист. На словах дубинку отвергал. Начал чем? Настоящим словоизвержением в защиту прав человека. А кончил морской армадой в Персидском заливе и полночным рейдом головорезов-рейнджеров в иранскую пустыню. Ладно, Картер был, да сплыл, как говорится. Великим президентом не стал, как мечтал. Оказался если не калифом на час, то только на четыре года. И давно забыт. По делам и честь.

И Рейган, относящийся к числу больших почитателей «Тедди», свои антикоммунистические проповеди тоже уснащает такими моральными максимами, которые ниоткуда больше не услышишь, как из официальной резиденции американских президентов. «Империя-то зла» не ненароком с языка слетела. А призывы защищать «добро» и бороться со «злом» — разве не прозрачный намек на дубинку? Но достаточно «расцвести» в небе одному-единственному грибовидному облаку, как в кубриковском фильме про д-ра Стрэйнджлава, и не о чем будет разговаривать. Это не способ разрешения политических разногласий, заключает Солли Зукерман.

Что верно, то верно. И как бы они ни были серьезны, и какими бы ни казались неразрешимыми и непреодолимыми, а решать их нужно с учетом взаимных интересов, а главное — при неизменном и корректном соблюдении принципа равенства и одинаковой безопасности сторон. Без этого никуда — или на край пропасти. А кому это нужно? Только не человечеству.

◆

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ФРАНЦИЯ В СЕРДЦЕ

Из неопубликованных и забытых статей и выступлений

В апреле 1916 года Максимилиан Волошин писал редактору петроградской газеты «Биржевые ведомости» М. М. Гаккебушу: «Так как теперь «Биржевые ведомости» остались без постоянного корреспондента во Франции, то позвольте мне рекомендовать Вам как такового поэта Ил. Гр. Эренбурга, которого Вы, конечно, знаете по имени, по его книгам и переводам старых и новых французских поэтов. Он прекрасно знает Францию и может быть Вам очень интересен для газеты».

«Биржевые ведомости» предоставили Эренбургу больше возможностей, чем московское «Утро России», где он печатался с ноября 1915 года — регулярные поездки на фронт, встречи с военными и государственными деятелями, поездки в Бельгию и Италию. До июля 1917 года, когда Эренбургу удалось вернуться в Россию, в 58 номерах «Биржевых ведомостей» печатались его очерки — о боях на Сомме, о бомбардировках Арраса, об опустевшем Париже и русских волонтерах, об Эльзасе и Лотарингии, о переполненных госпиталях и об африканцах, сражающихся за Францию. Военная цензура вымарывала явно антивоенные высказывания, но и того, что попадало на газетные страницы, хватало, чтобы понять и положение во Франции, и настроение автора. Недаром французское правительство пыталось выслать Эренбурга из страны.

Начало войны 1914 года повсеместно сопровождалось вакханалией шовинизма. Во Франции для этого были дополнительные причины: немцы захватили ее земли, разрушали города, убивали заложников, зверствовали. В этом смысле Эренбург был прав, назвав ту войну черновиком второй мировой...

Отношение Эренбурга к войне было двойственным. Он писал в книге «Люди, годы, жизнь»: «Война мне казалась отвратительной; я ненавидел и владельцев шахт, и Пуанкаре, и богомольных дам, раздававших солдатам ладанки, все лицемерие и трусливость тыла; но одновременно я повторял про себя стихи Шарля Пеги:

Блаженны погибшие в большом бою
за четыре угла родимой земли...»

Путь к пониманию скрытых механизмов мировой бойни был долгим — он шел через русскую революцию.

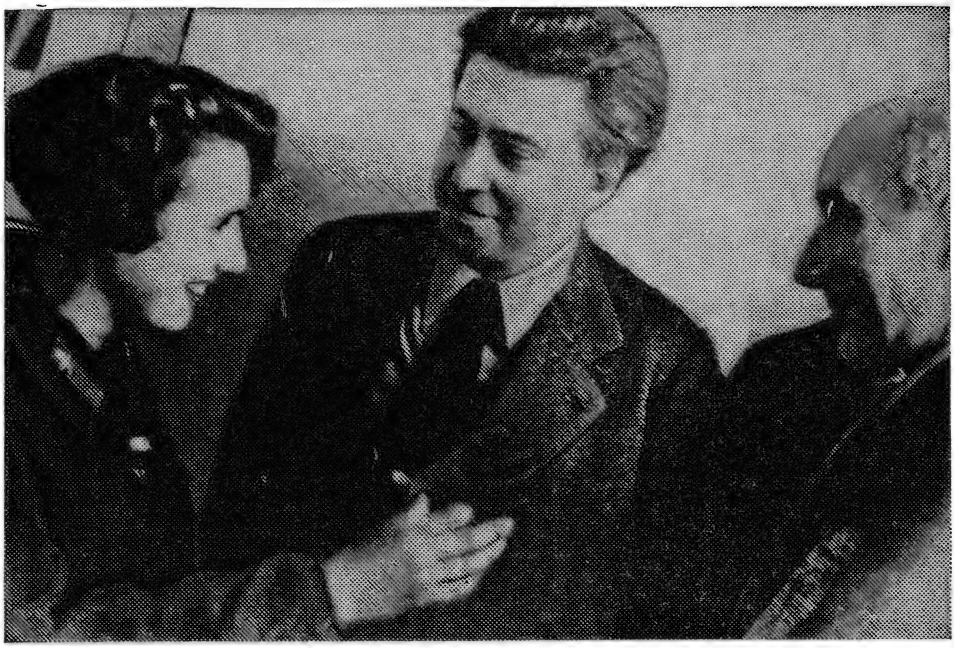
«Огонь»

«Огонь» Анри Барбюса печатался в газете «Эвр» начиная с августа 1916 года. Статья Ильи Эренбурга об этой книге появилась в «Биржевых ведомостях» 24 февраля 1917 года. Видимо, эта рецензия на книгу Барбюса была первой в России.

Рецензия Эренбурга не вызвала особого резонанса в российской столице — события, которые разворачивались прямо на улицах, куда сильнее действовали на воображение граждан, чем газетный отклик на книгу о французских окопах. Между тем немного найдется в XX веке книг, которые бы так потрясли современников, как «Огонь». Никого не удивит, что клерикалы ополчились на Барбюса. А вот то, что в воюющей стране могла выйти книга, в которой защитники Отечества говорят: «Герой? Мы были палачами... Не называй меня героем за то, что я убивал немцев!» — удивительно. Было чему поразиться, прочитав «Огонь» и помимо солдатских диалогов и жестоких картин быта войны — гимн Карлу Либкнехту, требование «убить войну во чреве всех стран», многое иное.

Не все это отмечено в эренбурговской рецензии — трудно сказать, кто в этом виноват: русская военная цензура или сомнения рецензента насчет светлого будущего. Но в одном Эренбург был уверен: после всего пережитого мир будет другим. Была еще одна важная мысль в книге Барбюса, очень близкая Эренбургу,— солдаты после боя говорят: «Если бы об этом помнили, войны больше не было бы». Не дать забыть о всемирной бойне — с этой мыслью Эренбург работал над «Ликом войны», «Хулио Хуренито», «Трестом Д. Е.»...

В книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург сравнивал впечатление, произведенное «Огнем» и сборником статей Ромена Роллана «Над схваткой». Заметив, что Роллан, находясь вдали от пекла событий, видел происходящее куда яснее многих, Эренбург пишет: «Книга Ромена Роллана вызвала нападки шовинистов и сочувственные отклики людей, не потерявших головы, но никого не поколебала. «Огонь» Барбюса был продиктован не раздумьями одинокого человека, а горем людей, их гневом — он родился в крови, в грязи окопов; и эта книга сыграла огромную роль в отрезвлении миллионов людей».



В кулуарах I съезда советских писателей. Парашютистка Н. Камнева, И. Эренбург, Ж.-Р. Блок.

Москва, 1934 г.

Статья «Огонь» печатается по тексту «Биржевых ведомостей».

Три солдата, грязные, оборванные, усталые, бродят по улицам города «в тылу». Они только что приехали «оттуда», на них тяготеют месяцы сидения в грязи, невыносимый грохот рвущихся снарядов. Потерянные, одинокие, бродят они среди веселой и беспечной толпы.

В одной из витрин магазинов изображена «военная» сцена. Зеленые холмики, чистенький немецкий солдат просит на коленях прощения у театрально-прекрасного французского офицера: «Камарад капут!»

Все смотрят одобрительно. Нарядная дама, заметив грязных «пуалю» и их военные кресты, спрашивает:

— Вот вы «откуда»! Ведь это (она показывает на витрину) правда! Так бывает на самом деле?..

Два солдата, простые, безыскусные крестьяне, отвечают даме.

Третий солдат молчит. Они идут дальше, уже опомнившись и стыдясь происшедшего. Тогда двум крестьянам говорит третий сотоварищ по взводу, в течение года сражавшийся с ними в болотах Артуа:

— Вот... вы уже изменили...

Он не говорил чему, они, не спрашивая, понимают. Изменили себе, товарищам, убитым, изменили последней горькой правде, добытой там, в хляби окопов.

Третий солдат не фермер, не винодел. Это писатель — Анри Барбюс.

Он не «изменил». На вопрос элегантной дамы, на вопросы тысячи любопытных «Что такое война?» он ответил своей книгой «Огонь».

За два года во Франции появились сотни и сотни книг о войне. Большинство их — дневники, записки, воспоминания офицеров и солдат. Но почти все они являются, употребляя выражение Барбюса, «изменой». Люди, мало видавшие и мало пережившие, не умеют рассказать об этом, им кажется, что надо выбирать атаки, подвиги, героические слова и пр. Они молчат о буднях войны.

Но даже о «праздниках» они говорят языком приглаженным, литературно-условным. Каждая такая книга — это будто солдат, который, приезжая с Gare de l'Est[1], моется, бреется, надевает парадный мундир и старается вести себя чинно. Среди всей этой малолюбопытной литературы попадаются прекрасные книги и прежде всего записки двадцатилетнего мальчика, убитого на войне, Поля Лептье (Ma Piece), которому все в жизни вновь, интересно, прекрасно, книги лейтенанта Р., Сальмона, Бенжамэна и некоторые другие. Но, несомненно, самой значительной книгой об этой войне является «Огонь» Барбюса. Он видел мало, может больше других, ибо был простым солдатом в самом страшном секторе (Сушe-Лабиринт). Он умел увидать действительно значительное. Обо всем он не боялся просто сказать. Барбюс — писатель, хранящий все традиции «натуралистической школы», он передает, как фотографии, как диск фотографа. Но он знает, что именно снять, какие слова запечатлеть. Часто там, где бы истинный художник начал говорить, Барбюс кончает. Его книга — документ, материал, хорошо подобранный, который ждет

[1] Восточный вокзал *(франц.)*.

гениального творца. Но в эти дни нам, современникам, этот точный рассказ о жизни маленького взвода говорит больше, чем самые долговечные книги.

Барбюс ярко передает одно впечатление войны, о котором я не раз уже слышал от солдат,— это запах войны, запах смерти, дух тления. Можно привыкнуть к отчаянному грохоту, свисту, мяуканью разнокалиберных снарядов, к стонам раненых, к хрипу умирающих. Можно еще приглядеться к унылому пейзажу, к расщепленным деревьям, к развалинам ферм, к изрытой земле, к разорванным телам, к трупам, можно привыкнуть к грязи и к крови. Но ужасней, неотвязней, мучительней этого запаха месяцы житья среди зловонной хляби.

Один солдат взвода влюблен в полоумную девушку, которая осталась жить среди развалин деревни. Девушка не подпускает его. Проходят месяцы, девушка исчезла. Недалеко от места, на котором была деревня, солдат роет подкоп. Солдат оттаскивает полуистлевший труп, чтобы пролезть. Труп падает, обнимает солдата. При свете лампочки солдат узнает по волосам Евдоксию, шальную девушку, в которую был влюблен.

— Как она пахла...— говорит он.

В этом рассказе нет ни любви, ни великой тайны смерти, но лишь голый ужас животного перед смрадом, который ярче всего говорит ему о физическом конце.

Рядом со смертью идет жизнь. Солдат сидит в окопе с товарищами, как все, он готов к смерти, покорен. Прикажут атаковать, он вылезет под пули, прикажут «держаться», он будет сидеть под снарядами. Но вот шальная пуля его ранила в ухо. Сейчас он уйдет к перевязочному пункту, оттуда в госпиталь, уйдет «назад». И сразу он отделяется, он мечтает о тепле, покое, о жизни, и это отдаляет его каменной стеной от тех, что остаются здесь ждать смерти. И остающиеся, сами не зная почему (храбрые люди, уже два года сидящие в окопах!), в эту минуту неприязненно смотрят на уходящего к жизни, «назад». Солдат рассказывает Барбюсу, как немец, солдат, сидящий там, напротив, нарядил его в прусскую шинель и повел в Лан, чтоб показать жену. Солдат в окне увидал свою жену.

Уютная комната, лампа. Молодая женщина шьет и смеется. Рядом с ней два немецких фельдфебеля, что-то они ей рассказывают, видно забавное.

Солдат хотел ворваться, убить... Но вернулся назад, и теперь он говорит Барбюсу:

— Но ведь это жизнь... Она молодая... Скучно, я два года, как ушел... Это не она смеялась, а молодость в ней... Правда?

Солдаты Барбюса не «солдаты», не «военные», не «герои»— это обыкновенные крестьяне и рабочие. Тихие, кроткие люди. Но героизм их выше человеческих сил. Во имя чего они терпят? Они не говорят ни об Эльзасе, ни о разделе Германии, ни о Сирии. Они не думают. «К чему думать?»— отвечают они.

Они лежат в жидкой грязи Артуаских болот, они слились с землей, бесформенные, похожие друг на друга. Они страдают, терпят. Во имя чего?.. Разве может ведать человек, к чему его дни, дела и муки?

Февраль 1917.

Президиум Международного конгресса писателей в защиту культуры. Париж, 1935 г. Слева направо: У. Фрэнк, И. Эренбург, А. Барбюс.

Памяти Анри Барбюса

На 1935-й и 1936-й годы приходится зенит антифашистского движения во Франции (через четыре года это время уже казалось легендой, мифом). Международный конгресс писателей в защиту культуры, проходивший в Париже в июне 1935 года, помог писателям понять опасность фашизма и объединиться в борьбе против него. Эренбург был одним из организаторов конгресса. Анри Барбюс — одним из авторитетных его участников. Выступая на конгрессе с докладом «Нация и культура», Барбюс говорил о необходимости активно защищать культуру от надвигавшегося фашизма: «Факты запрещают нам спасаться в облаках. Платоническая защита духа и культуры — пустые слова... Соединить землю и небо можно лишь одним реализмом».

14 июля 1935 года в Париже прошла мощная демонстрация Народного фронта — на короткий срок антифашистское движение объединило рабочих, интеллигенцию, всех демократов. Летом 1935 года Барбюс был уже тяжело болен, но его последние дни окрашены надеждой — казалось, что фашизм не пройдет, Барбюс умер в Москве 30 августа 1935 года. Редакция «Известий» разыскала Эренбурга в Бретани, где он проводил каникулы после сверхнапряженной летней работы,— газете был срочно необходим материал. Статья «Памяти Барбюса» была написана 1 сентября в приморском городке Пемполе, а 2 сентября Эренбург уже был в Париже и передал ее по телеграфу в Москву. 7 сентября была продиктована в «Известия» информация о похоронах Барбюса, превратившихся в антифашистскую манифестацию.

В этих двух корреспонденциях Эренбурга — дух того времени и тех надежд. Вспоминая Барбюса в 60-е годы, Эренбург писал: «Барбюс был сложным человеком, нельзя от него отсечь ни стихов его молодости, ни зрелой тоски. Как-то он сказал мне с легкой усмешкой: «С капитализмом трудно бороться, а с самим собой еще труднее...» Однако он умел бороться и с собой... В тот сентябрьский день он стал знаменем».

Статья «Памяти Барбюса» была напечатана в «Известиях» 3 сентября 1935 года, корреспонденция «Похороны Барбюса» — 8 сентября. Печатаются по тексту газеты.

Это было 20 лет тому назад, в одном из окопов Шампани. Как всегда, над головой мяукали снаряды, под ногами хлюпала грязь. Война вблизи была проволокой, вшами, запахом трупов и той жестяной кружкой сладкого кофе, о которую грели иззябшие пальцы люди за несколько минут до смерти. Два солдата говорили друг с другом. Они говорили о том, что у Дюарнена некому ловить сардинки, что Жюлио отняли правую руку, что проклятая война никогда не кончится. Один из них, помолчав, сказал: «Черт возьми, неужели никто этого не опишет?»

Я хорошо помню, какое чувство охватило меня, когда я прочел роман Барбюса «Огонь». Это не было ни литературным восторгом, ни радостью, ни отдыхом. Это было огромным облегчением. Человеческая совесть требовала, чтобы такая книга была написана. Этого требовали люди в грязи окопов. Этого требовали трупы среди проволочной паутины. Этого требовали дети, которые настойчиво спрашивали плачущих матерей: «Куда уехал отец?» Этого требовало будущее.

Я никогда потом не перечитывал романа Барбюса: есть книги, которые нельзя оторвать от того часа, когда они впервые поразили сердце, к которым смешно подходить с аршином литературного критика. Роман Барбюса «Огонь» спас от лжи и от отчаяния миллионы людей. Не всякий большой писатель может сказать про свою книгу: «Она была глотком свежего воздуха для человека, который задыхался от удушливых газов». Анри Барбюс пришел к рабочим из другого мира. Я вспоминаю прекрасный рассказ Жюля Валлеса об одном неизвестном коммунаре. Коммуна умирала на узких улицах Парижа. Жюль Валлес еще защищал одну из последних баррикад. Рядом с ним стоял высокий немолодой человек в рединготе. Он тоже стрелял в версальцев. Валлес сказал ему: «Ваше лицо мне знакомо».—«Нет, вы не можете меня знать».—«Но вы ведь из наших?»—«Нет».—«Версальцы сейчас на себе чувствуют, что вы из наших». Тогда высокий немолодой человек на минуту повернулся к Валлесу. Валлес увидел глаза, полные большой человеческой боли, и человек в рединготе ему ответил: «Я очень много в жизни страдал». Минуту спустя пуля версальца запачкала его редингот кровью: один из последних коммунаров упал рядом с одной из последних баррикад.

Анри Барбюс хорошо знал, что такое человеческое горе. Он пришел к рабочим, потому что видел войну, кровь и слезы. Он остался с рабочими до своего последнего часа. Я видел его на нашем конгрессе писателей. Он тяжело дышал, руки его судорожно бились. Вдруг он спохватился и заговорил: «Необходимо опубликовать доклад греческой писательницы... Как они борются с варварством фашистов...»

Четырнадцатого июля он шел под большим красным полотнищем. Я стоял рядом с двумя пожилыми французами. У одного не было ноги. Они кричали: «Да здравствует Барбюс!»

Может быть, это были те самые солдаты, которые 20 лет тому назад в окопах Шампани говорили мне: «Неужели этого никто не опишет?»

Париж, 2 сентября (по телеграфу).

Похороны А. Барбюса

Андре Мальро читает над гробом последнее «прости» Ромена Роллана. Рядом со мной стоит старая работница. Она держит на руках маленькую девочку, она говорит: «Сожми кулачок. Вот так. Видишь, кого хоронят? Анри Барбюса. А читают речь Ромена Роллана. Ты запомни это имя. А посмотри на

Похороны Анри Барбюса. 7 сентября 1935 г.

молоденького, видишь, который читает,— это Андре Мальро». Я тихо спросил ее: «Вы читали их книги?» С грустной усмешкой она отвечает: «Где мне читать? С утра до ночи работаю. Но я знаю, что Барбюс был знаменитый писатель и он был наш писатель, товарищ. Я читала в газете, что Ромен Роллан очень большой человек и он тоже с нами. А про этого молоденького мне племянник говорил, что его все буржуа уважают, а он на митингах подымает кулак и прямо объявляет, что он коммунист. Вот это значит люди».

Сегодня рабочие еще раз показали, что они могут чтить и любить тех писателей, которые славе светских салонов или креслам академиков предпочитают мужество и правду. Завтра правые газеты напишут: «На похоронах присутствовало несколько тысяч коммунистов».

Сейчас 8 час. вечера, а в широкие ворота кладбища все входят и входят новые колонны. Они идут уже много часов. Тесными рядами стоят на тротуарах люди и, завидев гроб, подымают кулаки. Нет министра, нет маршала, которого проводил бы к его последнему жилью весь парижский народ. Один буржуазный журналист вначале пробовал язвительно усмехаться. Потом он опешил и вдруг сказал: «Говорят, что так хоронили Виктора Гюго». Да, так: на нищем катафалке последнего разряда, за которым тоже шел Париж труда и баррикад.

Буржуазные газеты вскользь упомянули о смерти «какого-то господина Барбюса». Одна из них, которая по недосмотру редактора сообщила, что Барбюс был известным писателем и борцом за мир, тотчас же выпустила новое издание: опасные слова были вовремя изъяты. Полиция не захотела, чтобы прах Барбюса пронесли по центральным улицам. Мертвый писатель должен был пробираться на кладбище уличками окраин. Так в последний раз он проехал по злосчастным переулкам того второго Парижа, ради которого он жил, по переулкам кварталов Ля Шапель, Бельвилль, Пер Ляшез. Еще недавно, всего два месяца назад, он шел впереди этих людей больной, но стойкий. Сейчас он тоже впереди — на черном катафалке.

В окнах рабочих квартир выставлены красные подушки, красные занавески, красные платки. Большой дом, его строят. Может быть, здесь будет кабак, участок или банкирская контора. Пока еще он прекрасен, как все недостроенные дома. Его еще не обжили ни торгаши, ни тараканы. На лесах молодые каменщики. Увидев гроб, они все как один сжимают кулаки.

Четыре колесницы с венками. Сколько цветов! Многие из них чуть увяли — это цветы другой земли, цветы далекого края, где Барбюса тоже знали и любили миллионы людей: русские астры и георгины. Там по календарю уже осень, но стоит прочесть слова на этих лентах — большая суровая и нежная весна. Вот парижские венки: розы, гвоздика, пионы, цветы юга, щедрые и грустные, хрупкие стебельки в грубых руках каменщиков или кузнецов — любовь той земли, где жил и боролся Барбюс.

Рядом с гробом инвалиды войны — как когда-то в окопах. Жизнь и смерть. Похороны? Впереди 300 красных языков — это знамена различных районов. Они огнем врываются в легкий серый туман парижских улиц. Не о смерти они говорят — о жизни. О жизни говорит Ромен Роллан, прощаясь со своим старым соратником. О новой жизни, о той, что будет. Прекрасны планы городов, которые строят освободившиеся народы. Надо уметь разглядеть черновики этих планов: они сетью тонких морщинок

значатся на лицах тех людей, которые боролись и борются за высокое будущее.

Париж, 7 сентября (по телеграфу).

Свобода ведет нас в бой...

«Я видел, как немцы входили в Париж,— писал в «Красной звезде» Илья Эренбург 14 июня 1943 года.— Ехали офицеры в открытых машинах, нагло щурились, щелкая «лейками»; подбородками, сапогами и фуражками демонстрируя свое превосходство. Везли добычу: мешки и чемоданы из свиной кожи, картины, бочки. Старые дома содрогались от танков, а на гусеницах, казалось, еще дымилась кровь раздавленных детей. С утра до ночи шли солдаты. Высокорослые и плюгавые, с квадратными тупыми головами, с глазами, как будто сделанными из мутного стекла, с топотом и гоготом, шли пивовары, конторщики, дуэлянты, сутенеры, метафизики, деляги, вешатели, куроеды, сверхчеловеки, колбасники, павианы, пруссаки, саксонцы, баварцы, шли эсэсовцы с черепами на рукавах, с краденными ложками и часами в карманах, шли обер-ефрейторы, самодовольные и жадные, на ходу глотая колбасу и бананы, конфеты и котлеты, поплевывая, посвистывая, оправляясь перед памятниками, шли пасюки с длинными резцами, прыгали немки, похожие на слюнявых гиен, передвигалась серо-зеленая саранча, ползли рептилии, гады из дивизии «Адольф Гитлер», приват-доценты с мордами жаб, квакающие и крякающие палачи.

Я не забуду этого дня. Париж был пуст. На моей улице я был единственным свидетелем горя. Я должен был глядеть за себя и за других. Не знаю, сколько мне еще суждено жить, но я не забуду того четырнадцатого июня. Гнев придает силы. Я глядел на проходящих мимо меня немцев, и мне казалось, что с каждым часом я становлюсь сильнее. Кто увидел такое, должен или умереть, или увидеть смерть тех серо-зеленых, оправляющихся, хрюкающих и мычавших».

Сила воздействия двух тысяч военных статей Эренбурга, среди которых не было ни одной написанной вяло и бесстрастно,— общепризнана.

Только в последние годы стали известны масштабы второй работы Эренбурга, помимо статей для воюющего народа — всю войну он отправлял корреспонденции телеграфным агентствам и газетам Америки, Англии, Сражающейся Франции. «Общая цифра их огромна — около трехсот,— писал К. Симонов.— Это значит, что каждые четыре дня войны за рубеж шла очередная корреспонденция Эренбурга, печатавшаяся иногда в одной, двух, трех, а иногда и сразу в нескольких десятках и даже сотнях газет».

В 1944 году, вскоре после освобождения Парижа, во Франции вышел сборник статей Ильи Эренбурга, написанных для подпольной газеты «Марсельеза». Специально для этого сборника Эренбург написал предисловие. Его текст печатается по рукописи.

В этой книге собраны статьи, написанные для «Марсельезы». Они все были написаны о фронте, и многие из них были написаны на фронте. Напрасно в них искать художественных описаний

Обложка журнала «Франция — СССР», вышедшего в освобожденном Париже. Июль 1944 г.

или размышлений. Это только боеприпасы. Война длится, страшная война, от исхода которой зависит и судьба наших двух стран, и судьба искусства, и судьба мысли.

Я писал каждую неделю о борьбе, которую вела и ведет Россия против фашизма. Я писал о России. Часто при этом я видел перед собой Францию. Вот трупы убитых солдат Гитлера. Вот их тяжелые сапоги. Мог ли я забыть, как эти сапоги стучали по пустой улице Шерш-Миди в страшное июньское утро? Я не наблюдатель. Я ненавижу беспристрастье. Я видел развалины русских городов, тела замученных, виселицы. Я видел и немцев в Париже...

Давно говорили о том, что Франция — вторая родина каждого. С двойным правом я могу повторить эти слова: лучшие годы моей жизни прожиты во Франции. Я ел ее хлеб и пил ее вино. У нее я учился самому трудному искусству — жизни. Нельзя унести землю на подошвах башмаков. Можно унести небо в сердце. На русских фронтах со мной было небо Франции.

Все знают, что дала Франция миру. Нужно ли напоминать, что в беге с эстафетой Франция занимает ответственное место, что нельзя перейти от возрождения к современности, от гуманистов к новому обществу, минуя Великую французскую революцию? Наша юная республика вдохновлялась примерами французских революционеров и самозабвением великих лет.

Сейчас, в огне испытаний, мы снова видим героическую и вдохновенную Францию. Мы можем сказать, читая о франтирерах Савойи: вечная Франция. Ее образ был заслонен туманом благополучия. Так рождался лжепортрет

Франции. Однако настоящая, подлинная Франция — это не Луи-Филипп, это Бальзак и это 48-й год. Это не рантье, это защита Парижа и Артур Рембо. Это не Панама, это Верден, это не Пьер Лаваль, это герои Савойи. Гармония в представлении филистера становится скопидомством, мера подменяется мерами. Франция — страна высокой гармонии, и это помогает ей откинуть принятые нормы, стать героиней. Так пастушка становится Жанной д'Арк. Так рабочие из предместий Парижа повторяют подвиги Роланда.

Многие французы поняли, как они заблуждались в оценке советской России. Трудно разгадать чужой мир. Трудно, прожив жизнь среди виноградников Бургундии, разобраться в душевном климате сибирской тайги или степей Дона. Война сблизила народы. Имя Сталинграда для сражающейся Франции стало своим. Французы поняли, что Красной Армии есть что защищать. Дело не в простой благодарности, не только в том, что миллионы палачей Франции погибли на русской земле. Тиф ведь тоже убивает немцев, но тиф — это только болезнь. Как бы ни был далек тот или иной из моих читателей от идеологии советской России, он теперь знает, что свобода вдохновляла защитников Сталинграда. Свободу люди одевают по-разному — люди и века, но свободу ни с чем не спутаешь. Свобода витает над фронтами России. Свобода проходит по улицам обновленного Парижа. Она ведет нас в бой. Она поможет нам победить мир автоматов, механику насилья, Германию.

Анатоль Франс

«Если бы опросить всех, кто воевал,— писал в 1944 году Константин Симонов,— я уверен, что не нашлось бы ни одного человека, который бы не знал и не читал Эренбурга. Далеко не все знали, что такое химеры на Нотр дам де Пари, или что такое нить Ариадны, или кто такая Прозерпина, о которых писал в своих статьях Эренбург, но каждый знал, что такое любовь к своему народу и что такое ненависть к гитлеровцам. Если не до каждого доходил стиль статей Эренбурга, то зато до каждого доходила их сила».

Да, не каждый читатель «Красной звезды» знал про горе-завоевателя Тринко из романа Анатоля Франса «Остров пингвинов», но, читая о нем в эренбурговской статье «Два мая», все понимали, что имеет в виду Эренбург,— весной 1944 года крах гитлеровского рейха был уже не за горами.

16 апреля 1944 года отмечалось столетие со дня рождения Анатоля Франса. На торжественное заседание в ВОКС пришли представитель генерала де Голля в Москве Роже Гарро, глава французской военной миссии генерал Пети, бывший министр Пьер Кот, писатель Жан-Ришар Блок — Сражающаяся Франция чествовала в Москве большого писателя и патриота.

Илья Эренбург выступил на этом заседании с речью. У Эренбурга были свои пристрастия во французской прозе. Иногда чисто внешнее сходство сатирических персонажей Эренбурга и Франса выдают за доказательство влияния, но его не было — в молодости Эренбург и его окружение отвергали Франса, он казался книжником, эстетом. В своей речи Эренбург точно определил истоки «реабилитации» Франса. Впоследствии он вспоминал: «В 1946 году внук Анатоля Франса водил меня по дому писателя в Ля-Башельер возле Тура — я увидел, что эпикуреец был не книжником, не эстетом, а живым человеком: дом был загроможден не коллекциями, а теми обломками, которые оставляют после себя годы жизни, путешествия, страсти, встречи».

Речь Ильи Эренбурга публикуется по рукописи.

Юношей на набережной Сены я иногда встречал почтенного старика. Он рылся в полуистлевших томах букинистов, как золотоискатель в песке. Он дышал книжной пылью, смешанной с морским беспокойным воздухом Парижа. Анатоль Франс страстно любил прошлое. В те давние годы это нас смущало. Мы не знали, что миру грозит потеря памяти. Это было задолго до того, как в Берлине запылали костры из книг...

Поколение, которое прожило жизнь между двумя войнами, не признавало Анатоля Франса: он был слишком близок и слишком далек. Люди двадцатых годов порой возмущались его ясностью: их увлекали темноты. Им казался поверхностным скептический ум этого эпикурейца: они хотели утверждения. Нужны были черные годы, «годы презрения», чтобы ожил Анатоль Франс.

Он связан с Францией, с ее садами, с ее небом. Сила французского гения — в ясности, в гармонии. Нет искусства там, где нет чувства меры. Нет там и настоящей жизни. Полюсы открывают, на полюсах не живут. Франция — это классическая страна меры, страна Декарта и Вольтера, Ронсара и Версальских дворцов. Ее революции классичны. Безумец Рембо нашел строгие и точные слова. В мнимой бесформенности импрессионистов — безупречная ясность. Теперь среди затемнения Европы мы особенно остро чувствуем отсутствие Франции, ее света, ее меры. Здесь начало реабилитации Анатоля Франса.

Я хочу прославить иронию. Без нее люди тучнеют и глупеют. Это ветер и соль. Торжество фашизма, его невежества, его тирании, его предрассудков немыслимо в мире, где люди умеют осмеивать смешное. Слишком рано Анатоля Франса сдали в архив. Юноши, увлекавшиеся сомнительной мистикой, воспитанные на разговорах о торжестве иррационального и на фатализме, не знали прививки иронии. Они начали со Шпенглера и кончили Розенбергом. Селин или Дрие ля Рошелль думали, что «Остров пингвинов» — вышедшая из моды ужимка того века, который называли «глупым». Они были самыми глупыми из всех пингвинов. Доживи Анатоль Франс до наших дней, мы прочитали бы о «победе» пингвинов в Мюнхене, о драконе Гитлере и о дряхлом пингвине, который,

решив, что он Драко Великий, повторял: «Мы, Филипп»...

Как известно, пингвины чтили Тринко. Они рассказывали: «Тринко расширил царство пингвинов. Он водрузил знамя Пингвинии на льдах полюса и на песках Африки. Он набирал солдат в завоеванных странах. Шли в поход гренадеры и гусары, шли красноорожие, украшенные попугаичьими перьями, пигмеи и гориллы под предводительством старого самца, на косматой груди которого сверкали кресты орденов. Они шли от победы к победе. Тринко воевал тридцать лет. Он завоевал полмира, потом он потерял полмира. Он был пышен в поражениях, как и в победах, он даже потерял два острова, которые нам принадлежали до Тринко. Он оставил Пингвинию разоренной и пустой: цвет пингвинов погиб в походах. Когда Тринко пал, в Пингвинии оставались только хромые и горбуны»... Это было написано после Наполеона и до Гитлера...

В годы войны человек победил книжника. В 1914 году Анатоль Франс писал: «Друзья, чтобы не были бесплодными ваши подвиги и страдания, чтобы снова не пролились кровь ребенка и слезы матери, нужно раз и навсегда покончить с военной мощью Германии, нужно обуздать варваров, которые мечтают о господстве над миром и которые залили кровью Европу».

Четверть века спустя обезумевшие пигмеи прошли по набережной Сены, и горилла с «железными крестами» на груди вытоптала сады Ля Башелльер.

Анатоль Франс верил в братство. Свет с Востока осветил его закат. Он понял, что несет миру Россия. Он не знал, что предстоит и его любимой Франции и миру... Но не смешной и не книжной была вера Анатоля Франса в торжество разума и красоты. К великим идеалам обратится человек, измученный фашизмом. Он возвысит улыбку и цветок. С восхищением он прочитает и книги того, кто жил на рубеже эпох. Анатоль Франс оправдал свой псевдоним — он был действительно французом. Мы знаем теперь цену Франции: потеряв, мы поняли, что потеряли. Сейчас мы говорим о писателе, и мы думаем о той земле, которая столько дала и нам, русским, и миру — о прекрасной бессмертной Франции, о ее неукротимом народе.

Кого они думают обмануть?

После разгрома фашистской Германии союзническим отношениям между странами антигитлеровской коалиции пришли на смену «холодная война» и железный занавес. В 1949 году Соединенные Штаты перестали быть монополистами ядерного оружия. В том же году в Париже собрался Конгресс сторонников мира. Выступая на Конгрессе, Илья Эренбург заявил: «Нет ничего отвратительнее расовой и национальной спеси. У мировой культуры — кровеносные сосуды, которые нельзя безнаказанно перерезать. Народы учились и будут учиться друг у друга. Я думаю, что можно уважать национальные особенности, отвергая национальную обособленность» («Правда», 25 апреля 1949 г.). Кинохроника сохранила панораму зала Плейель, когда делегаты стоя приветствуют советского писателя, и президиума Конгресса, когда Жолио-Кюри, Пабло Неруда, Го Можо, Фадеев, Арагон один за другим поднимаются и обнимают идущего по сцене Эренбурга.

Тем более злобной была кампания клеветы, поднятая в связи с Конгрессом правой французской печатью. Статья «Кого они хотят обмануть?» была написана Эренбургом для Франции 12 августа 1949 года в ответ на фальшивку, напечатанную в газете «Эпок». Пытаясь снизить впечатление, произведенное выступлением Эренбурга на Конгрессе, и опровергнуть его заслуги перед Францией, газета как бы между прочим давала понять читателю, что «красный» Эренбург — фигура, раздутая левыми. Для авторов «Эпок» и предвоенный премьер-министр Леон Блюм был «красным». Ответ Эренбурга, имея в виду смерть Леона Блюма в гитлеровском концлагере, может показаться слишком резким. Но сожаления по поводу человеческой судьбы Леона Блюма не могли перечеркнуть тот факт, что именно Блюм проводил политику, которая в конечном счете помогла Гитлеру захватить Европу.

Статья печатается по рукописи.

Мне прислали из Франции пачку газетных вырезок. С большим запозданием я прочитал «Эпок»:

«Выступление советского писателя Ильи Эренбурга на антивоенном маскараде в зале Плейель освещалось на страницах нашей газеты. Один из подписчиков написал нам по этому поводу: «Прекрасно. Но не следовало бы такой газете, как ваша, добавить от имени Ильи Эренбурга, что Леон Блюм в 1937 году сделал его кавалером Почетного легиона, о чем упоминал Шарль де Голль, придя к власти в 1945 году. (Не забудем и о «Падении Парижа», переведенном и изданном в Алжире в 1942 году явно с подачи Москвы, потому что в том же году эта незабываемая книга была награждена Сталинской премией по литературе)». Вот те сведения из прошлого, которые вам следовало сообщить французам».

Я не стал бы писать об этой заметке: я давно привык к вежливости трансатлантической печати. Но есть в заметке «Эпок» нечто, мимо чего я не могу пройти молча: утверждение, будто г. Леон Блюм в 1937 году сделал меня кавалером Почетного легиона.

В 1937 году я был в Испании. Я делал все, что мог, чтобы помочь испанцам, которые сражались против фашистов. В 1937 г. Леон Блюм стоял во главе правительства Франции и делал все, что мог, чтобы помешать испанцам в их борьбе против фашистов. Подписчик «Эпок» и редакция, которая присоединяется к его словам, утверждают, что в 1937 г. Леон Блюм преподнес мне крест Почетного легиона. На самом деле в 1937 г. г. Леон Блюм отказал мне в об-

ратной въездной визе. Подписчик «Эпок» и редакция, видимо, забывают, что в 1937 г. г. Леон Блюм, поставленный на пост главы правительства Народным фронтом, проводил политику не Народного фронта, а достопочтенных подписчиков «Эпок». Если эти подписчики тогда говорили: «Лучше Гитлер, чем Блюм», то это только потому, что аппетит приходит во время еды.

Впрочем, семейные ссоры между редакцией «Эпок» и г. Леоном Блюмом меня мало занимают. Я хотел только оградить себя от клеветы.

Меня произвело в офицеры Почетного легиона Временное правительство Французской Республики, во главе которого действительно стоял г. де Голль. Это было во время войны. Франция тогда воевала против фашистских держав, и генерал Франко тогда, как известно, поддерживал врагов Франции. Я охотно допускаю, что среди французов, которые воевали против Гитлера и Муссолини, были люди, гораздо более близкие к генералу Франко, чем ко мне. Однако в феврале 1945 г. во Франции нельзя было наградить генерала Франко и оказалось возможным наградить советского писателя. Это объясняется тем, что помимо того или иного министра во Франции проживает французский народ. А когда страна сражается за свою свободу, мысли и чувства народа сильнее мыслей и чувств того или иного политика.

Что касается моего романа «Падение Парижа», то он был издан, а потом не раз переиздан по той простой причине, что были читатели, которые хотели его прочитать. Вполне возможно, что подписчик «Эпок» тогда наслаждался другими книгами, хотя бы сочинениями Селина и Дрие ля Рошелля. Но были французы и в Алжире и во Франции, предпочитавшие роман «Падение Парижа», который подписчик «Эпок» элегантно называет «незабываемая книга», возвышенным трудам г. Шатобриана и г. Фабр-Люса.

Мой роман читали не господа из «Эпок», не те, кого теперь собираются «амнистировать», а люди, любившие Францию и ненавидевшие захватчиков.

С июня 1940 года и по май 1945 года я делал все, что мог, чтобы помочь французам, которые сражались против фашистов. Именно за это Временное правительство республики сделало меня офицером Почетного легиона. Не во власти газеты «Эпок» лишить меня почетного звания: не они меня наградили — французский народ. Если бы это зависело от подписчиков «Эпок», я думаю, что они не только не наградили бы меня, они наградили бы тех, против кого я тогда боролся, тех, против кого боролась Франция.

Один из единомышленников газеты «Эпок», автор передовиц «Л'эст эклер», говоря о «Падении Парижа», называет меня «оскорбитель трупов». О каких трупах говорил этот изысканный журналист? Я знаю, что единомышленники «Эпок» с охотой крадут трупы: они присваивают жандармам лавры расстрелянных. Я знаю, кто во Франции сражался и кто ожидал, кто умирал в застенках гестапо и кто завтракал с г. Абетцом [1] Я знаю, где трупы героев и где заработки немецких поставщиков. Я преклоняюсь перед всеми погибшими в борьбе против фашистов, каких бы убеждений они ни придерживались. Но среди них не было людей вроде подписчика «Эпок» или журналиста «Л'эст эклер» — эти господа занимались другим.

Они смеют говорить об оскорблении трупов. Да они только этим и занимаются. Они ежедневно оскорбляют трупы заложников Шатобриана и трупы героев Сталинграда. Пусть лучше говорят об «амнистии» палачам или о сделках с Франко: это им больше к лицу.

Я знаю, что они делали в годы оккупации, эти кавалеры, офицеры, командоры и маршал легиона бесчестья. Они выкрутились, вывернулись и теперь произносят благородные речи. Кого они думают обмануть? Историю? Но она заглядывает во все архивы. Современников? Но они еще помнят все.

Жан-Ришар Блок

На вечере памяти Жан-Ришара Блока, который состоялся в Москве 4 апреля 1950 года, в третью годовщину смерти писателя, Илья Эренбург выступил с большим вступительным словом (обычно его речи были более короткими). Рукопись этого выступления сохранилась; по ней видно, как тщательно готовился Эренбург к выступлению, как оттачивал формулировки, искал наиболее емкие слова...

Текст выступления И. Г. Эренбурга печатается по рукописи.

Порой, беседуя с Жан-Ришаром Блоком, я чувствовал, что передо мною человек другого поколения. Он был старше меня всего на семь лет, а обычно такая разница в возрасте неощутима, тем более что подвижный, веселый Жан-Ришар до последних дней сохранял молодость. Дело не в семи годах, дело в веке. Жан-Ришар Блок пришел в наш век из прошлого, передал эстафету и с нами пошел дальше.

Конечно, когда XX век начался, Блоку было всего шестнадцать лет. Это была пора его первых юношеских бурь. Он сам потом об этом рассказал: о своей первой сердечной буре, о том, как он открывал искусство, как полюбил Вагнера, о том, как впервые подошел к социализму. Это еще было в последний год прошлого века. Жан-Ришар еще учился в лицее. Франция переживала тогда душную пору дела Дрейфуса, и, вспоминая о тех днях, Блок писал: «Каждый день дрался в лицее с однокашниками антисемитами». Все это очень серьезно — и Вагнер, и первые слова социализма, и даже школьные драки, но когда я говорю, что Блок еще застал XIX век и вобрал его в себя, я думаю не

[1] Глава гитлеровской разведки во Франции накануне второй мировой войны. Советчик при командовании германских оккупационных сил в Париже. *(Прим. ред.)*

только о первых шестнадцати годах его жизни. Мы знаем, что XIX век родился раньше положенного: в 1789 году, и был он долговечным, не обращая внимания на календарные даты, этот век дотянул до выстрела в Сараево, до злого лета четырнадцатого года, до первой мировой войны. Можно без натяжки сказать, что половину своей жизни — тридцать лет — Блок прожил ритмом, идеями, чувствованиями XIX века.

Этот век французские реакционеры, последователи Морраса, называли «глупым веком»: им не нравилась вся судьба столетия — от «декларации прав человека» до грандиозных стачек, от битвы при премьере «Эрнани» до «Пьяного корабля» Рембо. Неуклюжесть, наивность, растерянность людей, оказавшихся на перевале истории, реакционеры пытались выдать за глупость. Между тем XIX век был веком больших канунов, больших раздук и большого почина. В XX век Жан-Ришар Блок пришел не с пустыми руками, тем паче что для Франции, и в частности для французской литературы, минувшее столетие было эпохой большой и заслуженной славы.

Если поверхностно взглянуть на прошлый век, можно подумать, что он был порой ослабления национальных особенностей и что если он дал человечеству высокие принципы Интернационала, то одновременно он потворствовал космополитизму. Последнее слово тогда не имело характера осуждения или умаления. Рудина, погибшего на парижской баррикаде, его современники называли скорее почтительно, чем пренебрежительно, именно этим словом. Однако, отвергая национальную обособленность, благодушно, порой чересчур наивно мечтая об уничтожении границ, XIX век еще всерьез и ревниво ограждал особенности страны и народа. Что можно сказать более точного о Жан-Ришаре Блоке, чем то, что он был французом с головы до ног, французом по пристрастию к логике и по сложности эстетических эмоций, по смелости и по веселости, по чувству меры и по точному пластическому восприятию мира. Его глубокая органическая связь с великолепными традициями французского народа помогла ему в выборе пути — пути писателя и гражданина, когда тропинки терялись среди песков, когда шоссейные дороги вели в никуда, когда многие друзья Блока растерялись, заблудились. Блок оставался французом повсюду — у Вердена и в Казани, в своем любимом «Меригот» близ Пуатье и в Гейдельберге, во Флоренции и в Москве, в Лондоне и в Мадриде. Он оставался французом во Франции, которая была объявлена нефранцузской, французом среди французских немцев, а потом среди французских американцев.

Если подойти к пути Жан-Ришара Блока только формально, по-анкетному, то путь покажется прямым. Действительно, Жан-Ришар увлекся идеями социализма, будучи пятнадцатилетним подростком, студентом вступил в ряды французской социалистической партии, а когда в 1921 году на Турском конгрессе эта партия раскололась, примкнул к ее большинству, образовавшему Коммунистическую партию Франции. На самом деле путь Жан-Ришара Блока был сложным, извилистым и трудным путем. Он пришел в новый век, как я говорил, не с пустыми руками. Некоторые ценности его окрыляли, другие мешали ему идти. Он не хотел ничего предать, и вместе с тем он хотел понять новое. Одна из его самых запутанных и самых мучительных книг называется «Судьба века». Он не хотел идти по инерции, включившись в общий поток, ощупью он искал свою дорогу, и он много мучился, много искал, но он ее нашел: эту дорогу века, которая стала его дорогой.

Он был рожден поэтом, тонким и стыдливым художником. В одной из поэм он говорит о том, как хотел послать любимой женщине цветок — фиалку или подснежник. Шли весенние дожди, и цветы были мокрыми. «Вы могли бы подумать, глядя на чернила, о слезах»... Потом поэт сорвал цветок и цветок завял в его руке. «Это не сказка, чтобы позабавить вас, это сущая правда, но что может правда кроме стихов, которые можно разорвать, и цветка, который можно выкинуть?..» Так писал не подросток, а поэт, когда ему исполнилось пятьдесят лет. Он знал и это. Он был большим мастером прозы; достаточно напомнить страницы романа «...и К°». С семи лет он начал писать стихи, и он жил искусством до последнего дыхания. Он посвящал прекрасные страницы литературе, живописи, музыке, Бетховену и Рафаэлю, Дебюсси и Сезанну, Толстому и Горькому. Такая страстная, самозабвенная любовь к искусству может или приподнять художника, или его задушить, отгородить от мира, довести обостренное зрение до слепоты и настороженное ухо до ощущения глубокой смертельной тишины. Многие писатели, близкие друзья Жан-Ришара Блока, пришли к такой слепоте. А он шел, и видел, и оставался художником.

В предисловии к книге «Испания! Испания!» он писал: «Буря с юго-запада, хорошая буря осени, неистовая, грозная и сырая, буря с океана, полная его сильным дыханием, штурмует скалы, врывается в сады. Она целует и кусает грудь земли и заполняет все горячим запахом влюбленного тела. Золотые листья несутся по траве, свистят и звенят. Во мне столько силы, радости, страсти. Как я хотел бы этому отдаться, новый Ганимед, как я хотел бы воспеть возрождение, благотворные объятия бури. Но я вижу дорогу, перекресток в Старой Кастилии, друзей убитых или тех, кому грозит теперь смерть. Я думаю о свободе, об Испании, и горе сжимает горло. Я поворачиваю выключатель, лампы без света и голос без гортани. Мелодия Листа, пронзительная и терпкая, заполняет комнату. Потом песня Шуберта, чистое рыдание, раздирающий сердце голос. Это страсть к женщине, это куст майских роз. Я то-

же хочу писать о женщине, о любви к женщинам, я хочу сказать об этом так, как никому не удавалось, передать словами крик иволги в саду и душу танцовщицы. Я испытываю огромную потребность быть простым человеком, наивно счастливым от того, что он живет среди щедрости мира. И вот я слышу свист снарядов, крики раненых, мои товарищи отходят под самолетами, под штурмом танков, у меня во рту горечь отступления — безоружные герои отходят, и я не могу выразить мое отчаяние — побеждены непобежденные»...

Жан-Ришар Блок не предал ни искусства, ни народа. Одну из своих последних статей он назвал «Ответственность таланта». Это было слово, обращенное к писателям, художникам, музыкантам. Он восставал против тех, которые думают, что есть нечто, их не затрагивающее, против любителей хаты с края. Он писал: «Дорога в Париж, даже дорога к Лувру или к Национальной библиотеке проходит через Тирану и через Аддис-Абебу, через Чунцин и через Москву, через Прагу и через Мадрид». Хата Жан-Ришара всегда была в самом сердце мира, куда бы ни забрасывала его судьба.

Он много думал о дружбе свободы и справедливости, о том, как связать человека с партией, с классом, с обществом, с народом. Он и здесь не удовольствовался легкими формулами, отписками или уловкой. Ему во многом помог Горький, которого он любил не только за большой дар, но и за большое сердце, за сложность душевной биографии, за понятную Жан-Ришару мучительную трудность выбора. Жан-Ришар Блок писал о двух рабах Микеланджело; один из них связан, руки другого свободны от пут; и этот второй раб особенно потрясал Блока: «Нет цепей, нет веревок. Против чего же он борется? Против себя, против своей внутренней зависимости». Блок не забывал об этой борьбе, даже когда сражался с оружием в руках, даже когда жил уличной стрельбой, военными сводками, грандиозными народными сборищами. Он помнил, что человеку нужны и хлеб, и правда, и свобода.

Он был чрезвычайно требователен к себе, и он был требователен к своим товарищам: он знал, что звание писателя ко многому обязывает. Выступая как гость на Первом съезде советских писателей, который последовал, как известно, вскоре за крахом РАППа, Жан-Ришар Блок сказал: «Писатель не только официальный прославитель завершенных дел. Будь это так, писатель играл бы несколько смешную роль и вскоре удостоился бы иронического звания «инспектора законченных работ». Он превратился бы в общественного паразита; таковые бывали при дворах древних королей, их работа выражалась в прославлении. Представим писателя, избравшего столь безопасную роль. Другие люди будут строить общество, открывать, изобретать, дерзать, работать, а он, дождавшись, когда что-либо наладится, скажет: «Теперь я вам расскажу, как это произошло». Если бы это было так, лучшие писатели променяли бы свое перо на ремесло рабочего-ударника или инженера, предпочитая быть на лесах в первый час стройки, а не в последний. К счастью, у писателей есть другое назначение». Продолжая, Блок сказал еще: «В области формы искусство является всегда реакцией на преобладающие явления общепринятых вкусов, выступая против наклонности к легкости. Какова бы ни была структура общества, всегда будут художники, пользующиеся существующими формами и другие, ищущие новые формы. Среди летчиков есть пилоты, исполнительные и смелые, которые летают на серийных машинах, и есть другие: летчики-испытатели. Неизбежно, да и необходимо, чтобы существовали писатели для миллиона читателей, для ста тысяч и для пяти тысяч». Это говорил Блок в 1934 году. Он сам был скорее летчиком-испытателем, но вместе с поисками нового у него было ощущение народа, и, не колеблясь ни минуты, он начал редактировать ежедневную политическую газету, не колеблясь ни минуты, в годы войны каждый день из Москвы он обращался к французским радиослушателям с прекрасными и простыми словами. Он был рожден писателем для немногих, но он понял судьбу века, после крови Мадрида он стал писателем для миллионов, и хоронили его не одинокие ценители, а весь рабочий, народный, пылкий Париж.

Жизнь его не баловала. Он был ранен впервые на Марне, потом у Вердена. Последнее ранение было тяжелым: много лет он прожил под угрозой потерять зрение. Он быстро достиг литературной известности; но вскоре ему пришлось расстаться со слишком многими людьми, называвшими себя его литературными друзьями. Во время отвратительной «забавной войны», когда началась травля коммунистов, Жан-Ришар испытал много незаслуженных обид. Он не сдался, сохранил бодрость, веселость. Вместе с покойным Ланжевеном он пришел на суд: судили депутатов-коммунистов, и Жан-Ришар громко сказал о своей с ними солидарности. Я помню его в пустеющем Париже: подходили немцы. Он уехал. Машина остановилась среди поля. Он долго шел, хотел уйти от врага и, дойдя до родного дома, увидел там серозеленых захватчиков. Потом он спасся — у нас. Он пережил с нами тяжкие годы. Он жил в Казани у старой татарки и говорил ей: «Мы победим», говорил это осенью сорок первого. Тогда же он написал стихи об Октябре: «Враг в Харькове и в Туле, враг в Париже и в Можайске, враг пошел в мои две родины. Но я в вас верю, народы, и я тебя приветствую, жестокий из жестоких, Октябрь сорок первого, Октябрь отечества в опасности, Октябрь отечества, которое отстоят». Он дожил до победы. Когда мы узнали, что Париж восстал, я пошел к нему. Он не мог говорить, он только обнял меня. Но нет, жизнь его не баловала. Вернувшись в Париж, он узнал все. Его старую мать — ей было восемь-

десят шесть лет — гитлеровцы увезли в Освенцим и там удушили. Мужа дочки, Фредерика Серазона, гестаповцы убили за месяц до освобождения Парижа. Любимую дочку Жан-Ришара звали Франс. Она была участницей Сопротивления, немцам удалось ее схватить, ее приговорили к казни и весной сорок третьего палач отрубил ей голову в тюрьме Любека. Жан-Ришар это пережил. Он пережил и новую угрозу: Франция на его глазах становилась американской вотчиной. Он боролся как мог. Он понимал размеры опасности. Речь шла не только о рынках, речь шла о душе Франции, о культуре. Давно — в 1932 году — он писал: «Снова рабочий Калибан и музыкант Марсий — подлинные наследники культуры. Они должны зорко смотреть, они должны защитить культуру, ибо нам грозит второе средневековье. Второе нашествие перед нами. Я думаю сейчас не о полчищах за Рейном. Новые варвары, у которых нет ни уважения к труду, ни понимания человеческого достоинства, уже проникли к нам. Они руководят нашей промышленностью, нашей экономикой, а Америка их щедро снабжает своими теориями, своими идеалами и своими ходячими лозунгами». Как страшно, как пророчески звучат эти слова теперь, когда старую Францию, ту, что Вольтера, ту, что Стендаля, ту, что Рембо, учат жевать резинку и читать «Ридерс дайджест». Блок это предвидел, потому что писатель — это не «инспектор законченных работ», а пионер, новатор, предтеча. И Жан-Ришар Блок боролся против этого до последних дней. Он и умер работая: еще наборщики не успели набрать последнюю статью, а он уже был мертвым.

Он мне сказал в годы оккупации: «У меня нет ни одной минуты ощущения, что я потерял Францию». Он был прав, даже тогда, когда Франция теряла себя. И теперь, когда там поносят, травят все, что любил Жан-Ришар Блок, когда там резвятся дикари с американскими «слоганами», о которых он писал, живой, он идет по улицам Парижа, шутит, подбадривает друзей. Нет. Франция его не потеряла, даже теряя себя: он с нею, она с ним.

Я хочу еще сказать, что он любил нашу страну, наш народ большой, полной любовью. Это не было только притягательной силой идеи, это не было увлечением мимолетного гостя. Он с нами ел скудный паечный хлеб, он жил нашими надеждами, нашим горем и нашей гордостью. Он знал нас, и любил он не первой случайной влюбленностью, а последней большой и тяжелой любовью.

Виктор Гюго

В ноябре 1951 года венская сессия Всемирного Совета Мира постановила повсеместно отметить 150-летие со дня рождения Виктора Гюго. В Советском Союзе юбилей Гюго был отмечен с размахом. В Москву приехали внук писателя художник Жан Гюго и поэт Поль Элюар. 24 февраля 1952 года в Институте мировой литературы под председательством Ильи Эренбурга открылась юбилейная сессия; вступительную речь на ней произнес академик Тарле. 26 февраля в Колонном зале Дома Союзов состоялось торжественное заседание. Председательствовал К. Симонов; с докладом выступил И. Анисимов; после него говорили И. Эренбург, К. Федин, М. Бажан, Н. Хикмет, П. Элюар.

Речь И. Эренбурга на этом заседании публикуется по рукописи.

Есть имена такие громкие, что они заполняют век, переходят через границы, через горы, через моря. Имя Виктора Гюго не надпись на могильной плите, не страница библиотечного справочника. Это живой голос великого писателя и это живой голос великого народа. Наивны и смешны попытки отделить Гюго-трибуна от Гюго-поэта: он был един в своих победах и в своих блужданиях, в нежной лирике и в грозных речах, на острове Джерсей и на скамье парламента. Он выразил то, что нас восхищало и восхищает во французском народе: человечность, непрестанное стремление к свободе и к торжеству разума, преданность справедливости, живость, необычайную фантазию, смелость, даже задор и ощущение полноты мира, его красоты, красочности, жизненности. Легко найти в романах Гюго длинноты или натянутость положений, легко в его стихах заметить, рядом с потрясающими строками, другие, чересчур риторичные или слабые, легко перечислить его заблуждения и противоречия. Можно возделать крохотный садик, но нельзя себе

Илья Эренбург и Поль Элюар на вечере, посвященном 150-летию Виктора Гюго. Москва, 24 февраля 1952 г.

представить огромный материк, выхоленный и прополотый. Гюго был достаточно велик, чтобы позволить себе и срывы и ошибки. Он был велик и в своих романах, напоминающих огромные сооружения, и в гневных строках «Возмездия», и в маленьких лирических поэмах, где он воспевал девушку, которая стирает белье в серых водах Марны.

Он родился в самом начале прошлого века и дожил почти до его конца. Он был современником Пушкина, Байрона, Мюссе; он пожал руку умирающему Бальзаку; он принял участие в трех революциях; он приветствовал и Ламартина, и Бодлера, и Рембо; он помнил Первую империю, и он умер при Третьей республике; в его доме бывали Гарибальди и Кошут, Герцен и Тургенев, Делакруа и Россини, его книгами зачитывались Толстой и Достоевский, он был тоже их современником; сейчас еще живы некоторые парижане, которые детьми видели похороны Гюго. Его нельзя отделить от XIX века. Этот большой век ненавидят люди, которых возмущает движение человечества вперед. Леон Додэ и Шарль Маррас называли XIX век «глупым веком». Их ненависть понятна: именно в прошлом веке зародились те высокие идеи, которые теперь облекаются во плоть и становятся жизнью; именно в прошлом веке начала социальной справедливости были провозглашены и передовыми философами, и чудесными поэтами, и парижским народом. Разве не ясна связь между Виктором Гюго и XIX веком в порыве поэта к человечности и к правде? Разве не ясно каждому, почему и в эти знаменательные дни мы, представители советской культуры, чествуем французского писателя Виктора Гюго как дорогого и близкого каждому из нас?

Гюго нам близок и своими идеями человеческого братства, и своей преданностью отечеству, и своим заступничеством за человека. Он не умер, он с нами, он на партах наших школьников, на сценах наших театров, в наших сердцах. Не те официальные лица, которые, если верить их титулам, представляют Францию, поддерживают теперь авторитет этой страны, но ее гении, ее слава, и прежде всего Виктор Гюго.

Всю свою жизнь он боролся против войны. Когда перечитываешь его речи, кажется, что они сказаны вчера: «Будущее за Вольтером, а не за Круппом. Будущее за книгой, а не за мечом. Будущее за жизнью, а не за смертью».

Он отстаивал идеи братства и справедливости. Я видел его портреты в негритянских школах Миссисипи и Луизианы. Негры Америки не забыли, что Гюго сто лет назад требовал того, за что они еще должны бороться и поныне. В 1859 году негр Джон Браун, восставший против рабства, был приговорен к смертной казни. Гюго заклинал президента Соединенных Штатов отменить приговор, он кончал обращение словами: «Есть нечто более ужасное, чем Каин, убивающий Авеля,— это Вашингтон, убивающий Спартака». Джона Брауна повесили. Но два года спустя началась Гражданская война, и рабовладельцы впервые были посрамлены.

Гюго знал, что мир корысти, ненависти, расовой или социальной иерархии обречен. Книга «Страшный год» кончается поэтическим диалогом между «старым миром» и «Валом».

Старый мир:

Есть у меня права. Не сменишь ты
Закона горя, войн и нищеты.
Уймись, уйди, пади, высокий вал!
Я устою, как я века стоял.
Но ты растешь, сметая все с пути.
Но ты идешь. Я не хочу уйти.
Остановись — есть и тебе предел!
Смирись, как то господь тебе велел!
Побушевал и хватит! Полно! Стоп!

Вал:

Ты думал, я — прилив, а я — потоп [1].

18 марта 1871 года граждане Парижа начали строить баррикады, готовясь защищать столицу Франции от прусских захватчиков. В тот самый день Виктор Гюго хоронил своего сына. На площади Бастилии показался катафалк, за ним шел сутулый седой человек. Тогда парижане начали разбирать баррикаду, чтобы пропустить поэта, и коммунары отдали ему салют — в первый день нового мира. Да будет позволено мне сказать, что мы, граждане нового мира, который победил, салютуем сегодня великому писателю Франции Виктору Гюго.

Поль Элюар

В архиве И. Эренбурга сохранилась рукопись небольшой статьи о Поле Элюаре, написанной в 1957 году. Это было время работы над «Французскими тетрадями», над прозой, путевыми очерками, стихами. Но это время не только литературного взлета писателя. Эренбург — деятельная натура; именно в эти годы ему удается исключительно много сделать в качестве президента общества «СССР — Франция»: московские выставки Пикассо и Марке, выход книг Вайана и Сартра, Д'Астье и Элюара.

Статья «Поль Элюар» печатается по рукописи.

Люди, которым пришлось побывать в годы войны на переднем крае, знают, как потрясает человека, между двумя разрывами снарядов, в минуту глубокой тишины, пение птицы. Поль Элюар жил и писал в чрезвычайно шумное время. Люди слушали рев громкоговорителей — говорила история, и только кардиологи различали биение человеческого сердца. Если стихи Элюара потрясали и потрясают современников, то именно потому, что это стихи, в них нет желания перекричать эпоху, в них голос человека.

Поль Элюар напечатал свои первые стихи в годы той большой войны, которая казалась в свое время «последней» и которую теперь называют «первой».

[1] Перевод И. Эренбурга.

Он был солдатом-пехотинцем, и писал он о мире. Двадцать лет спустя он писал о геройстве и горе Испании. Критики, любящие устанавливать по категориям понятность или непонятность искусства, называли его «поэтом для сотни избранных». Настала вторая мировая война. Миллионы французов переписывали стихи неизвестного им поэта. С этими стихами заложники шли на казнь и партизаны в бой. Элюар писал о счастье глубокого мира. Был праздник победы, кончилась война, но люди продолжали жить в тревоге — мира не было. Элюар воевал за мир и на конгрессах сторонников мира, и на площадях французских городов, и в горах Греции, объятой пламенем гражданской войны. «Поэт для сотни избранных» был всем понятен и повсюду любим.

Обыкновенно, когда пишут о поэтах, которые пришли к коммунизму, устанавливают дату перелома в их творчестве: до такого-то года автор писал о любви, и писал он непонятно, с такого-то года он прозрел и начал писать о революции на языке, доступном всем. В творчестве Элюара трудно сыскать перелом: оно едино от первых строк до предсмертных. Конечно, появлялись новые темы — их приносила жизнь. Но и в ранней юности Элюар писал о войне, о мире, о несправедливости, о человеческом счастье, как и в последние годы не оставлял темы любви. Будучи «дадаистом», среди поэтов, желавших все сокрушить, он был поэтом гармонии. Будучи «сюрреалистом», он всегда лелеял в своей поэзии глубокую реальность. Придя к новой эпохе, он не разлучился ни с потребностью в мечте, ни с глубокой сложностью искусства. Никогда он не отрекался от своих ранних книг, он пришел к коммунизму, не отступившись от поэзии, ничего не упрощая и ни к чему не приспосабливаясь. Время показало, что борьба, мужество, жертвы приподымают людей и что преступно принижать искусство во имя мнимой «доходчивости» — этим принижают не только поэта, этим принижают народ.

Нет в поэзии Элюара ни красноречия, ни ярких образов, ни звонкой рифмы. Он не любил редких слов или экзотических интонаций. На чем держатся его стихи? Да только на вдохновении, на чувстве, на словесной магии. Они очень просты, в этом их сложность, они прозрачны, в этом их трудность. Если заменить несколько слов другими, логически равнозначащими, стих распадется.

Псевдопоэты, научившись бойко описывать и хлестко рифмовать, выдают свою прозу за стихи. Человеку, нечувствительному к поэзии, стихи Элюара могут показаться прозой: он сделал все, чтобы лишить свою поэзию внешних признаков поэтичности. Он бывал в стихах по-детски прост, откровенен, как в исповеди, не боялся ни разговорных слов, ни того, что предшествующее поколение называло вульгарностью. Он умел найти в неожиданном сопоставлении обычных слов подлинную поэзию, и в том его сила.

Он часто говорил, что нет противоречия между искусством и справедливостью, между правдой и красотой. Он доказал это не только своей смелой и благородной жизнью, но и своими стихами. Его поэзия всегда лирична — и когда он говорит о сугубо личном горе, и когда он выражает горе народа. Нет для него избитых тем и стертых слов. Мало ли поэтов писало о свободе? Стихи Элюара памятны всем французам:

Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté ![1]

Как Пушкин, Элюар в свой жестокий век прославил свободу, и этого не забудет никто.

Есть еще одна черта, присущая поэзии Элюара, редкая, очень редкая — доброта. Большие поэты бывали мудрыми и смелыми, вдохновенными и вещими, страстными и возвышенными. Поль Элюар был добрым, и доброту сердца пронес сквозь злобу времени. Он любил людей, человеческое счастье было для него не философским положением, не заповедью морали, не пунктом программы, а глубокой личной потребностью.

Все встречавшие его знают, что редко можно найти такое единство между художником и его творчеством, как то было в поэзии и в жизни Элюара. Он был необычайно скромен, в годы Сопротивления выполнял любое задание подпольной организации, в движении сторонников мира считал себя рядовым бойцом, зная славу, чурался ее, был верным другом, мягким, участливым, видел все мелочи жизни и вместе с тем никогда не терял из виду своей большой мечты.

Его стихи переведены на многие языки, известны далеко за пределами Франции — от Японии до Бразилии. Я счастлив, что наконец-то с ними смогут познакомиться советские читатели. Элюар бывал в Москве, и ласковые слова он посвятил нашему народу. С нами он был и в своей борьбе, и в своих мечтаниях до последнего часа.

Поль Элюар родился в северном рабочем предместье Парижа Сен-Дени в 1895 году. Он скончался 18 ноября 1952 года. Со дня его смерти прошло пять лет. Теперь мы видим яснее значение поэзии Элюара. В списке больших поэтов Франции, от Гюго до Аполлинера, от Бодлера до Рембо, стоит также имя Поля Элюара.

Публикация и комментарии Б. ПОПОВА и Б. ФРЕЗИНСКОГО

г. Ленинград

[1] Я рожден, чтоб узнать тебя,
Чтобы назвать твое имя,
Свобода!

Антирубрика

АРТУР КОНАН ДОЙЛ

ЗАДИРА ИЗ БРОУКАС-КОРТА

Перевод с английского РОСТИСЛАВА РЫБКИНА

В тот год (происходило все в тысяча восемьсот семьдесят восьмом) добровольческая кавалерия южных графств центральной Англии расположилась для учений близ Лутона, и вопрос, который мучил всех до единого в огромном лагере, заключался не в том, как лучше приготовиться к возможной войне в Европе, а куда важнее: как найти человека, которого не уложит за десять раундов сержант ветеринарной службы Бэртон. Громила Бэртон, как его называли, состоял из девяноста килограммов костей и мышц, и достаточно было легкого шлепка любой из его рук, чтобы обычный смертный свалился без чувств. Нужно было во что бы то ни стало найти ему партнера под стать, потому что он уже задрал нос выше собственной драгунской каски. Для этого и отправили сэра Фредерика Мильберна, баронета и офицера, известного больше под прозвищем Бормотун, в Лондон — узнать, не согласится ли кто-нибудь из столичных боксеров сбить спесь с самоуверенного драгуна.

Боксерский ринг тогда переживал свои худшие времена. Прежние кулачные бои прекратили в бесчестье свое существование, задушенные мерзкой толпой всяческого отребья, что околачивалось вокруг ринга, несло позор и гибель достойным боксерам, сплошь и рядом скромным, по смелости и мастерству до сих пор не превзойденным героям. К честному любителю спорта, которому просто хотелось видеть бокс без перчаток, липли негодяи, и защититься от них не было никакой возможности, поскольку, будучи зрителем, болельщик сам оказывался участником событий, что по закону само по себе считалось правонарушением. Человека раздевали среди бела дня, отнимали у него кошелек, а если он сопротивлялся, могли даже размозжить голову. Увидеть бокс мог лишь тот, кто был готов проложить себе дорогу к рингу палкой или хлыстом. Не удивительно, что посещать эти встречи стали только те, кому нечего было терять.

С другой стороны, эра специально отведенных для бокса помещений и разрешенных законом боев в перчатках тогда еще не наступила, и бокс пребывал в каком-то странном, неопределенном состоянии. Невозможно было его контролировать и так же невозможно было с ним покончить, ибо ничто другое не влекло к себе среднего британца с такой неодолимой силой. Поэтому встречи боксеров устраивали в конюшнях и в амбарах, ездили проводить их во Францию, тайно собирались ради них на рассвете где-нибудь за городом, в глуши, и потому же пышно расцвели всякого рода отклонения от правил. Сами боксеры опустились до уровня той обстановки, в которой проходили встречи. Открытый, честный бокс стал невозможен, и на первое место в списке попадали крикуны и хвастуны. Лишь по ту сторону Атлантики появилась могучая фигура Джона Лоренса Салливена, ему-то судьбой и было предначертано стать последним чемпионом старого бокса, без перчаток, и первым чемпионом нового.

Учитывая сказанное, понятно, что капитану добровольческой кавалерии, так любившему спорт, оказалось не слишком-то легко найти в боксерских салунах и в пивных Лондона человека, наверняка сумевшего управиться с огромным сержантом ветеринарной службы. Тяжеловесы были в большой цене. В конце концов сэр Фредерик остановил свой выбор на Альфе Стивенсе из Кентиш-Тайна, восходящей звезде средней весовой категории; этот боксер не знал еще ни одного поражения и в самом деле мог рассчитывать на звание чемпиона. Его профессиональный опыт и мастерство вполне

возмещали разницу в двадцать килограммов между громадиной драгуном и им. Надеясь на это, сэр Фредерик Мильберн его и нанял, а затем приготовился отвезти в двуколке, запряженной двумя быстроногими серыми лошадьми, в лагерь добровольческой кавалерии. Они должны были выехать к вечеру, переночевать в Сент-Олбансе и прибыть в кавалерийский лагерь на следующий день.

Когда боксер пришел к гостинице «Золотой крест», Бейтс, маленький грум, уже держал под уздцы приплясывающих от нетерпения лошадей. Стивенс, бледный и подтянутый молодой человек, сел в двуколку рядом со своим нанимателем и помахал рукой кучке собратьев; грубоватые на вид, в куртках без воротников, они пришли попрощаться с товарищем. «Удачи тебе, Альф!» — прозвучал хриплый хор после того, как юный грум оставил лошадей, вскочил на свое место позади седоков, и высокая двуколка, обогнув угол, выехала на Трафальгар-сквер.

Оживленное движение на Оксфорд-стрит и Эджвер-роуд настолько поглощало внимание сэра Фредерика, что ни о чем другом он был не в состоянии думать, но когда за Хендоном начались пригороды и вместо бесконечной череды кирпичных зданий потянулись заборы, он отпустил поводья и перенес внимание на человека, сидящего рядом. Отыскал его сэр Фредерик путем переписки, по рекомендации, и потому теперь разглядывал с некоторым любопытством. Уже смеркалось, но то, что баронет увидел, вполне его удовлетворило. Рядом с ним сидел настоящий боксер: могучая грудь, широкие плечи, породистое продолговатое лицо, в глубоко посаженных глазах читаются смелость и упорство. А самое главное, его пока никому не удалось победить, и потому в нем все еще сохранялась та уверенность, которая неизбежно слабеет после хотя бы одного поражения. У баронета вырвался короткий смешок, он подумал о сюрпризе для сержанта ветеринарной службы.

— По-моему, ты в неплохой форме, Стивенс? — спросил он, поворачиваясь к своему спутнику.

— Так точно, сэр, могу драться не на жизнь, а на смерть.

— Судя по твоему виду, это правда.

— Образ жизни у меня такой, какой нужно, сэр, но в прошлую субботу я должен был драться с Майком Коннором, и мне пришлось сбросить вес еще, до семидесяти килограммов. Потом он, как побежденный, заплатил сколько полагалось, а я, спасибо ему, сейчас в самой лучшей форме.

— Прекрасно. Тебе понадобятся все силы — у противника преимущество в двадцать килограммов веса и десять сантиметров роста.

Молодой человек улыбнулся.

— Против меня, сэр, выступали и с большим преимуществом.

— Я на это рассчитывал. Но, ко всему, он еще и страшно удачлив.

— Что ж, сэр, наше дело стараться.

Скромный, но уверенный тон молодого боксера понравился баронету. Внезапно в голову ему пришла забавная мысль, и он расхохотался.

— Ей-богу,— воскликнул сэр Фредерик.— Хорошенькая будет шутка, если на дороге сегодня мы встретим Задиру!

Альф Стивенс насторожился.

— А кто он такой, сэр?

— Об этом все спрашивают. Некоторые утверждают, что видели его собственными глазами, другие говорят, что это сказки, но есть основания думать, что он существует и что кулаки у него на редкость и оставляют после себя очень заметные следы.

— И где же он живет?

— Около этой вот дороги. Говорят, между Финчли и Эльстри. Вообще их двое, и они выходят среди ночи и предлагают путникам драться без перчаток. Один дерется, другой поднимает с земли упавшего. Ну а уж дерется первый!.. Случалось, находят утром какого-нибудь беднягу, а у того лицо в лепешку — так на нем поработал Задира.

Альф Стивенс оживился.

— Мне, сэр, всегда хотелось попробовать себя в подобной драке, но не представилось случая. Пожалуй, это для меня лучше, чем перчатки.

— Значит, ты не боишься драться с Задирой?

— Боюсь? Да я бы десять миль прошел только ради того, чтобы с ним встретиться.

— Вот было бы здорово! — воскликнул сэр Фредерик.—Ну что ж, сегодня как раз луна во всю мощь, и к проезжающим он выходит вроде бы где-то здесь.

— Если он таков, как вы говорите,—сказал Стивенс,—быть не может, чтобы боксеры его не знали, разве что он просто любитель и дерется только ради развлечения.

— Кое-кто полагает, что он конюх или, может быть, жокей из беговых конюшен недалеко отсюда. А где лошади, там и бокс. Если верить тому, что рассказывают, в парке, через который мы сейчас проезжаем, и в самом деле происходит что-то непонятное, жутковатое... эй! Осторожней, черт тебя побери!

От удивления и гнева голос у баронета сорвался и стал пронзительным. Там, где они в эту минуту ехали, дорога вдруг ныряет вниз, в затененную густыми деревьями ложбину, и ночью кажется, будто ты въезжаешь в туннель. Внизу, где кончается уклон, стоят по сторонам дороги два больших каменных столба, на которых днем видны пятна лишайника и ржавчины, а также геральдические эмблемы, настолько пострадавшие от времени, что кажутся теперь просто неровностями камня. Когда-то красивые чугунные ворота, косо повисшие на ржавых петлях, свидетельствуют одновременно и о былом процветании, и о нынешнем упадке старой усадьбы Броукасов, что прячется в конце заросшей сорняками аллеи. И именно из этих старинных ворот и выскочила на середину дороги энергичная фигура и ловко схватила под уздцы лошадей, и те встали на дыбы.

— Роу, подержи лошаденок, ладно? — обернувшись, резким голосом прокричал человек.— Хочу перемолвиться словечком с этим вот расфуфыренным господинчиком, пока он еще не улепетнул.

Из тени выступил другой и молча взялся за уздечки. Он был приземистый, широкий в плечах, одет в какой-то чудной коричневый плащ до колен с несколькими пелеринами, на ногах — ботинки и гетры. Голова

не покрыта, и когда свет боковых фонарей двуколки упал на него, стало видно угрюмое красное лицо — толстая нижняя губа, чисто выбритый подбородок, шея высоко обмотана черным шарфом. Когда он взял уздечки у своего более подвижного компаньона, тот во мгновение ока оказался у двуколки и положил мосластую руку на ее крыло, а его свирепые голубые глаза впились в путников. На лоб у него была низко надвинута шляпа, но, хотя лицо было затенено, баронет и боксер отпрянули, ибо лицо выглядело злобным, жестоким, страшным, нос приплюснутый, и все грубые черты выдавали натуру, которая не ждет от других пощады и не пощадит никого сама. Что до его возраста, то тут с уверенностью можно было сказать одно: он еще не стар, однако успел уже испытать на себе все злое, что только есть в жизни. Холодные, свирепые глазки не спеша оглядели сначала баронета, а потом молодого человека с ним рядом.

— Точно, Роу, это расфуфыренный господинчик, как я тебе и говорил,— бросил незнакомец через плечо своему дружку.— Но другой парень, пожалуй, годится. Ему бы в самый раз быть боксером. Так или этак, мы-то уж узнаем, на что он способен.

— Эй, ты, как там тебя зовут,— сказал баронет,— ты чертовски нагл. Еще немного, и ты получишь хлыстом по физиономии!

— Поосторожней, хозяин! Считай, что я ничего не слышал.

— Зато я слышал о тебе и о твоих замашках! — заорал разозленный офицер.— Я покажу тебе, как останавливать моих лошадей на большой королевской дороге! Ты в этот раз ошибся, мой друг, в чем скоро и убедишься.

— Поглядим,— отозвался незнакомец.— Кто его знает, хозяин, может, мы все убедимся в чем-нибудь до того, как расстанемся, а пока придется одному из вас выйти и показать, умеет ли он работать кулаками, а то дальше не поедете.

В один миг Стивенс выпрыгнул из экипажа на дорогу.

— Если тебе так хочется подраться, тебе просто повезло,— сказал он,— я зарабатываю боксом себе на жизнь, так что не говори, что тебя не предупредили.

— Разрази меня гром! — радостно завопил незнакомец.— Да он и впрямь боксер, Джо, как я и думал! Наконец не какая-то размазня! Вот, парень, ты и встретил того, кто тебя одолеет. Ты никогда не слыхал, что говорил мне лорд Лонгмор? «Обычному человеку тебя не побить, для этого нужен специально сделанный!» Вот что говорил лорд Лонгмор.

— Он говорил до того, как появился Бык,— проворчал, впервые нарушив молчание, человек, державший лошадей.

— Хватит меня дразнить, Джо! Еще раз я услышу о Быке, и мы с тобой рассоримся. Бык меня побил однажды, но посмотрим, управится ли он со мной, если мы еще когда-нибудь встретимся. Ну а ты, парень, что обо мне думаешь?

— Думаю, что наглости у вас предостаточно.

— Наглости? А что это такое, наглость?

— Бесстыдство, бахвальство, хвастовство — вот что.

Слово «хвастовство» подействовало на незнакомца удивительным образом. Он шлепнул себя по ляжке и разразился тонким, похожим на жеребячье ржание смехом, а следом за ним рассмеялся и его угрюмый приятель.

— Лучше не скажешь, дорогуша,— проговорил последний.— Хвастун — самое для него подходящее слово. Что ж, луна светит, но как бы ее не затянуло облаками. Давайте-ка начинайте, пока светло.

Баронет между тем все с большим изумлением разглядывал одежду незнакомца, остановившего лошадей. Многое в ней подтверждало, что незнакомец имеет отношение к лошадям, хотя даже в этом случае одет он был очень старомодно и странно. На голове у него красовалась когда-то белая, а теперь пожелтевшая касторовая, с длинным ворсом шляпа вроде тех, что носят некоторые кучера запряженных четверкой экипажей: тулья в виде колокола, а поля загнуты. Одет во фрак табачного цвета с завышенной талией, пуговицы стальные. Спереди, где фрак не закрывал грудь, виден полосатый шелковый жилет, ниже — кожаные бриджи, а потом синие чулки и туфли. Вся его угловатая фигура излучала силу. Этот задира из усадьбы Броукасов явно личность незаурядная, и у молодого драгунского офицера вырвался смешок, когда он подумал, какую слазную историю он будет рассказывать в офицерской столовой об этой чудной фигуре в одежде предков и о тумаках, которые тому достанутся от лондонского боксера.

Билли, юный грум, уже выхватил уздечки у крепыша и держал теперь лошадей сам, но лошади почему-то задрожали и покрылись потом.

— Сюда! — показав на ворота, скомандовал крепыш.

За воротами, куда он показал, было зловеще темно и странно; столбы были разъедены временем, над дорожкой, ведущей вглубь, тяжело нависли ветви деревьев. Ни баронету, ни боксеру то, что они увидели, никакого удовольствия не доставило.

— Куда это вы направляетесь? — спросил незнакомцев баронет.

— Здесь толком не подерешься,— отозвался крепыш.— Там,— он махнул рукой по ту сторону ворот,— у нас есть местечко лучше некуда. Второго такого не найдешь.

— Для меня и дорога годится,— сказал Стивенс.

— Дорога годится только для любителей,— возразил человек в касторовой шляпе.— И уж никак не для двух настоящих боксеров вроде нас с тобой. Да ты, часом, не боишься ли?

— Ни тебя, ни десятка таких, как ты,— решительно ответил Стивенс.

— Ну так пошли и сделаем все как полагается.

Сэр Фредерик и Стивенс переглянулись.

— Я согласен,— сказал молодой боксер.

— Тогда пойдем.

Все четверо вошли в ворота. Позади них, в темноте, лошади били копытами и вставали на дыбы, и было слышно, как их тщетно пытается успокоить грум. Они прошли ярдов пятьдесят по дорожке, наполовину заросшей травой, а потом повернули вправо, через густые деревья, и вышли на круглую лужайку, трава на ней в лунном свете ка-

залась белой. Лужайку окружал низенький вал, тоже весь заросший травой, а недалеко, за лужайкой, виднелась небольшая каменная летняя вилла с колоннами, из тех, которые так любили в восемнадцатом веке, при первых Георгах.

— Ну, что я вам говорил? — воскликнул крепыш.— Да разве хоть где-нибудь в двадцати милях от города найдется местечко получше? Словно специально для бокса сделано. А теперь, Том, покажи, на что ты способен.

Все было как в неправдоподобном сне. Странные люди в странных одеждах, круглая лужайка в лунном свете, вилла с колоннами — сплелись в одно фантастическое целое. Только неловко сидящий на Альфе Стивенсе твидовый костюм и маячащее над костюмом простое английское лицо вернули баронета в реальный мир. Худощавый незнакомец, остановивший лошадей, уже снял касторовую шляпу, фрак, шелковый жилет, и его приятель стянул с него через голову рубашку. Стивенс, хотя раздевался спокойно и неторопливо, ждать себя не заставил. Боксеры стали друг против друга.

Но тут у Стивенса вырвался крик изумления и ужаса Из-за того, что его противник снял касторовую шляпу, стало видно, как страшно изуродована его голова. Верхняя часть лба была вдавлена, а между коротко остриженными волосами и густыми нахмуренными бровями шел широкий красный рубец.

— Боже,— воскликнул молодой боксер,— да что же это у него такое?

Восклицание Стивенса вызвало у противника холодную ярость.

— Думай-ка ты лучше о своей голове, молодой человек,— пробурчал он.— Сдается мне, что сейчас у тебя своих забот будет выше головы, так что про мою голову болтать не надо.

Услышав это, его приятель разразился хриплым хохотом.

— Хорошо сказано, Томми, дружок! — прохрипел он.—Ставьте на того, кому нет равных,— все золото Сити против апельсина!

Человек, названный Томом, стоял с поднятыми над головой руками в середине естественной арены. Он был крупный и в одежде, но голый по пояс казался еще крупнее, и его грудь как бочка, его покатые плечи и подвижные мускулистые руки идеально соответствовали требованиям бокса. Мрачные глаза под изуродованными бровями свирепо поблескивали, а губы замерли в недоброй улыбке, более страшной, нежели гримаса ненависти. Молодой боксер, двинувшись ему навстречу, подумал, что никогда не видел фигуры, которая бы внушала больший страх. Но его смелое сердце воодушевляла мысль, что он еще не встречал человека, который бы мог его одолеть, и едва ли таковым окажется незнакомец, повстречавшийся ему случайно на сельской дороге Поэтому, улыбаясь тоже, он стал в позицию и приготовился к бою.

Но произошло нечто совершенно для него неожиданное. Нанеся отвлекающий удар левой, незнакомец послал другой, ошеломляюще сильный, правой, послал так молниеносно, что Стивенс чудом от него уклонился и едва успел, когда противник оказался рядом, ответить коротким, резким ударом. В следующее мгновение руки противника обвили его, и молодой боксер, подброшенный вверх, завертелся в воздухе, а потом тяжело упал на траву. Незнакомец, сложив руки на груди, отступил назад, в то время как Стивенс, красный от гнева, кое-как поднимался на ноги.

— Послушай-ка, — закричал Стивенс, — что это за шутки?

— Это нарушение правил! — крикнул баронет.

— Какое еще, к дьяволу, нарушение? Лучшего броска я в жизни не видывал! — сказал крепыш.— Вы по каким правилам деретесь?

— По куинсберрийским, по каким же еще?

— Никогда о таких не слышал. Мы — по правилам лондонской боксерской арены.

— Ну что ж! — гневно закричал Стивенс.— Я и бороться могу не хуже других. Больше ты меня не поймаешь.

Так и произошло. Как только незнакомец обхватил его, Стивенс сжал его так же сильно, и, покачавшись и потоптавшись на месте, оба рухнули на землю. Так было три раза, и после каждого незнакомец, прежде чем возобновить бой, отходил к своему другу и садился передохнуть на зеленый вал вокруг лужайки.

— Что ты о нем скажешь? — спросил баронет Стивенса в один из этих перерывов.

Из уха Стивенса шла кровь, однако других повреждений видно не было.

— Он многое умеет,— ответил молодой боксер.— Не знаю, где он всему этому научился, но опыт у него огромный. Хоть вид у него и чудной, силен он, как лев, а тело твердое, как дерево.

— Не подпускай его вплотную. По-моему, в дальнем бою ты его превосходишь.

— Не очень-то я уверен, что превосхожу его хоть в чем-нибудь, но сделаю что могу.

Они бились отчаянно, и, по мере того как раунд сменялся раундом, изумленному баронету стало ясно, что Стивенс встретил достойного соперника. Незнакомец обладал умением отвлекать и натиском, и эти качества, вместе с его молниеносными ударами, делали из него чрезвычайно опасного противника. Казалось, что его голова и тело нечувствительны к ударам, и ужасная улыбка ни на миг не покидала его губ. Кулаки у незнакомца были как из камня, и к тому же никто не мог предвидеть, с какой стороны последует сейчас удар Про запас у него был один особенно страшный апперкот в челюсть, и когда ему удалось этот удар провести, Стивенс рухнул на землю. Крепыш издал торжествующий вопль.

— В самое ухо, ей-богу! Ставьте на Томми — лошадь против курицы! Еще один такой удар, и ты уложишь его!

— Послушай, Стивенс, это заходит уже слишком далеко,— сказал баронет, поддерживая усталого боксера.— Что скажут в полку, если я тебя привезу, а на тебе живого места нет? Пожми руку этому парню и признай, что он победил, иначе ты не справишься с делом, ради которого едешь.

— Признать его победу? Ну уж нет! Сперва я собью с этой безобразной рожи гнусную улыбку.

— А как же будет с сержантом?

— Скорее я вернусь в Лондон и никогда его не увижу, чем допущу, чтобы этот парень меня одолел.

— Ну что, еще мало получил? — спросил издевательски противник, поднимаясь с поросшего травой вала.

В ответ молодой Стивенс прыгнул вперед и, собрав все силы, набросился на него. Натиск был так стремителен, что противнику пришлось отступить, и несколько мгновений казалось, будто Стивенс берет верх. Но незнакомец, похоже, не знал вообще, что такое усталость. В конце этого долгого раунда он двигался так же легко и наносил такие же сильные удары, как и в его начале. Стивенс ослабил натиск, он изнемогал. Зато противник обрушил на него град яростных ударов, и защищаться у Стивенса уже не было сил. Еще секунда, и он повалился бы на землю, если бы не произошло нечто неожиданное.

Уже говорилось, что участники описываемых событий, направляясь на лужайку, прошли через рощицу. И вдруг из нее донесся странный душераздирающий вопль. Вопль пронзительный и невыразимо тоскливый. Услыхав его, незнакомец, уже сваливший Стивенса на колени, попятился и посмотрел в сторону рощицы. Лицо его выражало ужас, от улыбки не осталось и следа, рот приоткрылся.

— Снова гонится за мной! — закричал он.

— Держись, Томми! Ты уже почти победил его! А она ничего не может тебе сделать.

— Может! Еще как может! Я боюсь на нее взглянуть, боюсь! Ой, я уже ее вижу!

С криком ужаса он повернулся и побежал. Его приятель, громко ругаясь, подхватил сложенную на земле одежду и кинулся его догонять, и их бегущие фигуры исчезли в темноте под деревьями.

Стивенс тем временем, немного придя в себя, добрался при помощи сэра Фредерика до поросшего травой вала и прилег, положив голову на грудь к молодому баронету, а тот поднес к его губам фляжку с бренди. Вопли, между тем приближаясь, становились все громче и пронзительней. И, наконец, из кустов выбежал, нюхая землю, будто отыскивал след, и жалобно скуля, белый маленький терьер. Он пересек лужайку, не обратив никакого внимания на двух молодых людей, и тоже растаял в темноте под деревьями. Едва он исчез, сэр Фредерик и Стивенс вскочили на ноги и опрометью бросились к воротам, где их ожидала двуколка. Ими овладел ужас, панический, неподвластный воле и разуму. Дрожа, они вспрыгнули в экипаж, и только когда послушные лошади унесли их на две мили от зловещей ложбины, осмелились наконец заговорить.

— Ты видел когда-нибудь такую собаку?— спросил сэр Фредерик.

— Нет, ни разу! —воскликнул Стивенс.— И не дай бог снова такую увидеть!

Уже поздно ночью путники остановились на ночлег в гостинице «Лебединый двор» близ Харпендена. Хозяин, старый знакомый баронета, с удовольствием присоединился к приезжим выпить с ними стакан портвейна. Мистер Джо Хорнер, заядлый старый любитель бокса, готов был часами говорить о легендах ринга. Имя Альфа Стивенса было ему хорошо известно, и он разглядывал его с величайшим интересом.

— Послушайте сэр, вы ведь явно приехали сюда после боя,— сказал он боксеру.— А в газетах не было ни слова о том, что намечаются какие-то встречи.

— Не хочу говорить об этом,— буркнул Стивенс.

— Не обижайтесь, пожалуйста! Кстати, вы случайно...— его улыбающееся лицо вдруг стало очень серьезным,— случайно не видели по дороге того, кого называют Задирой из Броукас-Корта?

— Ну а что, если видели?

Хозяин страшно взволновался.

— Ведь это он чудом не убил Боба Медоуза! Задира остановил его у самых ворот старой усадьбы Броукасов. Вместе с Задирой был еще какой-то человек. Боб — боксер высшего класса, но когда его нашли на лужайке около виллы, недалеко от ворот, на нем живого места не было, пришлось буквально собирать его по частям.

Баронет кивнул.

— А-а, так вы с ним встретились? — воскликнул хозяин.

— Что ж, пожалуй, можно все рассказать,— сказал баронет, глядя на Стивенса.— Да, мы встретились с тем, кого вы называете Задирой,— и, боже, до чего же он уродлив!

— Расскажите скорей!—попросил хозяин, сразу заговоривший шепотом.— Правда ли, как болтает Боб Медоуз, будто одежда на обоих этих людях такая, какую носили наши деды, и у того, что дерется, на голове огромная вмятина?

— Пожалуй, да... одеты они странно, и такой ужасной головы я в жизни не видел.

— Боже милостивый! — воскликнул хозяин.— Известно ли вам, сэр, что Том Хикмен, знаменитый боксер, и его приятель Джо Роу, серебряных дел мастер из Сити, погибли в тысяча восемьсот двадцать втором году у тех самых ворот? Том Хикмен, пьяный, попытался было проехать мимо встречного фургона. Убили и его и Джо, и колесо фургона проехало по голове Хикмена.

— Хикмен, Хикмен...— сказал баронет, будто пытаясь что-то вспомнить.— Уж не Хвастун ли?

— Да, сэр, он самый. Он побеждал на ринге благодаря своему удару в скулу, и никому не удавалось взять над ним верх, пока его не свалил Нийт — тот, кого называли Бристольским Быком.

Стивенс поднялся со стула белый как мел.

— Пойдемте, сэр. Хочется на воздух. Поедемте дальше.

Хозяин гостиницы хлопнул его по спине.

— Выше голову, дружок! Так или иначе, но вы дали ему отпор, а этого пока не удавалось никому. Сядьте и выпейте еще стакан доброго вина — уж если кто в Англии и заслужил его сегодня, так это вы. Если вы задали Хвастуну трепку, даже мертвому, вы уплатили ему долги многих. Знаете вы, что он сделал в свое время здесь, в этой самой комнате?

Путники испуганно оглядели высокий потолок, каменные плиты пола, дубовые панели стен, большой открытый камин в дальнем конце комнаты.

— Да, в этой самой комнате. Мне рассказал старый сквайр Скоттер, он видел все

своими глазами. В тот день Шелтон победил в Сент-Олбансе Джоша Хадсона, и Хвастун, поставивший на Шелтона, выиграл на этом изрядную толику денег. Он и его приятель Роу, проезжая мимо, остановились возле гостиницы и зашли сюда, и Том Хикмен был пьянешенек. Люди разбежались по углам, начали прятаться чтобы он их не увидел, потому что Хвастун стал расхаживать по комнате, в руке он держал большую кухонную кочергу, и сама смерть улыбалась его улыбкой. Таким он бывал, когда выпьет,— жестоким, отчаянным, наводил страх на всех. Ну и что, вы думаете, сделал он кочергой? Была холодная декабрьская ночь, и перед камином лежал, свернувшись, и грелся песик — терьер, как мне рассказывали. Одним ударом кочерги Хвастун перебил ему спину. Потом расхохотался, обругал людей, что от него шарахались в разные стороны, и — назад к своей высокой двуколке, она стояла около гостиницы. А потом все узнали, что его привезли в Финчли и голова у него раздавлена как яйцо всмятку. Да, и поговаривают, что с той поры не раз видели эту собачку возле усадьбы Броукасов, всю в крови, спина перебита, и она все ползает и скулит, будто ищет злодея, который ее убил. Так что теперь вы понимаете, мистер Стивенс: когда вы колошматили Хвастуна, вы дрались не за себя одного.

— Может, это и так,— отозвался молодой боксер,— но больше мне таких встреч не надо. С меня вполне хватит сержанта ветеринарной службы,— произнес он, повернувшись к баронету,— и если вы не против, сэр, назад в город мы вернемся по железной дороге.

НЬЮМАН ЛЕВИ (США)

ВОЛШЕБНИК КРЕСТНЫЙ

Перевод с английского ЕВГЕНИИ ШВАРЦ

Жил некогда молодой начинающий писатель по имени Седрик Гейлбрейт, жил он в мансарде, в ужасающей нужде и все свое время проводил за сочинением стихов и рассказов, которые никто не печатал. Это ставило его в очень неловкое положение, потому что торговавшие по соседству мясник, бакалейщик и прочие презренные лавочники отпускали товар только за наличные, достать которые Седрику было совсем непросто. Более того, алчный, скупой скряга, владелец обветшалого жилища, в котором находилась мансарда Седрика, что ни месяц, немилосердно требовал платы.

Еженедельно Седрик рассылал пачку рассказов и стихов — он был трудолюбивый молодой человек,— а через неделю получал их обратно с вежливым, отпечатанным на машинке ответом, звучавшим примерно так:

«Благодарим Вас за присланную рукопись, но, к сожалению, мы не можем ее сейчас опубликовать. Это не означает, что она лишена достоинств, поэтому мы надеемся, что Вы будете так любезны и в дальнейшем не откажетесь присылать нам Ваши произведения

Редакторы».

Эти послания очень ободряли Седрика и убеждали его не оставлять Музу ради иных доступных и заманчивых возможностей, как-то: стать таксистом или продавцом в табачном киоске.

«Надежда на успех у меня есть,— размышлял Седрик.— Они всегда возвращают мои рукописи с сожалением и всегда добавляют что мои произведения не лишены достоинств. Эти редакторы знают свое дело. Они б не стали просить меня прислать им что-нибудь еще, если б им это было не нужно».

И Седрик продолжал писать.

Однажды, когда он наводил глянец на сонет, написанный им в манере Петрарки, дверь отворилась и вошел незнакомец. Лет шестидесяти, тощий и приземистый; щетина на его изможденном, морщинистом лице говорила о том, что он уже несколько дней не брился. Был он в потрепанном костюме, и от него вовсю несло спиртным.

— У меня сейчас нет денег! — по привычке воскликнул Седрик.— Но на будущей неделе, я думаю...

— Я не сборщик налогов,— поморщившись, сказал незнакомец.

— Тогда присаживайтесь,— с облегчением предложил Седрик.— Кто же вы?

— Я твой волшебник крестный,— ответил посетитель.

— Как раз кстати! — негодующе воскликнул Седрик.

— Зовут меня Постлуэйт,— продолжал незнакомец.— Сайрес Х. Постлуэйт. Я твой крестный отец с той минуты, как ты родился. У тебя не найдется чего-нибудь выпить?

— Нет.

— Скверно. Я давно подумывал заглянуть к тебе и сделать для тебя что-нибудь стоящее. Для этого ведь и существуют крестные. Но ты знаешь, как это бывает.

— Не знаю,— сказал Седрик.

— Все мы по горло заняты,— продолжал мистер Постлуэйт.— Деловые встречи. Общественные обязанности. Время летит, и не успеешь оглянуться... но как бы то ни было, вот он я; что я могу для тебя сделать?

— Хочу успеха! — пылко воскликнул Седрик.— Хочу денег и славы. Хочу, чтоб мои произведения печатали...

— Нет ничего проще. Деньги, слава, успех? Это как раз по моей части. Мы это мигом устроим. Ты слышал о представлении под названием «Жизнь с отцом»? Это была моя идея. Я рассказал о ней малому по фамилии Гинсберг, крестному отцу парня по имени Рассел Краус. Что было потом, тебе известно. Эта затея принесла целое состоя-

ние. Но ты не волнуйся. Идей у меня предостаточно.

— Тогда выкладывайте их побыстрей,— заторопил его Седрик.— Я уже неделю не ем досыта.

— Значит, так,— начал мистер Постлуэйт.— Можно поставить великолепную оперу, или сочинить роман, или... Нет, придумал! — восторженно вскричал он.— Я расскажу тебе анекдот.

— Анекдот?!

— Однажды муж приходит домой, а жена встречает его вся в слезах и говорит: «В этом году в моде шелковистые ткани. Я не могу больше носить мой старый костюм. Он из грубой шерсти».— «Не волнуйся, дорогая,—отвечает ей муж, игриво подмигивая.— Ты у меня будешь как шелковая».

Мистер Постлуэйт откинулся на спинку стула и громко расхохотался. Седрик взирал на него с возмущением и укором.

— Я погибаю,— проворчал он, перефразируя старую остроту.— А он еще шутит.

— Ну что ж, дело сделано. Теперь все пойдет как по маслу. Только не забудь,— добавил крестный.— Десять процентов комиссионных как положено.

Мистер Постлуэйт встал, направился к двери и был таков.

Седрик ошеломленно продолжал сидеть перед пишущей машинкой, бессознательно нажимая на клавиши. Когда же он взглянул на лист бумаги, вставленный в машинку, то увидел, что внизу листа под сонетом он напечатал анекдот мистера Постлуэйта.

«А что я теряю?»— с горечью подумал Седрик. Вложил лист бумаги в конверт. Приклеил последнюю оставшуюся трехцентовую марку и стал спускаться вниз, чтобы отправить рукопись в редакцию солидного журнала.

Не прошло и трех дней, как Седрик получил ответ. Когда он распечатал конверт, из него выпал чек.

«Дорогой мистер Гейлбрейт (говорилось в письме)!

Очень сожалею, но мы не сможем напечатать сейчас Ваш сонет, так как сонеты в наше время неходкий товар, это по меньшей мере.

Но меня привел в восторг Ваш маленький рассказ, эта виньетка реальной жизни, и я с радостью посылаю Вам чек на пятьдесят долларов. У вас прямо-таки нюх на юмор. Ждем Ваших новых произведений.

С уважением
редактор Дж. Смит».

На другое утро за пишущую машинку садился совсем иной Седрик Гейлбрейт. Во-первых, подстриженный, а во-вторых, излучающий то здоровье, коим человек наливается после обильного обеда в одной из лучших закусочных по соседству. Теперь Седрик уже не колебался. Быстро и уверенно пальцы летали по клавишам — с виртуозностью Рубинштейна, который исполняет Шопена на домашнем концерте и пытается сдержать свою мощь. Седрик выдернул лист бумаги из машинки и прочел напечатанное:

«Жили некогда два ирландца: Пат и Майк. Однажды Пат говорит Майку: «Вчера вечером жена сказала мне, что ей нужно новое шелковое платье. В этом году, видите ли, не носят платьев из грубой шерсти». «И что ты ей ответил?» — поинтересовался Майк. «Я сказал ей: «Хочешь быть как шелковая?»

На этот раз ответ из солидного журнала был молниеносным и восторженным.

«Дорогой Седрик (говорилось в письме)!

Ваша блестящая tour de force[1] потрясла нашу редакцию, как взрыв бомбы. Мои сотрудники до сих пор смеются. А моя секретарша мисс Клейн так хохотала, что ее с острой болью в боку увезла «скорая помощь». У нее были в прошлом году боли в боку после операции аппендицита, но это несравнимо с тем, что случилось после чтения Вашего рассказа. Посылаю Вам чек на семьдесят пять долларов. Продолжайте в том же духе.

С сердечным приветом
Джек Смит».

Не успел Седрик дочитать до конца письмо, как почувствовал, что все вокруг пропитывается запахом спиртного. Седрик поднял глаза и увидел, как в комнату вошел и уселся на единственный удобный стул волшебник крестный.

— Ну, крестник, как дела?

— У меня есть слава и деньги,— ответил Седрик.— Но я не испытываю удовлетворения. Эти виньетки реальной жизни, да позволят мне так выразиться, хороши лишь как проба пера, я бы сказал, как начальные опыты моего раннего периода творчества. Биографы назовут это моим первым, или юмористическим, периодом. Но мне бы хотелось создать что-нибудь большое, значительное, в чем отразилось бы пылающее во мне великое дарование.

— Само собой.— отозвался мистер Постлуэйт.— Есть блестящая идея. Почему бы, к примеру, не написать рассказ о парне, жена которого хочет купить новое платье, потому что грубошерстные вещи вышли из моды, а у него на это нет денег? Он служащий банка.

— Ей-богу! В этом что-то есть! — вскричал Седрик.— Не какую-нибудь виньетку, а самую что ни на есть трогательную историю о трепещущих сердцах, о бедности, о юной любви. Я уже все это вижу. Чехов! Моэм! Хэмингуэй! Дринкуотер...[2].

— Упаси бог!— возразил волшебник крестный.— И потом, прежде чем я уйду, надо бы уладить это дельце с десятью процентами.

— Разумеется! — Седрик сунул руку в карман и протянул крестному пачку денег.

Когда Седрик закончил свой второй рассказ, стало ясно, что на литературном небосклоне взошла звезда первой величины. Предыдущий рассказ, с восторгом принятый редактором Смитом, повествовал о судьбе только что пожененившейся парочки из Гринич-Виллидж. Как и предупреждал Седрик, рассказ был начинен трепещущими сердцами, бедностью и юной любовью. Второй же являл собой мрачный, пронзительный психологический опус о биржевом маклере, миллионере с Уолл-стрит, жена которого,

[1] Здесь — остроумная шутка *(франц.)*.

[2] Джон Дринкуотер (1882—1937) — английский драматург и поэт, автор пьес «Авраам Линкольн», «Мария Стюарт», «Оливер Кромвель» и др.

эгоистка и любительница удовольствий, требует купить ей новое норковое манто, не зная, что ее муж обанкротился и у него уже нет ни гроша. «В лучших традициях Драйзера»,— писали критики.

А через несколько месяцев Седрик в ослепительном вечернем костюме сидел перед камином в роскошной гостиной мистера Джека Смита, главного редактора солидного журнала.

— Я получил приглашение из Голливуда, Джек, предлагают поставить несколько фильмов,— говорил Седрик.— Но я отказался.

— И правильно сделал,— отозвался хозяин.

— Денег мне и так хватает,— продолжал Седрик.— Лучше останусь здесь и закончу свой роман.

— Кстати, как он там? — поинтересовался мистер Смит.

— Это роман о крестьянской семье из Югославии,— начал Седрик.— У них там не уродился картофель и надвигается голод. Жена просит мужа купить ей новые ботинки, потому что все соседки носят теперь на высоком каблуке...

— На высоком, говоришь? По-моему, это несколько опрометчиво,— заметил Смит.— До сих пор в твоих рассказах речь шла о шелке. Идея имела грандиозный успех и своих последователей, публика не должна обмануться в своих ожиданиях. Ее нельзя разочаровывать.

— Это все так,— согласился Седрик.— Но нужно экспериментировать. В искусстве нельзя стоять на месте.

Конец нашего рассказа связан с историей современной литературы. Феноменальный спрос на «Плач по умирающему почтальону» потряс всех, особенно если принять во внимание отталкивающую мрачность темы. «В свете нового романа Седрика Гейлбрейта «Плач по умирающему почтальону»,— писал один из ведущих нью-йоркских критиков,— Достоевский выглядит легкомысленным шутником».

Седрик сидел на террасе своего особняка на Лонг-Айленде, приобретенного на деньги от продажи «Плача по умирающему почтальону» кинокомпании. Мистер Постлуэйт, облаченный в белый фланелевый безукоризненного покроя костюм, самодовольно раскачивался на качелях.

— У меня есть все, о чем я мечтал,— угрюмо говорил Седрик.— Слава и деньги у меня в кармане, но мой успех горьким пеплом жжет мне горло.

— Никогда не пробовал пепла,— сказал мистер Постлуэйт.— Но звучит малопривлекательно. Так что же случилось?

— Я влюблен,— сказал Седрик.— А вчера вечером я поссорился с девушкой моей мечты мисс Линой Краусмейер, любимой дочерью миллионера, короля пикулей. Все кончено. Горькая чаша жизни испита...

— Мог бы даже выразиться покрепче,— заметил мистер Постлуэйт, залпом осушая содержимое своего бокала.— Итак, размолвка с подружкой. Ну не стоит раскисать. Недаром меня зовут Купидон Постлуэйт. На вот, пошли ей эту телеграмму.

Он нацарапал несколько слов на листке бумаги, протянул листок Седрику, и тот прочел:

«Милая Лина прости я был груб вчера вечером клянусь буду как шелковый
навеки твой
Седрик».

Свадьба, состоявшаяся через месяц в огромном бальном зале «Уолдорф-Астории», была грандиозна и ослепительна. Ее почтили своим присутствием вся богема и весь высший свет. Мистера Постлуэйта как шафера назначили провозглашать тосты. Осушив три бутылки шампанского, он поднялся, чтобы провозгласить тост за жениха и невесту.

— Я вспоминаю историю,— начал мистер Постлуэйт.— О новобрачных. Молодая жена просит своего мужа купить ей новое платье, потому что старое — из грубой шерсти...

Гости скорчились от смеха.

◆

Среди книг

Издано в СССР

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВРЕМЕНИ

ЭРИК НОЙЧ. В поисках Гатта. Перевод с немецкого Е. Н. Вильмонт. Предисловие Т. Л. Мотылевой. Донецк, «Донбасс», 1981.

Ему повезло: в свои восемнадцать лет он уцелел на войне. Повезло ему даже тогда, когда полевая жандармерия расстреливала тех, кто добровольно прощался с оружием, стремясь всеми силами поскорее вырваться из фашистского вермахта. После недолгого американского плена он поплелся домой в Мансфельд:

Через Гарц, поросший лесом,
Вдоль по рейнским берегам.
По Тюрингии дубовой,
По Саксонии сосновой...

Да, маршрут тот же, каким шагал когда-то легендарный птицелов Багрицкого, но настроение было совсем другим. За Гарцем был его дом, где в рудниках погибли все его родственники. Он остался один как перст. Но как только пришел в себя, спустился в забой продолжать дело, которое скудно кормило не одно поколение обитателей этого края. Возмущенный непорядками и спекуляцией, он однажды послал гневное письмо в газету. Статью напечатали, а затем его уговорили сменить отбойный молоток на перо. Так неожиданно для самого себя потомственный горняк Эберхард Гатт стал газетчиком.

Эрик Нойч, один из самых популярных писателей ГДР, рассказывает биографию, анкетные данные которой заставляют вспомнить тысячи судеб активистов первого часа,— так называли когда-то тех, кто без колебаний включался в строительство новой жизни.

Биография Гатта чем-то напоминает и первые профессиональные шаги самого Эрика Нойча: он работал на стройке, редактировал газету. Неудивительно, что журналистской хваткой он наделил и своего героя. Гатт, будучи не в ладах с грамматикой, пишет слово «фантазия» через «о», но зато яростно добивается превращения фантастических мечтаний в реальность. Временами ему приходится туго. Этот уже известный, но, увы, еще не грамотный журналист по вечерам сидит за партой. «Мученье, минутами я чувствую себя вконец вымотанным, опустошенным,— признается великовозрастный школяр.— Я близок к отчаянию. Не понимаю ни Брамса, ни обстоятельств времени и места».

Разумеется, Гатт одолел премудрость грамматики и стал вскоре боевитым журналистом. Благодаря ему из газеты вовремя изгоняют тех, кто пытался использовать прессу в целях вымогательств, шантажируя разного рода дельцов, у которых рыльце в пушку, а карман набит ворованными марками. Обо всем этом в романе Э. Нойча рассказано с документальной убедительностью — ведь Эберхард Гатт в конце концов прошел путь многих. Иные из авторов, обращаясь к аналогичным сюжетам, здесь ставили точку. Но в повествовании Эрика Нойча все эти события — только завязка.

Гатт — герой, и не только в литературном плане, он герой и по самому строгому политическому счету. Тридцать лет назад, когда на карту было поставлено само существование молодого немецкого демократического государства, Гатт, почти в одиночку пытаясь воспрепятствовать уличным беспорядкам, ринулся в схватку с бывшими нацистами, удравшими из тюрьмы. Вражеская пуля прошла через его легкое, в течение многих месяцев он был на грани жизни и смерти.

Но, анализируя противоречивую и самобытную личность Гатта, писатель убеждает, что тот, кто мыслит вчерашними категориями, опаснее человека, который не рассуждает вовсе. Жить в движении, синхронном эпохе,— вот главный принцип коммуниста, строящего социализм на немецкой земле.

Восхищаясь динамичным характером Гатта, его храбростью, его цельностью, автор тем не менее анализирует его поступки строго беспристрастно, с партийных позиций. Гатт зачастую действует стихийно, забывая о дисциплине и долге. По причине своей весьма небогатой эрудиции он плохо понимает закономерности общественного развития, его статьи постепенно становятся лишь рупором громогласных лозунгов. Он не замечает, что жизнь усложнилась и, прежде чем «открыть огонь из всех стволов», надо внимательно приглядеться, кто перед тобой: враг или попутчик, которого разумнее сделать союзником, а не превра-

щать в мишень для фельетонных пуль и соответствующих оргвыводов. Гатт декларирует в своих статьях: раз государство — рабочее, значит, рабочие и должны принимать или отвергать технические проекты и новые механизмы. Разве можно на страницах газеты решить, как наладить производство дефицитного сплава? Но упрямый журналист уже привык рубить с плеча. В своих статьях он обвинил дельного специалиста в высокомерном отношении к рабочим, трескучими фразами ошельмовал его, спровоцировал к бегству, а заодно невольно в качестве совиновницы перебежчика выставил собственную жену.

В романах Эрика Нойча «След камней», «В поисках Гатта» остро ставится проблема самовоспитания личности. В биографиях своих героев писатель выбирает моменты крайне напряженные и пристально всматривается в конфликты, которые возникают порой между обществом и человеком, строящим его. В одном из своих интервью вскоре после выхода романа «В поисках Гатта» он говорил: «Я хочу рассказать миру, какие исторические процессы происходят в ГДР, как люди творят историю и строят свою собственную жизнь. Я хочу показать не внешними средствами, а изнутри, как формируется социалистическое самосознание».

Роман назван «В поисках Гатта», потому что героя, потерпевшего крушение в жизни, разыскивают журналист, случайно с ним познакомившийся (роль его, к сожалению, ограничена чисто служебными сюжетными функциями), шеф Гатта, с которым он проработал в газете немало лет, а также бывшая жена Гатта, оскорбленная его недоверием. Рут покинула Гатта, когда он в трудные для нее дни заподозрил ее в предательстве. Редактор Вейсбехер вынужден был уволить Гатта, когда обнаружилась его явная профнепригодность. Оба они убеждены в своей правоте, но и спустя годы продолжают испытывать чувство вины перед Гаттом: Тонкой, умной женщине и старому антифашисту-подпольщику одинаково не хватило терпения, такта, самоотверженности, чтобы помочь Гатту стать тем незаурядным и настоящим человеком, для чего, казалось, он и был предназначен в жизни.

Но основной поиск ведет сам Гатт. Он в первую очередь хочет разобраться в своих ошибках, он должен найти свое новое место в жизни. Однако в предисловии Т. Л. Мотылевой справедливо сказано, что в последней трети книги мастерство романиста несколько ослабевает. Действительно, перевоплощение героя показано как-то слишком суетно, судорожно. Герой непоседлив, он долго мечется, меняет работу и пристанища, сталкивается со многими случайными людьми. А о том, что же происходит в душе Гатта, читатель волен только предполагать и догадываться.

Эрик Нойч пишет романы, в которых время действия почти совпадает с датой создания. Это нелегко, и порой вместо художественного осмысления действительности он прибегает к испытанным приемам газетчика. Но книги Нойча, безусловно, интересны всем, кто хочет глубоко разобраться в сегодняшней напряженной духовной жизни его сограждан.

ВЛАДИСЛАВ ПРОНИН

«ХОЧУ Я ВЕРОВАТЬ ДОБРУ»

Лермонтовская энциклопедия. Главный редактор В. А. Мануйлов. Москва, «Советская энциклопедия», 1981.

Этот уникальный свод имеющихся на сегодняшний день сведений о жизни и творчестве великого русского поэта сразу же сделался библиографической редкостью. Результат работы наших ведущих лермонтоведов — первая у нас в стране персональная энциклопедия. Она имеет свою историю: идея ее создания принадлежит известному исследователю Л. П. Семенову, предложившему еще в 1958 году приступить к подготовке «справочника». Возглавил работу над энциклопедией В. А. Мануйлов.

Структуру ее состава определяют несколько параметров, один из основных — связи Лермонтова с зарубежными литературами: с одной стороны, их влияние на творчество поэта, на формирование его поэтики, с другой — судьба лермонтовских произведений за рубежом. Роль английского контекста в обоих случаях — неоспоримо ведущая. Влиянию Оссиана, Вальтера Скотта, Байрона на поэзию Лермонтова посвящено немало статей и проблемных выступлений. В энциклопедии находим сведения, обозначающие основные звенья этой двусторонней связи. В главе «Переводы и изучение Лермонтова за рубежом» упоминается тот факт, что в Англии почти одновременно вышли перевод «Демона», выполненный А. К. Стивеном (потом он дважды переиздавался), и английская версия «Мцыри», осуществленная, в свою очередь, с немецкой версии неким С. С. Конантом.

Лаконичные, скупые строки, сухой энциклопедический язык, но они побудили меня углубиться в увлекательнейшие поиски, которые привели в Тарханы в библиотеку музея-заповедника М. Ю. Лермонтова, где хранится эта удивительная книга — первый английский «Демон». Тексту поэмы предпослано несколько страниц вступления — в своем обращении к английскому читателю Александр Конди Стивен рассказывал о том, как работал над переводом, какую значительную веху, по его мнению, являет собой «Демон». Я с радостью предоставляю сейчас слово Стивену — ведь он обращался в 1875 году и к нашим соотечественникам:

«Хотя у нас были уже переведены несколько отрывков из русской поэзии, наш читатель до сих пор не знаком ни с одной значительной поэмой. В самом деле, невежество европейца в отношении этой литературы столь глубоко, что лишь считанные единицы, кроме владеющих русским языком, знают: русская библиотека — не только сказки и фольклор. Такие имена, как Пушкин, Карамзин, Лермонтов, Гоголь, почти неизвестны за пределами России, и мало кто из иностранцев знает, как они жили.

Как объяснить этот факт? Оттого ли это происходит, что русский язык труден? Или

оттого, что русская литература бедна, и в ней не найти ни одного произведения, достойного более широкого признания? Я решил попытаться доказать, что мнение это ошибочно, и представляю на суд читателя мой перевод, плод многомесячных трудов. Я остановил свой выбор на поэме, которая имела в России небывалый успех, какого, пожалуй, не выпало на долю ни одного поэтического произведения... Она — воплощение простоты и величия.

При первом прочтении сразу же бросается в глаза тематическая близость поэмы «Фаусту» и близость героя Люциферу, но, вчитавшись внимательно, понимаешь, что герой Лермонтова не имеет ничего общего с Мефистофелем Гёте и Люцифером Байрона. Любовь преображает зло, какую бы форму оно ни принимало, это изначально прекрасно и удивительно красиво воплощено в русском стихе».

Далее Стивен пишет о том, как работал над переводом: «Прежде всего я стремился сохранить магическую безыскусность стиха... Главные черты поэзии Лермонтова — музыкальность, богатство формы, отсутствие лишних слов. Его строка передает столько, сколько иному поэту удалось бы выразить в целом стихотворении, а одно точное слово заменяет целую строфу...»

В июле того же года из Парижа в Россию пришло письмо от Ивана Сергеевича Тургенева, в котором он отмечал, что «со времени великих наполеоновских войн начала нынешнего столетия Россия, ее политика, ее будущность, ее историческая роль стали, как известно, возбуждать особенное внимание европейцев». Но только недавно внимание это обратилось на русскую литературу, начали появляться переводы. «Позволяем себе довести до сведения отечественных читателей о появлении нового труда в том же направлении. Молодой английский литератор А. Стифен *(Стивен.—А. Н.)*, изучивши русский язык — он для этой цели посетил наше отечество — и пленившись красотами лермонтовской музы, перевел «Демона» стихами, что составляет подвиг немалый, особенно если принять в соображение красивую сжатость и энергию лермонтовского стиха... Должно сознаться, что г. Стифен — в целом — удачно разрешил свою задачу — хотя он и был вынужден в иных местах своего переложения несколько расплыться в ширину и прибегнуть к реторической фразеологии, освещенной байроновской традицией. Как бы то ни было, нам кажется, что он имеет право на русское спасибо...»

Что нам известно об Александре Конди Стивене? Совсем немного. Он родился в семье Лесли Оскара Стивена в 1850 году, получил образование в Рагби, в одной из девяти старейших мужских привилегированных частных школ. Итак, он родился в 1850 году — уже девять лет, как не было Лермонтова, но поэма его жизни, «Демон», еще не была опубликована; лишь в 1852 году она вышла в немецком переводе, а в 1856 году впервые увидел свет полный русский текст почти одновременно в Берлине, в Карлсруэ, но — увы! — не в России. Получив дипломатическое образование и обучившись русскому языку, Стивен несколько лет прослужил в английском посольстве в России. Потом служба в Турции, Афганистане, Болгарии, Австрии, Франции. Стивен не стал профессиональным литератором; его перу принадлежит еще лишь одна книга переводов: «Сказки попугая» по мотивам персидского фольклора. «Демон» был переведен Стивеном до приезда в Россию на дипломатическую службу — он был назначен атташе английского посольства в Петербурге в 1877 году. Знакомство с творчеством и жизнью поэта началось до этого. В годы службы в посольстве Стивен продолжал изучать творчество поэта, был вхож в дома, где свято хранилась память о нем. Так, в письме от 29 марта 1877 года Тургенев рекомендовал Стивена Юлии Петровне Вревской, жене Ипполита Александровича Вревского, «как очаровательного молодого человека, хорошо владеющего русским языком», следовательно, Тургенев встречался с ним. Ипполит Александрович, «один из образованнейших и умнейших людей своего времени», был знаком с Лермонтовым. Юлия Петровна Вревская, урожденная Варпаховская (1841—1878), умерла от тифа в солдатском лазарете в г. Бяла в Болгарии, во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов, куда отправилась сестрой милосердия. Ей не довелось знать лично Лермонтова, а ее мужа к моменту знакомства ее с английским дипломатом уже не было в живых, но дом их был той нитью, что помогла Стивену найти путь к поэту.

Сейчас трудно сказать, что вдохновило Стивена на столь дерзновенный труд. В «Лермонтовской энциклопедии» мы можем прочитать, что двумя годами раньше публикации английского «Демона» в 1873 году в журнале «Атенеум» появилась статья У. Р. Ш. Ролстона «Шотландец за границей», в которой он рассказал легенду о шотландском происхождении Лермонтова. Ролстон (или Ральстон) был другом Тургенева, его перу принадлежат статьи о Л. Толстом, А. Кольцове, книги «Русские сказки» и «Песни русских, иллюстрация славянской мифологии и русской социальной жизни». «Очень рад, что Вы хотите познакомить Ваших соотечественников,— писал Тургенев в 1866 году Ральстону,— с нашей литературой... Наше мнение, оценки и выражение симпатии были бы здесь бесконечно ценны,— Вы знаете, до какой степени могущественно у нас английское влияние и как ценят в России английских писателей...» Если прибавить к этим фактам еще и посвящение, сделанное Стивеном, то связь становится очевидной. «Ивану Сергеевичу Тургеневу, с любовью и почтением, посвящается»— значится на титульном листе «Демона».

Переводчику было двадцать пять лет, когда он завершил перевод «Демона», этому предшествовали многие месяцы кропотливого труда. И пускай в предисловии Стивена есть неточности — он, к примеру, полагает, что поэма была закончена в 1834 году, хотя сам осуществил перевод седьмой редакции, относящийся к 1838 году; пускай в переводе есть то, что Тургенев определил как «реторическая фразеология», но молодой англичанин понял главное, что сделало «Демона» поэмой не байроновской, не еще

одним слепком с легенды о докторе Фаусте, а поэмой Лермонтова, в которой, как писал Белинский Боткину,—«слезы и грусть о потерянном рае... и всегдашнее сознание своего падения насмерть, на вечность», постиг смысл лермонтовской устремленности: «хочу любить, хочу молиться, хочу я веровать добру». Тем страшнее и горше проклятья побежденного Демона, его тяжкий удел —«один, как прежде, во вселенной без упованья, без любви!..», что он хотел веровать добру. «Любовь преображает зло, какую бы форму оно ни принимало...» И потому прозрачны и просты строфы, написанные Стивеном, *главные* для понимания английским читателем лермонтовского Демона, не «духа ужасного», не «порочного мученика», а того, к кому душа Тамары «рвала свои оковы», кто возмутил ее мысль «мечтой пророческой и странной».

Печально известны примеры иного толкования демонизма Лермонтова даже его соотечественниками. Теоретик «любомудров» С. Шевырев настаивал на «протеизме», то есть подражательной природе поэтики Лермонтова, а следовательно, и главного героя. Ф. М. Достоевский в 1877 году в своем дневнике говорит о том, что «Лермонтов, конечно, был байронист, но по великой своеобразной поэтической силе своей и байронист-то особенный,— какой-то насмешливый, капризный и брюзгливый... во всех стихах своих он мрачен, капризен, хочет говорить правду, но чаще лжет...»

И уже совсем крайний пример толкования поэзии Лермонтова как поэзии зла и мизантропии суждения В. Соловьева. В своей лекции, прочитанной в 1899 году, он утверждал, что в лирике Лермонтова остается «нерастворенный осадок торжествующего, хотя бы и бессознательного эгоизма», а самой гениальной натурой поэта руководили три «демона»—«демон кровожадности», «демон нечистоты» и «третий и самый могучий — демон гордости». Для Стивена же главное — «чистая красота, благородная печаль, сила и изящество» стиха Лермонтова, это тем более важно, что освоение поэзии Лермонтова английским читателем только начиналось — к тому времени появилось там лишь несколько стихов поэта, первое из них, «Дары Терека», напечатали в Шотландии, согласно легенде — на родине его далеких предков...

В Тарханах, в кабинете поэта, висят три портрета — Пушкина, Байрона и Вальтера Скотта. Шотландский бард и романист был для Лермонтова символом его другой, далекой родины — он очень дорожил семейным преданием, согласно которому род его отца восходил к полулегендарному поэту-прорицателю Томасу Рифмачу (Лермонту), считавшемуся зачинателем шотландской литературы, автору романа в стихах «Тристрем и Изольда» Из «Лермонтовской энциклопедии» мы знаем, что после смерти Михаила Юрьевича был найден архивный документ, из которого следует, что в XI веке за помощь королю Малькому III в разгроме Макбета их предку «Лермонту дано в вотчину господинство Дарси».

В середине прошлого века в Эдинбурге был изден томик шотландских и английских баллад. Года издания, к сожалению, на книге нет, но на титульном листе того экземпляра, что попал в Россию, есть пометка —«август, 1875 год, Эллен. С. Парсонс Нортэмптон, Массачусестс». Изданы были эти баллады Джеймсом Баллантайном, первым издателем десятитомного собрания стихов, баллад и поэм сэра Вальтера Скотта в 1819 году. В томике этом есть баллада «Томас Рифмач», ей предпосланы слова Вальтера Скотта:

«Попытаться дать подлинную историю жизни этого удивительного человека и в самом деле было бы очень трудно; но люди любознательные, надеюсь, удовлетворят свое любопытство, узнав кое-какие подробности о поэте.

Древний бард жил, а может, и родился в местечке Эрселдаун, что неподалеку от реки Лидер, в двух милях от того места, где та впадает в Твид. И по сей день сохранились развалины замка Рифмача. Он был прозван Лермонтом, или Лирмонтом, а еще Рифмачом — за его поэтические произведения.

Согласно преданию, Томас ребенком попал в Страну Фей... Он провел там семь лет, а потом был отпущен на землю... но по первому знаку ему надлежало вернуться к своей повелительнице. И вот однажды, когда Томас веселился с друзьями в замке Эрселдаун, к ним явился незнакомец с вестью: из лесов вышли олень и лань и медленно двинулись по деревенской улице. Томас тотчас же пошел следом за ними, скрылся в лесах, с тех пор его никто не видел. Народное поверье гласит, что Томас ушел в Страну Фей и настанет день, когда он вернется к людям...»

Память о Томасе, писал Вальтер Скотт, свято хранится шотландцами. И по сей день то место, где Томас делился своими пророчествами под могучим деревом, отмечено большим камнем. Скотт предлагает вниманию читателя балладу о Томасе Рифмаче, состоящую из трех частей; запись первой, по его словам, он получил у жительницы тех мест, где стоял Эрселдаун. «К этой части издатель взял на себя смелость добавить вторую, публиковавшуюся ранее, в которой повествуется о пророчествах Рифмача, и третью, написанную в той же традиции, но современную, она повествует о том, как Томас вернулся вслед за оленями в Страну Фей».

Но нет сомнений, баллада целиком принадлежит Вальтеру Скотту — она написана в одном стилистическом ключе, в одном размере, с повторяющимися рифмами и аллитерациями. Вот ее заключительные строфы:

Там, где вдали речная грань
Дробилась о ночлег,
Бок о бок шли олень и лань,
Белы, как горный снег.

Их гордый шаг вела луна
В молчании людском.
Их тень в траве была видна
В величии немом.

Быстра, как паж, ночная весть
До Лермонта дошла:
Чудес на памяти не счесть,
То фея знак дала.

. . . . . .

И Лермонт шел, бросая взгляд
На замок свой вдали,

Куда в полуночный оклад
Лучи луны легли.
. . . . . .

— Прости, прости, очаг родной! —
Слова в ночи неслись.—
Мой щедрый цвет и корень мой,
Навек со мной простись.

И здесь мой род не станет жить.
Ты будешь глух и дик:
Продолжат тут живую нить
Лишь заяц да кулик.
. . . . . .

Гадали все, как и куда
Путь Томаса лежал.
С тех пор никто и никогда
Его не повстречал.

(Перевод А. СОЛЯНОВА)

Скотта-поэта в России знали уже в двадцатые годы. Еще в августе 1813 года С. С. Уваров писал Жуковскому: «Я получил на днях кипу английских книг, между прочим, все поэмы сира В. Скотта. Ein volksdichter im calen Sinne des Wortes »[1].

Баллада о Томасе Рифмаче не была переведена — ни в те годы, ни позднее.

Известно, что юный Лермонтов в 1830 году изучал английский, по свидетельству А. П. Шан-Гирея, читал «поэтические произведения Вальтера Скотта» в подлиннике. Баллада о Томасе Рифмаче, без сомнения, дала пищу буйным фантазиям юного Лермонтова, позднее в строках об Оссиане назвавшего Шотландию — «моей». Помогла баллада Лермонтову и в поисках его творческого «я», ибо она не была примером поэзии мрачной и угрюмой, как полагали иные знатоки шотландской старины, а поэзией мужественной и отрадной.

Две книжки, помеченные 1875 годом,— английский «Демон» и шотландский «Томас Рифмач» — малая частица необозримо широкого слоя историко-литературного материала, в той или иной мере дополняющего наше представление о Лермонтове, о русско-английских связях. И «магнитным полем» этого материала, конечно же, является «Лермонтовская энциклопедия», прекрасный пример труда коллективного, созидательного...

А. НИКОЛАЕВСКАЯ

Издано за рубежом

ТРОПЫ НЕИЗВЕДАННОГО

R. Dobru. Boodschappen uit de zon. Gedichten 1965—1980. Amsterdam, Meulenhoff, 1982.

Р. Добру. Послания с солнца. Стихи 1965—1980. 1982.

Некоторые литературоведы и критики порой стремятся заглянуть за горизонт дня нынешнего, пытаясь с помощью своего воображения представить, каково будет искусство слова в веках грядущих, каковой окажется роль литературы в будущем художественном развитии человечества. Нет слов, перспектива дальнейшего движения речевого искусства не может не привлекать внимание исследователей. Тем более в наш век пытливого прогнозирования и всеохватного программирования во всех областях, в том числе в духовной жизни человека.

С древнейших времен, однако, замечено, что знать будущее едва ли кому дано. И неумолимая сама история — неопровержимый тому свидетель. Все же в природе и обществе нет и не может быть запретов на прогнозирование. Необходимы лишь верные исходные сведения, «вводные данные», многообразная, комплексная информация. Иными словами, нужны точные знания, фактологические источники, реальная ситуация, чтобы прогноз и программирование оказались продуктивными. Иначе все ограничится лишь предположением, гипотезой, быть может блестящей, привлекательной, но всего лишь гипотезой.

И в этой связи существенны не только явления «больших литератур», великих цивилизаций прошлого и современности. Не следует пренебрегать и так называемыми «окраинными» литературами малых народов, которые часто либо забываются, либо мало известны. В научном анализе невозможно сбрасывать со счетов то, что создается народами — великими и малыми — в сфере человеческих ценностей: они имеют одинаковое право на легальное существование, на свой вклад в общемировую сокровищницу литературы. Уже хотя бы по той причине, что каждая литература обладает национальной своеобычностью, неповторимым художественным восприятием действительности. Нет нужды приводить здесь классические примеры недооценки или равнодушия современников к тому, что потомки признают шедеврами искусства слова.

Правомерен в этой связи вопрос о том, насколько научно оправданно размежевание, так сказать, на литературные величины — малые и великие. В сфере культуры, как-то заметил Георгий Димитров, нет понятий о культурах народов малых или больших. Для культур — одна мера, независимо от того, велик или невелик народ, ее породивший. Случается, что каким-то литературам история выделяет места больше, чем другим, а некоторым в определенных исторических условиях — меньше, чем другим. История литературы не всегда совпадает с общей историей человеческого развития. Тут возникают самые неожиданные контрасты. Следует сказать, что советское литературоведение постоянно проявляет внимание к проблемам литератур малых народов, выражая таким образом уважение к национальным традициям каждого народа, независимо от его численности.

Вопрос, однако, в том, что литературоведение не всегда располагает должными сведениями о всем происходящем в общемировом литературном процессе. Относится это, смеем заметить, в равной мере к литературам больших и малых народов.

Не стремясь к какой-либо всеохватности современного мирового литературного процесса, позволим себе лишь привлечь внимание к одному из явлений очень малоиз-

[1] «Это — народный поэт в благородном смысле слова» *(нем.)*.

вестной у нас литературы Суринама, молодого южноамериканского государства.

Много ли мы знаем о самой стране Суринам, народе, духовной его жизни, литературе? Не так уж много. Географически Суринам — южноамериканская страна. Свое название Суринам берет от реки, протекающей по территории этой страны. Столица государства Парамарибо — типичный колониальный город, застроенный в старом голландском стиле. Не без причины его называют некоей копией Амстердама.

На протяжении XVIII века в Суринаме, куда ранее было ввезено из Африки триста восемьдесят тысяч рабов, происходили восстания негров, которые беспощадно подавлялись голландскими колониалистами. Согласно историческим источникам, английская колонизация Суринама началась в первой половине XVII века, но в 1667 году Англия передала Суринам Нидерландам в обмен на Новый Амстердам — территорию нынешнего Нью-Йорка. Суринам был нидерландским владением почти три века, вплоть до 1975 года, когда в результате долгой борьбы страна добилась независимости и стала буржуазной республикой. В 1980 году в Суринаме произошел военный переворот, к власти пришел Национальный военный совет, провозгласивший программу «морального оздоровления всей суринамской нации», позже образовавший гражданское правительство.

Население Суринама разнообразно: большинство составляют индийцы, затем идут креолы, индонезийцы, негры, китайцы, европейцы и индейцы. Государственный язык Суринама — голландский, но различные национальные группы, сохраняя свои национальные языки, общаются между собой на смешанном жаргоне — «таки-таки» (негерэнгелс). В стране действуют индуистские храмы, мечети, христианские церкви, синагоги.

В Суринаме мы встречаемся с культурой народа, объединяющей в себе самобытную жизнь и вывезенных в Америку в рабство, но не покорившихся, не сломленных духовно людей. Людей, продолжавших на протяжении веков сражение за свою человеческую свободу, страстно выступая против национальной и социальной несправедливости, против расизма отстаивая права африканских народностей защищая древнюю культуру выходцев из Индии, Индонезии и других стран Азии. Людей, которых привела к берегам Южной Америки в конце XIX века жестокая нужда и единственное желание — получить работу, средства существования, возможность жить. Это были немногочисленные выходцы из Нидерландов и других европейских стран.

И вот недавно пришла к нам вышедшая в 1982 году небольшая по объему книга на голландском и английском языках «Послания с солнца. Стихи 1965—1980». На ярко-желтой обложке ее значится имя автора — Добру (действительное имя — Робин Равалес), родившегося в 1935 году. Видный поэт, писатель и общественный деятель Суринама.

Добру, как нам удалось установить благодаря любезной помощи советского посла в Суринаме И. Д. Бубнова, получил признание как литератор в связи с публикацией повести «Ван Монки Фри» (язык — сернанг, 1969), сборников стихов «Босми эсэси» (1967, 1972), «Сегодня цветы расти не должны» (1972), «Фестиваль» (1978) и других произведений.

Узнали мы также, что с юных лет Добру участвует в суринамском рабочем движении, в деятельности прогрессивных организаций. Был одним из основателей патриотической группы суринамских писателей «Мутете». В настоящее время Добру — один из руководителей прогрессивного профсоюзного объединения, известного под названием «С-47».

Добавим ко всему: Добру активно выступает за развитие отношений дружбы и сотрудничества с Советским Союзом, с другими странами социалистического содружества. Он — председатель Общества суринамо-кубинской дружбы, член президиума Ассоциации дружбы с Советским Союзом.

Для Добру поэзия — средство и форма выражения общественного сознания. Именно в этой связи следует рассматривать рождение поэтической индивидуальности, художнической его зрелости. Главным критерием при анализе произведения, думается, только и может быть — общественная и эстетическая его значимость.

Послушай, добрая душа Джэнуа,
Как хорошо — не правда ль? —
Быть... быть черной
В Балтиморе! —

читаем в стихотворении Добру «Хэлло, Джэнуа».

Поэт говорит о том, что ему постоянно слышатся голоса уличных чистильщиков сапог, страдающих от голода в белом Вашингтоне:

Эй, брат неведомый, Джонни,
Как хорошо — не правда ль? —
Быть... быть черным
В Вашингтоне!

Из песен твоих, Джонни, пишет далее поэт, я знаю о родных деревнях — фортах твоих и островках средь «белых» территорий, которым посвящаются поэмы и полотна.

Эй, брат неведомый, Лерой,
Как хорошо — не правда ль? —
Быть... быть черным
В Гарлеме!

Поэт помнит, как сердечным стоном, блюзом голода и криком гетто гармоника губная неизвестного его брата Чарльза надрывалась пред Белым домом, моля о справедливости и милосердии для бедных, угнетенных и бесправных.

Пой песню, брат мой — чистильщик сапог
Ты платья шей, сестрица Джэнуа,
Руби, махагони[1] мой брат Альфред.
Дуди в гармонику,
Точи стихи, поэт...

Добру призывает своих соплеменников неустанно добиваться того, чтобы стало хорошо всем людям, любых оттенков цвета кожи на всей земле — в Анголе, на Кубе или в Суринаме.

Добру — человек и поэт, зараженный духом протеста и гнева против социальной

[1] Красное дерево.

несправедливости, унизительного существования в частнособственническом обществе своекорыстия и зла. Это — глубоко самобытная и интернационалистски отзывчивая душа. Рано или поздно каждый художник должен, по слову поэта, парус свой меж рифов провести, обрести истину, которая способна сделать его свободным. Важно ее постигнуть, стремясь к миру совершенному, миру достоинства и нравственных ценностей.

Дерево — одно, а так много листьев. Дерево — одно... И река — одна, но тысячи ручьев. И каждый пробивается навстречу морю. Голова — одна, но сколько разных дум, из которых хоть одна родит добро:

Суринам — один.
Цвет волос различен у людей.
Множество наречий...
И один народ,—

говорит Добру в стихотворении «Дерево».

Трассы революций на землях Латинской Америки... Поднявшиеся народы продвигаются к своему лучшему завтра. Куба, Никарагуа, Гренада, Суринам.

Внимание в этой связи привлекает заявление, опубликованное в апреле 1983 г.:

«Нынешнее правительство Соединенных Штатов начало войну против народа и правительства Никарагуа.

Это необъявленная война. Американский конгресс не давал на нее согласия. Следовательно, война против Никарагуа — антиконституционна.

Это тайная война. Американский народ не давал согласия на использование общественных фондов для ведения войны во имя предполагаемой разведывательной деятельности.

Это неразумная война: она отвергает дипломатический диалог, не попытавшись им по-настоящему воспользоваться.

Это реакционная война. Соединенные Штаты создали и затем поддерживали продажную диктатуру семейства Сомоса почти полвека.

Для этого Соединенные Штаты вооружили палачей и убийц-сомосистов против народа Никарагуа.

Это бесчеловечная война: она уничтожает скромные, но важные достижения никарагуанской революции. Уничтожаются урожаи и школы Никарагуа. Убивают детей и крестьян Никарагуа.

Это опасная война: она втягивает страны Центральной Америки в конфликт между Востоком и Западом. Эта интернационализация может превратить локальный военный конфликт в международный и уничтожить почву для решения вопроса дипломатическим путем, почву для демократии и социального прогресса в этом регионе.

Это предательская война. В нынешнем веке Соединенные Штаты трижды выдумывали предлоги для вторжения в Никарагуа. На этот, четвертый, раз вашингтонское правительство поступает как наниматель, натравливая друг на друга братьев и нации региона.

Это безнравственная война. Снова сверхдержава заявляет, что независимость маленькой страны представляет для нее угрозу и пытается уничтожить или разрушить силой эту независимость.

Очевидно, правительство Соединенных Штатов в своих действиях против Никарагуа хочет поставить мир перед свершившимся фактом, что исключало бы оппозицию или обсуждение.

Но мы верим, что народ Соединенных Штатов, общественность и демократические институты этой страны не замедлят выступить против этой аморальной, опасной и бесчеловечной авантюры, предпринятой правительством Рейгана».

Заявление подписали крупнейшие писатели мира: Габриэль Гарсиа Маркес, Карлос Фуэнтес, Гюнтер Грасс, Хулио Кортасар, Генрих Бёль, Грэм Грин, Уильям Стайрон.

Мы думаем, пишет Добру, что революция — это винтовка... Нет, революция есть производство. Чтоб больше было для бедных, для рабочих, крестьян. Больше для молодежи. Больше школ, больше рабочих мест.

Когда произносится слово «янки», продолжает Добру, рождается усмешка, но каждый готов винтовку достать, не мешкая.

Знаменательно также обращение деятелей культуры Кубы, Гренады, Никарагуа, Суринама, Сальвадора, Гватемалы и Пуэрто-Рико к своим коллегам в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, опубликованное в печати в мае 1983 г.

Как известно, говорится в обращении, в нашем регионе — в Центральной Америке и Карибском бассейне — вследствие неприкрытой провокации со стороны нынешней североамериканской администрации в эти дни идет необъявленная война против Никарагуа, усиливается и без того значительная помощь режимам геноцида в многострадальных Сальвадоре и Гватемале, готовится агрессия против Гренады, Суринама и Кубы, продолжает томиться под почти вековым гнетом народ Пуэрто-Рико. Наши народы противопоставляют этому упорную волю к борьбе, начало которой восходит к очень отдаленным временам. Именно в этом регионе в конце прошлого века под руководством Хосе Марти началась первая в западном полушарии антиимпериалистическая война. Американское военное вторжение на Кубу в 1898 году не только на шестьдесят лет превратило эту формально независимую страну в неоколонию, но и поставило Пуэрто-Рико в положение колонии рождавшейся тогда империалистической державы. Нелишне, пожалуй, напомнить, что в 1898 году оставалось еще 19 лет до русской революции 1917 года, и потому даже самые предвзятые настроенные люди не могут расценивать эти события как эпизоды в споре между Западом и Востоком.

Щупальца американского империализма тянутся по всему миру, высасывая богатства наших народов, ради этой цели угнетая их в экономическом, социальном и культурном отношении. Когда его планы наталкиваются на препятствия, он прибегает к помощи армий данной страны, как, например, в Сальвадоре в 1932 году, когда была устроена бойня, в результате которой погибло тридцать тысяч крестьян, или к услугам наемников, как в Гватемале в 1954 году, когда с их помощью было свергнуто прогрессивное правительство, или посылает собственные войска, как это было в Ника-

рагуа в 20-е и 30-е годы, когда героические отряды под командованием Аугусто Сесара Сандино нанесли им поражение, вписав в нашу историю одну из самых славных страниц. Бойцы из отрядов Сандино шли в бой, осененные гордым черно-красным знаменем. Несколько десятилетий спустя это черно-красное знамя было поднято снова, на этот раз на Кубе, как символ Движения 26 июля — движения, проникнутого идеями Марти, которое привело народ к победе в январе 1959 года. А еще через двадцать лет, когда знамя и идеи Сандино вновь подняли на борьбу народ его страны, Сандинистский фронт национального освобождения одержал победу в Никарагуа. Несколькими месяцами ранее движение «Нью джуэл» в Гренаде также сумело проложить путь к истинной революции. Во всех случаях борьба против кровавых проимпериалистических диктатур была выражением проходивших в каждой стране общественных процессов; во всех случаях народы оплатили свободу высочайшей ценой — кровью многих лучших своих сыновей и дочерей.

Подобное же положение сложилось теперь в Сальвадоре и в Гватемале. Главной причиной возникновения повстанческих движений остается ужасающая эксплуатация империалистов и кровавые марионеточные режимы, покорно служащие самым низменным интересам Соединенных Штатов и пользующиеся их неограниченной поддержкой.

Мы ясно отдаем себе отчет, говорится далее в обращении, в том, что глубокие преобразования, происходящие в наших странах, неизбежно должны вызывать нападки и клевету со стороны тех, чьи интересы тут затрагиваются, и их защитников. Однако нас огорчает, что в числе последних оказываются известные писатели и деятели культуры других континентов, наверняка сбитые с толку подобными кампаниями. Чувство чести и стремление к правде, которыми должны руководствоваться люди, создающие духовные ценности, заставляют нас обратиться к вам, наши соотечественники по общей большой латиноамериканской и карибской родине, к тем, кто знает нашу действительность, живет в некоторых странах в таких же условиях и заслуживает уважения лучших своих коллег во многих частях света: давайте все вместе бороться за прорыв еще одной из форм империалистической блокады — блокады информационной, против сокрытия или чудовищного искажения правды, создания неверного общественного мнения.

Мы хорошо знаем, что в современном мире существуют пытки, эксплуатация, расизм, безработица, проституция, колониализм и тысячи форм человеческого унижения. Но чтобы бороться против этих язв, мало указывать, что где-то их нет. Будем же показывать сами и поможем другим показать, что же в действительности происходит в наших странах, будем разоблачать настоящих агрессоров. По мере наших сил будем способствовать тому, чтобы вернуть себе власть над словом, силой отобранную у нас транснациональными компаниями, и этим словом будем распространять правду о нас так, чтобы ее могли услышать все.

Вот еще один способ помочь честным людям остановить пожар мировой войны, который может начаться как локальный, но затем разрастись и охватить всю планету, а это, как легко предвидеть, приведет к страшным последствиям.

Обращение подписано известнейшими писателями Латинской Америки: Кларибель Алегрия, Манлио Аргета, Тирсо Каналес и Лилиам Хименес (Сальвадор), Рикардо Алегрия и Мануэль Мальдонадо Денис (Пуэрто-Рико), Мануэль Хосе Арсе, Артуро Ариас, Хосе Луис Баркарсель, Луис Кардоса-и-Арагон Аугусто Монтерросо и Мануэль Галич (Гватемала), Ханс Каприно (Суринам), Эрнесто Карденаль, Хосе Коронель Уртечо, Лисандро Чавес Альфаро, Карлос Мехиа Годой, Росарио Мурильо, Луис Роиа и Фернандо Сильва (Никарагуа), Сесил Белфон и Ричард Харт (Гренада), Николас Гильен, Онелио Хорхе Кардосо, Антонио Нуньес Хименес, Хосе Антонио Портуондо, Роберто Фернандес Ретамар и Элисео Диего (Куба) и другими.

Щедра талантами своими латиноамериканская литература. Она в поисках новых путей. И мы знаем, что трудны, полны испытаний, но верны ее пути. Она немыслима вне судеб своих народов, судеб земли, их национального и социального раскрепощения, свободы и мира.

Н. ФЕДОРЕНКО

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Пантелей Зарев. Теория на литература. В два тома. София, «Наука и изкуство», 1979.
Пантелей Зарев. Теория литературы. В 2-х томах. 1979.

Эстетика в духовной культуре Болгарии занимает прочное место. Мне не приходит на ум другая страна, в которой Академию наук возглавлял бы эстетик. В Болгарии же организационно-научная и теоретическая деятельность эстетика — президента Академии наук, академика Тодора Павлова протекала многие годы, и его эстетические труды имели широкий международный резонанс. В работах, выступлениях, докладах руководителя страны товарища Тодора Живкова уделяется огромное внимание проблемам искусства и литературы, и этого выдающегося деятеля международного коммунистического движения можно часто видеть на выставках, просмотрах, фестивалях и других художественно-культурных мероприятиях Болгарии.

Прекрасное как эстетическая категория воплотилось в природу и облик людей Болгарии, героическое — в борьбу и труд, а категория комического обрела всемирно признанную прописку в Доме Смеха в Габрово и в великолепной карнавально-комедийной традиции габровских фестивалей смеха.

В Болгарии работает целая плеяда замечательных теоретиков литературы и искусства, труды которых широко известны и

в СССР, и в других социалистических странах. Можно вспомнить в этой связи глубокие эстетические работы А. Лилова, П. Данчева, К. Горинова, А. Натева, А. Стойкова и других. Голос болгарских эстетиков громко и внятно звучит на международных конгрессах по эстетике и других международных теоретических симпозиумах и встречах. Болгарские теоретики последовательно отстаивают и развивают марксистско-ленинское учение об искусстве. Характерны в этом отношении интересные книги А. Лилова «О природе искусства», «О природе художественного творчества».

Творческий, исследовательский труд являет собой и двухтомник известного болгарского литературоведа, академика Пантелея Зарева «Теория литературы».

Огромен сам масштаб монографии П. Зарева. Даже перечень проблем, разрабатываемых П. Заревым, впечатляет. Тут отношение литературы к действительности и языка к тексту, проблемы стилистики и поэтика текста, композиции (построения произведения) и вопросы драматичного, возвышенного, комичного, сатирического, трагического, вопросы жанра, отношение стиха и прозы, дихотомия содержания и формы и особенности литературного процесса, его этапы и взаимодействия литературы с другими формами общественного сознания, вопросы рецептивной эстетики, проблемы творческой личности и творческого акта, проблемы литературной критики и другие. Впечатляют не только общие масштабы и широчайший охват проблем, но и подробность их анализа. Обширные историко-эстетические и общекультурные материалы и сведения включены в труд П. Зарева.

Все это создает сложную многорубриковую структуру книги, отраженную в ее подробном и многоступенчатом оглавлении, которое занимает 14 стр. (в обоих томах). «Теория литературы» П. Зарева — труд, стремящийся к всеохватности проблематики.

Литература рассматривается П. Заревым в ее связи с действительностью как ее отражение, воплощение и дополнение. Литература создается творческой личностью, пересоздающей и претворяющей в образы впечатления бытия. В этом творческом процессе художнику свойственна историческая и личная субъективность. Словесное искусство, по П. Зареву, выступает как познание, эмоциональное отношение, произведение имеет смысл и ценность и обладает социально-коммуникативной функцией.

Специальный раздел книги посвящает П. Зарев проблеме «Язык и текст». Слово рассматривается автором как сигнал, знак, познание, образ. Выявляя языковые аспекты литературы, П. Зарев подчеркивает близость лингвистики и литературоведения и характеризует их различия. Автор дает аргументированную критику языково-формалистических концепций литературоведения и, в частности, теорий ОПОЯЗа.

Сложнейшие отношения знака и образа в связи с художественностью текста и проблемы поэтики и стилистики оригинально освещаются П. Заревым.

Пантелей Зарев стремится преодолеть учебно-дидактический характер большинства «теорий литературы» и пытается создать единую модель литературы как целостного художественного, культурно-исторического феномена. Он поставил в центре исследования фундаментальный вопрос литературоведения о сущности и социальных функциях художественной литературы, обуславливающий возможность ее типологического изучения. В книге болгарского литературоведа традиционные подходы к литературе сосуществуют с современными, дополняют их и позволяют использовать при анализе литературного процесса достижения современного научного знания из области психологии творчества, лингвистики, рецептивных исследований и т. д. Системный взгляд на литературу дан как в историческом разрезе, так и в жанрово-видовом многообразии. Автор вводит в теорию литературы вопрос о восприятии (рецепции) художественного произведения, вопрос о читателе, вопрос о литературной критике и вопрос о взаимодействии с эстетической теорией.

П. Зарев рассматривает понятие художественного образа и с позиций семиотики. Он анализирует соотношение смысла и значения в литературном произведении, подробно освещает коммуникативный характер литературы.

Большое внимание П. Зарев уделяет анализу отношения «язык — текст», подводит теоретическую базу под марксистское понимание этого аспекта литературного процесса, критически освещает лингвистические и семиотические спекуляции вокруг этих проблем в буржуазной теории. Автор подвергает критике ее тенденции, в которых предпринята попытка свести литературу как многогранное и сложное явление духовной культуры только к знаковой природе текста.

Кроме традиционных понятий сюжета и фабулы в книге рассмотрены пространственно-временные и причинно-следственные связи произведений, раскрыты специфические характеристики композиции и строения художественной структуры, отношения сюжета и фабулы, вопросы художественной концепции.

П. Зарев рассматривает основные типы характеров в литературе, раскрывает диалектику типического и индивидуального, фактического и вероятного, документального и достоверного, показывает возможности и смысл идеализации и деформации при развертывании сюжета, при построении художественного произведения.

В книге ставятся и далеко не традиционные вопросы для литературоведения: проблема абсурда и парадокса в построении художественного образа, в создании литературного героя; проблема художественного пространства, мифа и другие. Общие принципы деления литературы на виды и жанры освещаются на основе новых материалов и новых достижений литературной теории, на основе новых фактов литературной жизни. Автор разрабатывает не только жанровую типологию литературы, но и анализирует жанровые взаимодействия, внутрижанровые структуры и образования.

Книга болгарского литературоведа богата иллюстративным материалом. В качестве литературных примеров автор отсылает как к произведениям болгарских писателей, так

и к многочисленным произведениям мировой литературы.

Не все бесспорно в этом труде. Взаимоотношения языка и текста у П. Зарева выпрямлены. Удачно ли представление автора о психологической автоматизации «перехода языка в текст»? Эта формулировка слишком близка сюрреалистической идее «автоматизма письма» и «отключения разума».

Теоретико-литературные проблемы рассматриваются П. Заревым в связи с литературным процессом, и основную категорию этого процесса — художественное направление — ученый характеризует особенно обстоятельно. П. Зарев пишет: «Литературное направление не каприз отдельной творческой личности, а этап в душевном развитии общества, народа, человечества. В этом плане «школа» есть временное проявление, эстетическая разновидность общего... Литературное направление есть «синоним» исторического движения...» Литературное направление, по мнению П. Зарева, есть результат объединения писателей на основе единой идейно-художественной позиции. Это объединение происходит на базе определенной эстетической программы, не обязательно зафиксированной в документах, но функционирующей как художественная практика. Все эти характеристики верно освещают художественное направление. Однако некоторые аспекты этой категории все же остаются нераскрытыми в книге.

Это говорит о том, что обширный объем книги оказался недостаточным для того масштаба проблем, которые занимают автора. Однако, с другой стороны, очевидна необходимость дальнейшей авторской разработки поставленной в этой интересной и содержательной книге проблематики. Хотелось бы также подчеркнуть, что главным пожеланием является не столько даже расширение проблематики или дальнейшее углубление затронутых тем, сколько нахождение принципа системного изложения вопросов теории литературы.

В целом книга П. Зарева «Теория литературы» — научно ценное издание, фундаментальный труд, продвигающий вперед марксистскую разработку проблем науки о литературе.

ЮРИЙ БОРЕВ

ТОСКА ПО ДОМУ

Anne Tyler. Dinner at the Homesick Restaurant. New York. Alfred A. Knopf. 1982.

Энн Тайлер. Обед в ресторане «Тоска по дому». 1982.

У этого романа (для Энн Тайлер девятого по счету) интригующее название. Поскольку названия очень важны для понимания авторского замысла, стоит задуматься над тем, что означает название новой книги Тайлер. Внимательное чтение помогает кое-что уяснить. «Обед в ресторане «Тоска по дому» — это история жизни Перл Тулл и ее троих детей: Коди, Эзры и Дженни. Роман начинается сценой, когда героиня умирает в возрасте восьмидесяти пяти лет, и завершается сценой похорон и поминального обеда, на котором собирается вся семья. Эти две главы служат своеобразным обрамлением для остальных восьми, в которых и рассказывается история Перл и ее детей.

Перл выросла в маленьком городке округа Гаррет, штат Северная Каролина. Она родилась в последнем десятилетии прошлого века. К тридцати годам героиня все еще не замужем, да и надежд на счастливый брак у нее заметно поубавилось, и тут в ее жизнь стремительно врывается Бек Тулл, который моложе ее на шесть лет. «Во мне вдруг проснулась авантюристка»,— впоследствии говорила она, вспоминая, как приняла ухаживания этого молодого и красивого коммивояжера из крупной корпорации и согласилась выйти за него замуж. В свои тридцать лет она, естественно, не могла позволить себе роскошь долго раздумывать над тем, что принесет ей такое решение, да и в конце концов что толку от таких раздумий. Удел женщины, как его тогда понимали, — выйти замуж и рожать детей. Все подруги Перл к тому времени уже повыходили замуж, вот и Перл решила не упускать своего шанса. Казалось, судьба наконец улыбнулась ей — она была счастлива. Потом, спустя годы, это решение будет казаться ей необдуманно опрометчивым, но, как говорится, все крепки задним умом...

Первые шесть лет их брак бесплоден. Потом рождается Коди, который тут же серьезно заболевает и чудом остается в живых. Перл, которой уже за тридцать пять, мечтает о втором ребенке (вдруг что-то случится с первым) — она все время стремится жить «логично», — и на свет появляется второй сын, Эзра. Через два года рождается и дочь Дженни. К этому времени Перл уже сорок, а мужу ее — тридцать четыре. В один прекрасный день (дело происходит в 1944 году, когда Перл — пятьдесят, а детям, соответственно, четырнадцать, одиннадцать и девять), он сообщает ей, что устал от их брака и намерен оставить семью и Балтимор, где они живут. Перл не в состоянии удержать его. Логика и здравый смысл тут бессильны. Почему Бек решает вдруг бросить жену и детей? Читатель имеет все основания предположить, что брак Перл и Бека был несчастливым, хотя они и прожили вместе двадцать лет. Вера Перл в аккуратность и порядок во всем начинает рушиться, но она берет себя в руки и воспитывает детей одна.

То, что могло бы стать источником трагедии и началом распада семьи Перл, на самом деле приведет лишь к укреплению и развитию тех ее личных качеств, которые в свое время побудили героиню решиться на позднее замужество, родить троих детей, а потом сносить постоянные отлучки мужа по делам службы и в конце концов его уход. Эти качества — стойкость и упорство. Дети скорее побаиваются, чем любят мать, но ее властность оказывается той силой что объединяет семью в одно целое. Семья — это все, снова и снова повторяет она детям, и для нее это не пустые слова. Это ее девиз.

Тех денег, что изредка присылает Бек, на жизнь не хватает, и, чтобы прокормить себя и детей, Перл поступает работать

кассиршей в бакалейный магазин. Семье приходится трудно, Перл и ее детям выпадает не так уж много счастливых дней, однако каждый из них, благодаря стараниям матери и своим собственным усилиям и возможностям, находит работу и заводит семью. Только Эзра так и не женится. Он становится совладельцем ресторана, который, после смерти своей партнерши миссис Скарлатти, он переименовывает в ресторан «Тоска по дому», и продолжает жить вместе с матерью.

Да ведь это же просто замечательно, скажут многие,— Перл, женщина, не получившая никакого образования, сумела сама, без посторонней помощи поднять семью, добиться того, чтобы ее дети прекрасно устроились в жизни: Коди — консультант по проблемам производительности труда, Дженни — врач-педиатр, Эзра — повар, затем владелец ресторана. Перл — женщина, которая в детях видит цель своего существования. Это действительно прекрасно, и не случайно об этом подробно говорил священник в своей речи на похоронах Перл. Но есть и другой образ Перл, куда менее привлекательный, рождающийся в авторских комментариях к словам священника и в потоке сознания Коди: «Священник упустил из виду, а может быть, и не знал, что тридцать с лишним лет она была властной, сердитой и порой устрашающе грозной матерью, равнодушной к тому, что творилось за пределами ее личного мира-дома, и держалась словно пришелец из иного, высшего миропорядка... Да, она прожила долгую жизнь, но была ли она полноценной? Нет, это была какая-то урезанная несостоявшаяся жизнь... Или — Коди мучительно подыскивал верное слово,— ну как поступают с садовыми растениями? Накручивают на веревочку и пускают по стене»

В разговоре с отцом на поминальном обеде Коди выразится еще резче: «неистовая, сварливая, совершенно непредсказуемая», а Бек чуть позже скажет о Перл: «Она меня совершенно измотала... Она вытянула все то хорошее, что во мне было». Но в обрисовке характеров автор избегает однозначных решений, отсюда вполне уместен вопрос: «А каков сам Бек?» Свободен ли от упреков он, появляющийся на похоронах жены после тридцати пяти лет отсутствия? Конечно же, не свободен, и недаром Коди произнесет слова, исполненные настоящей боли: «Мы были детьми, маленькими, беспомощными детьми, мы так ждали от тебя защиты. Мы все слушали у дверей, вдруг раздадутся твои шаги и ты придешь защитить нас, но тебе не было до нас никакого дела. Ты и пальцем не пошевелил ради нас».

Нет, роман этот отнюдь не хвалебная песнь в честь женщины, которая одна растила детей и помогла им, несмотря на все препятствия, стать достойными членами общества. С другой стороны, и Бек не рисуется лишь одной черной краской. Каждый из персонажей романа рассматривается с разных сторон, и никто из них не избегает строгого суда. У Коди немало претензий и к матери, и к отцу. Но вправе ли он судить их, если, как напоминает автор, сам в свое время отбил невесту у своего брата Эзры и женился на ней. Но почему же Рут так быстро забыла своего первого жениха Эзру и почему Эзра так легко примирился с ее уходом? Почему после этого он вообще вычеркнул женщин из своей жизни? Неужели такая слабость характера выдается за достоинство?

В романе Тайлер нет героев без страха и упрека. Все они средние американцы в самом прямом смысле слова. У них есть недостатки, есть и достоинства, и эти достоинства, кстати сказать,— предмет особого внимания автора. Коди показывает себя с лучшей стороны в отношении к сыну Льюку (памятуя о своем детстве, он торжественно клянется никогда не покидать его). Эзра проявляет себя готовым на любовь и самопожертвование ради властной матери — в отличие от Коди он не позволяет себе и подумать о ней плохо. Дженни, самая младшая в семье, склонна принимать поспешные решения, когда дело касается замужества (она дважды разводилась),— а потом не долго думает, прежде чем бросить очередного, нелюбимого, мужа. Но все это не должно заслонять того обстоятельства, что в третий раз она выходит за человека, которого покинула жена, оставив его с шестью детьми, один из которых совсем маленький. Дженни старается стать заботливой матерью для детей нового мужа — и для своей дочери от второго брака. Не все человеческое утеряно и Беком.

Стало быть, семейный роман? Роман о трех поколениях самой обыкновенной американской семьи, о жизни ее отдельных представителей с начала двадцатых по 1980 год? Исчерпывается ли этим смысл и содержание романа Энн Тайлер? Нет, конечно. Это роман о несчастливой семье, о поломанной семье. Каждый из ее членов по-своему несчастен и вызывает наше сочувствие. Вызывает нашу любовь. Чувство семьи крайне важно для этих «обыкновенных американцев». Но, с другой стороны, так ли идеально достигнутое ими единство? Вспомним педантизм, негибкость и нетерпимость Перл. В основах всех поступков Коди — эгоцентризм, его брат Эзра крайне неуверен в себе; эмоциональная неустойчивость определяет характер Дженни. Разлад внутри каждого из героев только подчеркивается отсутствием гармонии в их взаимоотношениях. Так было у Перл с Беком, так будет потом у братьев Коди и Эзры, у Дженни с ее мужьями. Это отсутствие гармонии символически подчеркивается неудачными семейными обедами в ресторане «Тоска по дому». Эзра обожает принимать гостей, вкусно угощать их. Он прекрасный кулинар, и ничто не радует его больше, чем мысль о том, что вся семья соберется за одним столом. Но, увы, еще ни разу такие встречи не заканчивались миром. Кто-то — Перл, Коди, Дженни — непременно на кого-то рассердится и в гневе покинет ресторан. Не стал исключением и поминальный обед: упреки, брошенные Коди отцу, заставят того встать и уйти в середине обеда. Потом, правда, старого Бека отыщут сидящим на ступеньках соседнего дома и приведут обратно — единство будет восстановлено, и за десертом семья окажется в полном составе. И все равно возникает ощущение, что это скорее исключение из печального общего правила — в основе своей контакты между членами этой семьи безнадежно на-

рушены. Но, несмотря на бесконечные разочарования, Эзра — в этом можно не сомневаться — снова постарается собрать всех за одним столом в его ресторане, и снова все придут туда. Они всегда приходят, словно не переставая надеяться, что теперь-то все будет по-хорошему.

Что же хочет сказать своим романом Энн Тайлер? Она дала изображение типичной американской семьи на фоне американской действительности. В этой семье царит неблагополучие, и ресторан «Тоска по дому», пожалуй,— все, что осталось у этой семьи и не дает ей окончательно распасться. Единство семьи хрупко и по сути дела призрачно. Так что же случилось с американской семьей? Неужели у нее больше нет дома, кроме ресторана с таким странным названием?

Это название — только Эзре оно кажется вполне естественным — указывает на общее для персонажей романа стремление обрести то, что давным-давно утеряно (или вообще никогда не существовало),— Родной Дом. Ведь по сути у семьи Тулл его никогда и не было. Они страстно взыскуют такого дома, но вынуждены довольствоваться рестораном: ирония обстоятельств, которая не остается незамеченной читателями Тайлер. Нетрудно предположить, что ресторан «Тоска по дому» — своеобразная метафора: люди, мечтающие о любви и понимании, тянутся друг к другу, но кончают разладом. Эзра великолепно готовит, но его кулинарное искусство не приносит радости его родственникам. Им не хватает терпимости по отношению друг к другу и умению радоваться. Каждый из них достиг определенного успеха в жизни, но никто из них не может назвать себя счастливым, все они тоскуют по тому, чего не в состоянии принести материальный успех.

Герои Тайлер олицетворяют собой способ существования, который формулирует Бек, когда пытается объяснить Коди, почему он ушел от Пера: «Страшная была какая-то серость, серость во всем вокруг, какая-то мешанина полуправды, полулжи. Все запутано, перемешано, лишено изначального совершенства. Я больше так не мог. Не мог так жить. Ваша мать могла, а я — нет».

Эта тоска — удел существования, которое можно терпеть, но от которого нельзя убежать, как это попытался сделать в свое время Бек. Не исключено, что Бек, воссоединившись со своей семьей на похоронах Перл, осознает необходимость принять эту «тоску по дому». Время от времени в романе ощутимы интонации негритянских спиричуэлс, даже возникает ощущение, что автор хочет нам внушить, что мы всего лишь странники в этом мире и в конце концов ресторан «Тоска по дому» — лишь временное наше пристанище, не лучше и не хуже других. Может быть, это и так, но важно другое. Семья Тулл — это микрокосм американского общества второй половины двадцатого столетия, и ресторан под названием «Тоска по дому» — символ американской действительности, где слишком многое искажено и дисгармонично. Всех нас гложет тоска, все мы страдаем от утраты чего-то, а чего именно — и сами не знаем. Мы задыхаемся от «серости, страшной серости, мешанины полуправды, полулжи»— и вместо дома и любящей семьи снова и снова оказываемся в ресторане «Тоска по дому».

ИОАКИМ Т. БЭР,
г. Гринсборо

В ПОИСКАХ ЦЕЛЬНОСТИ

Американский коллега Иоаким Т. Бэр удачно использовал, как сказали бы шахматисты, преимущество первого хода: нечто весьма важное о новом романе Энн Тайлер он, думаю, сказал. Критик не поддался соблазну легкого чтения и легких оценок, не обманулся кажущейся очевидностью, не смутился вызывающей непритязательностью вполне частной, на первый взгляд, истории. В самом деле, ведь ничего, кроме семейных ссор и примирений, в книге фактически не происходит; события внешнего мира, протяженная полоса национальной истории (от 20-х годов до наших дней) отзываются на страницах романа лишь последними отзвуками затухающего эха. Начало 30-х годов — пора тяжелой экономической депрессии — осталась в воспоминаниях героини лишь как время распространения крупозных заболеваний и важных семейных перемен: опасаясь потерять единственного сына, она решает завести новых детей. О сороковых только и сказано: «шла война, производство было на подъеме». Шестидесятые: Перл едет навестить внука, и ее соседями в поезде оказываются «свежеиспеченные солдатики, отправляющиеся во Вьетнам».

Вот и все.

Нет, совсем не все.

Верно, выходить за пределы одной семьи писательница избегает: даже покидая дом, разбредаясь по большой стране, герои не особенно вглядываются в то, что происходит вокруг. Но это вовсе не значит, что роман Э. Тайлер социально невесом. Пренебрегая **конкретными** приметами, конфликтами времени, автор создает обобщенный (при полной пластичности повествовательного рисунка) образ капиталистической цивилизации, обнажает самый тяжелый и неизлечимый порок позднебуржуазной истории: дегуманизация, разрыв человеческого сообщества на отдельные звенья замкнутых существований. В таких художественных условиях частные эпизоды подобны почкам на деревьях: в свернутом виде они содержат всю полноту жизни. Так, вновь и вновь повторяющаяся сцена незавершенного обеда, который тщетно стремится организовать Эзра, вырастает до масштабов социального символа эпохи.

Об этом, собственно, и пишет И. Т. Бэр: «Семья Тулл — это микрокосм американского общества второй половины двадцатого столетия, и ресторан под названием «Тоска по дому» — символ американской действительности, где слишком многое искажено и дисгармонично». И в этих словах схвачена существенная идея книги.

Но теперь, вновь прибегая к шахматной терминологии, наступает очередь моего хода. Правда, делаю я его с некоторым смущением, и не потому, что сомневаюсь в правильности, а потому, что всегда испы-

тываю неловкость, вступая в полемику или, по крайней мере, корректируя суждения американских критиков об американской же литературе. Ведь для них за этой литературой — при условии ее подлинности — встают живые люди и живые драмы — **свои** драмы. Что, в частности, легко ощутить, читая хотя бы последние строки рецензии И. Т. Бэра: «Всех нас гложет тоска, все мы страдаем от утраты чего-то, а чего именно — и сами не знаем». А для меня, что ни говори, это опыт чужой, и известной отстраненности, литературности суждений тут, как ни старайся, не избежать.

С другой стороны — или я просто утешаю себя? — подобная отстраненность, быть может, способна обеспечить бóльшую объективность суждения, нежели взгляд с близкого расстояния. Как бы там ни было, вот что еще мне хотелось бы сказать о романе Э. Тайлер. Полагаю, что пафосом протеста против сложившегося стиля жизни, ее норм книга не исчерпывается. Не впадая в прекраснодушие, ничуть не ретушируя подлинного облика действительности, Э. Тайлер в то же время неустанно ищет силы, способные противостоять мощным центробежным тенденциям времени. Наиболее ясно это видно в финале, где Эзре наконец-то удается собрать семью — на поминки матери — в полном составе. Даже отец, которого не было видно три с половиной десятка лет, появляется. Но наглядность еще не означает творческой убедительности, и как раз эта сцена кажется мне излишне дидактической: она вносит слишком твердую, схематически разрешающую ноту в остродраматическое и принципиально незавершенное повествование. Словно писательница, не доверяя нашему нравственному чувству, да и простой сообразительности, вознамерилась, под занавес, расставить ударения со всей несомненностью.

Напрасно. Внимательный читатель и без указующего перста почувствует напряженные, пусть специально не зафиксированные, не закрепленные в том или ином конкретном эпизоде (за вычетом опять-таки финала) попытки восстановить порванную цепь, соединить безнадежно разбежавшихся по жизни людей в цельное сообщество. Вот почему в этой горькой книге нет и тени надрыва, наоборот, постоянно ощутима энергия ищущей мысли и надежды.

Что же это за сообщество? А все та же семья — распавшаяся, но, оказывается, и сохраненная. Вот, к слову, откуда эта герметическая композиция, вот откуда этот, не имеющий разрывов повествовательный круг: люди вроде бы и утрачивают общий язык, могут даже предать друг друга, но все-таки, словно против воли, тянутся к общему дому, к старым корням, ибо бессознательно чувствуют — или это автор заставляет их почувствовать? — что если что и способно спасти их в этом мире, стереть с облика «фирменное клеймо неудачи» (слова матери семейства), то не личное преуспеяние, а общинная спайка.

Для американской литературы последних лет такая мысль не нова: в различном художественном оформлении и с различной степенью определенности она звучит со страниц книг Д. Гарднера и Р. Прайса, Д. Болдуина и Т. Моррисон, некоторых других писателей. Роман Э. Тайлер в этом ярком окружении не тускнеет — наоборот, контрастнее становятся видны его достоинства. Заключаются они, на мой взгляд, в том, что писательнице — как немногим из ее современников — удалось творчески гармонизировать протестантский пафос и внутреннюю убежденность в том, что человек способен спастись от гибельного одиночества, к которому его упорно толкает общество, построенное на основе агрессивного индивидуализма.

Такая гармония есть признак зрелости реализма.

Н. АНАСТАСЬЕВ

◆

Из месяца в месяц

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СЕМЕНА ФАШИЗМА

Как сообщает газета «Морнинг стар», в Лондоне вышла в свет книга профессора Ричарда Гриффитса «Попутчики справа: британские приверженцы нацистской Германии 1933 — 1939 гг.». Заглавие книги, как отмечает рецензент, говорит само за себя. В 30-е годы нацистская философия и идеология, обильно сдобренная зоологическим антикоммунизмом, подобно раковой опухоли распространилась во многих странах Западной Европы. Не являлась исключением и «добрая старая Англия». Британских приверженцев фашизма в основном представляли потомственные пэры, консервативные члены парламента, газетные магнаты, высшее духовенство, военные. Всех их отличала убежденность в том, что своими проблемами и невзгодами Великобритания обязана «чрезмерной демократии» и либерализму. Панацеей от всех бед они считали «дисциплину, силу и порядок» образца нацистской Германии, принудительный труд и воинскую повинность, введенные Гитлером в середине 30-х годов. Всех английских пронацистов объединяли почти истерический страх и ненависть к Советскому Союзу и наряду с этим воинствующий антисемитизм. Автор книги показывает, что именно британским фашистом Арнольдом Лизом была предложена идея использования газовой камеры как «наиболее надежного и эффективного средства истребления евреев».

Влиятельные сторонники фашизма в Англии весьма активно содействовали имперским амбициям третьего рейха. Примечателен в этой связи визит в Германию в 1937 году высокопоставленного члена британского правительства лорда Галифакса, сделавшего все возможное, дабы вселить в Гитлера уверенность, что германская экспансия в Центральной и Восточной Европе не встретит сопротивления Англии, руководимой премьером Чемберленом.

Основанная на богатом фактическом материале, насыщенная интереснейшими выдержками из редких документов, частной переписки, дневников, речей и статей того периода, книга Гриффитса рисует зловещую картину распространения идеологии фашизма в привилегированных слоях британского общества. Сегодня, почти сорок лет спустя после краха нацистской Германии, всплески настроений, созвучных этой идеологии, периодически ощущаются в тэтчеровской Великобритании. Не случайно рецензент работы Гриффитса отмечает: «Сегодня мы в Британии должны быть начеку, и эта книга позволяет нам распознать семена, из которых может вырасти фашизм».

ШОТЛАНДЦЫ СМЕЮТСЯ

Известный шотландский поэт Морис Линдсей издал антологию «Юмористическая поэзия Шотландии», в которую вошли юмористические и сатирические стихи, начиная со стихов Роберта Генрисона, жившего в XV столетии, и кончая нашими современниками. «Основная задача этой антологии,— пишет составитель в предисловии,— доставить удовольствие и развлечь как можно больше читателей. Вторая, не менее важная задача, которую я преследовал,— уловить традиционный юмор шотландцев... Я стремился включать в мой сборник только истинно поэтические произведения».

Рецензент «Санди таймс мэгэзин» подчеркивает, что кроме поэтов с мировым именем, таких, как Роберт Бернс, Дэвид Линдсей, Фергюссон, Хью Макдиармид, в антологии представлены и малоизвестные стихотворцы, а целый раздел отведен балладам, эпиграммам и стихам, издавна ставшим неотъемлемой частью шотландской поэзии, хотя имена их создателей канули в Лету. И это — большое достоинство книги.

Ценен для неподготовленного читателя и справочный раздел, знакомящий с биографиями авторов, основными вехами их жизни и творчества.

ВЕНГРИЯ

ВПЕРВЫЕ НА СЦЕНЕ

С романом Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» венгерские читатели познакомились еще в начале 1982 года. Он печатался

На снимке: сцена из спектакля «И дольше века длится день».

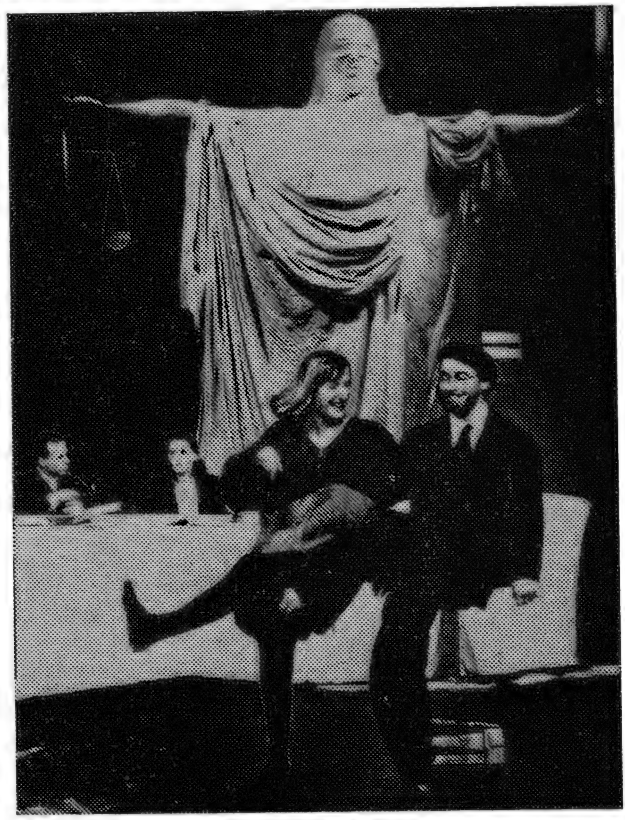
(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

на страницах журнала «Советская литература», выходящего в Будапеште на венгерском языке, и вышел отдельной книжкой в издательстве «Европа» в переводе Жужи Раб.

А в этом году роман обрел сценическое воплощение: талантливый венгерский режиссер Казимир Карой поставил спектакль по роману в театре «Талия». Автор инсценировки Эльберт Янош.

В связи с премьерой спектакля переводчица романа Жужа Раб писала на страницах журнала «Фильм, синхаз, мюжика»:

«Перевод, помимо того, что он всегда открытие и своего рода жажда участия в эстафете литературы, еще и путешествие без паспорта, и пересечение границ через меридианы и столетия с легкостью птицы. Роман Айтматова «И дольше века длится день» унес, увлек меня в такие края, где я никогда не была: в сыпучие пески Средней Азии, где живет небольшой, но героический народ, на землю орлов и верблюдов, восточных легенд, уводящих в глубины истории... Айтматов в этом произведении сумел заставить свое перо зазвучать звуками домбры. В его песнях сливается древнее и современное, старинные легенды Желтых Песков взывают к человеку, ныне живущему».



ГДР

ПРЕМИЯ ЗА 1983 ГОД

Пресса Германской Демократической Республики сообщила о присуждении премий Объединения свободных немецких профсоюзов. Премии получили писатели Юрий Брезан за роман «Портрет отца», Эльфрида Брюнинг «за все творчество в целом», Эдуард Кляйн за роман «Бремя гор». Отмечен премией телевизионный многосерийный фильм по сценарию Бернгарда Зеегера «Бранденбургская хроника».

За ряд спектаклей, среди которых — «Лео и Роза» Гельмута Байерля и «Киппенберг» по роману Дитера Нолля, премии удостоен берлинский «Театр им паласт».

Лауреатами стали также композиторы, скульпторы, художники, народные коллективы, кружки пишущих рабочих.

Как обычно, состоялось присуждение и журналистских премий. На этот раз отмечен коллектив газеты «Нойес Дойчланд», редакция публицистики телевидения ГДР, редакция экономики берлинского радиовещания ряд многотиражных газет.

Присуждены и две литературные премии Германской Демократической Республики. Лауреатом премии имени Бехера стал писатель Манфред Штройбель — автор поэтических сборников и произведений для детей. Премии имени Генриха Манна удостоены Фридрих Дикман за публицистические работы и Гельмут Шульц за прозаические произведения, в особенности за роман «Наследие».

В государственном театре г. Карл-Маркс-штадта режиссер Зигфрид Хёхст поставил пьесу Юргена Гроса (см. «НЛ», 1980, № 8) «Памятник». «Сюжет пьесы пересказать очень трудно,— пишет в газете «Нойес Дойчланд» известный драматург Райнер Керндль.— Это очень глубокая и вместе с тем остроумная сказка, полная веры в жизнь, в добрые отношения между людьми». Журнал «Театер дер цайт» считает, что пьеса Юргена Гроса — новый этап в развитии отечественной драматургии.
На снимке: сцена из спектакля «Памятник».

(Журнал «Театер дер цайт»)

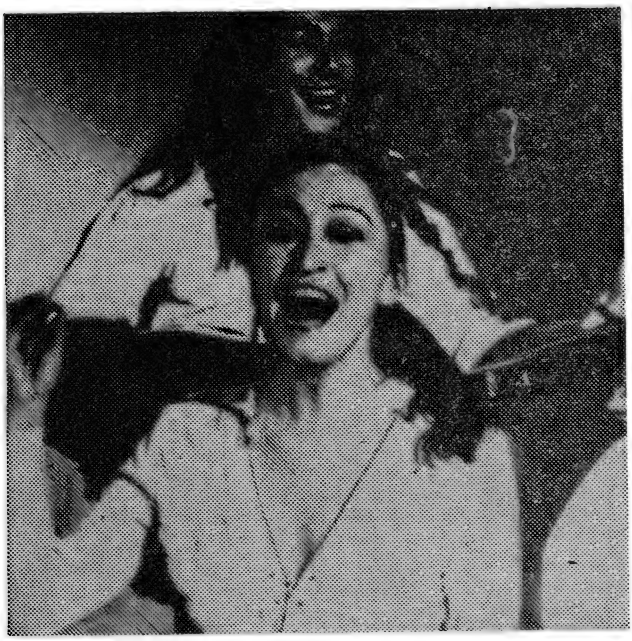
ДАНИЯ

РЕДКОСТНЫЙ ТЕАТР

В Фьяльтринге, на самом берегу Северного моря, прямо в дюнах расположен театр, который никогда не пустует: сюда съезжаются зрители как из столицы, так и со всей Дании. Это — «Тукак», единственный в мире театр, где проходят школу актерского мастерства представители так называемых этнических меньшинств: эскимосы, саами, индейцы Северной и Южной Америк. «Актеры изъясняются на датском, гренландском, испанском, английском...— рассказывает в интервью корреспонденту «Ланд ог фольк» режиссер и основатель театра Райдар Нильссон.— Но здесь, у моря, мы нашли общий язык. И среду, которая удивительно вдохновляет нас».

Далее Райдар Нильссон подчеркнул, что больше всего боится, как бы «Тукак» не стал «направлением», «модой». Каждая подобная труппа, считает он, должна иметь свое лицо; «мы отнюдь не стремимся переплавить несколько национальных культур в одну».

Не так давно «Тукак» завершил триумфальное турне по Канаде и США. Впереди — гастроли в тридцати странах мира, в том числе в СССР, ГДР, Англии, Австралии. По мнению рецензента «Ланд ог фольк», успех театра кроется в том.



На снимке: сцена из спектакля «Каттутта» («Соберемся вместе»).

(Газета «Ланд ог фольк»)

что он обращается к темам общечеловеческим, стремится не поразить, но пробудить воображение зрителя, вселить в него веру в себя, в свое будущее.

ИНДИЯ

УДОСТОЕНА ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ

Как событие первостепенной важности индийские газеты отметили награждение выдающейся индийской поэтессы Махадэви Вармы премией «Бхарат бхарати», которой она была удостоена по решению Института хинди (штат Уттар-Прадеш), расположенного в столице штата — городе Лакхнау. Институт периодически присуждает премии литераторам, создающим свои произведения как на хинди — официальном языке страны,— так и на других языках.

Махадэви Варма, которую нередко называют певицей печали, вошла в литературу на рубеже 20—30-х годов. Она является одним из наиболее видных представителей литературного течения «чхаявад» — индийской разновидности романтизма с ярко выраженным национальным колоритом, течения, которое господствовало в поэзии хинди в период между двумя мировыми войнами.

Поэзия М. Вармы многогранна. Как отмечает критика, необыкновенно образные, проникнутые тонкой, своеобразной иронией, ее песни полны невыразимой прелести и очарования. В них звучит и скорбный голос индийской женщины, опутанной цепями традиций, и прекрасная песня земли, разбуженной ласковыми лучами весеннего солнца, и гневный протест против войн как явления, противного самой природе человека, и призыв к сплочению людей в борьбе за мир и дружбу между народами.

Премию поэтессе вручила премьер-министр страны Индира Ганди, специально прибывшая в Лакхнау для участия в церемонии. В своем приветственном слове Индира Ганди сказала, что присуждение премии Махадэви Варме она рассматривает как дань глубокого уважения литературе хинди. Говоря о славных традициях поэтов Индии, премьер-министр особо отметила ту роль, которую играла поэзия хинди в национально-освободительной борьбе индийского народа.

В ответном слове, выразив благодарность за высокую награду, Махадэви Варма сказала: «Путь литератора устлан не только розами — это человек, который кровью своей дает новую жизнь цветам».

Наряду с хинди, официальным языком Индии, в кинематографе все чаще используются региональные языки как средство привлечения крестьянства к современной культуре. Так, внимание прессы привлек фильм на диалекте штата Харьяна «Дорогая моя невестка», повествующий о жизни индийской деревни, о заботах, нуждах, радостях и огорчениях молодой крестьянской семьи, начинающей самостоятельную жизнь. Автор сценария — Шанхар Прабхакар. На снимке: Сумитра и Ракеш Беди в фильме «Дорогая моя невестка».

(Газета «Джан юг»)

ИТАЛИЯ

«ПОДСОЛНУХИ И ЛУНА»

Значительным событием итальянской литературы в свое время стали повести Марио Ригони-Стерна «Сержант в снегах» и «Возвращение на Дон», автор которых был участником похо-

да итальянского корпуса, посланного Муссолини в Россию в помощь Гитлеру. Писатель рассказал о бесчеловечности войны, развязанной фашистами против советского народа, о том, как простые итальянцы, не по своей воле заброшенные в белые снега России, проникались симпатией к советским людям.

Повести Ригони-Стерна стали теперь широко доступны советскому читателю. Они в 1982 году вышли на русском языке в издательстве «Прогресс». И вот новое произведение на ту же тему — повесть Марио Гандини «Подсолнухи и луна».

Герою повести Гандини не дают покоя воспоминания о прошедшей войне. Встают страшные видения: израненные, искалеченные солдаты, «мертвецы кричащие, мертвецы, просящие пить, мертвецы, которые хотят вернуться домой, и мороз, и душераздирающие вопли, и гангрена, и кровь, яркая, красная, как вино». Он вспоминает и голоса тех, кто «хочет знать, за что умирает». В повести Гандини утверждается абсурдность и бессмысленность всякой войны.

«Теперь, когда война окончена, лейтенант возвращается в те места, куда он пришел когда-то предавать огню избы и подсолнухи, возвращается, чтобы воспрянуть духом. Он теперь может любоваться черными, как крылья ласточки, волосами Аннушки, встать во весь рост на фоне неба, не боясь выстрелов, слушать рассказы русских, в чьих устах даже самые страшные события превращаются в поэзию»,— так заканчивается рецензия на повесть «Подсолнухи и луна», помещенная в журнале «Леттуре».

В прессе обращают внимание на то, что его повесть показывает, как итальянский фашизм с самого начала войны был обречен, что победить советских людей было невозможно.

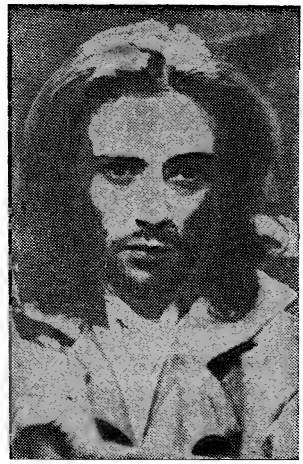
Высоко оценивая произведение Гандини, критик журнала «Леттуре» подчеркивает, что оно читается на одном дыхании и что язык его так же чист, как снега в бескрайних русских степях.

НОВАЯ ВЕРСИЯ

Роман «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, написанный 117 лет тому назад, неоднократно воплощался на сценах лучших театров мира, по этому роману были отсняты десятки фильмов.

Инсценировки романа Достоевского для телевидения — тоже не новость. Только в Италии были сделаны две постановки, одна в 1954 году с Джорджо Альберттацци в роли Раскольникова, другая в 1963 году — с Луиджи Ваннакки. К сожалению, отмечают итальянские газеты, обе ленты затерялись в архивах. В настоящее время под руководством режиссера Марио Миссироли готовится новая телевизионная версия «Преступления и наказания». Она будет состоять из пяти частей.

В спектакле заняты актеры: Раскольников — Маттиа Сбраджа, Порфирий Петрович — Пино Миколь, Соня Мармеладова — Лаура Ленци и другие.



На снимке: Маттиа Сбраджа в роли Родиона Раскольникова.

(Журнал «Эуропео»)

КАНАДА

«СПУТНИКИ ЮПИТЕРА»

Так называется сборник рассказов известной канадской писательницы Элис Манро, вышедший в американском издательстве «Кнопф». Э. Манро принадлежит к группе канадских прозаиков, чье внимание обращено к неторопливой повседневности провинциальных городков. Литературная страна Э. Манро занимает немалую площадь на географической карте Канады — от индустриальных центров западного района Онтарио до уныло-бескрайних равнин Саскачевана.

«Тема ее прозы — обыденность»,— пишет рецензент журнала «Тайм». Рассказы из нового сборника повествуют о ничем не примечательной жизни непримечательных людей — фермеров, школьных учителей, библиотекарей, домохозяек. В рассказах словно бы и ничего не происходит: течение жизни, кажется, замерло, застыло, в неизменной повторяемости каждого дня, прожитого героями и героинями Э. Манро. Но в этих почеховски «скучных историях», по словам рецензента, «Манро выписала яркие портреты людей, в глубине души переживающих напряженнейшие драмы». Такова, например, героиня рассказа «Пригородный автобус», в которой есть что-то от чеховской Душечки.

«Писать об обыденности опасно,— заключает рецензент,— ведь описывая скуку повседневности, прозаики нередко наводят скуку на читателей. Но Э. Манро избежала этой опасности. Ее искусство одерживает блестящую победу».

НОРВЕГИЯ

АНТОЛОГИЯ ГРУЗИНСКОЙ ЛИРИКИ

«Заснеженная Норвегия встречается с лирикой «солнечной Грузии» — под таким заголовком одна из центральных норвежских газет «Арбейдербладет» опубликовала статью о выходе в свет в Норвегии антологии грузинской лирики. Антология охватывает огромный отрезок времени — восемь столетий. Ее открывают фрагменты из всемирно известной поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Название антологии «Спящие орлы» взято из одноименного стихотворения Галактиона Табидзе, вошедшего в этот сборник. Галактион Табидзе — один из тридцати грузинских поэтов, чье творчество представлено здесь. Переводы осуществлены Хеленой Краг и Осе-Мари Нессе, совершившими несколько лет назад поездку по республикам Закавказья. Обе переводчицы постоянно работают над переводами русских и советских писателей на норвежский язык.

Интерес к грузинской лирике возник у Хелены Краг еще в начале 70-х годов, когда она принимала участие в работе конгресса переводчиков, проходившего в Москве. Первое знакомство со стихами грузинских поэтов для нее состоялось по переводам Бориса Пастернака. Кроме того, Хелена Краг с детства увлекалась поэзией Пушкина и Лермонтова, в творчестве которых Кавказ занимает столь важное место. Согласно заявлению переводчиков, подобная антология выходит впервые не только в Скандинавии, но и в Западной Европе вообще. Многие стихи, как считает автор статьи, написанные даже семь столетий назад, звучат удивительно актуально и сегодня.

ПЬЕСА ИБСЕНА В АНГЛИИ

Драмы Ибсена уже не одно десятилетие входят в репертуар театров многих стран мира.

«Событием в театральной жизни Англии,— пишет ре-

На снимке: Эспен Шёнберг в роли старого Экдала.

(Газета «Дагбладет»)

цензент газеты «Дагбладет»,— стала постановка в Королевском театре Манчестера пьесы «Дикая утка». Одна из самых сложных драм Ибсена, выдержавшая множество постановок на сценах Скандинавии, на английской сцене обрела новое звучание».

Своим успехом спектакль во многом обязан известному норвежскому актеру Эспену Шёнбергу — исполнителю роли старого Экдала. В этом типично ибсеновском герое сочетаются пафос и сентиментальность, комизм и трагизм. Он винит себя за содеянное зло и ощущает неизбежность надвигающейся катастрофы и возмездия. Его страх и уязвленная гордость скрыты за шутовской маской. Интересны и работы других актеров. Ян Мандайрмид играет фанатичного, жестокого в своей бескомпромиссности Грегерса Верле. Сэлли Куксон в роли Хедвиг создает образ юной, хрупкой и в то же время сильной натуры. По мнению рецензента «Дагбладет», режиссура Каспера Вреде, звуковое и световое решение спектакля подчеркивают современность психологических конфликтов ибсеновской драмы, написанной почти столетие назад.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

«СЛОВАРЬ НАРОДНОЙ ЛЕКСИКИ»

Как сообщил тунисский журнал «Аль-Фикр», министерство информации и культуры Объединенных Арабских Эмиратов издало в г. Абу-Даби фундаментальный «Словарь народной лексики», составленный местным ученым-филологом Фалихом Ханзалем. Введение к словарю написал его редактор Гассан аль-Хасан.

В словаре даются толкования всех слов и выражений, встречающихся в разговорных диалектах, которые распространены в Объединенных Арабских Эмиратах. Эти толкования сопровождаются многочисленными примерами в виде пословиц и поговорок.

ОМАН

«СУМАСШЕДШАЯ ЧАЙКА»

В Дамаске вышел сборник стихов оманского поэта Сейфа ар-Рахби под названием «Сумасшедшая чайка».

Это первая книга молодого автора — участника освободительного движения. В своих стихах ар-Рахби воспевает борьбу патриотов Омана против реакционного проимпериалистического режима в стране.

ПОЛЬША

ПАМЯТНИК БРАТСТВА

Бронислав Хромый, известный скульптор, создатель многих замечательных памятников, среди которых памятник партизанам в Яновских лесах, польскому солдату в Катовицах и другие, дал интервью корреспонденту газеты «Трибуна люду». Как отмечали критики, многотонные памятники скульптора будто не подвластны законам притяжения, они полны динамизма и удивительной легкости.

Последняя его работа — монумент, посвященный советско-польскому братству по оружию, который будет установлен в Рязани в честь сорокалетия создания Войска Польского.

— Скажите, как возникла идея создания этого памятника?

— Министерство культуры СССР объявило конкурс, и я охотно включился в него, так как никто еще не создал памятника польским солдатам, которые шли в Польшу с востока. Я поехал в Рязань и вместе с представителями городских властей мы выбрали необыкновенно удачное место для будущего монумента в городском парке над Окой. Многие жители города будут видеть его из своих окон.

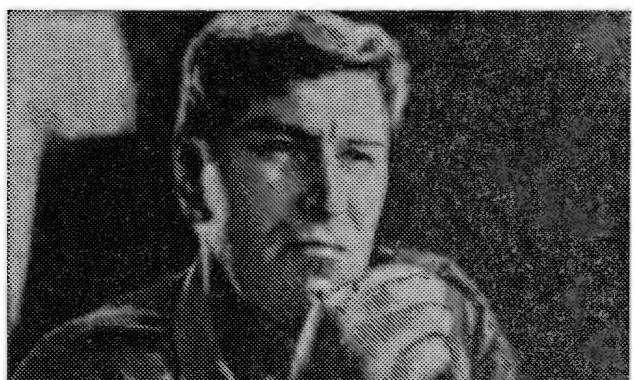
— Как вы воплощаете свой замысел?

— Прежде всего я представляю себе материал, из которого должна возникнуть моя композиция, и в соответствии с этим я уже думаю о том, как этой бесформенной глыбе придать художественную форму, которая обязательно должна выразить мой идейный замысел.

На XIII Московском кинофестивале демонстрировался фильм режиссера Хенрика Бельского «Героическая пастораль». Действие фильма происходит весной 1945 года. Рядовой Юзеф Лопух, совершивший героический поступок, получает отпуск на несколько дней. Дома он узнает, что его жена Сабина, думая, что он убит, вышла замуж за его друга Виктора и родила сына. На личную драму Юзефа накладывается драма социальная. Происходит раздел земли, и Юзеф видит, как реакционное подполье старается помешать утверждению новой власти. Бандиты сжигают на глазах односельчан комиссара, приехавшего делить землю, и потом приходят расправиться с Виктором. Юзеф выдает себя за Виктора и гибнет, спасая молодую семью. Роль Юзефа сыграл известный актер Виргилиуш Грынь, которому на XIII Московском международном фестивале была присуждена первая премия за лучшее исполнение мужской роли.

На снимке: Виргилиуш Грынь в роли Юзефа.

(Газета «Трибуна люду»)



— Что вы хотели выразить этим памятником?

— Думая о нем, я мысленно возвратился в 1945 год и увидел сражающихся солдат во время штурма вражеских укреплений, увидел, как в бой вступили «катюши», увидел лавину огня, услышал рев орудий. Это все запало в память, и я решил показать, как при мощной поддержке советской техники поднимались в атаку наши воины с орлами и звездочками на шапках. Я хотел показать самых обычных, измученных солдат, которые шли на смертный бой.

Высота монумента — тридцать метров, фигуры воинов — три с половиной метра. Сделан он был в сжатые сроки, но, как сказал скульптор, советские специалисты почли за дело чести отлить памятник к точно назначенному сроку — сорокалетию создания Войска Польского.

РУМЫНИЯ

«БУРЖУАЗНЫЙ ЗАКАТ»

В Национальном театре г. Тыргу-Муреш режиссером Д. Александреску поставлена новая пьеса румынского прозаика и драматурга Ромулуса Гуги «Буржуазный закат».

Как отмечает рецензент журнала «Ромыния литераря» В. Сильвестру, Р. Гуга рисует глубоко символическую картину распада буржуазного мира. В пьесе действуют, с одной стороны, дельцы и предприниматели, выскочки и карьеристы, окруженные сворой слуг и прихлебателей, с другой — обездоленные и униженные, в сознании которых зреет ощущение грядущих перемен.

Драма главного героя, кончающего жизнь самоубийством, позволяет автору обнажить пороки буржуазного общества, жестокость его законов, трудное положение личности в мире, где господствует искаженное представление о человеке с его неотъемлемым правом на свободу.

Пьеса Р. Гуги — это и политический памфлет, обличающий жестокость и несправедливость, торговлю идеями и людьми, и трагикомедия, в которой горький смех сочетается с раздумьями о том, какое общество оставляем мы будущим поколениям, и драматическое напоминание о возможности новых эпидемий коричневой чумы. Буржуазия выполнила свою историческую миссию, утверждает автор, теперь она «агонизирует на нашей планете, распространяя заразу и делая все возможное для того, чтобы мир рухнул вместе с ней, но она уже бессильна». Последние слова пьесы — «наступает ночь...» — звучат как приговор злу и насилию, наступает ночь буржуазного мира.

«Буржуазный закат», по мнению рецензента, является одним из самых глубоких и захватывающих спектаклей в современном театральном репертуаре.

СИРИЯ

КНИГИ О РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ

Как сообщает журнал «Аль-Хуррийя», в Дамаске недавно вышли две книги, посвященные классикам русской литературы. Первая из них — «Воспоминания о Л. Н. Толстом» — составлена и переведена литературоведом Мухаммедом Абдо ан-Наджари.

Вторая книга — «Переписка А. М. Горького с А. П. Чеховым» — переведена на арабский язык Фаруком аш-Шарифом. Собранные в ней письма, по словам журнала, говорят о «тесных связях и прочной дружбе, объединявших обоих писателей».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ДРАМАТУРГОВ

Как сообщает журнал «Ас-Сакафа», в Дамаске состоялся международный симпозиум, посвященный проблемам современной афро-азиатской драматургии. Он был организован Союзом арабских писателей Сирии. В симпозиуме приняли участие писатели-драматурги и театроведы из 32 стран Азии и Африки, а также представители межарабских и международных организаций.

США

«НЕЛЕГКО БЫТЬ НОРМАНОМ МЕЙЛЕРОМ»

Так не без иронии уверяет читателей журнал «Тайм», поместивший большую статью об известном писателе, который опубликовал недавно свою двадцать третью книгу — роман «Вечера в Древнем Египте» (издательство «Литтл, Браун энд компани»).

В последние два десятилетия жизнь Мейлера постоянно находилась в центре общественного внимания — не столько благодаря его творческим свершениям, сколько из-за той весьма скандальной рекламы, которую он себе создавал. С той поры, пишет журнал, как в 1959 году он издал книгу очерков под своеобразным названием «Рекламирую сам себя», «он превратил себя в единственную тему творчества и сделал самолюбование инструментом социального анализа». Впоследствии все книги, выходившие из-под пера писателя, «были не чем иным, как размышлениями о своих размышлениях» по поводу тех или иных событий общественно - политической жизни США — антивоенных маршей 60-х годов («Армии ночи», 1968), предвыборных кампаний («Майами и осада Чикаго», 1968), космической экспедиции на Луну («Пожар на Луне», 1971).

Параллельно с этими публицистическими «саморекламами» Мейлер активно рекламировал себя и внелитературными акциями: то вынес на всеамериканское обозрение скандал с женой, завершившийся поножовщиной, то баллотировался на пост мэра Нью-Йорка, то сыграл одну из главных ролей в киноверсии романа Э. Л. Доктороу «Рэгтайм»... А в течение 70-х годов в своих многочисленных интервью Мейлер сообщал, что работает над «большим романом», который он то и дело откладывал, обращаясь к темам сенсационного плана: жизнь Мэрилин Монро («Мэрилин», 1973), поединок боксеров-профессионалов («Бой», 1975, см. «ИЛ», 1978, № 10), преступление и наказание убийцы («Песнь палача», 1979).

Но вот наконец писатель выполнил свое обещание — на прилавках книжных магазинов появился семисотстраничный роман. Статья о Мейлере в «Тайме» завершается весьма сдержанным отзывом о книге и таким не очень-то лестным выводом: «Видный писатель, так и не ставший видным романистом».

Тон подробной рецензии на роман «Вечера в Древнем Египте», написанной Б. Демоттом для еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», — откровенно разочарованный. Рецензент решительно опротестовывает издательскую аннотацию, в которой новый роман Мейлера назван «вехой в истории современной американской литературы». «Эта книга не является ни выдающейся, ни шедевром», — пишет язвительно Б. Демотт.

Действие романа происходит около 1100 г. до н. э. во дворце фараона Рамсеса IX в канун традиционного праздника — Ночи Свиньи, во время которой, как того требует древний ритуал, участники праздничного пиршества должны в беседах друг с другом обмениваться нелицеприятными мнениями. В описанной Мейлером Ночи Свиньи принимают участие сам Рамсес IX, его личный телохранитель Менехетет, шестилетний сын Менехетета и его дед — тоже Менехетет — бывший военачальник, жрец, маг и мудрец. В романе пересекаются и взаимо-

переплетаются два плана — мистико-фантастический и исторический: верования древних египтян в переселение душ и древнеегипетская история. Старый Менненхетет предлагает вниманию присутствующих свои увлекательные рассказы о царствовании фараонов, о кровопролитных войнах, о временах мирных, о жизни египетских крестьян, купцов, знати... В подробном и обстоятельном повествовании, щедро уснащенном множеством экзотических историко-культурных подробностей (в процессе написания романа Мейлер, по его признанию, проштудировал несколько десятков исследований по египтологии), отчетливо угадываются, как утверждает Б. Демотт, очень современные и весьма характерные именно для Мейлера мотивы. Так, в «военных мемуарах» египетского старца настойчиво звучит знакомый мейлеровский призыв к вседозволенности как норме человеческого поведения. Отсюда, указывает Б. Демотт,— изобилие сцен в духе маркиза де Сада и современных эротико-«кошмарных» детективов, живописующих насилие, кровопролитие, изощренную жестокость. Другая навязчивая идея Мейлера — убеждение писателя, что человек не должен в себе подавлять звериное начало,— находит выражение в смачных сценах каннибализма на поле боя. Не остался обойденным и еще один важный тезис мейлеровской «философии человека» — сексуальные проблемы, которым в книге посвящены соответствующе выписанные пассажи...

«Чем дальше продвигаешься сквозь книгу, тем в большем недоумении оказываешься», — так выразил свою читательскую реакцию критик, подчеркнув, что новая книга Мейлера не просто неудачный опыт исторического романа, но в прямом смысле «творческая катастрофа».

«ВОПРОСЫ К СТАДСУ ТЕРКЕЛУ»

Знаменательно само заглавие заметки в газете «Интернэшнл геральд трибюн»; на этот раз интервью берут у мастера этого жанра, который широко известен как создатель целого направления современной американской публицистики, так называемого «устные истории». Советского читателя впервые познакомил с его творчеством журнал «Иностранная литература» («ИЛ», 1969, № 8, 9; 1976, № 1).

Теркел говорит, что он — один из немногих американцев, которые не водят машину, на работу ездит на автобусе.

— Случалось ли вам брать в автобусе интервью?

— Неоднократно. Я сижу, делаю вид, что читаю, и произношу такие, например, слова: «Подумать только, что делают эти парни! Заметили, какой сейчас бюджет у Пентагона? Невероятно!» Одни считают меня психом, который говорит сам с собой, а другие вступают в разговор.

— Вы не думаете, что ваши взгляды влияют на «правду» о тех людях, у которых вы берете интервью?

— Такая опасность есть. Например, для своей книги «Тяжелые времена» я брал интервью у знаменитого американского фашиста... Я разговаривал с ним как с человеком, чья жизненная позиция меня интересует. Мне отвратительно то, что он собой олицетворяет, а ему противны мои чувства...

— Как вам удается подавить вашу ненависть к такому человеку?

— Я ненавижу не самого этого человека, а то, что он олицетворяет, вот и все.

— Если бы вам пришлось интервьюировать Теркела о его пребывании на войне, что бы вы спросили?

— Я не воевал, меня дважды признали негодным.

— Призывную комиссию не волновали ваши политические взгляды?

— Как вы догадались? Я случайно узнал, что за мной следили.

— Что же было написано в вашем досье?

— «Лоялен, хороший характер, остроумен, незаменим в компании». А начальник подписал под этим сообщением: «Прекрасно, продолжайте наблюдение».

— Почему ваше имя оказалось в черных списках в эпоху маккартизма?

— Я принадлежал к левой театральной группе, подписывал разные социальные петиции — это считалось прокоммунистической деятельностью.

— Однажды о вас сказали, что вы были бы хорошим проповедником. Что бы вы проповедовали?

— Черт его знает что бы я проповедовал. Наверное, ценность постижения жизни.

ФРАНЦИЯ

НОВЫЙ ФИЛЬМ КЛОДА ЛЕЛЮША

«Посмотрите на эту маленькую женщину, с руками ящерицы, лбом Бонапарта и глазами слепца, обретшего зрение... Из ее узкой груди вырываются стенания ночи»,— так писал Жан Кокто об Эдит Пиаф. Минуло более двадцати лет со дня смерти певицы, но французы по-прежнему свято чтят память своей знаменитой соотечественницы. Эдит Пиаф служит постоянным источником вдохновения писателей, музыкантов, актеров. Известный кинорежиссер Клод Лелюш создал фильм «Эдит и Марсель» — историю трагической любви Эдит Пиаф

На снимке: Эвелин Буи в жизни.

и Марселя Сердана, знаменитого в прошлом боксера, погибшего в авиакатастрофе. Эта двадцать пятая картина Клода Лелюша во многом перекликается с его фильмом «Мужчина и женщина», ставшим событием в истории мирового кино.

Кинорежиссер прекрасно отдавал себе отчет в той огромной ответственности, которую берет на себя всякий, кто решится прикоснуться к судьбе великой Эдит. Ведь зритель не простит ни малейшей фальши. По мнению критиков, Клод Лелюш с честью выдержал испытание.

В фильме «Эдит и Марсель» снялись известные французские актеры Франсис Устер, Жан-Клод Бриали, певец Шарль Азнавур. В роли Марселя Сердана выступил сын знаменитого боксера — Марсель Сердан-младший, а роль Эдит сыграла молодая актриса Эвелин Буи.

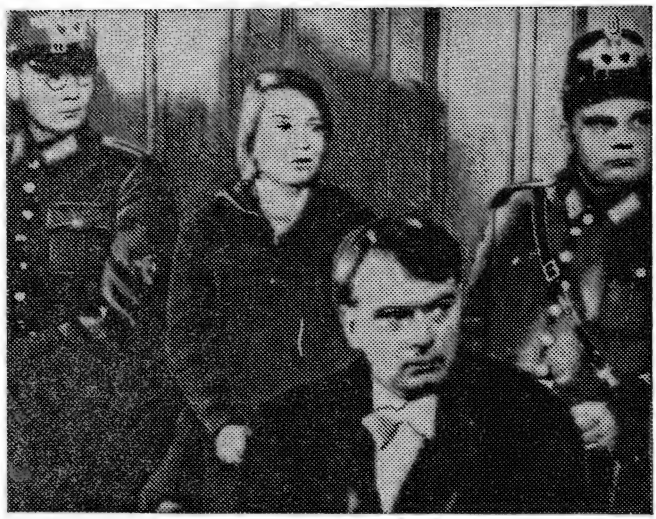
На снимке: Эвелин Буи в роли Эдит Пиаф.

(Журнал «Магазин дю синема»)

Недавно вышел из печати пятый и, как объявил автор, последний том «Репертуаров» Мишеля Бютора (изд-во «Минюи»), опубликование которых писатель начал еще в 60-е годы. Книга представляет собой сборник критических статей о литературе (Вийон, Рабле, Флобер, Джойс и др.), музыке (Бетховен), живописи (Мондриан).

«Нувель литтерэр» пишет, что, несмотря на уже имеющуюся огромную литературу о таких писателях, как Бальзак или Пруст, Бютору удалось сказать свое слово.

Однако критик газеты «Монд», отдавая должное последней книге писателя, ничуть не уступающему предыдущим томам «Репертуаров» по богатству и разнообразию, считает, что Бютор стал практически недоступен для среднего читателя, который «чувствует себя в этом литературном лабиринте лишним и со стыдом убеждается, что ему скучно. Похоже, что автор не ждет ничего от читателя, кроме восхищения своей виртуозностью. Пора наконец спросить себя,— заключает критик,— кто сегодня у нас читает Бютора?»



На снимке: кадр из фильма «Белая роза».

(Журнал «Фильмшпигель»)

ФРГ

ФИЛЬМ О МОЛОДЫХ АНТИФАШИСТАХ

«Белая роза» — так называлась антифашистская группа немецких студентов, боровшихся против нацистской диктатуры. О трагической судьбе членов группы и ее руководителей, брата и сестры Шоль, рассказывается в фильме «Белая роза», вышедшем недавно на экраны ФРГ. События фильма разворачиваются зимой 1942—1943 гг., в последние месяцы существования организации. 22 февраля 1943 года студенты-антифашисты были казнены эсэсовскими палачами.

«Судьба этих людей глубоко взволновала меня,— рассказывает режиссер и автор сценария фильма Михаэль Верхёвен.— Во время сбора материалов о группе «Белая роза» я столкнулся с большими трудностями. Выяснилось что мы знаем слишком мало о наших героях. Дополнительные материалы нам удалось получить от членов семей погибших лишь после того, как они убедились в серьезности наших намерений».

Главные герои фильма — Ганс и Софи Шоль — честные молодые немцы, воспитанные на идеалах гуманизма, бросили вызов всемогущей государственной машине третьего рейха потому, что не могли поступить иначе. По словам обозревателя журнала «Фильмшпигель», западногерманскую молодежную аудиторию привлекла откровенная и ясная гражданская позиция создателей картины, выступающих против политической индифферентности и угрозы фашизма.

ЗЛОБОДНЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Профессор из Гамбурга Аннамария Руктешель поместила в западногерманском журнале «Шпигель» статью о тенденциях современной детской литературы. Отражаются ли в ней насущные проблемы современности — вот вопрос, который исследует автор. В качестве примера она приводит три книги: «Когда упала первая атомная бомба...» Германа Винке, «Последние дети Шевенборна» Гудрун Паузеванг и антологию той же писательницы «Мир сам собой не приходит».

Герман Винке в 1980 году провел ряд бесед с японцами, которые детьми пережили в Хиросиме взрыв атомной бомбы. Так возник потрясающий документ, свидетельствующий о том, что трагедия Хиросимы еще и сегодня накладывает отпечаток на жизнь людей.

Повесть Гудрун Паузеванг фантастическая, но она производит не меньшее впечатление, чем книга Винке. На этот раз атомная трагедия произошла в ФРГ где уцелело лишь несколько деревень да городок Шевенборн. Главный герой Роланд с несколькими другими детьми становятся свидетелями медленного, мучительного угасания жизни вокруг; ребята исполнены желания построить мир заново на основах добра и справедливости. В своем послесловии автор просит не винить ее за недостаточно «страшное», как ей кажется, изображение атомной трагедии: «Я описала здесь катастрофу и ее последствия не такими ужасными, как это, вероятно, было бы на самом деле. Ибо мне хотелось, чтобы кто-то остался в живых и мог потом обо всем рассказать».

Антология этой же писательницы имеет подзаголовок «Рассказы о мире и дружбе». Здесь в качестве реакции на угрозу войны автор предлагает путь «индивидуальной дружбы», поиск взаимопонимания «между двумя людьми».

«Если в 70-е годы детская и юношеская литература видела путь к преодолению трудностей в социальном сотрудничестве, — пишет по этому поводу Аннамария Руктешель,— то сейчас, похоже, вездесущий страх перед будущим парализует инициативу... В качестве выхода многие авторы избирают бегство в фантазию».

Однако фантазия в детской книге вовсе не обязательно означает уход от реальности. Об этом свидетельствует сказка Франка Рупрехта «Четыре короля», которую автор называет «юмористической вариацией на злободневную тему угрозы окружающей среде». Это история о четырех королях, которые покинули родные края и нашли неизвестный прежде остров. Чтобы построить жилье и обставить его, они до тех пор вырубали деревья, пока остров не превратился в голую пустыню. Тогда они разобрали до-

ма на бревна, соорудили из из них плот и отправились искать новый, «еще не использованный» остров.

«Автору удалось без нажима, в доступной детям форме наглядно показать характер отношений между действительными и мнимыми потребностями человека, заявить о необходимости уважения к природе», — пишет Аннамария Руктешель. Успех такого рода книг, по ее мнению, подтверждает, что в них отражены «злободневные, волнующие проблемы».

ШВЕЦИЯ

«ЧАЙКА» НА ШВЕДСКОЙ СЦЕНЕ

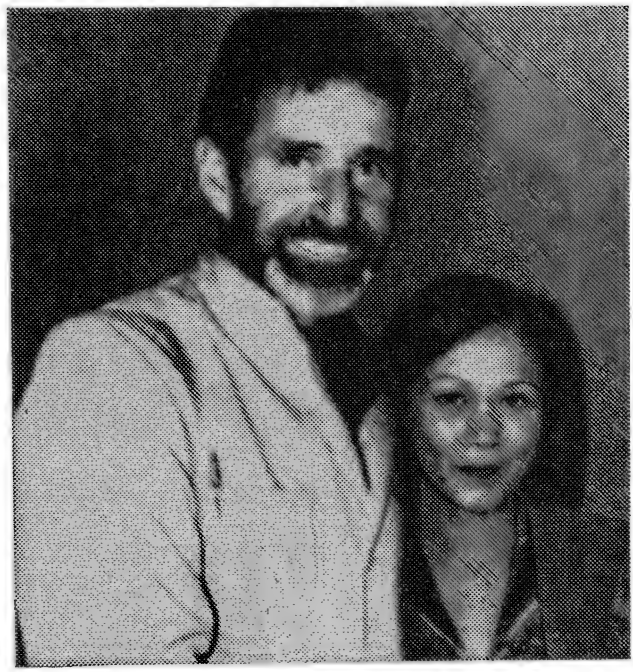
«Некоторые театральные лжепророки говорят, что профессия режиссера в современном театре изжила себя и театр держится исключительно на актерских индивидуальностях. Премьера чеховской «Чайки» в шведском Королевском театре «Драматен» полностью опровергает эти нелепые утверждения»,— пишет критик Ингмар Бьёркстен в газете «Свенска дагбладет». Чеховская «Чайка» завоевала любовь шведского зрителя во многом благодаря режиссерскому таланту Гуннель Линдблом.

В состоянии душевного одиночества и эмоционального холода живут чеховские герои на шведской сцене. Каждый из них замкнут в собственных переживаниях, и все они глухи друг к другу. Чеховские печаль и юмор, сложный внутренний мир героев переданы актерским ансамблем с удивительным мастерством. Анита Бьёрк в роли Аркадиной играет сильную, незаурядную женщину, которой больно расставаться с иллюзиями молодости. Противоречивость и неоднозначность чеховских героев передают Ян Мальмшё в роли Тригорина, Мария Ёрансон в роли Нины Заречной, Стеллан Скарсгорд в роли Треплева.

На снимке: сцена из спектакля.

(Газета «Свенска дагбладет»)

ЮАР



На снимке: Брейтенбах с женой Иоландой Хоанг Лиен.

(Газета «Де тифоон»)

БРЕЙТЕНБАХ НА СВОБОДЕ

После семилетнего заключения досрочно выпущен на свободу знаменитый южноафриканский поэт и художник Брейтен Брейтенбах, сразу же после освобождения выехавший во Францию. Отпрыск благополучного бурского семейства, завоевавший в 60-х годах мировую известность своими стихами на языке африкаанс, Брейтенбах включился в 1973 году в борьбу против апартеида, основав в Европе вместе с группой единомышленников общественную организацию «Окхела» (что значит «искра» на языке зулу), призванную сплотить противников расовой сегрегации среди белого населения ЮАР.

В 1975 году поэт приезжает под чужой фамилией на родину, чтобы найти здесь поддержку своей организации, но вскоре его арестовывают и приговаривают к девятилетнему тюремному заключению. В 1977 году против заключенного поэта было возбуждено еще одно дело по обвинению его в террористической деятельности, однако вскоре выяснилась полная необоснованность этих обвинений. Поселившийся покуда в Париже Б. Брейтенбах, по его словам, остался верен идее десегрегации южноафриканского общества, но в то же время полон серьезных творческих планов. «Я чувствую, что мне нужно еще сделать кое-что и как писателю и как художнику»,— сказал он в своем интервью корреспонденту голландской газеты «Де тифоон».

В Голландии Брейтенбаху была присуждена литературная премия им. Камперта (Ян Ремко Теодор), писателя, погибшего во время второй мировой войны в фашистском лагере. Премия присуждена за произведения, разоблачающие преступления апартеида.

НОВЫЙ РОМАН АНДРЕ БРИНКА

Английское издательство «Фабер энд Фабер» выпустило роман прогрессивного южноафриканского писателя Андре Бринка «Цепь голосов». На русском языке были опубликованы его романы «Сухой белый сезон», «Слухи о дожде» и «Мгновенье на ветру».

В новом произведении Бринк обращается к исторической теме. Он пишет о бунте рабов на ферме Николаса ван дер Мерве в 1825 году. Этот роман, как и предыдущие, пронизан антирасистским пафосом. Рецензент журнала «Африкэн комьюнист», высоко оценивший идейно-художественный уровень книги, отмечает, что, реалистически изобразив положение африканцев в рабовладельческом государстве, автор призывает к борьбе против дискриминации и угнетения чернокожего населения страны.

Повествование в романе ведется от имени различных персонажей, участников или свидетелей событий, происходящих на рабовладельческой ферме. Их монологи дополняют друг друга, сливаются в подробный рассказ о жизни главных героев произведения: негра Галанта и его хозяина Николаса ван дер Мерве. Взаимоотношения этих двух людей, антагонистов по своему общественному положению, заключают в себе острую психологическую и социальную драму. Галант, всеми поступками утверждающий свое человеческое достоинство, видит в Николасе, слабохарактерном, плохо приспособленном к суровой фермерской жизни человеке, не просто ненавистного эксплуататора, но и существо в чем-то близкое, нуждающееся в опеке. Они росли вместе, в детстве были друзьями, однако Галанту было уготовано стать рабом, а Николасу — хозяином. Судьба обоих трагична: Николас погибает от рук взбунтовавшихся рабов, Галанта, как зачинщика мятежа, приговаривают к смертной казни.

В романе «Цепь голосов» Андре Бринк высказывает мысль о том, что расистские порядки завели страну в тупик. Насилие порождает насилие. Из этого порочного круга не будет выхода, пока существует угнетение чернокожего большинства. Многие проблемы, о которых Бринк пишет в своей новой книге, не решены в ЮАР и поныне. Поэтому идеи, высказанные им в романе, звучат более чем актуально.

ИСКУССТВО ПРОТИВ РАСИЗМА

Известный южноафриканский композитор и пианист Абдулла Ибрагим, выступающий обычно под псевдонимом Доллар Бранд, завершил работу над новой оперой «Калахари», посвященной 70-летию образования Африканского национального конгресса, политической организации африканского населения ЮАР.

В основу сюжета оперы легли эпизоды из истории борьбы африканского народа против расизма и политики апартеида.

Премьера оперы состоялась во время европейских гастролей труппы под руководством Абдуллы Ибрагима.

На снимке: сцена из спектакля «Калахари».
(Газета «Фольксштимме»)

ЯПОНИЯ

РЕДКИЙ ТАЛАНТ

«Лишь один актер может похвастать тем, что он, являясь актером традиционного театра Кабуки, с таким же мастерством исполняет роли в современном западном театре»,— пишет рецензент газеты «Интернэшнл геральд трибюн». Этот актер — один из самых талантливых современных японских актеров — Мацумото Косиро IX, который сыграл множество ведущих ролей как в японских, так и в западных пьесах. Потомок одной из самых известных актерских семей национального театра Кабуки, где и сами сценические псевдонимы переходят из поколения в поколение, Косиро IX начал играть еще ребенком (его сын играет в Кабуки с пятилетнего возраста). С двадцати лет он увлекся западным театром и стал его популяризатором на японской сцене. Так, самой известной его ролью в бродвейских мюзиклах является роль Дон Кихота в «Человеке из Ламанчи», которую он исполняет как в Токио, так и в Нью-Йорке на английском языке.

На вопрос корреспондента газеты о том, какой репертуар он предпочитает, Косиро IX ответил, что самое главное для него художественный уровень драматического произведения, а не его национальная принадлежность или жанр. Что же касается его любви к западному театру, «она,— сказал актер,— наверное, у меня в крови»: его дед Косиро VII, один из ведущих актеров Кабуки начала века, играл в «Венецианском купце» и «Отелло», пел в опереттах. Его отец Косиро VIII преподавал технику театра Кабуки американским актерам на Бродвее.

Западный театр пришел в Японию в 70-х годах прошлого века. Это были главным образом пьесы Шекспира. «Переведенная на японский язык,— говорит Косиро IX,— пьеса становится современной японской пьесой. Даже в «Гамлете» и «Короле Лире» японская публика ищет нечто интересное именно ей, когда же она хочет видеть пьесу в западной трактовке, приглашают зарубежных актеров». Косиро считает, что европейский репертуар помогает совершенствовать «застывшую» технику игры Кабуки.

Авторы этого номера

АНХЕЛЬ АУХЬЕР — ANGEL AUGIER (род. в 1910 г.)

Кубинский поэт, критик, литературовед. Начал печататься в 1928 г. Среди многих его поэтических сборников — «Один» («Uno», 1932), «Песнь любви и войны» («Canto de amor y de guerra», 1942), «Остров на ощупь» («Isla en el tacto», 1965), «До свиданья» («Do svidanya», 1971), «Солнечный кубок» («Copa de sol», 1978) и др. Автор литературоведческих статей и книг, исследователь творчества Николаса Гильена. Публикуемые стихи взяты из книги Анхеля Аухьера «Стихи (1928—1978)» («Poesia (1928—1978)». La Habana, Ediciones Unión, 1980).

ЩИПАХИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

Советский поэт и переводчик, автор книг стихов «Во имя тебя», «Невзятые вершины», «Личное дело», «От мира сего», «Летние травы», «Избранное» и др. Переводила многих зарубежных поэтов и поэтов советских национальных республик.

СИМО ОЯНЕН — SIMO OJANEN (род. в 1940 г.)

Финский писатель, журналист. Живет в г. Пори. Его основные произведения: «Действовать, а не существовать» («Käymään eikä olemaan», 1970), «Цветы для госпожи Койвисто» («Kukkia rouva Koivistolle», 1972), «Везде осень» («Joka paikassa syksy», 1976), «Мери устраивает свои дела» («Meeri järjestaa», 1982). Книги С. Оянена с интересом встречают финские читатели.

Предлагаемый вниманию читателей роман «На небо — с гарантией» был издан в Финляндии в 1978 г. («Takuulla taivaaseen». Hämeenlinna, Arvi A. Karisto Osäkeyhtiö, 1978).

ВОРОНИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1924 г.)

Советский переводчик финской прозы. В его переводах печатались повести и рассказы М. Ларни, П. Хаанпяя, Т. Пекканена, О. Палохеймо, М. Хялли и др., в том числе в «Иностранной литературе» (1977, № 4; 1978, № 7), а также в сборнике «Новеллы» («Молодая гвардия», 1978) и в томе 10 «Библиотеки финской литературы» («Прогресс», 1981).

ГЕНРИК ВОРЦЕЛЬ — HENRYK WORCELL (1909—1982)

Польский писатель. Широкую известность принес ему вышедший в 1936 г. роман «Заколдованные столики» («Zaklęte rewiry»). Во время второй мировой войны Ворцель был угнан на принудительные работы в Германию. Вернувшись после окончания войны в Польшу, поселился в деревне, где занимался сельским хозяйством и работал в деревенской библиотеке. Затем Г. Ворцель переехал во Вроцлав и посвятил себя целиком литературной деятельности. Выпустил шесть сборников рассказов, в том числе «Провинциалы» («Parafianie», 1960) и «Самый трудный язык мира» («Najtrudniejszy język świata», 1965), пользовавшиеся большим читательским успехом, и роман «Господин из провинции» («Pan z prowincji», 1973). Г. Ворцель — лауреат нескольких литературных премий и награды министра культуры и искусства (1967).

Публикуемые рассказы взяты из трехтомника «Избранные произведения» («Dzieła wybrane». Wrocław, Ossolineum, 1979).

СТАРОСЕЛЬСКАЯ КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА

Советский переводчик с польского. Переводила произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, А. Рудницкого, С. Зелинского, В. Маха, М. Домбровской, Т. Новака — роман

«Черти» («ИЛ», 1975, № 3,4), Ю. Кавальца — роман «Переплывешь реку...» («ИЛ», 1976, № 6, 7; совместно с М. Игнатовым) В. Терлецкого — новеллу «Дом» («ИЛ», 1980, № 7).

ГЮНТЕР ГРАСС — GÜNTER GRASS (род. в 1927 г.)

Немецкий писатель (ФРГ). Автор романов «Жестяной барабан» («Die Blechtrommel», 1959), «Собачьи годы» («Hundejahre», 1963), «Под местным наркозом» («Örtlich betäubt», 1969), «Из дневника улитки» («Aus dem Tagebuch einer Schnecke», 1972), «Камбала» («Der Butt», 1977), книги путевых очерков «Гомункулы» («Kopfgeburten», 1980). «Иностранная литература» публиковала повести Г. Грасса «Кошка и мышь» (1968, № 5) и «Встреча в Тельгте» (1983, № 5).
Предлагаемые стихи взяты из сборника «Избранные стихи» («Gesammelte Gedichte». Darmstadt und Neuwied, Luchterhand Verlag, 1971).

ВОЗНЕСЕНСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ (род. в 1933 г.)
Советский поэт, лауреат Государственной премии СССР. Автор многих книг стихов, среди них «Треугольная груша» (1962), «Ахиллесово сердце» (1966), «Взгляд» (1972), «Выпусти птицу» (1974), «Дубовый лист виолончельный» (1975), «Витражных дел мастер» (1976), «Соблазн» (1978), «Безотчетное» (1981), пьес «Антимиры», «Юнона и Авось».
Стихи А. Вознесенского переведены во многих странах мира; он избран членом-корреспондентом Французской академии имени С. Малларме, почетным членом Американской и Баварской академий искусств.

ХЛЕБНИКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1943 г.)

Советский поэт-переводчик. В его переводах публиковались стихи поэтов ФРГ — В. Лемана, Г. Айха, М.-Л. Кашниц, переводил также стихи Уильяма Дж. Смита (США), Брассанса (Франция).

ЖАН МАРИ ГЮСТАВ ЛЕКЛЕЗИО — J. M. G. LE CLEZIO (род. в 1940 г.)

Французский писатель — прозаик, эссеист. Работал преподавателем в Таиланде, Мексике и США. Автор многих романов, в числе которых «Протокол» («Le Procès-verbal», 1963), «Война» («La Guerre», 1970), «Гиганты» («Les Géants», 1971), «Пустыня» («Désert», 1980). В «Иностранной литературе» опубликован его повесть «Мондо» (1980, № 2). Рассказы Леклезио печатались также в книге «Современная французская новелла» (М., «Прогресс», 1981).

КЛЕМАН ЛЕПИДИС — CLÉMENT LEPIDIS (род. в 1920 г.)

Французский писатель, лауреат многих литературных премий Франции. Автор романов «Роза Бюйюкада» («La Rose de Buyukada»), «Моряк с острова Лесбос» («Le Marin de Lesbos»), «Армянин» («L'Arménien»), «Покорение реки» («La Conquête du Fleuve»), а также сборников рассказов, стихов и эссе.

АЛЕН НАДО — ALAIN NADAUD (род. в 1948 г.)

Французский писатель, доктор филологических наук. Работал преподавателем в Индии, Африке и на Ближнем Востоке. Сейчас преподает философию в Париже, постоянно сотрудничает в журнале «Эроп». В 1980 г. выпустил сборник рассказов «Слепое пятно» («La Tache aveugle»).

ПЬЕР БУРЖАД — PIERRE BOURGEADE (род. в 1927 г.)

Французский писатель, драматург, эссеист. Получил литературное и юридическое образование. Автор сборника новелл «Бессмертные» («Les Immortelles», 1966), романов «Прием в Нью-Йорке» («New York Party», 1969), «Северное сияние» («L'Aurore boréale», 1973), «Серый город» («Une ville grise», 1978) и др., ряда пьес — «Процесс над Шарлем Бодлером» («Le Procès de Charles Baudelaire», 1980) и др.

НЕЛЛИ СТЕФАН — NELLY STÉPHANE

Французская писательница. Преподает английский язык в Париже. Автор романов, опубликованных издательством «Галлимар»,— «Бедняга Венсен» («Le Pauvre Vincent»), «Искатели» («Les Chercheurs»), «Дурной ученик» («Le Mauvais Sujet»), «Рейнская сюита» («Suite Rhénane»), книги для детей «Роланд» («Roland»). Постоянно сотрудничает в журнале «Эроп».

РОБЕР АНДРЕ — ROBERT ANDRÉ (род. в 1921 г.)
Французский писатель, критик; доктор филологических наук, профессор, президент Международной ассоциации литературных критиков (МАЛК). Автор более десяти романов, среди них «Упорное сражение» («Un combat opiniâtre», 1960), «Тщеславная память» («La memoire vaine», 1964), «Соблазнитель» («Le seducteur», 1972), «Простодушная страсть» («Une passion ingénue», 1980) и другие, а также работ о Бальзаке, Стендале, Достоевском.
В русском переводе опубликованы его повести «Взгляд египтянки» («ИЛ», 1977, № 1), «Дитя-зеркало» («ИЛ», 1981, № 6).

Предлагаемая подборка рассказов составлена из числа напечатанных в журнале «Эроп» («Europe») (август, сентябрь, октябрь 1981 г.).

СТЕПАНЯН ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Советский литературовед и переводчик. Автор ряда статей по французской и румынской литературам.

СТЕПАНЯН КАРЕН АШОТОВИЧ (род. в 1952 г.)

Советский литературовед и критик. Кандидат филологических наук. Автор ряда работ по американской литературе, а также сравнительному изучению творчества Ф. Достоевского и У. Фолкнера, по теории перевода.

ДЬЕРДЬ ШЕБЕШТЬЕН — GYÖRGY SEBESTYÉN (род. в 1930 г.)

Австрийский писатель — романист, новеллист, эссеист. Автор нескольких романов, в том числе «Закройте двери» («Die Türen schliessen sich», 1957), «Человек в седле, или Долгое воскресенье» («Der Mann im Sattel oder Ein langer Sonntag», 1961) «Школа обольщения» («Die Schule der Verführung», 1964). В последние годы выпустил книги репортажей и путевых заметок: «Бургенланд, земля на перекрестке дорог» («Burgenland, wo sich die Wege kreuzen»), «По дорогам Бургенланда» («Unterwegs im Burgenland»), книгу «Этюды по литературе» («Studien zur Literatur»).

Статья «Австрийская литература и ее связи с литературами дунайского региона» получена от автора в рукописи.

ЗАТОНСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1922 г.)

Советский критик и литературовед, член-корреспондент АН УССР, доктор филологических наук, член Международной ассоциации литературных критиков. Автор книг «Век XX. Заметки о литературной форме на Западе» (1961), «Франц Кафка и проблемы модернизма» (1965), «В поисках смысла жизни. Взгляд на современную литературу на Западе» (1966), «Искусство романа и XX век» (1973), «Зеркала искусства» (1975), «В наше время. Зарубежные литературы XX века» (1979) и многих статей. Работы Д. Затонского неоднократно печатала «Иностранная литература».

НЬЮМАН ЛЕВИ — NEWMAN LEVY (1888—1966)

Американский писатель-юморист. Автор сборника стихов «С субботы до понедельника» («Saturday to Monday», 1930), романа «Моя двойная жизнь» («My Double Life», 1958), пьес и других произведений.

Публикуемый рассказ взят из сборника «Spanish Pride» (М., «Высшая школа», на английском языке).

◆

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.
Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. [illegible] МО[illegible]ЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. [illegible]** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХО[illegible] [illegible] ВИДЛИ**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** [illegible] редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, П[illegible] [illegible] телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 3.08.83. Подписано в печать 20.09.83. А 01826 Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 28,38.

Тираж 380000 экз. (1-й завод 1 — 340000 экз.) Зак. 2747.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Р. ЭКЕЛУНД (Финляндия) «Кайсаанеми»

К ЧИТАТЕЛЯМ «ИЗВЕСТИЙ»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИЗВЕСТИЯ» НА 1984 ГОД.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ДО 31 ОКТЯБРЯ 1983 ГОДА С ДОСТАВКОЙ С ЯНВАРЯ, А С 1 НОЯБРЯ — С ДОСТАВКОЙ С ФЕВРАЛЯ И ПОСЛЕДУЮЩИХ МЕСЯЦЕВ 1984 ГОДА.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПО МЕСТУ РАБОТЫ, УЧЕБЫ И ЖИТЕЛЬСТВА.

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ С ПЕРЕРЫВОМ НА ЧАСТЬ СРОКА (ОТПУСК, КАНИКУЛЫ В ВЫСШИХ И СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ).

ГАЗЕТА «ИЗВЕСТИЯ» С 1 ИЮЛЯ ЕЖЕДНЕВНО ВЫХОДИТ НА ШЕСТИ СТРАНИЦАХ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА ПРЕЖНЯЯ:
НА ГОД — 9 РУБЛЕЙ, НА 6 МЕСЯЦЕВ — 4 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК, НА 3 МЕСЯЦА — 2 РУБЛЯ 25 КОПЕЕК, НА ОДИН МЕСЯЦ — 75 КОПЕЕК.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394